POST

III.

СОЧИНЕНІЯ

НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.

III.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. В. ГОГОЛЯ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

ЛЕЙПЦИГЪ,
ФРАНЦЪ ВАГНЕРЪ.

LEIPZIG,
FRANZ WAGNER.

1865.

1859

Держ ний
музей
Т.Г.Шевченка
БІБЛІОТЕКА
ІНВ. №
16964

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

НОВѢСТИ.

	Стран.
Тарасъ Бульба, въ исправленномъ видѣ . . .	3
Портретъ, въ исправленномъ видѣ	137
Носъ	200
Шинель	229
Коляска	265
Римъ, (отрывокъ)	279
Остраница, начало историческаго романа . . .	325
Начатыя повѣсти	352

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

Предисловіе	363
I. Завѣщаніе	366
II. Женщина въ свѣтѣ	372
III. Значеніе болѣзней	377
IV. О томъ, что́ такое слово	379
V. Чтеніе русскихъ поэтовъ передъ публикою	383
VI. О помощи бѣднымъ	385
VII. Объ «Одиссеѣ,» переводимой Жуковскимъ	387
VIII. Нѣсколько словъ о нашей Церкви и духовенствѣ	397

Стран.

IX. О томъ же 399
X. О лиризмѣ нашихъ поэтовъ 402
XI. Споры 415
XII. Христіянинъ идетъ впередъ 417
XIII. Карамзинъ 420
XIV. О театрѣ, объ одностороннемъ взглядѣ на театръ и вообще объ односторонности 421
XV. Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время 432
XVI. Совѣты 436
XVII. Просвѣщеніе 438
XVIII. Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ Душъ» 442
XIX. . . . . .
XX. . . . . .
XXI. . . . . .
XXII. Русскій помѣщикъ 458
XXIII. Историческій живописецъ Ивановъ . . 464
XXIV. Чѣмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту 472
XXV. Сельскій судъ и расправа 477
XXVI. . . . . .
XXVII. Близорукому пріятелю 479
XXVIII. . . . . .
XXIX. Чей удѣлъ на землѣ выше 481
XXX. Напутствіе 482
XXXI. Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность . . . 484
XXXII. Свѣтлое Воскресеніе 533

АВТОРСКАЯ ИСПОВѢДЬ 545

ПОВѢСТИ.

ТАРАСЪ БУЛЬБА.

(Въ исправленномъ видѣ).

I.

«А поворотись-ка сынъ! Этой ты смѣшной какой! Чтó это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всѣ ходятъ въ академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кіевской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе изъ-подлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Стойте, стойте! дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько,» продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ свитки! экія свитки! такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы.»

«Не смѣйся, не смѣйся, батько!» сказалъ наконецъ старшій изъ нихъ.

«Смотри ты, какой пышный! а отчего жъ бы не смѣяться?»

«Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то ей Богу поколочу!»

«Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.»

«Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?»

«Да ужъ на чемъ бы то ни было.»

«Ну, давай на кулаки!» говорилъ Тарасъ Бульба, засучивъ рукава: «посмотрю я, что́ за человѣкъ ты въ кулакѣ!»

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спятилъ съ ума!» говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и неуспѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. «Дѣти пріѣхали домой, больше года ихъ не видали, а онъ задумалъ ни-вѣсть что́: на кулаки биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись: «ей Богу, хорошо!» продолжалъ онъ, немного оправляясь: «такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ, стали цѣловаться. «Добре сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что́ это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что́ стоишь и руки опустилъ?» говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: «что́ жъ ты, собачій сынъ, не поколотишь меня?»

«Вотъ еще что́ выдумалъ!» говорила мать, обни-

мавшая между тѣмъ младшаго: «и придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось . . . (Это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ), ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжьба? Ваша нѣжьба — чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣжьба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: *кà зна що* — я плевать на все это! Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. «А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разуму.»

«И всего только одну недѣлю быть имъ дома?» говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха мать: «и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся, не удастся и дому роднаго узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!»

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то́, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, что́ есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалѣтніе! да гори́лки побольше, не съ выдумками гори́лки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чистой пѣнной гори́лки, чтобъ играла и шипѣла какъ бѣшеная.»

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки-прислужницы, въ червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались пріѣзда паничей, нелюбившихъ спускать никому, или же, просто, хотѣли

соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, — о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже непоющихся больше на Украйнѣ бородатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусѣ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйнѣ за унію. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ — сабли, нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣланный рогъ для пороху, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми, тусклыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ подвижное стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленаго и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшіе въ свѣтлицу Бульбы всякими путями чрезъ третьи и четвертыя руки, что́ было весьма обыкновенно въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ переднемъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, приходившимъ, потому что у нихъ не было еще коней и потому что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба только при выпускѣ ихъ послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю пріѣзда сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только

былъ на-лицо; и когда пришли двое изъ нихъ и осаулъ Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! на Сѣчь ихъ скоро пошлю.» Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для молодаго человѣка, какъ запорожская Сѣчь.

«Ну жъ, паны браты, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ гори́лки!» такъ говорилъ Бульба: «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобъ бусурмановъ били, и Турковъ бы били, Татаръ били бы, когда и Ля́хи начнутъ что̀ противъ вѣры нашей чинить, то и Ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку . . . что́? хороша гори́лка? А какъ по-Латыни гори́лка? То-то, сы́нку, дурни были Латинцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ гори́лка. Какъ бышъ того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?»

«Вишь какой батько!» подумалъ про-себя старшій сынъ, Остапъ: «все старая собака знаетъ, а еще и прикидывается.»

«Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и понюхать гори́лки,» продолжалъ Тарасъ. «А признайтесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовымъ свѣжимъ вѣникомъ по спинѣ и по всему, что́ ни есть у козака? А можетъ, такъ какъ вы сдѣлались уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ, и плетюганами пороли? чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ среду, и въ четвергъ?»

«Нечего, батько, вспоминать, что́ было, то́ прошло!»

«Пусть теперь попробуетъ!» сказалъ Андрій: «пускай теперь кто-нибудь только зацѣпитъ; вотъ пусть только подвернется теперь какая-нибудь Татарва́, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!»

«Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то́

пошло, то и я съ вами ѣду! ей Богу ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждать? чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади онѣ: я козакъ, не хочу! Такъ что́ же, что нѣтъ войны? я такъ поѣду съ вами на Запорожье — погулять; ей Богу поѣду!» И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и присанившись топнулъ ногою. «Завтра же ѣдемъ! зачѣмъ откладывать? какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? на что́ намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что́ эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слёзъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука — и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до-тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле мирный славянскій духъ и завелось козачество — широкая разгульная замашка русской природы, и когда всѣ порѣчья, перевозы, прибрежныя пологія и удобныя мѣста усѣялись козаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелав-

шему знать о числѣ ихъ: «Кто ихъ знаетъ? у насъ ихъ раскидано по всему степу: что́ байракъ, то́ козакъ» (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленье русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣдъ. Вмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общею опасностью и ненавистью противъ не-христіянскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся намѣсто удѣльныхъ князей властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе козаковъ и выгоды такой бранной, строптивой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетманы, избранные изъ среды самыхъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ — воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозы, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво и былъ вольный козакъ. Современные иноземцы справедливо дивились тогда необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять на-пропалую, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій — все это было ему по-плечу. Кромѣ реестровыхъ козаковъ считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой по-

требности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только осауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телегу: «Эй, вы, пивники, бровари-ники! полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосѣи, овцеводы, баболюбы, полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы!» И слова эти были — какъ искры, падающія на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровары и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло и лавку, былъ горшки въ домѣ, — и все, что̀ ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ, съ своими козаками, производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда коммиссары не уважали въ чемъ старшинъ и стояли передъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая пред-

ковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и Турки, противъ которыхъ онъ считалъ, во всякомъ случаѣ, позволительнымъ поднять оружіе во славу христіянства.

Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслію, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими въ Сѣчь и скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!» какъ представитъ ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почиталось тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшни и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ѣхать. Осаулу Товкачу передалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеселѣ, и въ головѣ его еще бродилъ хмѣль, однакожъ не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что̀ Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ.

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что̀ ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и запѣло. Прежде

всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклокоченныя кудри и смачивала ихъ слезами; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою! «Сыны мои, сыны мои милые! что̀ будетъ съ вами? что̀ ждетъ васъ?» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное, когда-то, лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ она была жалка, какъ всякая женщина того удалаго вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что̀ за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и еягпрекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что̀ есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ? можетъ быть, при первой битвѣ Татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица, а за каждую каплю

крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядѣла имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: «Авосъ-либо Бульба, проснувшись, отсрочитъ денька на два отъѣздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ.»

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она всё сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали ленетать, и, мало-помалу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самого низу. Она просидѣла до свѣта, вовсе не утомилась и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что̀ приказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! пора, пора! Напои́те коней! А гдѣ стара́? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, стара̀, готовь намъ ѣсть: путь лежитъ великій!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату.

Между тѣмъ, какъ она со слезами готовила все, что̀ нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами и перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поя-

сомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ.

Бѣдная мать, какъ увидѣла ихъ, и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать,» произнесъ наконецъ Бульба. «Теперь, по обычаю христіянскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть.»

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» сказалъ Бульба: «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую,[1]) чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то — пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранитъ васъ... Божья матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...» далѣе она не могла говорить.

«Ну, пойдемъ, дѣти!» сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовалъ на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипла къ сѣдлу его и съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли

---

1) Рыцарскую.

въ хату. Но когда выѣхалио ни за ворота, со всею легкостію дикой козы, несообразно лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностію. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они проѣхавши оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ-будто ушелъ въ землю; только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; еще стлался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали на немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощію своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шесть надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телеги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и всё собою закрыла... Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ въ Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболѣе о сыновьяхъ его. Они были

отданы по двѣнадцатому году въ кіевскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга.

Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цѣлыя двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтовалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, реторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались ко времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластическимъ. Самые тогдашные ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это ужасное республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжемъ, здо-

ровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, раждало въ нихъ ту предпріимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьи. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, сѣмячки изъ тыквъ, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣди проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговки. Эти бурсаки состовляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, не смотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессорымонахи не жалѣли лозъ и плѣтей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такія безпрестанныя припарки, и они убѣгали на Запорожье, если умѣли найти дорогу и если не были перехватываеми на пути. Остапъ Бульба, не смотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розгъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ — обобрать чужой садъ или огородъ, но за то онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плѣти и розги не могли заставить его

Z A
inv.

это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это отно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощію изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восьмнадцать лѣтъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокую, нѣжную; предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ

забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ домы были выстроеы съ нѣкоторою прихотливостію. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти наѣхала колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница съ престрашными усами хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣлостію схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадямъ, онѣ рванули, — и Андрій, къ счастію успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣлую, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая, толпою, въ богатомъ, убранствѣ, стояла за воротами, окруживъ игравшаго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на-время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостію, онъ пролѣзъ черезъ частоколъ въ садъ, влѣзъ на дерево, которое раскидывалось вѣтвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная Полячка такъ испугалась, увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смѣя отъ робости

пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ Полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностію дитяти, которою отличаются вѣтреныя Полячки и которая повергла бѣднаго бурсака въ большее еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла емѣ спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горничную, плѣнную Татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывесть его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покамѣстъ быстрыя ноги не спасли его. Послѣ этого, проходить мимо дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была многочисленна. Онъ встрѣтилъ ее еще разъ въ костёлѣ. Она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и, вмѣсто прекрасной, черноглазой Полячки, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ

въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

«Э, э! что́ же это вы, хлопцы, такъ притихли?» сказалъ наконецъ Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: «какъ-будто какіе нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!»

И казаки, пригнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстраго бѣга.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь. Все, что́ смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію, до самаго Чернаго моря, было селеною, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше: вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызныли милліоны разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волóшки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтико-образными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный Богъ знаетъ откуда колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался

Богъ вѣсть въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ черною точкою! вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ!... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!...

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для обѣда; при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ, состоявшій изъ десяти казаковъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя бокла́жки съ горилкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Ѣли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ, вся степь совершенно перемѣнилась. Все пестрое пространство ея охватывалось послѣднымъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала на немъ, и она становилась темно-зеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу изголуба-темному, какъ-будто исполинскою кистью, наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонъ и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кули́шъ; паръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши

по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ вышигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ свѣтомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣза, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую чернѣвшую въ дальней травѣ точку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ Татаринъ!» Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать человѣкъ. «А ну, дѣти, попробуйте догнать Татарина! и не пробуйте; вовѣки не поймаете: у него конь быстрѣе моего Чорта.» Однакожъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Таркою, впадающей въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали путь.

Чрезъ три дня послѣ этого они были уже не далеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною

полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ наконецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ, и, черезъ три часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевощиками. Козаки оправили коней. Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ я́тками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; Армянинъ развѣсилъ дорогіе платки; Татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки́ съ тѣстомъ; Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горилку. Но первый, кто попался имъ на встрѣчу, это былъ Запорожецъ, спавшій на самой серединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ, какъ важно развернулся: Фу ты, какая пышная фигура!» говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дѣлѣ это была картина довольно смѣлая: Запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогаго сукна были запачканы легтемъ для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба

пробирался далѣе по тѣсной улицѣ, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшими это предмѣстіе Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять, да палить изъ ружей.

Наконецъ они миновали предмѣстіе и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ, или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора, или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами на низенькихъ деревяныхъ столбикахъ, какіе были въ предмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, нехранимые рѣшительно никѣмъ показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ Запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями жежду нихъ, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» отвѣчали Запорожцы. Вездѣ по всему полю живописными кучами пестрѣлъ народъ. По смуглымь лицамъ видно было, что всѣ были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ водъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ Запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ серединѣ которыхъ отплязывалъ молодой Запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: «Живѣе играйте, музыканты! не жалѣй, Ѳома, горилки православнымъ Христіянамъ!» И Ѳома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счеты каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого Запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелько ногами, вскидывались,

какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслися въ присядку и били круто и крѣпко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю окружность, и въ воздухѣ далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра. «Да сними хоть кожухъ!» сказалъ наконецъ Тарасъ: «видишь, какъ па́ритъ.» — «Не можно,» кричалъ Запорожецъ. «Отчего?» — «Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что́ скину, то́ пропью.» А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: все пошло, куда, слѣдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенья, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо свѣтъ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ.

«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: «пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!»

А между тѣмъ, въ народѣ стали попадаться и уваженные по заслугамъ всею Сѣчью, сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово Кирдяга! Здорово Густый! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень?» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: «А что́ Касьянъ? что́ Бородавка? что́ Колоперъ? что́ Пидсытокъ?» и слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ

бочкѣ и отправлена въ самый Царь-градъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ — признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напившихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, неимѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родится ни изъ какого другого источника. Разсказы и болтовня, среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого

разсказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность Запорожца, чтобы сохранить неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ — рѣзкая черта, которою отличается донынѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный Россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраняемыя безпечныя границы, въ виду которыхъ Татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ Турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школѣ, они сами собою кинули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копѣйки; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-Жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здѣсь были всѣ бурсаки, невытерпѣвшіе академическихъ лозъ и невынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, которые знали, что́ такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человѣку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сѣчь съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная

республика была именно потребностію того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстье Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь бездна народу и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто-бы возвращались въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! во Христа вѣруешь?» — «Вѣрую!» отвѣчалъ приходившій. «И въ Троицу Святую вѣруешь?» — «Вѣрую!» — «И въ церковь ходишь?» — «Хожу!» — «А ну перекрестись!» Пришедшій крестился. «Ну, хорошо!» отвѣчатъ кошевой: «ступай же, въ который самъ знаешь, курень.» Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстію Жиды, Армяне и Татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что Запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они походили на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у Запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сѣчь состояло изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень похожи были на отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не держалъ у себя; все было на рукахъ у куренного отамана, который за это обыкновенно носилъ названіе *батька*. У него были на

рукахъ деньги, платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ-сохранъ. Не рѣдко происходила ссора у куреней съ куренями: въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покамѣстъ одни не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостію юношей въ это разгульное море, и забыли вмигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что́ волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульныя обычаи Сѣчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его до смерти. Неплатившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупитъ, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего произвела впечатлѣніе на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него постановили гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куренями выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера,

рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти, и тащить богатыя тони на продовольствіе всего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ; но они стали уже замѣтны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченія — дѣло, за которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. Ему не по душѣ была такая праздная жизнь: настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ всё придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ рыцарю; наконецъ въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, кошевой? пора бы погулять Запорожцамъ.»

«Негдѣ погулять,» отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рту маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

«Какъ негдѣ? можно пойти на Турещину, или на Татарву.»

«Не можно ни въ Турещину, ни на Татарву,» отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

«Какъ не можно?»

«Такъ; мы обѣщали султану миръ.»

«Да вѣдь онъ бусурманъ: и Богъ и Святое Писаніе велитъ бить бусурмановъ.»

«Не имѣемъ права. Если бъ не клялись еще нашею вѣрою, то, можетъ быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно.»

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно идти Запорожцамъ.»

«Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ.»

«Такъ стало быть слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему

христіянству не было отъ него ни какой пользы? Такъ на что́ же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые; растолкуй мнѣ, на что́ мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: «А войнѣ всетаки не бывать.»

«Такъ не бывать войнѣ?» спросилъ опять Тарасъ.

«Нѣтъ.»

«Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?»

«И думать объ этомъ нечего.»

«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ Бульба про-себя: «ты у меня будешь знать!» и положилъ тутъ же отмстить кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задалъ онъ всѣмъ попойку, и хмѣльные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенна били сборъ нараду; не нашедши палокъ, хранившихся всегда до́вбиша, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ до́вбишь, высокій человѣкъ съ однимъ только глазомъ, однакожъ, не смотря на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.

«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велятъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.

До́вбишъ винулъ тотъ-часъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи Запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьяго боя показались наконецъ старшины: кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всѣ стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

«Что́ значитъ это собранье? чего хотите, панове?» сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! не хотимъ тебя больше!» кричали изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные, и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но зная, что разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на смерть, что́ всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толпѣ.

«Прикажете, пано́ве, и намъ положить знаки достоинства?» сказа́ли судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: «намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ баба, а намъ нужно человѣка въ кошевые.»

«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали старшины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.

«Не хотимъ Кукубенка!» кричала другая: «рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло.»

«Шило пусть будетъ атàманомъ!» кричали одни: «Шила посадить въ кошевые!»

«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью толпа: «что́ онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ Татаринъ? Къ чорту, въ мѣшокъ пьяницу Шила!»

«Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!»

«Не хотимъ Бородатаго! къ нечистой матери Бородатаго.»

«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу, Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!»

Всѣ кандидаты, услышавъ произнесенными свои

имена, тотъ-часъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участьемъ своимъ въ избранiи.

«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе прочихъ. «Бородатаго!» Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Человѣкъ десятокъ козаковъ отдѣлилось тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ — до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему о его избранiи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ-будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. «Что́, пано́ве? что́ вамъ нужно?» спросилъ онъ.

«Иди, тебя выбрали въ кошевые!»

«Помилосердствуйте панове!» сказалъ Кирдяга: «гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленiю такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?»

«Ступай же, говорятъ тебѣ!» кричали Запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ наконецъ притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увѣщаньями: «Не пяться же, чортовъ сынъ! принимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!» Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачiй кругъ.

«Что́, пано́ве?» провозгласили во весь народъ приведшiе его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ?»

«Всѣ согласны!» закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотъ-часъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ; Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный

крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крику все поле. Тогда выступило изъ средины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупри́нныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ Запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замарала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, неизвѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому. Къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горилка и пиво забирались просто безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, славившихъ подвиги, — и взошедшій мѣсяцъ долго еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ бандурами, торбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ пѣсенниковъ, которыхъ держали на Сѣчи для пѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ хмѣль и утомленье стали одолѣвать крѣпкія головы. И видно было, какъ, то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ, падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, разчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улеглась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Послѣдній, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ и того подкосила хмѣльная сила, повалился и тотъ, и заснула вся Сѣчь.

IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять Запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперегъ Запорожцевъ, и сначала сказалъ: «Не можно клятвы преступить, никакъ не можно.» А потомъ, помолчавши, прибавилъ: «Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется народъ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать. А мы со старшинами тотъ-часъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ.»

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмѣльные и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ на площадь. Поднялся говоръ: «Что̀? зачѣмъ? изъ какого дѣла пробили сборъ?» Никто не отвѣчалъ. Наконецъ въ томъ и другомъ углу стало раздаваться. «Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились на-повалъ, заплыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!» Другіе козаки слушали сначала, а потомъ и сами стали говорить: «А и въ-правду нѣтъ никакой правды на свѣтѣ!» Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: «Позвольте, панóве Запорожцы, рѣчь держать!»

«Держи!»

«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панóве добродійство, да вы, можетъ быть, и сами лучше это знаете, что многіе Запорожцы позадолжали въ шинки Жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры не йметъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что̀ такое война, тогда какъ молодому человѣку, и сами знаете, панóве, безъ войны не можно пробыть. Какой и Запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Онъ хорошо говоритъ,» подумалъ Бульба.

«Не думайте, панóве, чтобы я впрочемъ говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ; сохрани Богъ! я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій, грѣхъ сказать, что̀ такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства; хотя бы серебряную ризу кто догодался имъ выковать; они только то и получали, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе было бѣдное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему.»

«Что̀ жъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про-себя Бульба.

«Да, такъ видите, панóве, что войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. А, по своему бѣдному разуму, вотъ что̀ я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; пусть немного пошàрпаютъ берега Натоліи. Какъ думаете, панóве?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сторонъ толпа: «за вѣру готовы положить головы.»

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. «Позвольте, панóве, еще одну рѣчь держать!»

«Довольно!» кричали Запорожцы: «лучше не скажешь.»

«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по Писанью извѣстно, что гласъ народа — гласъ Божій. Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, что̀ весь народъ выдумалъ. Только вотъ что̀: вамъ извѣстно, панóве, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого бъ не побоялись. А во время отлучки и Татарва можетъ на-

пасать: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину нà домъ не посмѣютъ придти, а сзади укусятъ за пятки, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли.»

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совѣщаться; пьяныхъ, къ счастію, было немного, и потому рѣшились послушаться благоразумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправилось нѣсколько человѣкъ на противуположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Въ мигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явилось съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе Запорожцы, съ просѣдью въ усахъ и черноусые, зосучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ, переворотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ привязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы незатопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему прибрежью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой парóмъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ толпа людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ (у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ) показывалъ, что они, или избѣгнули какой-

нибудь бѣды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и крикомъ рабочихъ не было слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали? спросилъ кошевой, когда парóмъ приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый козакъ.

«Съ какою?»

«Позвольте, панóве Запорожцы, рѣчь держать!»

«Говори!»

«Или хотите, можетъ быть, собрать раду?»

«Говори, мы всѣ тутъ.»

Народъ весь стѣснился въ одну кучу.

«А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что̀ дѣлается въ гетмàнщинѣ?»

«А что̀?» спросилъ одинъ изъ куренныхъ атàмановъ.

«Э! что̀? Видно, вамъ Татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали.»

«Говори же, что̀ тамъ дѣлается?»

«А то̀ дѣлается, что и родились, и крестились, еще не видали такого.»

«Да говори намъ, что̀ дѣлается, собачій сынъ?» закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

«Такая пора теперь завелась, что ужъ церкви святыя теперь не наши.»

«Какъ не наши?»

«Теперь у Жидовъ онѣ на арендѣ. Если Жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдню нельзя править.»

«Что̀ ты толкуешь?»

«И если разсобачій Жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя.»

«Вретъ онъ, паны-браты, не можетъ быть того, чтобы нечистый Жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ.»

«Слушайте! еще не тò разскажу: и ксензы ѣздятъ теперь по всей Украйнѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то разскажу: уже, говорятъ, Жидовки шьютъ себѣ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украйнѣ, панóве! А вы тутъ сидите на Запорожьи да гуляете, да, видно, Татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей, ничего нѣтъ, и вы не слышите, чтò дѣлается на свѣтѣ.»

«Стой, стой!» прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, потупивъ глаза въ землю, какъ и всѣ Запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу негодованія. «Стой! и я скажу слово. А что жъ вы, такъ бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька, чтò жъ вы дѣлали сами? развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію? а попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ Ляховъ, да и нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими — ужъ приняли ихъ вѣру.»

«А гетманъ вашъ, а полковники чтò дѣлали?»

«Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ никому.

«Какъ?»

«А такъ, что ужъ теперь гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а покловничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ чтò надѣлали полковники!»

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, и весь заговорилъ берегъ: «Какъ! чтобы Жиды держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксензы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученія на русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрковъ! чтобы вотъ такъ поступали

съ полковниками и гетманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!» Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. Зашумѣли Запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа; волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые нескоро накаляются, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренній жаръ. «Перевѣшать всю Жидову́!» раздалось изъ толпы: «пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ Жидовкамъ! пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поганцевъ, въ Днѣпрѣ!» Слова эти, произнесенныя кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головамъ, и толпа ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ Жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горилочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ Жидовокъ; но козаки вездѣ ихъ находили.

«Ясновельможные паны!» кричалъ одинъ, высокій и длинный, какъ палка, Жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ: «ясновельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно слово; мы такое объявимъ вамъ, что еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Ну, пусть скажутъ!» сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ Жидъ: «такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!» Голосъ его замиралъ и дрожалъ отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы думали про Запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, тѣ, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! ей Богу не наши! то совсѣмъ не Жиды: то чортъ знаетъ что̀; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлёма, или ты, Шмуль?»

«Ей Богу правда!» отвѣчали изъ толпы Шлёма и

Шмуль въ изодранныхъ ермолкахъ, оба блѣдные, какъ глина.

«Мы никогда еще,» продолжалъ длинный Жидъ: «не снюхивались съ непріятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! мы съ Запорожцами, какъ братья родные....»

«Какъ? чтобы Запорожцы были съ вами братья?» произнесъ одинъ изъ толпы: «не дождетесь, проклятые Жиды! Въ Днѣпръ ихъ, панóве, всѣхъ потопитъ поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ; но суровые Запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ. Бѣдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бѣду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ, узкомъ, камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дóроша! былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у Турка.»

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.

«Ей Богу зналъ! великодушный былъ панъ.»

«А какъ тебя зовутъ?»

«Янкель.»

«Хорошо,» сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и говорилъ такъ: «Повѣсить Жида будетъ всегда время, когда будетъ нужно: а на сегодня отдайте его мнѣ.»

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись; а вы, братцы, не выпускайте Жида.»

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили въ мигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не

суда да козацкія чайки, а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые и молодые, всѣ съ совѣта старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить все зло и посрамленье вѣры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтреныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гулливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не вскрикивая, не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дѣлѣ козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненье разумно задуманныя предпріятія.

«Осмотритесь, всѣ осмотритесь хорошенько,» такъ говорилъ онъ: «исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собою одежды: по сорочкѣ и по двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса — больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что̀ нужно. По парѣ коней чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двѣстѣ взять воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мѣстахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, пано́ве, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть — пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите одно только оружье, коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они ёмкаго свойства и пригодятся во всякомъ случаѣ. Да вотъ вамъ, пано́ве, впередъ говорю: если кто въ походѣ напьется, то никакого нѣтъ на него суда: какъ собаку за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ,

хоть бы наидоблестнѣйшій козакъ изъ всего войска; какъ собака будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинутъ безъ всякаго погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ походѣ не достоинъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ — не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Нуте же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!»

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ рѣчь свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ-будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ исправляли ободья колесъ и перемѣняли оси въ телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіантомъ, на другіе валили оружье; тѣ пригоняли коней и воловъ. Со всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрыпъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье — и скоро далеко вытянулся козачій таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотѣлъ пробѣжать отъ головы и до хвоста его. Въ деревяной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ Запорожцы обратили головы назадъ: «Прощай, наша мать!» сказали они почти въ одно слово: «пусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастья!»

Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что Жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобья, нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбы. «Каковъ чертовъ Жидъ!» подумалъ

про-себя Тарасъ и, подъѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: «Дурень, что́ ты здѣсь сидишь? развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?»

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ-будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ Жидъ не продавалъ; ей Богу такъ, ей Богу такъ.»

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивившись жидовской натурѣ, и отъѣхалъ къ табору.

V.

Скоро весь польскій югозападъ сдѣлался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: Запорожцы! показались Запорожцы!» Все что́ могло спасаться, спасалось, все подымалось и разбѣгалось, по обычаю этого нестройнаго, безпечнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣпостей, ни за́мковъ, а какъ попало, становилъ на время соломенное жилище свое человѣкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на избу работу и деньги, когда и безъ того будетъ она снесена татарскимъ набѣгомъ!» Все всполошилось: кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что́ только можно было унесть. Попадались иногда по дорогѣ и такіе, которые вооруженною рукою встрѣчали гостей; но больше было такихъ, которые бѣжали заранѣе. Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ буйной и бранной толпой, извѣстной подъ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствѣ своемъ заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ѣхали, не отягчая и не горяча коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подвигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того

пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать и вывѣдывать, гдѣ, что́ и какъ. И часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ — и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые пронесли вездѣ Запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣна у выпущенныхъ на свободу; словомъ, — крупною монетою отплачивали козаки прежніе долги. Прелатъ одного монастыря, услышавъ о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слѣдуетъ, что между Запорожцами и правительствомъ стоитъ согласіе, что они нарушаютъ свою обязанность къ королю, а съ тѣмъ втѣстѣ и всякое народное право. «Скажи епископу отъ меня и отъ всѣхъ Запорожцевъ,» сказалъ Кошевой, «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигаютъ и раскуриваютъ трубки.» И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣлившіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ, Жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тѣ города, гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робѣла, обращала тылъ при первой встрѣчѣ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, соединя свои силы, стать грудью противъ Запорожцевъ.

И тутъ-то болѣе всего пробовали себя наши молодыє козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти

и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе желаніемъ показать себя передъ старыми, помѣряться одинъ на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ Ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими по вѣтру откидными рукавами епанчи. Потѣшна была наука; много уже одни добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужами: черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дѣла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти не естественнымъ для двадцати-двухъ-лѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣрять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тѣмъ, чтобы потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже пріобрѣли широкую силу льва. «О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!» говорилъ старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что́ такое значитъ обдумывать, или расчитывать, или измѣрять заранѣ свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоенье онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пуль, въ сабельномъ блескѣ и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ и Андрію, видя, какъ онъ, понуж-

даемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то́, на что́ бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: «и это добрый (врагъ бы не взялъ его) воя́ка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»

Войско рѣшилось идти прямо на городъ Дубно, гдѣ, носились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня походъ былъ сдѣланъ, и Запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ домы. Высокій земляно́й валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывалась каменная стѣна или домъ, служившій баттареей, или, наконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко полѣзли было на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на головы Запарожцамъ полетѣли камни, бочки вару и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи. Запорожцы не любили имѣть дѣло съ крѣпостями; вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ отступить и сказалъ: «Ничего, паны братья, мы отступимъ; но будь я поганый Татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! пусть ихъ, собаки, всѣ передохнутъ съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дѣлать, занялось опустошеньемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды неубраннаго хлѣба, и напуская табуны коней на нивы, еще нетронутыя серпомъ, гдѣ, какъ нарочно колебались тучные колосья, плодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро

всѣхъ земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли изъ города, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между тѣмъ Запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телѣги, расположились такъ же, какъ и на Сѣчи, куренями, курили свои люльки, мѣнялись добытымъ оружіемъ, и играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ, и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ; у горѣвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. Но скоро Запорожцы начали понемногу скучать бездѣйствіемъ и продолжительною трезвостью, несопряженною ни съ какимъ дѣломъ. Кошевой велѣлъ удвоить даже порцію вина, что́ иногда, водилось въ войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ и особенно сынамъ Тараса Бульбы не нравилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. «Неразумная голова,» говорилъ ему Тарасъ: «терпи козакъ, ата́манъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездѣльи не соскучитъ, все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ всё-таки поставитъ на своемъ.» Но не сойтись пылкому юношѣ съ старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всѣхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними немало и охочекомонныхъ, которые сами поднялись своею волею безъ всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дѣло. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кіевскаго монастыря. Надѣли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнивъ старую мать. Что́-то пророчитъ имъ и говоритъ это благословенье? Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на

вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?... Но не извѣстно будущее, и стоитъ, оно предъ человѣкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка — не видя ястреба, ястребъ — не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ отъ своей погибели...

Остапъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отъ чего, чувствовалъ какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю; вечеръ давно потухнулъ, іюльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую передъ нимъ картину. На небѣ безчисленно мелкали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подальше отъ телѣгъ, вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ Запорожцы. Всѣ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себѣ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье, самопалъ, коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, желѣзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козакѣ. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массами, и казались издали сѣрыми камнями, раскиданными по отлогостямъ поля. Со всѣхъ сторонъ изъ травы уже сталъ подниматься густой храпъ спящаго воинства, на который отзывались съ поля звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанныя ноги. А между тѣмъ что-то величественное и грозное примѣшалось къ красотѣ іюльской ночи. Это было зарево вдали догаравшихъ окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу, въ другомъ, встрѣтивъ что то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло

вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванныя охлопья его гаснули подъ самыми дальными небесами; тамъ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ; казалось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщалъ фосфорическимъ лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлыя грозди сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ и тамъ желтѣвшія груши, и тутъ же среди ихъ чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія, или на древесномъ суку, тѣло бѣднаго жида или монаха, погибавшее вмѣстѣ съ строеніемъ въ огнѣ. Надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіеся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обнаженный городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколъ, и стѣны его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожаровъ. Андрій обошелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сторожи, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожи спали, перекусивши саламаты и галушекъ во весь козацкій аппетитъ. Онъ подивился такой безпечности, подумавши: «Хорошо, что нѣтъ близко никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться.» Наконецъ и самъ подошелъ онъ къ одному изъ возовъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенныя назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: оно все было открыто передъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; густота звѣздъ, составлявшая млечный путь и поясомъ переходившая по небу, вся была залита свѣтомъ. Временами Андрій какъ-будто позабывался, и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ передъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ передъ нимъ какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсѣется, онъ открылъ глаза свои и увидѣлъ, что къ нему точно наклонилось какое-то изможденное,

высохшее лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лѣзли изъподъ-темнаго, наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда и мертвенная смуглота лица, выступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за пищаль и произнесъ почти судорожно: «кто ты? коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человѣкъ, не въ пору завелъ шутку — убью съ одного прицѣла.»

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приложило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться внимательнѣй. По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуобнаженной смуглой груди, узналъ онъ женщину. Но она была не здѣшняя уроженка: все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разрѣзомъ къ верху. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ нихъ что-то знакомое. Наконецъ онъ не вытерпѣлъ и спросилъ: «скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ-будто я зналъ тебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ Кіевѣ.»

«Два года назадъ, въ Кіевѣ!» повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что́ уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: «Ты Татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!...»

«Чшшъ!» произнесла Татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

«Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?» говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. «Гдѣ панночка, жива ли еще она?»

«Она теперь въ городѣ.»

«Въ городѣ?» произнесъ онъ, опять едва не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: «отчего жъ она въ городѣ?»

«Оттого, что самъ старый панъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ.»

«Что́ жъ она, замужемъ? Да говори же, какая ты странная, что́ она теперь? . . .»

«Она другой день ничего не ѣла.»

«Какъ?»

«Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю.»

Андрій остолбенѣлъ.

«Паночка видѣла тебя съ городского валу вмѣстѣ съ Запорожцами. Она сказала мнѣ: «Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ, чтобы, далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня! Проси и хватай его за колѣни и но́ги: у него также есть старая мать, — чтобъ ради ея далъ хлѣба!»

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въмолодой груди козака.

«Но какъ же ты здѣсь? какъ ты пришла?»

«Подземнымъ ходомъ.»

«Развѣ есть подземный ходъ?»

«Есть.»

«Гдѣ?»

«Ты не выдашь, рыцарь?»

«Клянусь крестомъ святымъ!»

«Спустясь въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ тростникъ.»

«И выходитъ въ самый городъ?»

«Прямо къ городскому монастырю.»

«Пойдемъ, пойдемъ сейчасъ!»

«Но ради Христа и Святой Матери, кусокъ хлѣба!»

«Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусь.»

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что́ было заглушено нынѣшними козацкими, биваками, суровой бранною жизнью, все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вынырнула передъ нимъ, какъ-бы изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые, темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали изъ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеньямъ; но часто, часто смущался ими глубокій сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, при одной мысли, что увидитъ ее опять, и дрожали молодыя его колѣни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, за чѣмъ пришелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припомнить, что́ ему нужно дѣлать. Наконецъ вздрогнулъ и весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ подъ руку; но тутъ же подумалъ: «Не будетъ ли эта пища, годная для дюжаго, неприхотливаго Запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію?» Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили въ одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще тлѣлась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, увидя, что оба пусты. Нужно было не человѣческихъ силъ, чтобы все это съѣсть,

тѣмъ болѣе что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдѣ ничего. По неволѣ пришла ему въ голову поговорка: «Запорожцы какъ дѣти: коли мало — съѣдятъ, коли много — тоже ничего не оставятъ.» Что́ дѣлать? Былъ однакоже гдѣ-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому во́зу, но на возу́ его не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы и, растянувшись на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій схватилъ мѣшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ въ просонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: «Держите, держите чортова Ляха! да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» закричалъ въ испугѣ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустилъ такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ наконецъ отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идемъ! всѣ спятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ не сподручно захватить всѣ?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести Татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ Запорожцевъ.

«Андрій!» сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и весь дрожа, тихо произнесъ: «А что?»

«Съ тобою баба! Эй, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!» Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало Татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что старый Бульба уже спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на Татарку, она стояла передъ нимъ, подобно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, помутившіяся какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и наконецъ опустились отлогостью въ низменную лощину, — почти яръ, называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ балками, — по дну которой лѣниво пресмыкался протокъ, поросшій осокою и усѣянный кочками. Опустясь въ эту лощину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней мѣрѣ, когда Андрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его, крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатость; на вершинѣ ея покачивалось нѣсколько стебельковъ полеваго былья, и надъ ними поднималась въ небѣ луна въ видѣ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи ветерокъ давалъ знать, что уже не много оставалось времени до разсвѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ, не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надежный самъ-собою пунктъ городской крѣпости; по

крайней мѣрѣ земляной валъ былъ тутъ ниже, и не выглядывалъ изъ-за-него гарнизонъ. Но за то подальше подымалась толстая монастырская стѣна. Обрывистый берегъ весь оросъ бурьяномъ, и по небольшой лощинѣ между имъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человѣка. На вершинѣ обрывка видны были остатки плетня, обличавшіе когда-то бывшій огородъ; передъ нимъ широкіе листы лапуха, изъ-за котораго торчала лебеда, дикій колючій бодакъ и подсолнечникъ, подымавшій выше всѣхъ свою голову. Здѣсь Татарка скинула съ себя черевики и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мѣсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ навaленнымъ хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ земляного свода — отверстіе, мало чѣмъ бо̀льшее отверстія въ хлѣбной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ.

VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ корридорѣ, слѣдуя за Татаркою и таща на себѣ мѣшки хлѣба. «Скоро намъ будетъ свѣтло,» сказала проводница: «мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ.» И точно, темныя земляныя стѣны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была часовня; по крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтарнаго престола, и надъ нимъ видѣнъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оставленный мѣдный свѣтильникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, съ

висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампады. Свѣтъ усилился и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали собою картины Герардо delle notte. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юностію прекрасное лицо рыцаря представляло сильную, противоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, такъ что Андрію можно было порасприямиться. Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя стѣны. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кіевскихъ, тутъ видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ гробы; мѣстами даже попадались, просто, человѣческія кости, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и разсыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами была очень сильна; подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутницѣ, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ, хлѣба, проглоченный ею, произвелъ только боль въ желудкѣ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нѣскольку минутъ на одномъ мѣстѣ.

Наконецъ передъ ними показалась маленькая желѣзная дверь. «Ну слава Богу, мы пришли,» сказала слабымъ голосомъ Татарка, приподняла было руку, чтобы постучаться, и не имѣла силъ. Андрій ударилъ вмѣсто ея сильно въ дверь; раздался гулъ, показавшій, что за дверью былъ большой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двѣ загремѣли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ дверь отперлась; ихъ впустилъ монахъ, стоявшій на узенькой лѣстницѣ съ ключемъ и свѣчой въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видѣ католическаго монаха, возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ съ Жидами.

Монахъ тоже нѣсколько отступилъ назадъ, увидѣвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное Татаркою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками и свѣчами стоялъ на колѣняхъ священникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ сторонъ стояли также на колѣняхъ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантіяхъ, съ бѣлыми кружевными шемизетками и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасеніи города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспосланіи терпѣнія, объ удаленіи искусителя, нашептывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ на земныя несчастія. Нѣсколько женщинъ, похожихъ на привидѣнія, стояло на колѣняхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревяныхъ лавокъ; нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ, на которыхъ возлегали боковые своды, печально стояли тоже на колѣняхъ. Окно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ остановился въ воздухѣ радужно освѣщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядѣлъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величественный стонъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разростался, перешелъ въ тяжелые раскаты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дѣвичьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились дрожа подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымъ ртомъ величественной музыкѣ.

Въ это время почувствовалъ онъ, что кто-то дернулъ его за полу кафтана. «Пора!» сказала Татарка. Они перешли черезъ церковь, незамѣченные никѣмъ, и вышли потóмъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небѣ; все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, имѣвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; по срединѣ ея оставались еще деревяные столики, показывавшіе, что здѣсь былъ еще, можетъ быть, только недѣлю назадъ, рынокъ съѣстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ домы съ видными въ стѣнахъ деревяными сваями и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревяными же брусьями, какъ вообще строили домы тогдашніе обыватели, чтó можно видѣть и понынѣ еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литвы и Польши. Всѣ они были покрыты непомѣрно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонѣ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, вѣроятно, городовой магистратъ или какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ двѣ арки бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой циферблатъ вдѣланъ былъ въ крышу.

Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ группу изъ двухъ-трехъ человѣкъ, лежавшихъ почти безъ всякаго движенія на землѣ. Онъ вперилъ глаза внимательнѣй, что бы разсмотрѣть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тѣло женщины, повидимому, Жидовки. Казалось она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видѣть. На головѣ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги, или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ

подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившій рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихоопускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или по крайней мѣрѣ еще только готовился испустить послѣднее дыханіе. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бѣснующимся, который, увидѣвъ у Андрія драгоцѣнную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вцѣпился въ него, крича: «хлѣба!» Но силъ не было у него равныхъ бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицѣ, въ страшныхъ судоргахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухѣ чего-нибудь питающаго силы. У воротъ одного дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ она уже не слышала и не видѣла ничего и, опустивъ голова на грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся и изсохшее тѣло. Бѣднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытерпѣлъ не спросить Татарку: «Неужели они однакожъ совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходитъ послѣдняя крайность, тогда дѣлать нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ до толѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь.»

«Все переѣли,» сказала Татарка: «всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городѣ. У насъ въ городѣ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень.»

«Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, всё еще думаете оборонить городъ?»

«Можетъ быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Бужанахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобы не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого полковника, чтобъ идти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждутъ ихъ . . . Но вотъ мы пришли къ дому.»

Андрій уже издали видѣлъ домъ, непохожій на другіе и, какъ казалось, строенны какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ: онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галлерею; между ними были видны рѣшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лѣстница, изъ крашеныхъ кирпичей, выходила на самую площадь. Внизу лѣстницы сидѣло по одному часовому, которые картинно и симетрически держались одной рукой за стоявшія подлѣ нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось такимъ образомъ болѣе походили на изваянія, чѣмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на тò, кто всходилъ по лѣстницѣ. На верху лѣстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но Татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь, въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую пріемною, или просто, переднею; она была наполнена вся сидѣвшими въ разныхъ положе-

ніяхъ у стѣнъ солдатами, слугами, псарями, виночерпіями и прочей дворней, необходимою для показанія сана польскаго вельможи. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи; двѣ другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человѣка, подсвѣчникахъ, стоявшихъ посрединѣ, не смотря на то, что уже давно въ рѣшетчатое широкое окно глядѣло утро. Андрій уже было хотѣлъ идти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣзныхъ украшеній; но Татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли они въ корридоръ и потóмъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свѣтъ, проходившій сквозь щель ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь Татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснулъ свѣтъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видѣлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, упадавшею на поднятую къ верху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ.

Онъ не помнилъ, какъ вошелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣлъ женщину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ какомъ-то быстромъ движеньи. Казалось, какъ-будто вся фигура ея хотѣла броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такою воображалъ онъ ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту; но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное; теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ

кисти. То́ была прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся красѣ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившую въ душу; грудь, шея и плечи заключились въ тѣ прекрасныя границы, которыя назначены вполнѣ развившейся красотѣ; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую, роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинѣ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, всѣ до одной измѣнились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ хоть одну изъ тѣхъ, которыя носились въ его памяти, — ни одной. Какъ ни велика была ея блѣдность, но она не помрачала чудесной красоты ея, напротивъ, какъ-будто придала ей что-то стремительное, неотразимо-побѣдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была поражена видомъ козака, представшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвственнаго огня, и какъ шелкъ лоснился молодой черный усъ.

«Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь,» сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. «Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя, не мнѣ слабой женщинѣ....» она потупила свои очи; прекрасными, снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, охраненныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилося все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Не зналъ, что́ сказать на это Андрій; онъ хо-

тѣлъ бы выговорить все, что́ ни есть на душѣ, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ — и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова; почувствовалъ онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчатъ на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату Татарка. Она уже успѣла нарѣзать, ломтями принесенный рыцаремъ хлѣбъ, несла его на золотомъ блюдѣ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлѣбъ и возвела очи на Андрія, — и много было въ очахъ тѣхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавшій изнеможенье и безсилье выразить обнявшія ее чувства, былъ болѣе доступенъ Андрію, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевныя движенья и чувства, которыя дотолѣ какъ-будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на волѣ, и уже хотѣли излиться въ неукротимые потоки словъ. Какъ вдругъ красавица, обратясь къ Татаркѣ, безпокойно спросила: «А мать? ты отнесла ей?»

«Она спитъ.»

«А отцу?»

«Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря.»

Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: «Довольно, не ѣшь больше! ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ.» И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что́ видится иной разъ во взорахъ

дѣвы, ниже́ того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

«Царица» вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: «что́ тебѣ нужно, чего ты хочешь? прикажи мнѣ! задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ — я побѣгу исполнить ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человѣкъ — я исполню, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но нѣтъ, нельзя сказать того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мои, все, что́ принесла отцу мать моя, что́ даже отъ него скрываетъ она — все мое! Нѣтъ ни у кого теперь изъ козаковъ нашихъ такого оружія, какъ у меня: за одну рукоять моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою, черною бровью! но знаю, что, можетъ быть, несу глупыя рѣчи, и не кстати, и не йдетъ все это сюда, что не мнѣ, проведшему жизнь въ бурсѣ и на Запорожьи, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли, князья и все, что́ ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою другія боярскія жены и дочери-дѣвы.»

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая, полная силъ душа, и каждое простое слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, летѣвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядѣла съ открытыми устами; потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеньемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его

стоятъ позади суровыми мстителями, что страшны облегшіе городъ Запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ своимъ городомъ.... и глаза ея вдругъ наполнились слезами; она схватила платокъ шитый шелками, набросила его себѣ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрасную нижнюю губу, какъ-бы внезапно почувствовавъ какое то укушеніе ядовитаго гада и не снимая съ лица платка, чтобы *онъ* не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

«Скажи мнѣ одно слово!» сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно въ рукѣ его.

Но она молчала, не отнимала платка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты такъ печальна? скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, овернула, падающіе на очи длинные волосы свои и вся разлилася въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись въ прекрасный вечеръ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника, — зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго стука гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

«Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній? не несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? не горькая ли доля пришлась на часть мнѣ? не лютый ли ты палачь мой, моя свирѣпая судьба? Всѣхъ ты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатѣйшихъ пановъ, графовъ и иноземныхъ бароновъ и все, что́ ни есть цвѣтъ нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою. Стоило мнѣ

только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій, прекраснѣйшій лицомъ и породою, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирѣпая судьба моя; а причаровала мое сердце мимо лучшихъ витязей земли нашей къ чуждому, ко врагу нашему. За что́ же ты, Пречистая Божья-Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленья, такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобиліи и роскошномъ избыткѣ всего текли дни мои; лучшія дорогія блюда и сладкія вина были мнѣ снѣдью. И на что́ все это было? къ чему оно все было? къ тому ли, чтобы наконецъ, умереть лютою смертью, какой-не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь, мало того, что передъ концомъ своимъ должна видѣть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенія которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою, мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горче, чтобы еще жалче было мнѣ моей молодой жизни, чтобы страшнѣе казалась мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣпая судьба моя, и тебя, прости мое прегрѣшеніе, Святая Божья Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное, чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустившихся очей, до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо пламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Нѣтъ счастья на лицѣ этомъ!»

«Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть тому,» говорилъ Андрій: «чтобы красивѣйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то́, чтобы передъ ней, какъ передъ святыней, преклонилось все, что́ ни есть лучшаго на свѣтѣ. Нѣтъ, ты не ум-

решь, не тебѣ умирать, клянусь моимъ рожденіемъ и всѣмъ, что́ мнѣ мило на свѣтѣ, ты не умрешь! Если же будетъ уже такъ, и ничѣмъ, ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмѣстѣ, и прежде умру я, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колѣнъ, и развѣ уже мертваго меня разлучатъ съ тобою.»

«Не обманывай, рыцарь, и себя и меня,» говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: «знаю, и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня, знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, — а мы враги тебѣ.»

«А что́ мнѣ отецъ, товарищи, отчизна? сказалъ Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрѣчная осокорь, станъ свой: «такъ если жъ такъ, такъ вотъ что: нѣтъ у меня никого! Никого, никого!» повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и съ тѣмъ движеніемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказалъ, что моя отчизна Украйна? кто далъ мнѣ ее въ отчизны? Отчизна есть то́, чего ищетъ душа наша, что́ милѣе для нея всего. Отчизна моя — ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердцѣ моемъ, понесу ее, пока станетъ моего вѣку, и посмотрю, пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! и все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!»

На мигъ остолбенѣвъ, какъ прекрасная статуя, смотрѣла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностію, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ; онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханія, какъ слезы

ея текли ручьями къ нему на лицо и всѣ спустившіеся съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блестящимъ шелькомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ Татарка: «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя: «наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ Запорожцевъ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе *наши* вошли въ городъ, что́ привезли съ собою и какихъ связали Запорожцевъ. Польный чувствъ, вкушаемыхъ не на землѣ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то́, что́ одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! пропалъ для всего казацкаго рыцаства! не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божіей. Украйнѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чуприны, и проклянетъ и день и часъ, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

VII.

Шумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами былъ пьянъ мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣсть ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся Запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всѣмъ, и когда

всѣ стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: «Такъ вотъ что́, пано́ве-братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмѣль! вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начхаетъ, такъ вы того не услышите.»

Козаки всѣ стояли понуривъ головы, зная вину: одинъ незама́йковскій куренной ата́манъ Кукубенко отозвался: «Постой, батько!» сказалъ онъ: «хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо попрекнулъ. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжкой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого христіанскаго воздержанья не было; какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что̀ такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пятъ не унесутъ до́мой.»

Рѣчь куренного ата́мана понравилась козакамъ. Они приподняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примовивши: Добре сказалъ Кукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшій не далеко отъ кошевого, сказалъ: «А что, кошевой? видно, Кукубенко правду сказалъ! что́ ты скажешь на это?»

«А что́ скажу? скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бо́льшая мудрость сказать такое слово, которое не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде.»

«Добре сказалъ и кошевой!» отозвалось въ рядахъ Запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили другіе. И самые сѣдые, стоявшіе, какъ сизые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Теперь слушайте же, понóве!» продолжалъ кошевой. «Брать крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чужеземные нѣмецкіе мастера — пусть, ея врагъ прикинется! и не прилично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что́ есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ не много; народъ въ городѣ голодный, стало быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна.... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой.... только про это еще Богъ знаетъ; а ксензы-то ихъ горазды на одни слова. За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздѣляйся же на три кучи и становись на три дороги передъ тремя воротами. Передъ главными воротами пять куреней, передъ другими по три куреня. Дядыкивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду; Тытаревскій и Тимошевскій курень на запасъ съ праваго боку обоза, Щербиновскій и Стебликивскій верхній, съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду молодцы, которые позубастѣй на слово, задирать непріятеля! У Ляха пустоголовая натура, брани не вытерпитъ и, можетъ быть, сегодня же всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Куренные ата́маны, всякій перегляди курень свой: у кого недочетъ, пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмѣль всѣмъ по чаркѣ и по хлѣбу на козака! Только, вѣрно, всякій еще вчерашнимъ сытъ, ибо, некуда дѣть правды, поначадились всѣ такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-Жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свинное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За работу же, братцы, за работу!»

Такъ распоряжался кошевой, и всѣ поклонились

ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились къ своимъ возамъ и таборамъ, и когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ придумать, куда бы дѣвался Андрій; полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго; только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени. «Кому нужно меня?» сказалъ онъ наконецъ очнувшись. Передъ нимъ стоялъ Жидъ Янкель.

«Панъ полковникъ, панъ полковникъ!» говорилъ Жидъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ-будто бы хотѣлъ объявить дѣло несовсѣмъ пустое: «я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на Жида и подивился тому что онъ уже успѣлъ побывать въ городѣ. «Какой же врагъ тебя занесъ туда?»

«Я тотъ-часъ разскажу,» сказалъ Янкель. «Какъ только услышалъ я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ, и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ, дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу — впереди отряда панъ хорунжій, Галяндовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ знакомный: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы затѣмъ, чтобы выправить отъ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ городъ.»

«Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить!» сказалъ Бульба: «и не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?»

«А ей Богу, хотѣлъ повѣсить,» отвѣчалъ Жидъ:

«уже было его слуги совсѣмъ схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгу, сколько панъ хочетъ, и пообѣщалъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго — я все скажу пану — нѣтъ ни одного червоннаго въ карманѣ, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а гро́шей у него, такъ какъ у козака, ничего нѣтъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе Жиды, не въ чемъ было бы ему на войну выѣхать. Онъ и на сеймѣ оттого не былъ....»

«Что́ жъ ты дѣлалъ въ городѣ? видѣлъ нашихъ?»

«Какъ же, нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ Самуйло, Хайвальхъ, Еврей арендаторъ....»

«Пропади, они собаки!» вскрикнулъ, разсердившись, Тарасъ: «что́ ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? я тебя спрашиваю про нашихъ Запорожцевъ.»

«Нашихъ Запорожцевъ не видалъ, а видѣлъ одного пана Андрія.»

«Андрія видѣлъ?» вскрикнулъ Бульба: что́ жъ онъ? гдѣ видѣлъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? обезчещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? теперь онъ такой важный рыцарь.... далибугъ, я не узналъ. И наплечники въ золотѣ, и на поясѣ золото, и вездѣ золото, и все золото; такъ какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая пташка пищитъ и поетъ, и всякая травка пахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотѣ, и коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ: два ста червонныхъ сто́итъ одинъ конь.

Бульба остолбенѣлъ. «Зачѣмъ же онъ надѣлъ чужое одѣянье?»

«Потому что лучше, потому и надѣлъ. И самъ разъѣзжаетъ, и другіе разъѣзжаютъ, и онъ учитъ, и его учатъ: какъ наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто же его принудилъ?»

«Я жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ.

Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?»

«Кто перешелъ?»

«А панъ Андрій.»

«Куда перешелъ?»

«Перешелъ на ихъ сторону; онъ уже теперь совсѣмъ ихній.»

«Врешь, свинное ухо!»

«Какъ же можно, чтобы я вралъ? дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? на свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что Жида повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ.»

«Такъ это выходитъ онъ, по-твоему, продалъ отчизну и вѣру?»

«Я же не говорю этого, чтобы онъ продалъ что́, я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ.»

«Врешь, чортовъ Жидъ! такого дѣла не было на христіанской землѣ! ты путаешь, собака!»

«Пусть трава поростетъ на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, свекра и отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ.»

«Отчего?»

«У воеводы есть дочка красавица, святой Боже! какая красавица!» Здѣсь Жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ глазъ и покрививши на бокъ ротъ, какъ-будто чего-нибудь отвѣдавши.

«Ну, такъ что́ же изъ того

«Онъ для нея и сдѣлалъ все и перешелъ. Коли человѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размочишь въ водѣ, возьми, согни — она и согнется.»

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія, и стоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

«Слушай, панъ, я все разскажу пану,» говорилъ Жидъ: «а какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчугу, потому что въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ хоть и ѣсть нечего, а жемчутъ всё-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-Татарки: будетъ свадьба сей-часъ, какъ только прогонятъ Запорожцевъ. Панъ Андрій обѣщался прогнать Запорожцевъ.»

«И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?» вскрикнулъ Бульба.

«За что́ же убить? онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ человѣкъ виноватъ? тамъ ему лучше, туда и перешелъ.»

«И ты видѣлъ его въ самое лицо?»

«Ей Богу въ самое лицо: такой славный вояка! всѣхъ взрачнѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотъ-часъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотъ-часъ сказалъ . . .»

«Что́ жъ онъ сказалъ?»

«Онъ сказалъ, — прежде кивнулъ пальцемъ, а потóмъ уже сказалъ: «Янкель!» А я: «панъ Андрій!» говорю. «Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи Запорожцамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричалъ, вышедъ изъ себя, Тарасъ: «врешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человѣкъ! Я тебя убью, сатана! утекай отсюда, не то — тутъ же тебѣ и смерть!» И сказавши, это, Терасъ выхватилъ свою саблю.

Испуганный Жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потóмъ далеко по всему чистому

полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою; а всё еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А Запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликóвскій, Незамáйковскій, Гургазивъ, Титаревскій, Тимошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся связаннымъ во вражьихъ рукахъ, кто и совсѣмъ не просыпаясь, сонный перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ. Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляшскомъ станѣ.

Въ городѣ услышали козацкое движенье. Всѣ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другого красивѣй, стояли на валу. Мѣдныя шапки сіяли, какъ солнца, оперенныя бѣлыми, какъ лебедь перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми набекрень верхами. Кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками. У тѣхъ сабля и ружья въ дорогихъ правахъ, за которыя дорого приплачивались паны, и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напереди стоялъ спѣсиво, въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше и толще, и широкій, дорогой кафтанъ на-силу облекалъ его. На другой сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человѣкъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей и оборачивался онъ скоро на всѣ

стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, не смотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскѣ на лицѣ: любилъ панъ крѣпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что́ ни нашлось въ дѣдовскихъ за́мкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на обѣды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, послѣ сегодняшняго почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всякихъ было тамъ. Иной разъ и выпить было не на что, а на войну все принарядилось.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было изъ нихъ ни на комъ золота; только развѣ кое-гдѣ блестѣло оно на сабельныхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли черныя, червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхали впередъ изъ запорожскихъ рядовъ. Одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Микига Голокопытенко. Слѣдомъ за ними выѣхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сѣчѣ, бывшій подъ Адріанополемъ и много потерпѣвшій на вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и прибѣжалъ на Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею головою и сгорѣвшими усами. Но раздобрѣлъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, выростилъ усы густые и черные, какъ смоль, и крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я васъ!» кричалъ сверху дюжій поклов-

никъ: «всѣхъ перевяжу! отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ Запорожцевъ!»

И вывели на валъ скрученными веревками Запорожцевъ!»

Впереди ихъ былъ куренной ата́манъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, такъ какъ схватили его хмѣльного. И потупилъ голову ата́манъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. Въ одну ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

«Не печалься, Хлибъ! выручимъ!» кричали ему снизу козаки.

«Не печалься, друзяка!» отозвался куренной ата́манъ Бородатый: «въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей.»

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко.

«Вотъ погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!» кричали имъ сверху.

«А хотѣлъ бы я поглядѣть, какъ они намъ обрѣжутъ чубы!» говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конѣ, и потомъ, поглядѣвши на своихъ, сказалъ: «А что жъ? можетъ быть, Ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая защита.»

«Отчего жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?» сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь копьемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще покачивали головою, говоря: «Ну ужъ Поповичъ! ужъ коли кому закрутитъ слово, такъ только ну...» — Да ужъ и не сказали козаки, что̀ такое *ну*.

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣнъ!» за-

кричалъ кошевой; ибо Ляхи, казалось, не выдержали ѣдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала картечью. На валу засуетились, показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ конным строемъ гусары, за ними кольчужники, потомъ всѣ въ мѣдныхъ шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ лучшіе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ съ своими. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій, за нимъ опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ, а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенкій полковникъ.

«Не давать имъ! не давать имъ строиться и становиться въ ряды!» кричалъ кошевой: «разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте же прочія ворота! Титаревскій курень нападай съ боку! Дядьковскій курень нападай съ другого! Напирайте на тылъ, Кукубенко и Паливода! Мѣшайте и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали Ляховъ и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы произвесть; пошло дѣло на мечи, да на копья. Всѣ сбились въ кучу, и каждому привелъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ и двухъ лучшихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ добрые кони! такихъ коней я давно хотѣлъ достать.» И выгналъ коней далеко въ полѣ, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ опять на сбитыхъ шляхтичей, одного убилъ, а другому накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявъ съ него саблю съ дорогою рукояткою и отвязавъ отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобѝта, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ вой-

скѣ, и долго бились они. Сошлись уже въ рукопашный, одолѣлъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ острымъ турецкимъ ножомъ въ грудь. Но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго рода рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конѣ своемъ. И много уже показалъ боярской богатырской удали: двухъ Запорожцевъ разрубилъ на двое, Ѳедора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣлилъ по коню, а козака досталъ изъ-за коня копьемъ; многимъ отнялъ головы и руки, повалилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

«Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы?» закричалъ незамайковскій куренный ата́манъ, Кукубенко. Припустивъ коня, налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ-что вздрогнули всѣ близъ-стоявшіе отъ нечеловѣческаго крика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня Ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь; испуганный страшнымъ крикомъ, метнулся на сторону, и досталъ его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался Ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему въ самыя поблѣднѣвшія уста. Вышибъ два сахарные зуба палашъ, разсѣкъ надвое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю; такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ на-вѣки къ сырой землѣ. Ключемъ хлынула вверхъ алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими Незама́йковцами въ другую кучу.

»Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!» сказалъ уманскій куренной ата́манъ Бородатый, отъѣзжая отъ своихъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. «Я семерыхъ убилъ шлях-

тичей своею рукою, а такого убранства еще не видѣлъ ни на комъ.» И польстился корыстью Бородатый, нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ серебромъ и дѣвическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышалъ Бородатый, какъ налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ сѣдла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шеѣ. Не къ добру повела корысть: отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя и вмѣстѣ съ тѣмъ дивясь что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ ата́манскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлу, а ужъ былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный среди воздуха на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела: такъ Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и съ разу накинулъ ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился онъ было за пистолетъ, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрѣла, и пуля даромъ полетѣла въ полѣ. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпилъ конецъ веревки къ сѣдлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь ата́ману.

Какъ услышали Уманцы, что куренного ихъ ата́мана Бородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и прибѣжали прибирать его тѣло, и тутъ же

стали совѣщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ сказали: «Да на что́ совѣщаться? лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человѣка.»

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ ата́маны. Почувствовали Ляхи, что уже становилось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобъ собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни, и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быка́мъ козацкимъ, дико глядѣвшимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, переломали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ, въ это время вырвавшись изъ засады съ своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на-переймы. Поворотило назадъ все бѣшеное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на ляшскіе полки, опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

«О, спасибо вамъ, волы!» кричали Запорожцы: «служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многіе показали себя: Метелица, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко и немало было всякихъ. Увидѣли Ляхи, что плохо наконецъ приходитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворялись обитыя желѣзомъ ворота и приняли толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ Запорожцевъ погнались было за ними, но Остапъ своихъ Уманцевъ остановилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны-братья, отъ стѣнъ! не годится близко подходить къ нимъ.» И правду сказалъ, потому что со стѣнъ грянуло и посыпали

всѣмъ, чѣмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подъѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавши: «Вотъ и новый атàманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!» Оглянулся старый Бульба погляд-дѣть, какой тамъ новый атàманъ, и увидѣлъ, что впереди всѣхъ Уманцевъ сидѣлъ на конѣ Остапъ и шапка на бекрень, и ата́манская палица въ рукѣ. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ, глядя на него, и обрадовался старый и сталъ благодарить всѣхъ Уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались Ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

«Что перевязали?» кричали имъ снизу Запорожцы.

«Вотъ я васъ!» кричалъ все также сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и всё еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и всѣ, бывшіе позадорнѣе, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, утомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и далъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдать имъ послѣднюю почесть. Палашами, копьями копали могилы, шапками, полами выносили землю, сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось во́ронамъ и хищнымъ орламъ выклевать имъ очи. А ляшскія тѣла, привязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трупы.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечеромъ и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ

удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя, что́ бы значило, что Андрія не было между вражьихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противу своихъ, или обманулъ Жидъ и попался онъ, просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ-мѣру было наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовалъ скорбь и заклялся сильно въ душѣ противъ Полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, пышную косу, волокъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что́ покрываютъ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что́ готовитъ Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ и наконецъ заснулъ. А козаки все еще говорили промежъ собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всѣ концы, трезвая, несмыкавшая очей стража.

VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ Запорожцы собрались въ кучу. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что Татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырили скарбъ, который втайнѣ держали козаки подъ землей, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мѣшокъ съ цехинами и на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ, полтора дня и двѣ ночи, уходилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пересѣлъ на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ пріѣ-

халъ въ запорожскій таборъ, развѣдавъ на дорогѣ, что Запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что случилось такое зло: но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся Запорожцы, по козацкому обычаю и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали Татары мѣсто, гдѣ былъ зарытъ войсковой скарбъ — этого ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у Запорожцевъ гнаться въ ту жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ-разъ могли очутиться на базарахъ малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ островѣ, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя запорожскія головы. Вотъ отчего собрались Запорожцы. Всѣ до единаго стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ ровные между собою. «Давай совѣтъ прежде старшіе!» закричали въ толпѣ. «Давай совѣтъ кошевой!» говорили другіе.

И кошевой, снявъ шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ; но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за Татариномъ; ибо вы сами знаете, что́ за человѣкъ Татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размыта-ритъ его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: идти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, что́ такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отмстили; корысти же съ голоднаго города немного. И такъ мой совѣтъ: идти.»

«Идти!» раздалось громко въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ такія слова и навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурныя, изчерна-бѣлыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ

по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣверный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» сказалъ онъ: «ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные Ляхами? ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили перваго святаго закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они съ гетманомъ и лучшими русскими витязями на Украйнѣ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Что жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъ васъ: что жъ за козакъ тотъ, который кинулъ въ бѣдѣ товарища, кинулъ его какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во что́ ставитъ козацкую честь, позволивъ себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои и попрекать себя обиднымъ словомъ, такъ не укоритъ же никто меня. Одинъ остаюсь!»

Поколебались всѣ стоявшіе Запорожцы.

«А развѣ ты позабылъ, бравый полковникъ,» сказалъ тогда кошевой, «что у Татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, что́ хуже всякой лютой смерти; позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?»

Задумались всѣ козаки и не знали, что́ сказать. Никому не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ у всѣхъ козаковъ; два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарѣлся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и совѣтовъ давать никому, а любилъ старый вѣчно лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая разсказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только

слушалъ, да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкѣ, которой не выпускалъ изо рта, и долго сидѣлъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; на сей разъ разобрало стараго. Махнулъ рукою по-козацки и сказалъ: «А не куды пошла! пойду и я, можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, что́ скажетъ Бовдюгъ.

«Пришла очередь мнѣ сказать слово, паны-братья,» такъ онъ началъ: «послушайте, дѣти, стараго. Мудро сказалъ кошевой и, какъ голова козацкаго войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что́! Это пусть будетъ первая моя рѣчь; а теперь послушайте, что́ скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ что́ скажетъ моя другая рѣчь: большую правду сказалъ и Тарасъ полковникъ, дай Богъ ему побольше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украйнѣ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны-братья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ, или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тѣ и другіе намъ товарищи — меньше ихъ, или больше, все равно, все товарищи, всѣ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захваченные Татарами, пусть отправляются за Татарами, а которымъ милы полоненные Ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дѣла, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за Татарами, а другая половина выберетъ себѣ наказного ата́мана. А наказнымъ ата́маномъ, коли хотите послушать бѣлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульбѣ. Нѣтъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести.»

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ, и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ

старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: «Спасибо тебѣ, батько! молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будетъ пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось.»

«Что́? согласны вы на то?» спросилъ кошевой.

«Всѣ согласны!» закричали козаки.

«Стало быть, радѣ конецъ?»

«Конецъ радѣ!» кричали козаки.

«Слушайте жъ теперь войскового приказа, дѣти,» сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку, а всѣ Запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, потупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что́ говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны-братья! кто хочетъ идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на лѣвую; куда большая часть куреня переходитъ, туда и остальная; коли меньшая часть переходитъ, приставай къ другимъ куренямъ.»

И вотъ стали переходитъ кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной ата́манъ переходилъ, котораго малая часть, то приставало къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти незамайковскій курень, большая половина попо́вичевскаго куреня, весь уманскій курень, весь каневскій курень, большая половина стебликѝвскаго куреня, большая половина тимошевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались идти въ-догонь за Татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились идти вслѣдъ за Татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ Покоти́поле, Лемѝшъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завзятаго нрава козакъ, не могъ долго высидѣть на мѣстѣ: съ Ляхами попробовалъ онъ уже дѣла, захотѣлось попробовать еще съ Татарами. Куренные были Ностюга́нъ, По́крышка, Невымзкій, и

много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткѣ съ Татариномъ. Немало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тѣми, которые захотѣли остаться: куренные Демитровичъ, Кукубенко, Вертúхвистъ, Балáнъ, Бýльбенко Остапъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевичéнко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Викола Густый, Задорожній, Метéлица, Иванъ Закрутúгуба, Мосій Шило, Дегтярéнко, Сидоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые; ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всѣмъ рѣчкамъ большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой землѣ; изъѣздили все Черное море двухрульными козацкиму челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили немало турецкихъ галеръ и много, много выстрѣляли пороху на своемъ вѣку; не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пропилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счета не было. Все спустили по козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, чтó ни есть на свѣтѣ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не довелось Татарину найти его, если бы, въ случаѣ несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было бы Татарину найти, потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить Ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдю́гъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь не такія мои лѣта, чтобы гоняться за

Татарами; а тутъ есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просилъ я Бога, чтобы, если придется кончить жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака.»

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ: «А что́, панове-братове? довольны одна сторона другою?»

«Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.

«Ну, такъ поцѣлуйтесь же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего ата́мана, а исполняйте то, что́ сами знаете; сами знаете, что́ велитъ козацкая честь.»

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые ата́маны, и, повѣдши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навскрестъ и пото́мъ, взявъ за руки и крѣпко держа руки, хотѣлъ одинъ другого спросить: «Что́, пане-брате? увидимся или не увидимся?» да и не спросили, замолчали и загадались обѣ сѣдыя головы. А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ, но не повершили однакожъ тотъчасъ разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобъ не дать непріятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ-будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго солнечнаго захода; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошапковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами, конница, чинно безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ за пѣшими, и вскорѣ стало ихъ не-

видно въ темнотѣ. Глухо отдавался только конскій топотъ да скрыпъ инаго колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшіеся товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихся ясно звѣздахъ, что половины телегъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ, многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, потупивъ въ землю гулливыя свои головы.

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храбрымъ, стало тихо обнимать козацкія головы, но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ унынъемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами; а между-тѣмъ въ тишинѣ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и съ бóльшею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ дýшу, на чтó способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, чтó море передъ мелководными рѣками. Коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ. Коли же безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою необъятную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ станѣ; двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелыя колеса его, грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возѣ были всё баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про-запасъ на торжественный случай, чтобы если случится великая минута, и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на

передачу потомкамъ, то чтобы всякому козаку, до единаго, досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое чувство овладѣло бы человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и бочонки.

«А берите всѣ,» сказалъ Бульба, «всѣ, сколько ни есть, берите, что́ у кого есть; ковшъ, или черпакъ, которымъ поитъ коня, рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти.»

И козаки всѣ, сколько ни было, брали у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ что какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина, и духа.

«Я угощаю васъ, паны-братья!» такъ сказалъ Бульба: «не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ ата́маномъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Предъ нами дѣло великаго поту, великой козацкой доблести! И такъ выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напередъ всего за святую православную вѣру, чтобы пришло наконецъ такое время, чтобъ по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна свята́я вѣра, и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ другого лучше, одинъ другого краше. Да уже вмѣстѣ

выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!»

«За вѣру!» загомонѣли всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. «За вѣру!» подхватили дальніе — и все, что́ ни было, и старое и молодое, выпило за вѣру.

«За Сѣчь!» сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

«За Сѣчь!» отдалося густо въ переднихъ рядахъ. »За Сѣчь!« сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: «за Сѣчь!» И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сѣчь.

«Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!»

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куренями: «За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!»

Уже пусто было въ ковшахъ, а всё еще стояли козаки, поднявши руки; хоть весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно задумались они. Не о корысти и военномъ прибыткѣ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но задумались они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ, высокихъ горъ, съ которыхъ, далеко видно разстилающееся безпредѣльное море, усыпанное, какъ мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ прибрежными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ оврагами и дорогами, покрыто ихъ бѣлыми торчащими костями,

щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными къ низу усами; будутъ орлы, налетѣвъ, выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегѣ! не погибаетъ ни одно великодушное дѣло и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а можетъ быть, полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что́ ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ; ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которою мастеръ много повергнулъ дорогого, чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

IX.

Въ городѣ не узналъ никто, что половина Запорожцевъ выступила въ погоню за Татарами. Съ магистратской башни примѣтили только часовые, что потянулась часть возовъ за лѣсъ; но подумали, что козаки готовились сдѣлать засаду; то же думалъ и французскій инженеръ; а между-тѣмъ слова кошевого не прошли даромъ, и въ городѣ оказался недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ вѣковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали сдѣлать вылазку, но половина смѣльчаковъ была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни-съ чѣмъ. Жиды однакоже воспользовались вылазскою и пронюхали все: куда и зачѣмъ отправились Запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно́ курени; и сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что́ они думаютъ дѣлать,

словомъ, чрезъ нѣсколько уже минутъ въ городѣ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣлъ то́ по движенью и шуму въ городѣ, и расторопно хлопоталъ, строилъ, раздавалъ приказы и наказы, уставилъ въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей, — родъ битвы, въ которой бывали непобѣдимы Запорожцы; двумъ куренямъ повелѣлъ забраться въ засаду; убилъ часть поля острыми кольями, изломанныхъ оружіемъ, обломками копьевъ, чтобы при случаѣ загнать туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ — зналъ, что и безъ того крѣпки они духомъ — а просто, самому хотѣлось высказать все, что́ было на сердцѣ.

«Хочется мнѣ вамъ сказать, пано́ве, что́ такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша; и Грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго народа, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы сирые, да какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая, такъ же какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство; вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! нѣтъ узъ святѣе товарищества. Отецъ любитъ свое дитя, мать любитъ свое дитя, дитя любитъ отца и мать; но это не то́, братцы: любитъ и звѣрь свое дитя! но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному, помногу пропадать на чужбинѣ: видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; такіе же люди, да не тѣ! нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ русская душа, любить не то, чтобы умомъ

или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что́ ни есть въ тебѣ — а!...» сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: «Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребахъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкѣ. Милось чужого короля, да и не короля, а скудную милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у послѣдняго падлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажѣ и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется онъ когда-нибудь, и ударится онъ, горемычный, объ полы руками; схватитъ себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, что́ такое значитъ въ русской землѣ товарищество! Уже если на то́ пошло, чтобы умирать, такъ никому жъ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому! никому! не хватитъ у нихъ на то́ мышиной натуры ихъ!»

Такъ говорилъ ата́манъ, и когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою; всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ, и потомъ всѣ, какъ-будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что́ бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и непознавшаго ихъ, но много

почуявшаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамь-родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города выступало уже непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и подбоченившись, выѣзжали паны, окруженные несмѣтными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они быстро на козацкіе таборы, грозя, нацѣливаясь пищалями, сверкая очами и блестя мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣли козаки, что подошли они на ружейный выстрѣлъ, всѣ разомъ грянули въ семипядныя пищали и, не прерывая, всё палили изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ безпрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а Запорожцы всё палили, не переводя духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятеля, немогшаго понять, какъ стрѣляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не ставало въ рядахъ; но чувствовали Ляхи, что густо летѣли пули и жарко становилось дѣло; и когда попятились назадъ, чтобы посторониться отъ дыму и оглядѣться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить козаки изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ невиданной тактикѣ, сказавши тутъ же при всѣхъ: «Вотъ бравые молодцы, Запорожцы! вотъ какъ нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!» И далъ совѣтъ воротить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки; дрогнула далеко, загудѣвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленныя ядра выгнули слишкомъ высокую дугу; страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ

высоко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы, французскій инженеръ при видѣ такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему незамайковскому и стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: «Выбирайтесь скорѣй изъ-за возовъ и садись всякій на коня!» Но не поспѣли бы сдѣлать то́ и другое козаки, если бы Остапъ не ударилъ въ самую средину, выбилъ фитили у шести пушкарей; у четырѣхъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ Ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитилъ, что бы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолѣ. Страшно глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю, много нанесли онѣ горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между нихъ одного милѣйшаго всѣхъ: но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного милѣйшаго всѣхъ.

Такъ какъ-будто и не бывало половины незамайковскаго куреня! какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красуется всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! какъ схватились всѣ! какъ закипѣлъ куренной ата́манъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нѣтъ! вбился онъ съ остальными своими Незамайковцами въ самую средину, въ гнѣвѣ изсѣкъ какъ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коня, доставши копьемъ и конника и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже

отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренный атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбилъ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу: такъ, гдѣ прошли Незамайковцы — такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили — такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились Ляхи! А у самыхъ возовъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ возовъ Дегтяренко, а за нимъ куренной атаманъ Вертихвисть. Двухъ уже шляхичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ наконецъ на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ Ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ васъ собакъ, козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ!»

«А вотъ есть же!» сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не разъ ата́манствовалъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ Турки у самаго Трапезонта и всѣхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желѣзныя цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все вынесли и вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не перемѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ ата́манъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную голову, вошелъ въ довѣренность къ пашѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми невольниками. Много опечалились оттого бѣдные невольники; ибо знали, что если свой продастъ вѣру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелѣй и горьче быть подъ его рукой: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жесткія веревки; всѣхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда Турки, обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать и,

позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили Турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный козакъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какого и мудрѣйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала козака. Пропилъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчи и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столбу и положили возлѣ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ Запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Мосій Шило.

«Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собакъ!» сказалъ онъ, кинувшись на него. И уже тамъ-то рубились они! и наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій Ляхъ желѣзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тѣла: зачервонила козацкая рубашка; но не поглѣдѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука!) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и грянулся Ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и уже досталъ бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почуялъ, что рано была смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на свою рану и сказалъ, оборотившись къ товарищамъ: «Прощайте, паны-братья-товарищи! пусть же стоитъ на вѣчныя времена право-

славная русская земля и будетъ ей вѣчная честь!» И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертихвистъ и выступалъ Балабанъ.

«А что́, паны?» сказалъ Тарасъ, перекликувшись съ куренными, «есть еще порохъ въ пороховницахъ? не ослабѣла ли козацкая сила? не гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабѣла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

И наперли сильно козаки: совсѣмъ смѣшали всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всѣ бѣжали Ляхи къ знаменамъ; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ, Кукубенко, ударилъ вновь съ своими Незамайковцами въ средину и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился въ-скачь; а Кукубенко далеко гналъ его черезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ.

Завидѣвъ то́ съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился за нимъ въ погоню, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши голову къ лошадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побрагровѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку обѣими руками и силясь разорвать ее; но уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копья! Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: «Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣки русская земля!» И тутъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ съ боку козакъ Метелица угощаетъ Ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими ата́манъ Невеличкій; а у возовъ ворочаетъ врага и бьетъ За-

крутигуба; а у дальнихъ возовъ третій Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ у другихъ возовъ схватились и бьются на самыхъ возахъ.

«Что́, паны?» перекликнулся ата́манъ Тарасъ, проѣхавши впереди всѣхъ: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? крѣпка ли еще козацкая сила? не гнутся ли уже козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ; прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: «Не жаль разстаться съ свѣтомъ! дай Богъ и всякому такой кончины! пусть же славится до конца вѣка русская земля!» И понеслась къ вышинамъ бовдюгова душа, разсказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на русской землѣ, и еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной ата́манъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша; а былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ козаковъ, много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ; но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ Анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяко́въ и всякихъ убранствъ. Но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ярдя. Какъ хватило ихъ съ корабля: половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ водѣ; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдѣлался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, чиня пробитыя мѣста; изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понеслись и убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбѣдно на Сѣчь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кіевскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи,

окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ. Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: «Сдается мнѣ, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а уже не припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно русская земля!» И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человѣкъ только осталось изо всего незамайковскаго куреня, уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже успѣло ему углубиться подъ сердце копье прежде, чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившихъ его козаковъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги и, поскользнувшись тутъ же у входа, разбили дорогую сулею; разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучшій случай жизни, чтобы, если приведетъ Богъ, на старости лѣтъ встрѣтиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человѣкъ. Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: «Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! пусть же послѣ насъ живутъ лучше, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ русская земля!» И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли ее къ небесамъ; хорошо будетъ ему тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную меня!» скажетъ ему Христосъ: «ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ Мою Церковь.» Всѣхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже рѣдѣли сильно козацкіе ряды;

многихъ храбрыхъ не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

«А что́, паны?» перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? не иступились ли сабли? не утомилась ли козацкая сила? не погнулись ли козаки?»

«Достанетъ еще, батько пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!»

И рванулись снова козаки такъ, какъ-бы и потерь никакихъ не понесли. Уже три только куренныхъ ата́мана осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красныя рѣки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражьихъ тѣлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метели́цу; уже голова другого Писаренка, завертѣвшись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю, на-четверо изрубленный Охримъ Гуска. «Ну!» сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады въ конницу. Не выдержали сильнаго напора Ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были вбиты въ землю колья и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы Ляхи. А въ это время Корсунцы, стоявшіе послѣдніе за возами, увидѣли, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись Ляхи, и пріободрились козаки. «Вотъ и наша побѣда!» раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые Ляхи. «Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ побѣда!» сказалъ Тарасъ, глядя на городскіе ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота и вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всѣхъ бойче, всѣхъ красивѣе; такъ и летѣли черные волосы изъ-подъ мѣд-

ной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это былъ Андрій. А онъ между-тѣмъ, объятый, пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся какъ молодой борзой песъ, красивѣйшій, быстрѣйшій и младшій всѣхъ въ стаѣ. Атукнулъ на него опытный охотникъ — и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на-бокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая снѣгъ и десять разъ выпереживая самаго зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и глядѣлъ на то, какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары на право и на лѣво. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: «Какъ? своихъ? своихъ? чортовъ сынъ, своихъ бьешь?» Но Андрій не различалъ, кто передъ нимъ былъ, свои или другіе какіе: ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ видѣлъ, длинныя, длинныя кудри и подобную рѣчному лебедю грудь, и снѣжную шею, и плечи, и все, что́ создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только его!» кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо на перерѣзъ гусарамъ. Ударили съ боку на переднихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватилъ палашомъ по спинѣ Андрія, и въ тотъ же часъ пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади только всего двадцать человѣкъ поспѣвало за нимъ; а козаки летѣли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лѣсу. Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голокопытенка, какъ вдругъ чьято сильная рука ухватила за поводъ его

коня. Оглянулся Андрій: передъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ блѣденъ, какъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкою по лбу, вспыхиваетъ, какъ огонь, бѣшеный вскакиваетъ съ лавки и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: въ мигъ притихаетъ бѣшеный порывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ-бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

«Ну, что́ жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, потупивши въ землю очи.

«Что́, сынку! помогли тебѣ твои Ляхи?»

Андрій былъ безотвѣтенъ.

«Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня!»

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

«Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!» сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣденъ, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны или матери, или братьевъ — это было имя прекрасной Полячки. Тарасъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почуявшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія черты. «Чѣмъ бы

не козакъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, какъ подлая собака!»

«Батько, что́ ты сдѣлалъ? это ты убилъ его?» сказалъ подъѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: «Предадимъ же, батько, его честно землѣ, чтобы не наругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы.»

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ у него плакальщики и утѣшницы!»

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сиромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было. Какъ видитъ — скачетъ къ нему на конѣ Голокопытенко: «Бѣда, ата́манъ, окрѣпли Ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!» Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовтузенко: «Бѣда, атàманъ, новая валитъ еще сила!» Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ коня: «Гдѣ ты, батько, ищутъ тебя козаки. Ужъ убитъ куренной ата́манъ Невеличкій, Задорожній убитъ, Черевиченко убитъ; но стоятъ козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ!»

«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы застать еще козаковъ, чтобы наглядѣться еще на нихъ и чтобы они взглянули передъ смертью на своего ата́мана. Но не выѣхали они еще изъ лѣсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и между деревьями вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. «Остапъ, Остапъ! не поддавайся!» кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю наголо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ

добрый часъ видно наскочило: съ одного полетѣла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля — вздыбилъ бѣшеный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. «До́бре, сынку! до́бре, Остапъ!» кричалъ Тарасъ: «вотъ я слѣдомъ за тобою.» А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплетъ гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. «Остапъ, Остапъ! не поддавайся!» Но уже одолѣваютъ Остапа; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!» кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!...» Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули передъ нимъ головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

X.

«Долго же я спалъ!» сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ послѣ труднаго хмѣльного сна, и стараясь распознать окружающіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его члены. Едва метались передъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ, и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханью.

«Да,» подумалъ про-себя Товкачъ, «заснулъ бы ты, можетъ быть, и на-вѣки!» но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

«Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?» спросилъ опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи жъ!» прикрикнулъ сурово на него товарищъ: «чего тебѣ еще хочется знать? развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ спокойно. Молчи жъ, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣды.»

Но Тарасъ всѣ старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совсѣмъ Ляхи? мнѣ жъ не было никакой возможности выбиться изъ толпы?»

«Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричитъ неугомонному повѣсѣ-ребенку. «Что́ пользы знать тебѣ, какъ выбрался? довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали — ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще немало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простого козака? нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ.»

«А Остапъ?» вскричалъ вдругъ Тарасъ, понатужился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляшскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ перевязки ранъ своихъ: бросилъ ихъ далеко прочь; хотѣлъ громко что-то сказать — и вмѣсто того понесъ чепуху: жаръ и бредъ вновь овладѣли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя рѣчи. А, между-тѣмъ, вѣрный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпивши веревками къ сѣдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

«Хотя неживого, да довезу тебя! не попущу, чтобы Ляхи поглумились надъ твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тѣло да бросали бы въ воду. Пусть же, хотя и будетъ орелъ выклевывать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не ляшскій,

не тотъ, что́ прилетаетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!»

Такъ говорилъ вѣрный товарищъ; скакалъ безъ отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственнаго въ самую запорожскую Сѣчь. Тамъ принялся онъ лечить его неутомимо травами и смачиваніями; нашелъ какую-то знающую Жидовку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и наконецъ Тарасу стало лучше. Лекарство ли, или своя желѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже замѣтно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство. И тѣ, которые отправились съ кошевымъ въ-угонъ за Татарами, и тѣхъ уже не было давно: всѣ положили головы, всѣ сгибли; кто положилъ въ самомъ бою честную голову; кто отъ безводья и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну пропалъ, не вынесши позора; и самого прежняго кошевого уже давно не было на свѣтѣ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже поросла травою когда-то кипѣвшая козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ; вся перебита въ-дребезги посуда; нигдѣ не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды — и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая, лучше бъ и не было того пира. Напрасно старались занять и резвеселить Тараса; напрасно бородатые, сѣдые бандуристы, проходя по два и по три, разславляли его козацкіе подвиги — сурово и равнодушно глядѣль онъ на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ мой, Остапъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, и малая

Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣтущіе берега ея; видѣла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровію поляхъ и плававшими у береговъ. Она видѣла немало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десяти-пушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двѣнадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и степи, будто-бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣленнымъ; и, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понуривъ голову и всё говоря: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное Море; въ дальномъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усъ его сереблился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержалъ наконецъ Тарасъ! «Что бы ни было, пойду развѣдать, что́ онъ? живъ ли онъ? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Развѣдаю, во что́ бы ни стало!» И черезъ недѣлю уже очутился онъ въ городѣ Умани, вооруженный, на конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у сѣдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядомъ. Онъ прямо поѣхалъ къ нечистому, запачканному домишку, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченныя неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и дыравая крыша вся была покрыта воробьями; куча

всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова Жидовки въ чепцѣ съ потемнѣвшими жемчугами.

«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

«Дома,» сказала Жидовка и поспѣшила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ для коня и стопой пива для рыцаря.

«Гдѣ же твой Жидъ?»

«Онъ въ другой свѣтлицѣ, молится,» проговорила Жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стопу.

«Оставайся здѣсь, накорми и напой моего коня, а я пойду поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло.»

Этотъ Жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружныхъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское присутствіе въ той сторонѣ. На разстояніи трехъ миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась бѣдность да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣлъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились Жиду прежде всего въ глаза двѣ тысячи червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себѣ вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу Жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ Жиду, кото-

рый началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. «Я спасъ твою жизнь — тебя бы розорвали, какъ собаку, Запорожцы — теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу!»

Лицо Жида нѣсколько поморщилось.

«Какую услугу? если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?»

«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!»

«Въ Варшаву? какъ въ Варшаву?» сказалъ Янкель; брови и плеча его поднялись вверхъ отъ изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву. Что́ бы ни было, а я хочу еще разъ увидать его; сказать ему хоть одно слово.»

«Кому сказать слово?»

«Ему, Остапу, сыну моему.»

«Развѣ панъ не слышалъ, что уже . . .»

«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двѣ тысячи червонныхъ), а остальные, какъ ворочусь.»

Жидъ тотъ-часъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы. «Ай, славная монета! ай, добрая монета!» говорилъ онъ, вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. «Я думаю, тотъ человѣкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не прожилъ на свѣтѣ: пошелъ тотъ же часъ въ рѣку да и утонулъ тамъ послѣ такихъ славныхъ червонцевъ?»

«Я бы не просилъ тебя; я бы самъ, можетъ быть, нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ нибудь узнать и захватить проклятые Ляхи; ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, Жиды, на то́ уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрегъ, да и: «Эй ну, пошелъ сивка!» Думаетъ панъ,

что можно такъ, какъ есть, не спрятавши, везти пана?»

«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, что́ ли?»

«Ай, ай! а панъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что въ бочкѣ гори́лка?»

«Ну такъ и пусть думаетъ, что горилка.»

«Какъ? пусть думаетъ, что горилка?» сказалъ Жидъ и схватилъ себя обѣими руками за пейсики, и потомъ поднялъ кверху обѣ руки.

«Ну, что жъ ты такъ оторопѣлъ?»

«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горилку, чтобы ее всякій пробовалъ? тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотъ-часъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: «Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть что нибудь! Схватить Жида, связать Жида, отобрать всѣ деньги у Жида, посадить въ тюрьму Жида!» Потому что все, что́ ни есть недобраго, все валится на Жида; потому-что Жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли Жидъ!»

«Ну такъ положи меня въ возъ съ рыбою!»

«Не можно, панъ, ей Богу, не можно: по всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ.»

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»

«Слушай, слушай панъ!» сказалъ Жидъ, подсунувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. «Вотъ что́ мы сдѣлаемъ. Теперь строятъ вездѣ крѣпости и замки; изъ Нѣмечины пріѣхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпичу и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичемъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.»

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣвались изъ-подъ жидовскаго яломка́ по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дорогѣ.

XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣзчиковъ — этой страшной грозы предпріимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что́ ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частію для своего собственнаго удовольствія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въѣхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились Жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревяные дома со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во многихъ мѣстахъ превращалась въ совершенно черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны

Всякій, что́ только было у него негоднаго, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико Еврейки, убранное потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча Жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій Жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотъ-часъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи, и Янкелъ тотъ-часъ въѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой Жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался наконецъ изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ Жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, но однакожъ онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя Жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ-будто у юноши.

«Слушайте, Жиды!» сказалъ онъ, и въ словахъ его было что то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говоритъ, что Жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщалъ

двѣнадцать тысячъ червонныхъ, — я прибавляю еще двѣнадцать: всѣ, какіе у меня есть дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что́ ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ!»

«О, не можно, любезный панъ, не можно!» сказалъ со вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой Жидъ.

Всѣ три Жида взглянули одинъ на другого.

«А попробовать,» сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: «можетъ быть Богъ дастъ.»

Всѣ три Жида заговорили по Нѣмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего немогъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово *Мардохай* и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посовѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ . . . у, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то уже никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ; и не впускай никого.» Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три Жида остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно; къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: *Мардохай*, *Мардохай*. Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы; наконецъ въ концѣ ея изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали всѣ Жиды въ одинъ голосъ. Тощій Жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною, верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ Жиды наперерывъ спѣшили разсказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ

руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ всѣ Жиды подняли такой крикъ, что Жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но вспомнивши, что Жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, Жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: «Когда мы захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно.»

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ посторонних причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ наконецъ весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшаго окошка на улицу. Наконецъ уже ввечеру поздно показались Мардохай и Янкель, Сердце Тараса замерло.

«Что́? удачно?» спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикого коня.

Но прежде еще, нежели Жиды собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже небыло послѣдняго локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка́ его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ-будто бы страдалъ простудою.

«О любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь совсѣмъ не можно! ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить.»

Тарасъ глянулъ въ глаза Жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются и одинъ леве́нтарь обѣщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой вей миръ! что̀ это за корыстный народъ! и между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а леве́нтарю . . .»

«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти далновидный Жидъ. Была уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный рыжій Жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякѣ. Рыжій Жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье, и, сдѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько

похожимъ на цыпленка, отправился съ своею Жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое Жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидѣлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго Жидъ съ-просонья чихалъ и заворачивалъ въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣднымъ, предвѣстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля: «Вставай, Жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, надѣлъ на темя маленькую темную шопочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду, ему казалось не болѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это мы, слышите, паны, это мы.»

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ корридоръ узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. «Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать.»

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей Богу мы, ясные паны!» Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастію, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому-что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить.»

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу : . .»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники. «Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они наконецъ подошли къ тому мѣсту, гдѣ корридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустятъ ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой,» отвѣчалъ часовой.

«Ай, ай!» произнесъ тихо Жидъ: «это скверно, любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся вверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что́ дѣлало его очень походимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. «Ваша ясновельможность! ясновельможный панъ!»

«Ты, Жидъ, это мнѣ говоришь?»

«Вамъ, ясновельможный панъ.»

«Гм.... а я, просто, гайдукъ!» сказалъ трехъ-ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.

«А я, ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай....» При этомъ Жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. «Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ; при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Что́ за народъ военный!» продолжалъ Жидъ: «охъ вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки.... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца, а цурки, гдѣ только увидятъ военныхъ.... ай, ай!» Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ Жидъ: «вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще съ-роду не видѣлъ, что́ это за народъ козаки.»

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полу-азіатскій уголъ Европы. Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

«Я не знаю, ваша ясновельможность,» говорилъ онъ, «зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ.»

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ! Это вашу еретическую вѣру не уважаютъ!

«Эте, ге!» сказалъ гайдукъ: «а, я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ.»

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность; но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастію Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій!»

«Разсказывай себѣ!» И гайдукъ уже раскрылъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите, молчите, ради Бога?» закричалъ Янкель: «молчите! мы уже вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца.»

«Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни-почемъ; я цырюльнику даю два червонца за то́, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, Жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!»

«И, на что́ бы такъ много? горестно сказалъ поблѣднѣвшій Жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ-бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

«Что жъ ты, чортовъ гайдукъ,» сказалъ Бульба: «деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не вправѣ теперь отказать.»

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то — сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ..., Уносите скорѣе ноги, говорю я вамъ!»

Панъ! панъ! пойдемъ, ей Богу, пойдемъ. Цуръ

имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно!» кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что́ бы трогать? Пусть бы собака бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ вей миръ, какое счастіе посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то́ только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ-бы встряхнувшись: «пойдемъ на площадь. Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить.»

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже.»

«Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и Жидъ, какъ нянька, вздыхая побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ замѣчательнѣйшихъ зрѣлищъ, не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали съ-просонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ

на головы, чтобы оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что́ ни случается въ свѣтѣ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что́ у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить, «Вотъ это, душечка Юзыся,» говорилъ онъ, «весь народъ, что́ вы видите, пришелъ затѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что́ вы видите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотъ-часъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будетъ головы.» И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усѣяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи, съ усами и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, бли-

стающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ, тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто шалунья, съ черными глазами, схвативши свѣтлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла наподхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ куntушѣ, съ почернѣвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощію длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потóмъ клалъ въ родъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: «Ведутъ! ведутъ! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостію; ихъ платья, изъ дорогого сукна, износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Чтó почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Чтó было тогда въ его сердцѣ! Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: «Дай же Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіянинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!» Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Дóбре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно-сдѣланные станки, и.... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣкоторые, не многіе, бывшіе исключеніями изъ вѣка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто предъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые, своей необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью, превратили сеймъ въ сатиру на правленіе. Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполинъ. Ни крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногаха кости, когда ужасный хрящъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои — ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову, и въ то же время, гордо приподнявъ очи, одобрительно только говорилъ: «Дóбре, сынку, добре!»

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ-будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя. Боже! всѣ невѣдомыя, всѣ чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ

онъ силою и воскликнулъ въ душевной немощи: «Батько! гдѣ ты? слышишь ли ты все?»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть, и когда всадники немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

XII.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть, или отрядъ, выступившій на добычу, или наугонъ за Татарами. Нѣтъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа; поднялась отомстить за посмѣяніе правъ своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что́ копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетманъ Остраница предводилъ всею несмѣтной козацкой силою. Возлѣ былъ видѣнъ престарѣлый, опытный товарищъ его и совѣтникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двѣнадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ѣхали вслѣдъ за гетманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развѣвалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ, обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было реестровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвсюду поднялись козаки, отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина,

отъ Глухова, отъ низовой стороны днѣпровской и отъ всѣхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмѣтные таборы телѣгъ потянулись по полямъ. И между тѣми-то козаками, между тѣми восьмью полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ тѣмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лѣта, и опытность, и умѣнье двигать своимъ войскомъ, и сильнѣйшая всѣхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмѣрною его безпощадная свирѣпость и жестокость. Только огонь да висѣлицу опредѣляла сѣдая голова его, и совѣтъ его въ войсковомъ совѣтѣ дышалъ только истребленіемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лѣтописныя страницы. Извѣстно, какова въ русской землѣ война, поднятая за вѣру: нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреоборима и грозна она, какъ неруко творная скала среди бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой средины морскаго дна возноситъ она къ небесамъ непреломныя свои стѣны, вся созданная изъ одного цѣльнаго, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимо бѣгущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что́ ни есть на немъ, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-Жиды; какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегали его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетманъ клятвенно обѣщалъ полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всѣхъ

прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что́ такое польская клятва. И Потоцкій не красовался бы больше на шеститысячномъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумѣлъ бы на сеймахъ, задавая роскошные пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Когда вышли на встрѣчу всѣ попы въ свѣтлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митрѣ, преклонили козаки всѣ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже́ самого короля; но противъ своей церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетманъ вмѣстѣ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ:

«Эй, гетманъ и полковники! не сдѣлайтс такого бабьяго дѣла! не вѣрьте Ляхамъ: продадутъ псяюхи.» Когда же полковой писарь подалъ условіе, и гетманъ приложилъ свою властную руку, онъ взялъ съ себя чистый булатъ, дорогую турецкую саблю, изъ первѣйшаго желѣза, разломилъ ее на-двое, какъ трость, и кинулъ далеко въ разныя стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться въ одно и не составить одной сабли, такъ и намъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свѣтѣ! Помяните же прощальное мое слово (При семъ словѣ голосъ его выросъ, поднялся выше, принялъ невѣдомую силу — и смутились всѣ отъ пророческихъ словъ): передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствіе и миръ, думаете пановать станете? Будете пановать другимъ пановаьемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, кожу, набьютъ ее грича́ною половою, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ ярмар-

камъ! Не удержите и вы, паны, головъ своихъ! пропадете въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя стѣны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми въ котлахъ!»

«А вы, хлопцы!» продолжалъ онъ, оборотившись къ своимъ: «кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертью? не по запечьямъ и бабьимъ лежанкамъ, не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всѣмъ на одной постели, какъ женихъ съ невѣстою! Или, можетъ быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксензовъ?»

«За тобою, пане полковнику! за тобою!» вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебѣжало немало другихъ.

«А коли за мною, такъ за мною же!» сказалъ Тарасъ, надвинувъ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянулъ на всѣхъ оставшихся, отправился на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: «Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью! А ну, гайда, хлощы, въ гости къ католикамъ!» И вслѣдъ за тѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ оставшимся, — и гнѣвенъ былъ взоръ его. Никто не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и всё грозилъ.

Смутны стояли гетманъ и полковники; задумалися всѣ и молчали долго, какъ-будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Недаромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщалъ. Немного времени спустя послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣйшихъ сановниковъ.

А что́ же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восьмнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костёловъ и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разгра-

билъ богатѣйшіе и лучшіе за́мки; распечатали и порозливали по землѣ козаки вѣковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. «Ничего не жалѣйте!» повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ паняночекъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки подымались изъ огненнаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ бы подвигнулась сама сырая земля и степная трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. «Это вамъ, вражьи Ляхи, поминки по Остапѣ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непремѣнно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное бѣгство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложеннаго порученія: неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки виднѣлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися остатками стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступилъ его коронный гетманъ Потоцкій. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились-было уже козаки и, можетъ

быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самого бѣгу, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: «Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьимъ Ляхамъ!» И нагнулся старый ата́манъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ старость, старость!» сказалъ онъ, и заплакалъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Чуть не тридцать человѣкъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. «Попалась ворона!» кричали Ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собакѣ, лучшую честь воздать.» И присудили, съ гетманскаго разрѣшенья, сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло голое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибивши ему руки и приподнявъ его повыше, чтобы отвсюду былъ видѣнъ козакъ, и принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его: глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались козаки, — ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорѣе,» кричалъ онъ, «горку, что́ за лѣсомъ: туда не подступятъ они!» Но вѣтеръ не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что́!» говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: «Къ берегу! къ берегу, хлопцы! спускайтесь подгорной дорожкой, что́ налѣво. У берега стоятъ челны, всѣ забирайте, чтобы не было погони.»

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны,

и всѣ слова были услышаны козаками. Но за такой совѣтъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головѣ, который переворотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. «А, товарищи! ни куда пошло!» сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свиснули — и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, какъ змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днѣстръ. Двое только не попали въ рѣку, грянулись съ вышины объ каменья и пропали тамъ на вѣки съ конями, даже не успѣвши издать крику. А козаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и отвязывали челны. Остановились Ляхи надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкаму дѣлу и думая: прыгать ли имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной Полячки, обворожившей бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ силъ съ конемъ за козаками. Перевернулся три раза въ воздухѣ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго ата́мана.

«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ сверху, «вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что́, взяли, чортовы Ляхи? думаете есть чтонибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, придетъ время, узнаете вы, что́ такое провославная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы; подымется изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему!...» А уже

огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву.... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни и муки и сила такая, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубокихъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ турухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки быстро плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего ата́мана.

ПОРТРЕТЪ.

(Въ исправленномъ видѣ.)

ЧАСТЬ I.

Нигдѣ не останавливалось столько народу, какъ передъ картинною лавочкою на Щукиномъ дворѣ. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частію были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго пѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка — вотъ ихъ обыкновенные сюжеты. Къ этому надо присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ съ кривыми носами. Сверхъ того, двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками произведеній, отпечатанныхъ лубками на большихъ листахъ, которыя свидѣтельствуютъ о самородномъ дарованіи русскаго человѣка. На одномъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другомъ городъ Іерусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго

безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновонно немного, но за то зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ нимъ уже, вѣрно, стоитъ въ шинели солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка-Охтенка съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьёзно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смѣются и дразнятъ другъ друга нарисованными каррикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спѣшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣтъ, на что́ онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чартковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ человѣка, который съ само-отверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодости. Онъ остановился передъ лавкою, и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинами. Наконецъ, овладѣло имъ невольное размышленіе, онъ сталъ думать о томъ кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на *Еруслановъ Лазаревичей*, на *объѣздалъ* и *опивалъ*, на *Ѳому* и *Ерему*, это не казалось ему удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ пестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое-то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которомъ выразилось все глубокое его униженіе? Это, казалось, не были

вовсе труды ребенка самоучки: иначе — въ нихъ, при всей безчувственной каррикатурности цѣлаго, вырывался бы острый порывъ. Но здѣсь было видно просто тупоуміе безсильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала въ ряды искусствъ, тогда какъ ей мѣсто было среди низкихъ ремеслъ; бездарность, которая была вѣрна, однакожъ, своему призванію и внесла въ самое искусство свое ремесло. Тѣ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату нежели человѣку!

Долго стоялъ онъ передъ этими грязными картинами, уже наконецъ не думая вовсе о нихъ; а между тѣмъ хозяинъ лавки, сѣренькій человѣчекъ, во фризовой шинели, съ бородой, небритой съ самого воскресенья, телковалъ ему уже давно, торговался и условливался въ цѣнѣ, еще не узнавъ, что́ ему понравилось и что̀ нужно. «Вотъ за этихъ мужичковъ и за ландштафтикъ возьму бѣленькую. Живопись-то какая! просто глазъ прошибетъ; только что получены съ биржи; еще и лакъ не высохъ. Или вотъ зима, — возьмите зиму! пятнадцать рублей! одна рамка чего сто́итъ! Вотъ она какая зима!» Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, вѣроятно, чтобы показать всю добро́ту зимы. «Прикажете связать ихъ вмѣстѣ и снести за вами! гдѣ изволите жить? Эй, малый! подай веревочку.»

«Постой, братъ, не такъ скоро,» сказолъ очнувшійся художникъ, видя, что ужъ проворный купецъ прянялся не въ шутку ихъ связывать вмѣстѣ. Ему сдѣлалось нѣсколько совѣстно не взять ничего, застоявшись такъ долго въ лавкѣ, и онъ сказалъ: «А вотъ постой, я посмотрю, нѣтъ ли для меня чего нибудь здѣсь,» и, наклонившись, сталъ доставать съ полу громоздко наваленныя, истертыя, запыленныя старыя малеванья, непользовавшіяся, какъ видно, никакимъ почетомъ. Тутъ были старинные фамильные портреты, которыхъ потомковъ, можетъ быть, и на свѣтѣ нельзя было отыскать; совершенно неизвѣстныя изображенія съ прорваннымъ холстомъ; рамки, лишенныя позолоты; словомъ, всякій ветхій соръ. Но художникъ принялся

разсматривать, думая втайнѣ: «Авось что-нибудь и отыщется.» Онъ не разъ слышалъ разсказы о томъ, какъ иногда у лубочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины великихъ мастеровъ.

Хозяинъ, увидѣвъ, куда полѣзъ онъ, оставилъ свою суетливость и, принявши обыкновенное положеніе и надлежащій вѣсъ помѣстился съизнова у дверей, зазывая прохожихъ и указывая имъ одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вотъ картины! зайдите, зайдите; съ биржи получены.» Уже накричался онъ вдоволь и большею частью безплодно; наговорился досыта съ лоскутнымъ продавцомъ, стоявшимъ насупротивъ его, также у дверей своей лавочки, и наконецъ, вспомнивъ, что у него въ лавкѣ есть покупатель, оборотился къ народу спиной и отправился внутрь ея. «Что̀, батюшка? выбрали что-нибудь?» Но художникъ уже стоялъ нѣсколько времени неподвижно передъ однимъ портретомъ въ большихъ, когда-то великолѣпныхъ рамахъ, но на которыхъ чуть блестѣли теперь слѣды позолоты.

Это былъ старикъ съ лицомъ бронзоваго цвѣта, скулистымъ, чахлымъ; черты лица, казалось, были схвачены въ минуту судоржнаго движенья и отзывались не сѣверною силою: пламенный полдень былъ запечатлѣнъ въ нихъ. Онъ былъ драпированъ въ широкій азіатскій костюмъ. Какъ ни былъ поврежденъ и запыленъ портретъ, но когда удалось ему счистить съ лица пыль, онъ увидѣлъ слѣды работы высокаго художника. Портретъ, казалось, былъ не конченъ; но сила кисти была разительна. Необыкновеннѣе всего были глаза: казалось, въ нихъ употребилъ всю силу кисти и все тщаніе свое художникъ. Они, просто, глядѣли, глядѣли даже изъ самого портрета, какъ-будто разрушая его гармонію своею странною живостью. Когда поднесъ онъ портретъ къ дверямъ, еще сильнѣе глядѣли глаза. Почти то же впечатлѣніе произвели они и въ народѣ. Женщина, остановившаяся позади его вскрикнула: «Глядитъ, глядитъ!» и попятилась назадъ. Что-то непріятное, непонятное самому

себѣ почувствовалъ онъ и поставилъ портретъ на землю.

«А что́ жъ? возьмите портретъ!» сказалъ хозяинъ.

«А сколько?» сказалъ художникъ.

«Да что́ за него дорожиться? три четвертачка давайте!»

«Нѣтъ.»

«Ну, да что̀ жъ дадите?»

«Двугривенный,» сказалъ художникъ, готовясь идти.

«Экъ цѣну какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купить! Видно, завтра собираетесь купить? Господинъ, господинъ, воротитесь! гривенничекъ хось прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только вотъ только, что первый покупатель.» За симъ онъ сдѣлалъ жестъ рукой, какъ-будто бы говорившій: «Такъ ужъ и быть, пропадай картина!»

Такимъ образомъ Чартковъ совершенно неожиданно купилъ старый портретъ, и въ тоже время подумалъ: «Зачѣмъ я его купилъ? на что́ онъ мнѣ?» Но дѣлать было нечего. Онъ вынулъ изъ кармана двугривенный, отдалъ хозяину, взялъ портретъ подъ мышку и потащилъ его съ собою. Дорогою онъ вспомнилъ, что двугривенный, который онъ отдалъ, былъ у него послѣдній. Мысли его вдругъ омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его въ ту же минуту. «Чортъ побери! гадко на свѣтѣ!» сказалъ онъ съ чувствомъ русскаго, у котораго дѣла плохи. И почти машинально шелъ скорыми шагами, полный безчувствія ко всему. Красный свѣтъ вечерней зари оставался еще въ половинѣ неба; еще дома̀, обращенные къ той сторонѣ, чуть озарялись ея теплымъ свѣтомъ; а между тѣмъ уже холодное синеватое сіянье мѣсяца становилось свѣтлѣе. Полупрозрачныя легкія тѣни хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пѣшеходцевъ. Уже художникъ начиналъ мало-помалу заглядываться на небо, озаренное какимъ-то прозрачнымъ, тонкимъ, сомнительнымъ свѣтомъ, и почти въ одно время излетали

изъ устъ его слова: «Какой легкій тонъ!» и слова: «Досадно, чортъ побери!» и онъ, поправляя портретъ, безпрестанно съѣзжавшій изъ-подъ мышки, ускорялъ шагъ.

Усталый и весь въ поту, дотащился онъ къ себѣ въ пятнадцатую линію, на Васильевскій Островъ. Съ трудомъ и одышкой взобрался онъ по лѣстницѣ, облитой помоями и украшенной слѣдами кошекъ и собакъ. На стукъ его въ дверь, не было никакого отвѣта: человѣка не было дома. Онъ прислонился къ окну и расположился ожидать терпѣливо, пока не раздались наконецъ позади его шаги парня въ синей рубахѣ, его приспѣшника, натурщика, краскотерщика и выметателя половъ, пачкавшаго ихъ тутъ же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводилъ все вримя за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключомъ въ замочную дырку, вовсе незамѣтную по причинѣ темноты. Наконецъ дверь была отперта. Чартковъ вступилъ въ свою переднюю, нестерпимо холодную, какъ всегда бываетъ у художниковъ, чего впрочемъ они не замѣчаютъ. Не отдавая Нюкитѣ шинели, онъ вошелъ въ ней въ свою студію — квадратную комнату, большую, но низенькую, съ замерзшими окнами, уставленную всякимъ художническимъ хламомъ: кусками гипсовыхъ рукъ, рамками, обтянутыми холстомъ, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развѣшенной по стульямъ. Онъ усталъ сильно, скинулъ шинель, поставилъ разсѣянно принесенный портретъ между двухъ небольшихъ холстовъ и бросился на узкій диванчикъ, о которомъ нельзя было сказать, что онъ обтянуть кожею, потому что рядъ мѣдныхъ гвоздиковъ, когда-то прикрѣплявшихъ ее, давно уже осталяя самъ по себѣ, а кожа осталась тоже сверху сама по себѣ, такъ что Никита засовывалъ подъ нее черные чулки, рубашки и все немытое бѣлье. Посидѣвъ и разлегшись, сколько можно было разлечься на этомъ узенькомъ диванѣ, онъ наконецъ спросилъ свѣчу.

«Свѣчи нѣтъ,» сказалъ Никита.

«Какъ нѣтъ?»

«Да вѣдь и вчера еще не было,» сказалъ Никита. Художникъ вспомнилъ, что дѣйствительно и вчера еще не было свѣчи, успокоился и замолчалъ. Онъ далъ себя раздѣть и надѣлъ свой, крѣпко и сильно заношенный, халатъ.

«Да вотъ еще, хозяинъ былъ,» сказалъ Никита.

«Ну, приходилъ за деньгами? знаю,» сказалъ художникъ, махнувъ рукой.

«Да онъ не одинъ приходилъ,» сказалъ Никита.

«Съ кѣмъ же?»

«Не знаю съ кѣмъ, какой-то квартальный.»

«А квартальный зачѣмъ?»

«Не знаю зачѣмъ; говоритъ, затѣмъ, что за квартиру не плачено.»

«Ну, что̀ жъ изъ того выйдетъ?»

«Я не знаю, что́ выйдетъ; онъ говорилъ: «Коли не хочетъ, такъ пусть,» говоритъ, «съѣзжаетъ съ квартиры.» Хотѣли завтра еще придти оба.»

«Пусть ихъ приходятъ,» сказалъ съ грустнымъ равнодушіемъ Чартковъ — и ненастное расположеніе духа овладѣло имъ вполнѣ.

Молодой Чартковъ былъ художникъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: вспышками и мгновеньями, его кисть отзывалась наблюдательностію, соображеніемъ, шибкимъ порывомъ приблизиться болѣе къ природѣ. «Смотри братъ,» говорилъ ему не разъ его професоръ: «у тебя есть талантъ: грѣшно будетъ, если ты его погубишь; но ты нетерпѣливъ; тебя одно что-нибудь заманитъ, одно что-нибудь полюбится — ты имъ занятъ, а прочее у тебя дрянь, прочее тебѣ ни по чемъ, ты ужъ и глядѣть на него не хочешь. Смотри, чтобъ изъ тебя не вышелъ модный живописецъ: у тебя и теперь что-то начинаютъ слишкомъ бойко кричать краски; рисунокъ у тебя не строгъ, а подъ-часъ и вовсе слабъ, линія не видна; ты ужъ гоняешься за моднымъ освѣщеньемъ, за тѣмъ, что̀ бьетъ на-первые глаза... смотри, какъ разъ попадешь на англійскій родъ. Берегись: тебя ужъ начинаетъ свѣтъ тянуть;

ужъ я вижу, у тебя иной разъ на шеѣ щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ . . . Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки, портретики за деньги; да вѣдь на этомъ губится, а не развертывается талантъ. Терпи; обдумай всякую работу; брось щегольство — пусть ихъ другіе набираютъ деньги, — твое отъ тебя не уйдетъ.»

Профессоръ былъ отъ-части правъ. Иногда нашему художнику, точно, хотѣлось кутнуть, щегольнуть, словомъ — кое-гдѣ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прерваннаго сна. Вкусъ его развивался замѣтно. Еще не понималъ онъ всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвидо, останавливался передъ портретами Тиціана, восхищался Фламандцами. Еще потемнѣвшій обликъ, облекающій старыя картины, не весь сошелъ передъ нимъ; но онъ уже прозрѣвалъ въ нихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недосягаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятнадцатый вѣкъ кое въ чемъ значительно ихъ опередилъ, что подражаніе природѣ какъ-то сдѣлалось теперь ярче, живѣе, ближе; словомъ, онъ думалъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это въ гордомъ внутреннемъ сознаніи. Иногда становилось ему досадно, когда онъ видѣлъ, какъ заѣзжій живописецъ, Французъ или Нѣмецъ, иногда даже вовсе не живописецъ по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красокъ, производилъ всеобщій шумъ и накопилъ себѣ въ мигъ денежный капиталъ. Это приходило къ нему не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ и питье, и пищу, и весь свѣтъ, но тогда, когда наконецъ сильно приступала необходимость, когда не на что́ было купить кистей и красокъ, когда неотвязчивый хозяинъ приходилъ разъ по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно

рисовалась въ голодномъ его воображеньи участь богача-живописца; тогда пробѣгала даже мысль, пробѣгающая часто въ русской головѣ — бросить все и закутить съ горя, на зло всему. И теперь онъ почти былъ въ такомъ положеніи.

«Да, терпи, терпи!» произнесъ онъ съ досадою; «есть же наконецъ и терпѣнью конецъ. Терпи! а на какія деньги я завтра буду обѣдать? Въ-займы вѣдь никто не дастъ. А понеси я продавать всѣ мои картины и рисунки: за нихъ мнѣ за всѣ двугривенный дадутъ. Они полезны, конечно; я это чувствую: каждая изъ нихъ предпринята не даромъ, въ каждой изъ нихъ я что-нибудь узналъ. Да вѣдь что́ пользы? этюды, попытки — и все будутъ этюды, попытки, — и конца не будетъ имъ. Да и кто купитъ, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки съ антиковъ изъ натурнаго класса, или моя неконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портретъ моего Никиты, хотя онъ, право лучше портретовъ какого нибудь моднаго живописца? Что́ въ самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ я мучусь и, какъ ученикъ, копаюсь надъ азбукой, тогда какъ могъ бы блеснуть ничѣмъ не хуже другихъ и быть такимъ, какъ они, съ деньгами?»

Произнесши это, художникъ вдругъ задрожалъ и поблѣднѣлъ: на него глядѣло, высунувшись изъ-за поставленнаго холста, чье-то судорожно искаженное лицо; два страшные глаза прямо вперились въ него, какъ-бы готовясь сожрать его; на устахъ написано было грозное повелѣнье молчать. Испуганный, онъ хотѣлъ вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успѣлъ запустить въ своей передней богатырское храпѣнье; но вдругъ остановился и засмѣялся; чувство страха отлегло въ мигъ: это былъ имъ купленный портретъ, о которомъ онъ позабылъ вовсе. Сіяніе мѣсяца, озаривши комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость. Онъ принялся разсматривать и оттирать. Обмакнулъ въ воду губку, прошелъ ею по немъ нѣсколько разъ, смылъ съ него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повѣсилъ передъ собой

на стѣну и подивился еще болѣе необыкновенной работѣ: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него такъ, что онъ наконецъ вздрогнулъ и, попятившись назадъ, произнесъ изумленнымъ голосомъ; «Глядитъ, глядитъ человѣческими глазами!» Ему пришла вдругъ на умъ исторія, слышанная имъ давно отъ своего профессора, объ одномъ портретѣ, знаменитаго Леонарда да Винчи, надъ которымъ великій мастеръ трудился нѣсколько лѣтъ и все еще почиталъ его неоконченнымъ, и который, по словамъ Вазари, былъ однако же, почтенъ отъ всѣхъ за совершеннѣйшее и оконченнѣйшее произведеніе искусства. Окончаннѣе всего были въ немъ глаза, которымъ изумлялись современники; даже малѣйшія, чуть видныя въ нихъ, жилки были не упущены и приданы полотну. Но здѣсь, однакоже, въ этомъ, нынѣ бывшемъ передъ нимъ, портретѣ, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонію самого портрета; это были живые, это были человѣческіе глаза! Казалось, какъ-будто они были вырѣзаны изъ живого человѣка и вставлены сюда. Здѣсь не было уже того высокаго наслажденья, которое объемлетъ душу при взглядѣ на произведеніе художника, какъ ни ужасенъ взятый имъ предметъ: здѣсь было какое-то болѣзненное, томительное чувство. «Что́ это?» невольно вопрошалъ себя художникъ: «вѣдь это, однакоже, натура, это живая натура: отъ чего же это странно-непріятное чувство? Или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, неозаренный свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность — и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ то свѣтѣ — и не чувствуешь

никакого низкаго впечатлѣнія: напротивъ, кажется, какъ-будто насладился, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочимъ, онъ такъ же былъ вѣренъ природѣ? Но нѣтъ, нѣтъ въ ней чего-то озаряющаго. Все равно, какъ видъ въ природѣ: какъ онъ ни великолѣпенъ, а все недостаетъ чего-то, если нѣтъ на небѣ солнца.»

Онъ опять подошелъ къ портрету, съ тѣмъ чтобы разсмотрѣть эти чудные глаза, и съ ужасомъ замѣтилъ, что они точно глядятъ на него. Это уже не была копія съ натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшаго изъ могилы. Свѣтъ ли мѣсяца, несущій съ собой бредъ мечты и облекающій все въ иные образы, противоположные положительному дню, или что́ другое было причиною тому, — только ему сдѣлалось вдругъ, не извѣстно отчего, страшно сидѣть одному въ комнатѣ. Онъ тихо отошелъ отъ портрета, отворотился въ другую сторону и старался не глядѣть на него, а между тѣмъ глазъ невольно, самъ собою, косясь, окидывалъ его. Наконецъ ему сдѣлалось даже страшно ходить по комнатѣ; ему казалось, какъ-будто сей же часъ кто-то другой станетъ ходить позади его, — и всякій разъ робко оглядывался онъ назадъ. Онъ не былъ никогда трусливъ; но воображенье и нервы его были чутки, и въ этотъ вечеръ, онъ самъ не могъ истолковать своей невольной боязни. Онъ сѣлъ въ уголокъ, но и здѣсь казалось ему, что кто-то вотъ-вотъ вгзлянетъ черезъ плечо къ нему въ лицо. Самое храпѣнье Никиты, раздававшееся изъ передней, не прогоняло его боязни. Онъ наконецъ робко, не подымая глазъ, поднялся съ своего мѣста, отправился къ себѣ за ширмы и легъ въ постель. Сквозь щелки въ ширмахъ онъ видѣлъ освѣщенную мѣсяцемъ свою комнату и видѣлъ прямо висѣвшій на стѣнѣ портретъ. Глаза еще страннѣе, еще значительнѣе вперились въ него и, казалось, не хотѣли ни на что́ другое глядѣть, какъ только на

него. Полный тягостнаго чувства, онъ рѣшился встать съ постели, схватилъ простыню и, приблизясь къ портрету, закуталъ его всего.

Сдѣлавши это, онъ легъ въ постель покойнѣе, сталъ думать о бѣдности и жалкой судьбѣ художника, о тернистомъ пути, предстоящемъ ему на этомъ свѣтѣ; — а между тѣмъ глаза его невольно глядѣли сквозь щелку ширмъ на закутанный простынею портретъ. Сіянье мѣсяца усиливало бѣлизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвѣчивать сквозь холстину. Со страхомъ вперилъ онъ пристальнѣе глаза, какъ-бы желая увѣриться, что это вздоръ. Но наконецъ уже въ самомъ дѣлѣ . . . онъ видитъ, видитъ ясно: простыни уже нѣтъ . . . портретъ открытъ весь и глядитъ, мимо всего, что́ ни есть вокругъ, прямо на него, глядитъ, просто, къ нему внутрь . . . У него захолонуло сердце. И видитъ: старикъ пошевелился и вдругъ уперся въ рамку обѣими руками, наконецъ приподнялся на рукахъ и высунувъ обѣ ноги, выпрыгнулъ изъ рамъ . . . Сквозь щелку ширмъ видны были уже однѣ только пустыя рамы. По комнатѣ раздался стукъ шаговъ, который наконецъ становился ближе и ближе къ ширмамъ. Сердце стало сильнѣе колотиться у бѣднаго художника. Съ занявшимся отъ страха дыханьемъ, онъ ожидалъ, что вотъ-вотъ глянетъ къ нему за ширмы старикъ. И вотъ онъ глянулъ точно за ширмы, съ тѣмъ же бронзовымъ лицомъ и поводя большими глазами. Чартковъ силился вскрикнуть — и почувствовалъ, что у него нѣтъ голоса, силился пошевельнуться, сдѣлать какое-нибудь движеніе — не движутся члены. Съ раскрытымъ ртомъ и замершимъ дыханьемъ, смотрѣлъ онъ на этотъ страшный фантомъ высокаго роста, въ какой-то широкой азіатской рясѣ, и ждалъ, что станетъ онъ дѣлать. Старикъ сѣлъ почти у самыхъ ногъ его и вслѣдъ за тѣмъ что-то вытащилъ изъ-подъ складокъ своего широкаго платья. Это былъ мѣшокъ. Старикъ развязалъ его и, схвативши за два конца, встряхнулъ: съ глухимъ звукомъ упали на полъ тяжелые свертки, въ видѣ длинныхъ

столбиковъ; каждый былъ завернутъ въ синюю бумагу, и на каждомъ было выставлено: *1000 червонныхъ*. Высунувъ свои длинныя, костистыя руки изъ широкихъ рукавовъ старикъ началъ разворачивать свертки. Золото блеснуло. Какъ ни велико было тягостное чувство и обезпамятѣвшій страхъ художника, но онъ впе-
рился весь въ золото, глядя неподвижно, какъ оно развертывалось въ костистыхъ рукахъ, блестѣло, звенѣло тонко и глухо и свертывалось вновь. Тутъ замѣтилъ онъ одинъ свертокъ, откатившійся подалѣе отъ другихъ къ самой ножкѣ его кровати, въ головахъ у него. Почти судорожно схватилъ онъ его и, полный страха, смотрѣлъ, не замѣтитъ ли старикъ. Но старикъ былъ, казалось, очень занятъ; онъ собиралъ всѣ свертки свои, уложилъ ихъ снова въ мѣшокъ и, не взглянувши на него, ушелъ за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда онъ услышалъ, какъ раздавался по комнатѣ шелестъ удалявшихся шаговъ. Онъ сжималъ крѣпче свертокъ свой въ рукѣ, дрожа за него всѣмъ тѣломъ, — и вдругъ услышалъ, что шаги вновь приближаются къ ширмамъ . . . видно старикъ вспомнилъ, что недоставало одного свертка. И вотъ — онъ глянулъ къ нему вновь за ширмы. Полный отчаянія, художникъ стиснулъ всею силою въ рукѣ своей свертокъ, употребилъ все усиліе сдѣлать движенье, вскрикнулъ — и проснулся.

Холодный потъ облилъ его всего; сердце его билось такъ сильно, какъ только можно было биться; грудь была стѣснена, какъ-будто хотѣло улетѣть изъ нея послѣднее дыханье. «Неужели это былъ сонъ?» сказалъ онъ, взявши себя обѣими руками за голову. Но страшная живость явленья не была похожа на сонъ. Онъ видѣлъ, уже пробудившись, какъ старикъ ушелъ въ рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту предъ симъ какую-то тяжесть. Свѣтъ мѣсяца озарялъ комнату, заставляя выступать изъ темныхъ угловъ ея — гдѣ холстъ, гдѣ готовую руку, гдѣ оставленную на стулѣ драпировку, гдѣ панталоны и

нечищенные сапоги. Тутъ только замѣтилъ онъ, что не лежитъ въ постели, а стоитъ на ногахъ прямо передъ портретомъ. Какъ онъ добрался сюда — ужъ этого никакъ не могъ онъ понять. Еще болѣе изумило его, что портретъ былъ открытъ весь, и простыни на немъ, дѣйствительно, не было. Съ неподвижнымъ страхомъ глядѣлъ онъ на него и видѣлъ, какъ прямо вперлись въ него живые, человѣческіе глаза. Холодный потъ выступилъ на лицѣ его; онъ хотѣлъ отойти, но чувствовалъ, что ноги его какъ-будто приросли къ землѣ. И видитъ онъ, — это уже не сонъ: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться къ нему, какъ-будто бы хотѣли его высосать... Съ воплемъ отчаянья отскочилъ онъ — и проснулся.

«Неужели и это былъ сонъ?» Съ біющимся наразрывъ сердцемъ, ощупалъ онъ руками вокругъ себя. Да, онъ лежитъ на постели, въ такомъ точно положеньи, какъ заснулъ. Передъ нимъ ширмы; свѣтъ мѣсяца наполнялъ комнату. Сквозь щель въ ширмахъ видѣнъ былъ портретъ, закрытый, какъ слѣдуетъ простынею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ его. И такъ это былъ тоже сонъ! Но сжатая рука еще чувствуетъ, какъ-будто бы въ ней что-то было. Біеніе сердца было сильно, почти страшно; тягость въ груди невыносимая. Онъ вперилъ глаза въ щель и пристально глядѣлъ на простыню. И вотъ видитъ ясно, что простыня начинаетъ раскрываться, какъ-будто бы подъ нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что́ это!» вскрикнулъ онъ, крестясь отчаянно, — и проснулся.

И это былъ также сонъ? Онъ вскочилъ съ постели, полоумный, обезпамятѣвшій, и уже не могъ изъяснить, что́ это съ нимъ дѣлается: давленье ли кошмара, или домового, бредъ ли горячки, или живое видѣнье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженнымъ пульсомъ по всѣмъ его жиламъ, онъ подошелъ къ окну и открылъ форточку. Холодный пахнувшій вѣтеръ оживилъ его. Лунное сіяніе лежало

всё еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожекъ извощика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Долго гляделъ онъ, высунувши голову въ форточку. Уже на небѣ раждались признаки приближающейся зари; наконецъ почувствовалъ онъ дремоту, захлопнулъ форточку, отошелъ прочь, легъ въ постель и скоро заснулъ, какъ убитый, самымъ крѣпкимъ сномъ.

Проснулся онъ очень поздно и почувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло: непріятная мокрота сѣялась въ воздухѣ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или нагрунтованнымъ холстомъ. Пасмурный, недовольный, какъ мокрый пѣтухъ, усѣлся онъ на своемъ оборванномъ диванѣ, не зная самъ, за что́ приняться, что́ дѣлать, и вспомнилъ наконецъ весь свой сонъ. По мѣрѣ припоминанья, сонъ этотъ представлялся въ его воображеньи такъ тягостно-живъ, что онъ даже сталъ подозрѣвать, точно ли это былъ сонъ и простой бредъ, не было ли здѣсь чего-то другого, не было ли это видѣнье. Сдернувши простыню, онъ разсмотрѣлъ при дневномъ свѣтѣ этотъ страшный портретъ. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего онъ не находилъ въ нихъ особенно страшнаго; только какъ-будто какое-то неизъяснимое, непріятное чувство оставалось на душѣ. При всемъ томъ онъ всё таки не могъ совершенно увѣриться, чтобы это былъ сонъ. Ему казалось, что среди сна былъ какой-то страшный отрывокъ изъ дѣйствительности. Казалось, даже въ самомъ взглядѣ и выраженіи старика какъ-будто что-то говорило, что онъ былъ у него въ эту ночь; рука его чувствовала только лежавшую въ ней тяжесть, какъ-будтобы кто-то, за одну только минуту предъ симъ, ее выхватилъ у него. Ему казалось, что если бы онъ держалъ только покрѣпче свер-

токъ, онъ, вѣрно, остался бы у него въ рукѣ и послѣ пробужденія.

«Боже мой! если бы хотя часть этихъ денегъ!» сказалъ онъ, тяжело вздохнувши, — и въ воображеніи его стали высыпаться изъ мѣшка всѣ видѣнные имъ свертки съ заманчивой надписью: *1000 червонныхъ.* Свертки разворачивались, золото блестѣло, заворачивалось вновь — и онъ сидѣлъ, уставивши неподвижно и безсмысленно свои глаза въ пустой воздухъ, не будучи въ состояніи оторваться отъ такого предмета, какъ ребенокъ, сидящій предъ сладкимъ блюдомъ и видящій, глотая слюнки, какъ ѣдятъ его другіе.

Наконецъ у дверей раздался стукъ, заставившій его непріятно очнуться. Вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ, какъ извѣстно, еще непріятнѣе, нежели для богатыхъ лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которымъ жилъ Чартковъ, былъ одно изъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ гдѣ нибудь въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонѣ, или въ отдаленномъ углу Коломны, — творенье, какихъ много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ капитанъ и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу, съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его конуры, куда тотъ запрятывался спать; однимъ словомъ, человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубен-

ной жизни и тряски на перекладныхъ, остаются однѣ только пошлыя привычки.

«Извольте сами глядѣть, Варухъ Кузьмичъ,» сказалъ хозяинъ, обращаясъ къ квартальному и разставивъ руки: «вотъ не платитъ за квартиру, не платитъ.»

«Что́ жъ, если нѣтъ денегъ? Подождите, я заплачу.»

«Мнѣ, батюшка, ждать нельзя,» сказалъ хозяинъ въ-сердцахъ, дѣлая жестъ ключомъ, который держалъ въ рукѣ; «у меня вотъ Потогонкинъ подполковникъ живетъ, семь лѣтъ ужъ живетъ; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимаетъ на два стойла, три при ней дворовыхъ человѣка . . . вотъ какіе у меня жильцы! У меня, сказать вамъ откровенно, нѣтъ такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчасъ же заплатить деньги, да и съѣжать вонъ.»

«Да, ужъ если порядились, такъ извольте платить,» сказалъ квартальный надзиратель съ небольшимъ потряхиваньемъ головы и заложивъ палецъ за пуговицу своего мундира.

«Да чѣмъ платить? вопросъ. У меня нѣтъ теперь ни гроша.»

«Въ такомъ случаѣ, удовлетворите Ивана Ивановича издѣльями своей профессіи,» сказалъ квартальный: «онъ, можетъ быть, согласится взять картинами.»

«Нѣтъ, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины съ благороднымъ содержаніемъ, чтобы можно было на стѣну повѣсить; хоть какой-нибудь генералъ со звѣздой, или князя Кутузова портретъ; а то вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахѣ, слуги-то, что́ третъ краски. Еще съ него, свиньи, портретъ рисовать! ему я шею наколочу; онъ у меня всѣ гвозди изъ задвижекъ повыдергалъ, мошенникъ. Вотъ посмотрите, какіе предметы: вотъ комнату рисуетъ. Добро бы ужъ взялъ комнату прибранную, опрятную; а онъ вонъ-какъ нарисовалъ ее! со всѣмъ соромъ и дрязгомъ, какой ни валялся. Вотъ, посмотрите, какъ запакостилъ у меня комнату! изволите

сами видѣть. Да у меня по семи лѣтъ живутъ жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нѣтъ, я вамъ скажу: нѣтъ хуже жильца, какъ живописецъ: свинья свиньей живетъ; просто — не приведи Богъ.»

И все это долженъ былъ выслушать терпѣливо бѣдный живописецъ. Квартальный надзиратель между тѣмъ занялся разсматриваньемъ картинъ и этюдовъ, и тутъ же показалъ, что у него душа живѣе хозяйской и даже была нечужда художественнымъ впечатлѣніямъ.

«Хе!» сказалъ онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ, гдѣ была изображена нагая женщина, «предметъ, того... игривый. А у этого зачѣмъ такъ подъ носомъ черно? табакомъ что-ли онъ себѣ засыпалъ?»

«Тѣнь,» отвѣчалъ на это сурово и не обращая на него глазъ, Чартковъ.

«Ну, ее бы можно куда-нибудь въ другое мѣсто отнести, а подъ носомъ слишкомъ видное мѣсто,» сказалъ квартальный. «А это чей портретъ?» продолжалъ онъ, подходя къ портрету старика. «Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто онъ въ самомъ дѣлѣ былъ такой страшный? Ахти, да онъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы писали?»

«А, это съ одного...» сказалъ Чартковъ, и не кончилъ слова: послышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слишкомъ крѣпко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейскихъ рукъ своихъ; боковыя дощечки вломились внутрь, одна упала на полъ и вмѣстѣ съ нею упалъ, тяжело звякнувъ, свертокъ въ синей бумагѣ. Чарткову бросилась въ глаза надпись: *1000 червонныхъ.* Какъ безумный бросился онъ поднять его, схватилъ свертокъ, сжалъ его судорожно въ рукѣ, опустившейся внизъ отъ тяжести.

«Никакъ деньги зазвенѣли?» сказалъ квартальный, услышавшій стукъ чего-то упавшаго на полъ и немогшій увидать его за быстротой движенья, съ какою бросился Чартковъ прибрать.

«А вамъ какое дѣло знать, что́ у меня есть?»

«А такое дѣло, что вы сейчасъ должны заплатить

хозяину за квартиру, что у васъ есть деньги, да вы не хотите платить — вотъ что́.»

«Ну, я заплачу ему сегодня.»

«Ну, а зачѣмъ же вы не хотѣли заплатить прежде, да доставляете безпокойство хозяину, да вотъ и полицію тоже тревожите?»

«Потому что этихъ денегъ мнѣ не хотѣлось трогать. Я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съѣду съ квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

«Ну, Иванъ Ивановичъ, онъ вамъ заплатитъ,» сказалъ квартальный, обращаясь къ хозяину. «А если на-счетъ того, что вы не будете удовлетворены, какъ слѣдуетъ, сегодня ввечеру, тогда ужъ извините, господинъ живописецъ.» Сказавши это, онъ надѣлъ свою треугольную шляпу и вышелъ въ сѣни, а за нимъ хозяинъ, держа внизъ голову и, какъ казалось, въ какомъ-то раздумьи.

«Слава Богу, чортъ ихъ унесъ!» сказалъ Чартковъ, когда услышалъ затворившуюся въ передней дверь. Онъ выглянулъ въ переднюю, услалъ зачѣмъ-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, заперъ за нимъ дверь и, возвратившись къ себѣ въ комнату, принялся, съ сильнымъ сердечнымъ трепетомъ, разворачивать свертокъ. Въ немъ были червонцы, всѣ до одного новые, жаркіе, какъ огонь. Почти обезумѣвъ, сидѣлъ онъ за золотою кучею, все еще спрашивая себя: «Не во снѣ ли все это?» Въ сверткѣ было ровно ихъ тысяча; наружность его была совершенно такая, въ какой они видѣлись ему во снѣ. Нѣсколько минутъ онъ перебиралъ ихъ, пересматривалъ, и все еще не могъ придти въ себя. Въ воображеніи его воскресли вдругъ всѣ исторіи о кладахъ, шкатулкахъ съ потаенными ящиками, оставляемыхъ предками для своихъ раззорившихся внуковъ, въ твердой увѣренности на будущее ихъ промотавшееся положеніе. Онъ мыслилъ такъ: «Не придумалъ ли и теперь какой-нибудь дѣдушка оставить своему внуку подарокъ, заключивъ его въ рамку фамильнаго портрета?» Полный романи-

ческаго бреда, онъ сталъ даже думать: нѣть ли здѣсь какой-нибудь тайной связи съ его судьбою? не связано ли существованье портрета съ его собственнымъ существованьемъ, и самое пріобрѣтеніе его не есть ли уже какое-то предопредѣленіе? Онъ принялся съ любопытствомъ разсматривать рамку портрета. Въ одномъ боку ея былъ выдолбленный желобокъ, задвинутый дощечкой такъ ловко и непримѣтно, что, если бы капитальная рука квартальнаго надзирателя не произвела пролома, черовницы остались бы до скончанія вѣка въ покоѣ. Разсматривая портретъ, онъ подивился вновь высокой работѣ, необыкновенной отдѣлкѣ глазъ: они уже не казались ему страшными, но все еще въ душѣ оставалось всякій разъ невольно непріятное чувство. «Нѣтъ,» сказалъ оно самъ себѣ, «чей бы ты ни былъ дѣдушка, а я тебя поставлю за стекло и сдѣлаю тебѣ за это золотыя рамки.» Здѣсь онъ набросилъ руку на золотую кучу, лежавшую передъ нимъ, и сердце забилось сильно отъ такого прикосновенья. «Что́ съ ними сдѣлать?» думалъ онъ, уставивъ на нихъ глаза: «Теперь я обезпечень по крайней мѣрѣ на три года; могу заперется въ комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обѣдъ, на чай, на содержанье, на квартиру — есть, мѣшать и надоѣдать мнѣ теперь никто не сатнетъ. Куплю себѣ отличный манкенъ, закажу гипсовый торсикъ, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюръ съ первыхъ картинъ. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу ихъ всѣхъ, и могу быть славнымъ художникомъ.

Такъ говорилъ онъ за одно съ подсказывавшимъ ему разсудкомъ; но извнутри раздавался другой голосъ, слышнѣе и звонче. И какъ взглянулъ онъ еще разъ на золото — не то́ заговорили въ немъ 22 года и горячая юность. Теперь въ его власти было все, на что́ онъ глядѣлъ доселѣ завистливыми глазами, чѣмъ любовался издали, глотая слюнки. Ужъ, какъ въ немъ забилось ретивое, когда онъ только подумалъ о томъ! Одѣться въ модный фракъ, разговѣться послѣ долгаго поста, нанять себѣ славную квартиру, отправиться тотъ

же часъ въ театръ, въ кондитерскую, въ.... и прочее — и онъ схвативши деньги, былъ уже на улицѣ.

Прежде всего зашелъ къ портному, одѣлся съ ногъ до головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя безпрестанно; накупилъ духовъ, помады, нанялъ не торгуясь, первую попавшуюся великолѣпнѣйшую квартиру на Невскомъ проспектѣ, съ зеркалами и цѣльными стеклами; купилъ нечаянно въ магазинѣ дорогой лорнетъ, нечаянно накупилъ тоже бездну всякихъ галстуховъ, болѣе, нежели сколько было нужно, завилъ у парикмахера себѣ локоны, прокатился два раза по городу въ каретѣ безъ всякой причины, объѣлся безъ мѣры конфектъ въ кондитерской и зашелъ къ ресторану Французу, о которомъ доселѣ слышалъ такіе же неясные слухи, какъ о китайскомъ государствѣ. Тамъ онъ обѣдалъ подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на другихъ и поправляя безпрестанно противъ зеркала завитые локоны. Тамъ онъ выпилъ бутылку шампанскаго, которое тоже доселѣ было ему знакомо болѣе по слуху. Вино нѣсколько зашумѣло въ головѣ, и онъ вышелъ на улицу живой, бойкій, по русскому выраженію — чорту не братъ. Прошелся по тротуару гоголемъ, наводя на всѣхъ лорнетъ. На мосту замѣтилъ онъ своего прежняго профессора и шмыгнулъ лихо мимо него, какъ-будтобы не замѣтивъ его вовсе, такъ что остолбенѣвшій профессоръ долго еще стоялъ неподвижно на мосту, изобразивъ вопросительный знакъ на лицѣ своемъ.

Всѣ вещи и все, что́ ни было: станокъ, холстъ, картины, были въ тотъ же вечеръ перевезены на великолѣпную квартиру. Онъ разставилъ, что́ было получше, на видныя мѣста, что́ похуже забросилъ въ уголъ и расхаживалъ по великолѣпнымъ комнатамъ, безпрестанно поглядывая въ зеркала. Въ душѣ его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же часъ за хвостъ и показать себя свѣту. Уже чудились ему крики: «Чартковъ, Чартковъ! Видали ли вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талантъ у Чарткова!» Онъ ходилъ въ востор-

женномъ состоянiи у себя по комнатѣ — уносился нивѣсть куда. На другой же день, взявши десятокъ червонцевъ, отправился онъ къ одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; былъ принятъ радушно журналистомъ, назвавшимъ его тотъ же часъ *почтеннѣйшiй*, пожавшимъ ему обѣ руки, разспросившимъ подробно объ имени, отечествѣ, мѣстѣ жительства; и на другой же день появилась въ газетѣ, вслѣдъ за объявленiемъ о новоизобрѣтенныхъ сальныхъ свѣчахъ, статья съ такимъ заглавiемъ:

«О НЕОБЫКНОВЕННЫХЪ ТАЛАНТАХЪ ЧАРТКОВА.»

«Спѣшимъ обрадовать образованныхъ жителей столицы прекраснымъ, можно сказать, во всѣхъ отношенiяхъ прiобрѣтенiемъ. Всѣ согласны въ томъ, что у насъ есть много прекраснѣйшихъ физiогномiй и прекраснѣйшихъ лицъ; но не было до сихъ поръ средства передать ихъ на чудотворный холстъ, для передачи потомству. Теперь недостатокъ этотъ пополненъ: отыскался художникъ, соединяющiй въ себѣ все, что́ нужно. Теперь красавица можетъ быть увѣрена, что она будетъ передана со всей грацiей своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькамъ, порхающимъ по весеннимъ цвѣтамъ. Почтенный отецъ семейства увидитъ себя окруженнымъ своей семьей. Купецъ, воинъ, гражданинъ, государственный мужъ — всякiй спѣшите, заходите съ гулянья, съ прогулки, предпринятой къ прiятелю, къ кузинѣ, въ блестящiй магазинъ, спѣшите, откуда бы ни было. Великолѣпная мастерская художника (Невскiй проспектъ, такой-то номеръ) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиковъ и Тицiановъ. Не знаешь, чему удивляться: вѣрности ли и сходству съ оригиналами, или необыкновенной яркости и свѣжести кисти. Хвала вамъ, художникъ! вы вынули счастливый билетъ изъ лотереи. Вивать, Андрей Петровичъ! (журналистъ, какъ видно, любилъ фамилiярность) Прославляйте себя и насъ. Мы умѣемъ цѣнить васъ. Всеобщее стеченiе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги, хотя нѣкоторые изъ на-

шей же братьи, журналистовъ, и возстаютъ противъ нихъ, будутъ вамъ наградою.»

Съ тайнымъ удовольствіемъ прочиталъ художникъ это объявленіе; лицо его просіяло. О немъ заговорили печатно — это было для него новостію; нѣсколько разъ перечитывалъ онъ строки. Сравненіе съ Вандикомъ и Тиціаномъ ему сильно польстило. Фраза: «Вивать, Андрей Петровичъ!» также очень понравилась: печатнымъ образомъ называютъ его по имени и по отчеству — честь, донынѣ ему совершенно неизвѣстная. Онъ началъ ходить скоро по комнатѣ, ерошить себѣ волосы, то садился въ кресла, то вскакивалъ съ нихъ и садился на диванъ, представляя поминутно, какъ онъ будетъ принимать посѣтителей и посѣтительницъ, подходилъ къ холсту и производилъ надъ нимъ лихую замашку кисти, пробуя сообщить граціозныя движенія рукѣ.

На другой день раздался колокольчикъ у дверей его; онъ побѣжалъ отворять. Вошла дама, сопровождаемая лакеемъ въ ливрейной шинели на мѣху, и вмѣстѣ съ дамой вошла молоденькая восьмнадцати-лѣтняя дѣвочка, дочь ея.

«Вы мсьё Чартковъ?» сказала дама.

Художникъ поклонился.

«Объ васъ столько пишутъ; ваши портреты, говорятъ, верхъ совершенства.» Сказавши это, дама наставила на глазъ лорнетъ и побѣжала быстро осматривать стѣны, на которыхъ ничего не было. «А гдѣ же ваши портреты?»

«Вынесли,» сказаль художникъ, нѣсколько смѣшавшись: «я только что переѣхалъ на эту квартиру; такъ они еще въ дорогѣ... не доѣхали.»

«Вы были въ Италіи?» сказала дама, наводя на него лорнетъ, не найдя ничего другого, на что́ бы можно было навесть его.

«Нѣтъ, я не былъ, но хотѣлъ быть... впрочемъ, теперь покамѣсть я отложилъ... Вотъ кресла-съ; вы устали...?»

«Благодарю, я сидѣла долго въ каретѣ. А, вонъ

наконецъ вижу вашу роботу!» сказала дама, побѣжавъ къ супротивной стѣнѣ и наводя лорнетъ на стоявшіе на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. «C'est charmant, Lise! Lise, venez ici. Комната во вкусѣ Теньера. Видишь? безпорядокъ, безпорядокъ, столъ, на немъ бюстъ, рука, палитра; вонъ пыль... видишь, какъ пыль нарисована! C'est charmant! А вотъ на другомъ холстѣ женщина, моющая лицо. Quelle jolie figure! Ахъ, мужичокъ, Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! смотри: мужичокъ! Такъ вы занимаетесь не одними только портретами?

«О, это вздоръ... такъ, шалилъ... этюды...»

«Скажите, какого вы мнѣнія на-счетъ нынѣшнихъ портретистовъ? Не правда ли, теперь нѣтъ такихъ, какъ былъ Тиціанъ? нѣтъ той силы въ колоритѣ, нѣтъ той... какъ жаль, что я не могу вамъ выразить по-русски (дама была любительница живописи и обѣгала съ лорнетомъ всѣ галлереи въ Италіи). Однако, мсьё Ноль... ахъ, какъ онъ пишетъ! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья въ лицахъ, нежели у Тиціана. Вы не знаете мсьё Нолья?»

«Кто этотъ Ноль?» спросилъ художникъ.

«Мсьё Ноль. Ахъ, какой талантъ! онъ написалъ съ нея портретъ, когда ей было только двѣнадцать лѣтъ. Надо, чтобы вы непремѣнно у насъ были. Lise, ты ему покажи свой альбомъ. Вы знаете, что мы пріѣхали съ тѣмъ, чтобы сей же часъ начали съ нея портретъ.»

«Какъ же? я готовъ сію минуту.» И въ одно мгновенье придвинулъ онъ станокъ съ готовымъ холстомъ, взялъ въ руки палитру, вперилъ глаза въ блѣдное личико дочери. Если бы онъ былъ знатокъ человѣческой природы, онъ прочелъ бы на немъ въ одну минуту начало ребяческой страсти къ баламъ, начало тоски и жалобъ на длинноту времени до обѣда и послѣ обѣда, желанья побѣгать въ одномъ платьи на гуляньяхъ, тяжелые слѣды безучастнаго прилежанія къ разнымъ искусствамъ, внушаемаго матерью для возвышенія

души чувствъ. Но художникъ видѣлъ въ этомъ нѣжномъ личикѣ одну только заманчивую для кисти, почти фарфорную прозрачность тѣла, увлекательную легкую томность, тонкую свѣтлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранѣе готовился торжествовать, показать легкость и блескъ своей кисти, имѣвшей доселѣ дѣло только съ жесткими чертами грубыхъ моделей, съ строгими антиками и копіями кое-какихъ классическихъ мастеровъ. Онъ уже представлялъ себѣ въ мысляхъ, какъ выйдетъ это легенькое личико.

«Знаете ли?» сказала дама съ нѣсколько даже трогательнымъ выраженіемъ лица: «я бы хотѣла... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотѣла, чтобы она была въ платьи, къ которому мы такъ привыкли: я бы хотѣла, чтобъ она была одѣта просто и сидѣла бы въ тѣни зелени, въ виду какихъ-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща... чтобы незамѣтно было, что она ѣдетъ куда-нибудь на балъ, или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ убиваютъ душу, такъ умерщвляютъ остатки чувствъ... Простоты, простоты чтобъ было больше.» Увы! на лицахъ и матушки, и дочери написано было, что онѣ до того исплясались на балахъ, что обѣ сдѣлались чуть не восковыми.

Чартковъ принялся за дѣло, усадилъ оригиналъ, сообразилъ нѣсколько все это въ головѣ; провелъ по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурилъ нѣсколько глазъ, подался назадъ, взглянулъ издали, и въ одинъ часъ началъ и кончилъ подмалевку. Довольный ею, онъ принялся уже писать; работа его завлекла; уже онъ позабылъ все, позабылъ даже, что находится въ присутствіи аристократическихъ дамъ, началъ даже выказывать иногда кое-какія художническія ухватки, произнося вслухъ разные звуки; временами подпѣвая, какъ случается съ художникомъ, погруженнымъ всею душею въ свое дѣло. Безъ всякой церемоніи, однимъ движеньемъ кисти, заставлялъ онъ оригиналъ поднимать голову, который наконецъ началъ сильно вертѣться и выражать совершенную усталость.

«Довольно, на первый разъ довольно,» сказала дама.

«Еще немножко,» говорилъ позабывшійся художникъ.

«Нѣтъ, пора! Lise, три часа!» сказала она, вынимая маленькіе часы, висѣвшіе на золотой цѣпи у ея кушака и вскрикнула: «Ахъ, какъ поздно!»

«Минуточку только!» говорилъ Чартковъ простодушнымъ и просящимъ голосомъ ребенка.

Но дама, кажется, совсѣмъ не была расположена угождать на этотъ разъ его художественнымъ потребностямъ и обѣщала вмѣсто того просидѣть въ другой разъ долѣе.

«Это, однакожъ, досадно!» подумалъ про-себя Чартковъ: «рука только что расходилась.» И вспомнилъ онъ, что его никто не перебивалъ и не останавливалъ, когда онъ работалъ въ своей мастерской на Васильевскомъ островѣ; Никита бывало сидѣлъ не ворохнувшись на одномъ мѣстѣ — пиши съ него, сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказанномъ ему положеніи. И, недовольный, положилъ онъ свою кисть и палитру на стулъ и остановился смутно передъ холстомъ.

Комплиментъ, сказанный свѣтской дамой, пробудилъ его изъ усыпленія. Онъ бросился быстро къ дверямъ провожать ихъ; на лѣстницѣ получилъ приглашеніе бывать, прійти на слѣдующей недѣлѣ обѣдать, и съ веселымъ видомъ возвратился къ себѣ въ комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сихъ поръ онъ глядѣлъ на подобныя существа, какъ на что́-то недоступное, — которыя рождены только для того, чтобы пронестись въ великолѣпной коляскѣ съ ливрейными лакеями и щегольскимъ кучеромъ и бросить равнодушный взглядъ на бредущаго пѣшкомъ въ небогатомъ плащишкѣ человѣка. И вдругъ теперь одно изъ этихъ существъ вошло къ нему въ комнату; онъ пишетъ портретъ, приглашенъ на обѣдъ въ аристократическій домъ. Довольство овладѣло имъ необыкновенное; онъ былъ упоенъ совершенно и наградилъ себя за это славнымъ обѣдомъ, вечернимъ спектаклемъ, и опять проѣхался въ каретѣ по городу безъ всякой нужды.

Во всѣ эти дни обычная работа ему не шла вовсе

на умъ. Онъ только приготавлялся и ждалъ минуты, когда раздастся звонокъ. Наконецъ аристократическая дама пріѣхала вмѣстѣ съ своею блѣдненькою дочерью. Онъ усадилъ ихъ, придвинулъ холстъ, уже съ ловкостью и претензіями на свѣтскія замашки, и сталъ писать. Солнечный день и ясное освѣщеніе много помогли ему. Онъ увидѣлъ въ легенькомъ своемъ оригиналѣ много такого, что́, бывъ уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидѣлъ, что можно сдѣлать кое-что особенное, если выполнить все въ такой окончанности, въ какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда онъ почувствовалъ, что выразитъ то, чего еще не замѣтили другіе. Работа заняла его всего, весь погрузился онъ въ кисть, позабывъ опять объ аристократическомъ происхожденіи оригинала. Съ занимавшимся дыханіемъ видѣлъ, какъ выходили у него легкія черты и это почти прозрачное тѣло семнадцатилѣтней дѣвушки. Онъ ловилъ всякій оттѣнокъ, легкую желтизну, едва замѣтную голубизну подъ глазами, и уже готовился даже схватить небольшій прыщикъ, выскочившій на лбу, какъ вдругъ услышалъ надъ собою голосъ матери: «Ахъ, зачѣмъ это? это не нужно; у васъ тоже... вотъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ... какъ-будтобы нѣсколько желто, и вотъ здѣсь совершенно, какъ темныя пятнышки.» Художникъ сталъ изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляютъ пріятные и легкіе тоны лица. Но ему отвѣчали, что они не составятъ никакихъ тоновъ и совсѣмъ не разыгрываются, и что это ему только такъ кажется. «Но позвольте здѣсь, въ одномъ только мѣстѣ, тронуть желтенькой краской,» сказалъ простодушно художникъ. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко нерасположена, а что желтизны въ ней никакой не бываетъ, и лицо ея поражаетъ особенно свѣжестью краски. Съ грустью принялся онъ изглаживать то, что́ кисть его заставила выступить на полотно. Изчезло много почти незамѣтныхъ чертъ, а вмѣстѣ съ ними

исчезло отчасти и сходство. Онъ безчувственно сталъ сообщать ему тотъ общій колоритъ, который дается наизустъ и обращаетъ даже лица, взятыя съ натуры, въ какія-то холодно идеальныя, видимыя на ученическихъ программахъ. Но дама была довольна тѣмъ, что обидный колоритъ былъ изгнанъ вовсе. Она изъявляла только удивленье, что идетъ работа такъ долго, и прибавила, что слышала, будто онъ въ два сеанса оканчиваетъ совершенно портретъ. Художникъ ничего не нашелъ на это отвѣчать. Дамы поднялись и собирались выйти. Онъ положилъ кисть, проводилъ ихъ до дверей и послѣ того долго оставался смутнымъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, предъ своимъ портретомъ.

Онъ глядѣлъ на него глупо, а въ головѣ его между тѣмъ носились тѣ легкія женственныя черты, тѣ оттѣнки и воздушные тоны, имъ подмѣченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полонъ ими, онъ отставилъ портретъ въ сторону и отыскалъ у себя гдѣ-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросалъ на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее изъ однихъ общихъ чертъ, не принявшее живого тѣла. Отъ нечего дѣлать, онъ теперь принялся проходить его, припоминая на немъ все, что́ случилось ему подмѣтить въ лицѣ аристократической посѣтительницы. Уловленныя имъ черты, оттѣнки и тоны здѣсь ложились въ томъ очищенномъ видѣ, въ какомъ являются они тогда, когда художникъ, наглядѣвшись на природу, уже отдаляется отъ нея и производитъ ей равное созданіе. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало помалу облекаться въ видимое тѣло. Типъ лица молоденькой свѣтской дѣвицы невольно сообщился Психеѣ, и чрезъ то́ получила она своеобразное выраженіе, дающее право на названіе истинно оригинальнаго произведенія. Казалось, онъ воспользовался по частямъ и вмѣстѣ всѣмъ, что́ представилъ ему оригиналъ, и привязался совершенно къ своей работѣ. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней онъ былъ занятъ только ею. И за

этой самой работой засталъ его пріѣздъ знакомыхъ дамъ. Онъ не успѣлъ снять со станка картину. Обѣ дамы издали радостный крикъ изумленья и всплеснули руками.

«Lise, Lise! ахъ какъ похоже! Superbe, Superbe! какъ хорошо вы вздумали, что одѣли ее въ греческій костюмъ! Ахъ, какой сюрпризъ!»

Художникъ не зналъ, какъ вывести дамъ изъ пріятнаго заблужденія. Совѣстясь и потупя голову, онъ произнесъ тихо: «Это Психея.»

«Въ видѣ Психеи? C'est charmant!» сказала мать, улыбнувшись, причемъ улыбнулась также и дочь. «Не правди ли, Lise, тебѣ больше всего идетъ быть изображенной въ видѣ Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! это Корреджъ. Признаюсь, я читала и слышала о васъ, но я не знала, что у васъ такой талантъ. Нѣтъ, вы непремѣнно должны написать также и съ меня портретъ.» Дамѣ, какъ видно, хотѣлось также предстать въ видѣ какой-нибудь Психеи.

«Что́ мнѣ съ ними дѣлать?» подумалъ художникъ. «Если онѣ сами того хотятъ, такъ пусть Психея пойдетъ за то, чего имъ хочется,» и произнесъ въ слухъ: «Потрудитесь еще немножко присѣсть: я кое-что немножко трону.»

«Ахъ, я боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не... она такъ теперь похожа.»

Но художникъ понялъ, что опасенья были насчетъ желтизны, и успокоилъ ихъ, сказавъ, что онъ только придастъ болѣе блеску и выраженья глазамъ. А по справедливости, ему было слишкомъ совѣстно и хотѣлось хотя сколько-нибудь болѣе придать сходства съ оригиналомъ, дабы не укорилъ его кто-нибудь въ рѣшительномъ безстыдствѣ. И точно, черты блѣдной дѣвушки стали наконецъ выходить яснѣе изъ облика Психеи.

«Довольно!» сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконецъ уже черезъчуръ близко. Художникъ былъ награжденъ всѣмъ: улыбкой, деньгами, комплиментомъ, искреннимъ по-

жатьемъ руки, приглашеньемъ на обѣды, словомъ, получилъ тысячу лестныхъ наградъ.

Портретъ произвелъ по городу шумъ. Дама показала его пріятельницамъ: всѣ изумлялись искусству, съ какимъ художникъ умѣлъ сохранить сходство и вмѣстѣ съ тѣмъ придать красоту оригиналу. Послѣднее замѣчено было, разумѣется, не безъ легкой краски зависти въ лицѣ. И художникъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось, весь городъ хотѣлъ у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему безконечную практику разнообразіемъ, множествомъ лицъ. Но, на бѣду, это всё былъ народъ, съ которымъ было трудно ладить, народъ торопливый, занятый, или же принадлежащій свѣту, стало быть, еще болѣе занятый, нежели всякій другой, и потому нетерпѣливый до крайности. Со всѣхъ сторонъ только требовали, чтобъ было хорошо и скоро. Художникъ увидѣлъ, что оканчивать рѣшительно было невозможно, что все нужно было замѣнить легкостью и быстрой бойкостью кисти, — схватывать одно только цѣлое, одно общее выраженье и не углубляться кистью въ утонченныя подробности; однимъ словомъ, слѣдить природу въ ея окончанности было рѣшительно невозможно. Притомъ, нужно прибавить, что у всѣхъ почти писавшихся много было другихъ притязаній на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить всѣ углы, облегчить всѣ изъянцы и даже, если можно, избѣжать ихъ вовсе; словомъ, чтобы на лицо можно было засмотрѣться, если даже не совершенно влюбиться. И въ слѣдствіе этого, садясь писаться, онѣ принимали иногда такія выраженія, которыя приводили въ изумленье художника: та старалась изобразить въ лицѣ своемъ меланхолію, другая мечтательность, третья, во что́ бы ни стало, хотѣла уменьшить ротъ и сжимала его до такой степени, что онъ обращался наконецъ въ одну точку, небольше булавочной головки. И, не смотря на все

это, требовали отъ него сходства и непринужденной естественности. Мущины тоже были ничѣмъ нелучше дамъ: одинъ требовалъ себя изобразить въ сильномъ энергическомъ поворотѣ головы; другой съ поднятыми къ верху вдохновенными глазами; гвардейскій поручикъ требовалъ непремѣнно, чтобы въ глазахъ видѣнъ былъ Марсъ; гражданскій чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было прямоты, благородства въ лицѣ, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: *Всегда стоялъ за правду.* Сначала художника бросали въ потъ такія требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тѣмъ сроку давалось очень немного. Наконецъ онъ добрался, въ чемъ было дѣло, и ужъ не затруднялся нисколько. Даже изъ двухъ-трехъ словъ смекалъ впередъ, кто-чѣмъ хотѣлъ изобразить себя. Кто хотѣлъ Марса, онъ въ лицо совалъ Марса; кто мѣтилъ въ Байроны, онъ давалъ ему байроновское положенье и поворотъ. Коринной ли, Ундиной, Аспазіей ли желали быть дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все и прибавлялъ отъ себя уже всякому вдоволь благообразія, которое, какъ извѣстно, нигдѣ не подгадитъ, и за что́ простятъ иногда художнику и самое несходство. Скоро онъ уже самъ началъ дивиться чудной быстротѣ и бойкости своей кисти. А писавшіеся, само собою рузумѣется, были въ восторгѣ и провозглашали его геніемъ.

Чартковъ сдѣлался модным̀ъ живописцемъ во всѣхъ отношеніяхъ. Сталъ ѣздить на обѣды, сопровождать дамъ въ галлереи и даже на гулянья, щегольски одѣваться и утверждать гласно, что художникъ долженъ принадлежать къ обществу, что нужно поддержать его званіе, что художники одѣваются, какъ сапожники, не умѣютъ прилично вести себя, не соблюдаютъ высшаго тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, въ мастерской, онъ завелъ опрятность и чистоту въ высшей степени, опредѣлилъ двухъ великолѣпныхъ лакеевъ, завелъ щегольскихъ учениковъ, переодѣвался нѣсколько разъ въ день въ разные утренніе костюмы,

завивался, занялся улучшеніемъ разныхъ манеръ, съ которыми принимать посѣтителей, занялся украшеніемъ всѣми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею пріятное впечатлѣніе на дамъ; однимъ словомъ, скоро нельзя было въ немъ вовсе узнать того скромнаго художника, который работалъ когда-то незамѣтно въ своей лачужкѣ на Васильевскомъ островѣ. О художникахъ и объ искуствѣ онъ изъяснялся теперь рѣзко: утверждалъ, что прежнимъ художникамъ уже черезъ-чуръ много приписано достоинства, что всѣ они, до Рафаэля, писали не фигуры, а селедки; что существуетъ только въ воображеніи разсматривателей мысль, будтобы видно въ нихъ присутствіе какой-то святости; что самъ Рафаэль даже писалъ не все хорошо, и за многими произведеніями его удержалась только по преданію слава; что Микель-Анжелъ хвастунъ, потому что хотѣлъ только похвастать знаніемъ анатоміи; что граціозности въ немъ нѣтъ никакой, и что настоящаго блеска, силы кисти и колорита нужно искать только теперь, въ нынѣшнемъ вѣкѣ. Тутъ, натурально, невольнымъ образомъ доходило дѣло и до себя. «Нѣтъ, я не понимаю,» говорилъ онъ, «напряженья другихъ сидѣть и корпѣть съ трудомъ: человѣкъ, который копается по нѣскольку мѣсяцевъ надъ картиною, по мнѣ труженикъ, а не художникъ; я не повѣрю, чтобы въ немъ былъ таланть; геній твориτъ смѣло, быстро. Вотъ у меня,» говорилъ онъ, обращаясь обыкновенно къ посѣтителямъ: «этотъ портретъ я написалъ въ два дня, эту головку въ одинъ день, это въ нѣсколько часовъ, это въ часъ съ небольшимъ. Нѣтъ, я... я, признаюсь, не признаю художествомъ того, что́ лѣпиться строчка за строчкой; это ужъ ремесло, а не художество.» Такъ разсказывалъ онъ своимъ посѣтителямъ, и посѣтители дивились силѣ и бойкости его кисти, издавали даже восклицанія, услышавъ, какъ быстро они производились, и потомъ пересказывали другъ другу: «Это талантъ, истинный талантъ! посмотрите, какъ онъ говоритъ, какъ блестятъ его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать о себѣ такіе слухи. Когда въ журналахъ появлялась печатная хвала ему, онъ радовался какъ ребенокъ, хотя эта хлава была куплена имъ за свои же деньги. Онъ разносилъ такой печатный листъ вездѣ и, будтобы ненарочно, показывалъ его знакомымъ а пріятелямъ, и это его тѣшило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоѣдать одни и тѣ же портреты и лица, которыхъ положенье и обороты сдѣлались ему заученными. Уже безъ большой охоты онъ писалъ ихъ, стараясь набросить только кое-какъ одну голову, а остальное давалъ доканчивать ученикамъ. Прежде онъ всё-таки искалъ дать какое-нибудь новое положеніе, поразить силою, эффектомъ. Теперь и это становилось ему скучно. Умъ уставалъ придумывать и обдумывать. Это было ему не въ мочь, да и некогда: разсѣянная жизнь и общество, гдѣ онъ старался съиграть роль свѣтскаго человѣка, все это уносило его далеко отъ труда и мыслей. Кисть его хладѣла и тупѣла, и онъ нечувствительно заключился въ однообразныя, опредѣленныя, давно изношенныя формы. Однообразныя, холодныя, вѣчно прибранныя и, такъ сказать, застегнутыя лица чиновниковъ, военныхъ и штатскихъ, не много представляли поля для кисти: она позабыла и великолѣпныя драпировки, и сильныя движенія, и страсти. О группахъ, о художественной драмѣ, о высокой ея завязкѣ нечего было и говорить. Передъ нимъ были только мундиръ, да корсетъ, да фракъ, передъ которыми чувствуетъ холодъ художникъ и падаетъ всякое воображеніе. Даже достоинствъ самыхъ обыкновенныхъ уже не было видно въ его произведеніяхъ, а между тѣмъ они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на послѣднія его работы. А нѣкоторые, знавшіе Чарткова прежде, не могли понять, какъ могъ исчезнутъ въ немъ талантъ, котораго признаки оказались уже ярко въ немъ при самомъ началѣ, и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ угаснуть дарованье въ человѣкѣ,

тогда какъ онъ только что достигнулъ еще полнаго развитія всѣхъ силъ своихъ.

Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художникъ. Уже онъ начиналъ достигать поры степенности ума и дѣтъ: сталъ толстѣть и видимо раздаваться въ ширину. Уже въ газетахъ и журналахъ читалъ онъ прилагательныя: *почтеннѣй нашъ Андрей Петровичъ, заслуженный нашъ Андрей Петровичъ.* Уже стали ему предлагать по службѣ почетныя мѣста, приглашать на экзамены, въ комитеты. Уже онъ начиналъ, какъ всегда случается въ почетныя лѣта, брать сильно сторону Рафаэля и старинныхъ художниковъ, не потому, что убѣдился вполнѣ въ ихъ высокомъ достоинствѣ, но затѣмъ, чтобы колоть ими глаза молодыхъ художниковъ. Уже онъ начиналъ, по обычаю всѣхъ, вступающихъ въ такія лѣта, укорять безъ изъятья всю молодежь въ безнравственности и дурномъ направленіи духа. Уже начиналъ онъ вѣрить, что все на свѣтѣ дѣлается просто, вдохновенья свыше нѣтъ, и все необходимо должно быть подвергнуто подъ одинъ строгій порядокъ аккуратности и однообразья. Однимъ словомъ, жизнь его уже коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходитъ до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣй въ его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ дать наслажденья тому, кто укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденьемъ, цѣлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ, и, какъ всякій, кому достается въ удѣлъ этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему, кромѣ золота, безпричиннымъ скрягой, безпут-

нымъ собирателемъ и уже готовъ былъ обратиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыхъ много попадается въ нашемъ безчувственномъ свѣтѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный жизни и сердца человѣкъ, котому кажутся они движущимися каменными гробами, съ мертвецомъ внутри, вмѣсто сердца. Но одно событіе сильно потрясло и разбудило весь его жизненный составъ.

Въ одинъ день увидѣлъ онъ на столѣ своемъ записку, въ которой академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенной душой труженика погрузился въ него всей душою своей, оторвался отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, гдѣ, въ виду прекрасныхъ небесъ, спѣетъ величавый разсадникъ искусствъ, въ тотъ чудный Римъ, при имени котораго такъ полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Тамъ, какъ отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ неразвлекаемыя ничѣмъ занятія. Ему не было до того дѣло, толковали ли о его характерѣ, о его неумѣніи обращаться съ людьми, о несоблюденіи свѣтскихъ приличій, объ униженіи, которое онъ причинялъ званію художника своимъ скуднымъ, нещегольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердились ли, или нѣтъ на него его братья. Всѣмъ пренебрегалъ онъ, все отдалъ искусству. Неутомимо посѣщалъ галлереи, по цѣлымъ часамъ застаивался передъ произведеніями великихъ мастеровъ, ловя и преслѣдуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобы не повѣрить себя нѣсколько разъ съ сими великими учителями и чтобы не прочесть въ ихъ созданьяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта. Онъ не входилъ въ шумныя бесѣды и споры; онъ не стоялъ ни за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавалъ должную ему часть, извлекая изъ всего

только то́, что́ было въ немъ прекрасно, и наконецъ оставилъ себѣ въ учители одного божественнаго Рафаэля, — подобно какъ великій поэтъ-художникъ, перечитавшій много всякихъ твореній, исполненныхъ многихъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставлялъ наконецъ себѣ настольною книгой только Иліаду Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и нѣтъ ничего, что́ бы не отразилось уже здѣсь въ такомъ глубокомъ и великомъ совершенствѣ. И за то вынесъ онъ изъ своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши въ залу, Чартковъ нашелъ уже цѣлую огромную толпу посѣтителей, собравшихся передъ картинную. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ поспѣшилъ принять значительную физіогномію знатока и приблизился къ картинѣ; но, Боже, что́ онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло предъ нимъ произведеніе художника. Скромно, божественно, невинно и просто, какъ геній, возносилось оно надъ всѣмъ. Казалось, небесныя фигуры, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Съ чувствомъ невольнаго изумленія созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тутъ, казалось, соединилось вмѣстѣ: изученье Рафаэля, отраженное въ высокомъ благородствѣ положеній, изученіе Корреджія, дышавшей въ окончательномъ совершенствѣ кисти. Но властительнѣй всего видна была сила созданья, уже заключенная въ душѣ самого художника. Послѣдній предметъ въ картинѣ былъ имъ проникнутъ; во всемъ постигнутъ законъ и внутренная сила; вездѣ уловлена была эта плывучая округлость линій, заключенная въ природѣ которую видитъ только одинъ глазъ художника-создателя, и которая выходитъ углами у кописта. Видно было, какъ все, извлеченное изъ внѣшняго міра, художникъ заключилъ сперва себѣ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной пѣснью. И

стало ясно даже непосвященнымъ, какая неизмѣримая пропасть существуетъ между созданьемъ и простой копіей съ природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты всѣ, вперившіе глаза на картину, — ни шелеста, ни звука: а картина между тѣмъ ежеминутно казалась выше и выше; свѣтлѣй и чудеснѣй отдѣлялась наконэцъ въ одинъ мигъ — плодъ налетѣвшей съ небесъ на художника мысли, — мигъ, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно только приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію.

Неподвижно, съ отверзтымъ ртомъ, стоялъ Чартковъ передъ картиною, и наконецъ, когда-мало-помалу посѣтители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда наконецъ обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя; хотѣлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное, пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ, въ родѣ слѣдующаго: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта отъ художника; есть кое-что; видно, что хотѣлъ онъ выразить что-то; однакоже, что́ касается до главнаго...» и въ слѣдъ за этимъ прибавить, разумѣется, такія похвалы, отъ которыхъ бы не поздоровилось никакому художнику; хотѣлъ это сдѣлать, но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестроино выврались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный, и безчувственный стоялъ онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ-будто молодость возвратилась къ нему, какъ-будто потухшія искуры таланта вспыхнули снова. Съ очей его вдругъ слетѣла повязка. Боже! и погубить такъ безжалостно лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ быть, тепливщагося въ груди,

можетъ быть, развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можеть быть, также исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту разомъ и вдругъ ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ; весь обратился онъ въ одно желаніе и загорѣлся одною мыслію: ему хотѣлось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывался неправильностію и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу пстепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Досада его проникла. Онъ велѣлъ вынесть прочь изъ своей мастерской всѣ послѣднія произведенья, всѣ безжизненныя модныя картники, всѣ портреты гусаровъ, дамъ и статскихъ совѣтниковъ; заперся одинъ въ своей комнатѣ, не велѣлъ никого впускать и весь погрузился въ работу. Какъ терпѣливый юноша, какъ ученикъ, сидѣлъ онъ за своимъ трудомъ. Но какъ безпощадно неблагодарно было все, что́ выходило изъ-подъ его кисти! На каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой незначущій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Кисть невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкоовеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпираваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ!

«Но точно ли былъ у меня талантъ?» сказалъ онъ наконецъ: «не обманулся ли я?» И произнесши эти

слова, онъ подошелъ къ прежнимъ своимъ произведеніямъ, которыя работались когда-то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бѣдной лачужкѣ, на уединенномъ Васильевскомъ островѣ, вдали людей, изобилія и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ нимъ и сталъ внимательно разсматривать ихъ всѣ и вмѣстѣ съ ними стала представать въ его памяти вся прежняя бѣдная жизнь его. «Да,» проговорилъ онъ отчаянно, «у меня былъ талантъ: Вездѣ, на всемъ видны его признаки и слѣды . . .»

Онъ остановился и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ: глаза его встрѣтились съ неподвижно-вперившимися на него глазами. Это былъ тотъ небыкновенный портретъ, который онъ купилъ на Щукиномъ дворѣ. Все время онъ былъ закрытъ, загроможденъ другими картинами и вовсе вышелъ у него изъ мыслей. Теперь же, какъ нарочно, когда были вынесены всѣ модные портреты и картины, наполнявшіе мастерскую, онъ выглянулъ наверхъ вмѣстѣ съ прежними произведеніями его молодости. Какъ вспомнилъ онъ всю странную его исторію, какъ вспомнилъ, что нѣкоторымъ образомъ онъ, этотъ странный портретъ, былъ причиной его превращенія, что денежный кладъ, полученный имъ такимъ чудеснымъ образомъ, родилъ въ немъ всѣ суетныя побужденья, погубившія его талантъ — почти бѣшенство готово было ворвраться къ нему въ душу. Онъ въ ту же минуту велѣлъ вынести прочь ненавистный портретъ. Но душевное волненье оттого не умирилось: всѣ чувства и весь составъ были потрясены до дна, и онъ узналъ ту ужасную муку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ раждаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безподную жажду, — ту страшную муку, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ на ужасныя злодѣянія. Имъ овладѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, но-

сившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Въ душѣ его возродилось самое адское намѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что́ только производило художество. Купивши картину дорогою цѣною, осторожно приносилъ въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопровождая смѣхомъ наслажденія. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотые мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый мститель. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаявался въ пріобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ-будто разгнѣванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колоритъ на него: вѣчная желчь присутствовала на лицѣ его. Хула на міръ и отрицаніе изображалось само собою въ чертахъ его. Казалось, въ немъ олицетворился тотъ страшный демонъ, котораго идеально изобразилъ Пушкинъ. Кромѣ ядовитаго слова и вѣчнаго порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпіи, попадался онъ на улицѣ, и всѣ, даже знакомые, завидя его издали, старáлись увернуться и избѣгнуть такой встрѣчи, говоря, что она достаточна отравить потомъ весь день.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказыватся чаще, и наконецъ все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣли имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась

отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, — и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ двоился, четверился въ его глазахъ; всѣ стѣны казались увѣшаны портретами, вперившими въ него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядѣли съ потолка, съ полу, комната расширялась и продолжалась безконечно, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже нѣсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и издавалъ одни ужасные вопли и непонятныя рѣчи. Наконецъ жизнь его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ; но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

ЧАСТЬ II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъѣздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко дремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, невинно прослыли Меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Такихъ Меценатовъ, какъ извѣстно, теперь уже нѣтъ, и нашъ XIX-й вѣкъ давно уже пріобрѣлъ скучную

физіогномію банкира, наслаждающагося своими милліонами только въ-видѣ цыфръ, выставляемыхъ на бумагѣ. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ гостиннаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ нѣмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и выраженіе лицъ были здѣсь какъ-то тверже, вольнѣе и не означались той приторной услужливостью, которая такъ видна въ русскомъ купцѣ, когда онъ у себя въ лавкѣ передъ покупщикомъ. Тутъ они вовсе не чинились, не смотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимые посѣтители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать на немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитавшіе обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и ненаходившіе другого занятія отъ 12 до 1 часа; наконецъ тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотрѣть, чѣмъ что́ кончится, кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ, и за кѣмъ что́ останется. Множество картинъ было разбросано совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владѣтеля, можетъ быть, неимѣвшаго вовсе похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старыя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и безъ позолоты, люстры, кенкеты, — все было повалено и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще,

ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона странно: въ немъ все отзывается чѣмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Зала, въ которой онъ производится, всегда какъ-то мрачна, — окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ, и погребальный голосъ аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпѣвающаго панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь, искусствамъ: все это, кажется, усиливаетъ еще болѣе странную непріятность впечатлѣнья.

Аукціонъ, казалось, былъ въ самомъ разгарѣ. Цѣлая толпа порядочныхъ людей сдвинувшись вмѣстѣ хлопотала о чемъ-то наперерывъ. Со всѣхъ сторонъ раздававшіяся слова: *рубль, рубль*, не давали времени аукціонисту повторять надбавляемую цѣну, которая уже возрасла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала изъ-за портрета, который не могъ не остановить всѣхъ, имѣвшихъ сколько-нибудь понятія въ живописи. Высокая кисть художника выказывалась въ немъ очевидно. Портретъ, повидимому, уже нѣсколько разъ былъ ресторированъ и поновленъ, и представлялъ смуглыя черты какого-то Азіатца въ широкомъ платьи, съ необыкновеннымъ, страннымъ выраженіемъ въ лицѣ; но болѣе всего обступившіе были поражены необыкновенной живостью глазъ. Чѣмъ болѣе всматривались въ нихъ, тѣмъ болѣе они, казалось, устремлялись каждому внутрь. Эта странность, этотъ необыкновенный фокусъ художника, заняли вниманье почти всѣхъ. Много уже изъ состязавшихся о немъ отступилось, потому что цѣну набили неимовѣрную. Остались только два извѣстные аристократа, любители живописи, нехотѣвшіе ни за что́ отказаться отъ такого пріобрѣтенія. Они горячились и набили бы, вѣроятно, цѣну до невозможности, если бы вдругъ одинъ изъ тутъ же разсматривавшихъ не произнесъ: «Позвольте мнѣ прекратить на время вашъ споръ: я, можетъ быть, болѣе, нежели всякій другой, имѣю права на этотъ портретъ.»

Слова эти въ-мигъ обратили на него вниманіе всѣхъ. Это былъ стройный человѣкъ, лѣтъ тридцати

пяти, съ длинными черными кудрями. Пріятное лицо, исполненное какой-то свѣтлой беззаботности, показывало душу, чуждую всѣхъ томящихъ свѣтскихъ потрясеній; въ нарядѣ его не было никакихъ притязаній на моду: все показывало въ немъ артиста. Это былъ точно художникъ Б., знаемый лично многими изъ присутствовавшихъ.

«Какъ ни странны вамъ покажутся слова мои,» продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее вниманіе, «но, если вы рѣшитесь выслушать небольшую исторію, можетъ быть, вы увидите что я былъ въ правѣ произнести ихъ. Все меня увѣряетъ, что портретъ есть тотъ самый, котораго я ищу.»

Весьма естественное любопытство загорѣлось почти на лицахъ всѣхъ, и самый аукціонистъ, разинувъ ротъ, остановился съ поднятымъ въ рукѣ молоткомъ, приготовляясь слушать. Въ началѣ разсказа многіе обращались невольно глазами къ портрету, но потомъ всѣ вперились въ одного разскащика, по мѣрѣ того, какъ разсказъ его стоновился занимательнѣй.

«Вамъ извѣстна та часть города, которую называютъ Коломною,» такъ онъ началъ. «Тутъ все непохоже на другія части Петербурга; тутъ не столица и не провинція; кажется, слышишь, перейдя въ коломенскія улицы, какъ оставляютъ тебя всякія молодыя желанья и порывы. Сюда не заходитъ будущее, здѣсь все тишина и отставка, все, что̀ осѣло отъ столичнаго движенья. Сюда переѣзжаютъ на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имѣющіе знакомство съ сенатомъ, и потому осудившіе себя здѣсь почти на всю жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавочкѣ и забирающія каждый день на пять копѣекъ кофе, да на четыре сахару, и наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который можно назвать однимъ словомъ *пепельный*, — людей, которые съ своимъ платьемъ, лицемъ, волосами, глазами имѣютъ какую-то мутную, пепельную наружность, какъ день, когда нѣтъ на небѣ ни бури, ни солнца, а бываетъ, просто, ни то,

ни сё: сѣется туманъ и отнимаетъ всякую рѣзкость у предметовъ. Сюда можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, отставныхъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: идутъ, ни на что́ не обращая глазъ, молчатъ, ни о чемъ не думая. Въ комнатѣ ихъ не много добра; иногда просто штофъ чистой русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день безъ всякаго сильнаго прилива къ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ удалецъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій всѣмъ тротуаромъ, когда время перешло за двѣнадцать часовъ ночи.

«Жизнь въ Коломнѣ страхъ уединенна: рѣдко покажется карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры, которая громомъ, звономъ и бряканьемъ своимъ одна смущаетъ всеобщую тишину. Тутъ всѣ — пешеходы; извощикъ весьма часто безъ сѣдока плетется, таща сѣно для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей въ мѣсяцъ, даже съ кофеемъ поутру. Вдо́вы, получающія пансіонъ, тутъ самыя аристократическія фамиліи; онѣ ведутъ себя хорошо, метутъ часто свою комнату, толкуютъ съ пріятельницами о дороговизнѣ говядины и капусты; при нихъ часто бываетъ молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стѣнные часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Потомъ слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Коломны, народъ свободный, какъ всѣ артисты, живущіе для наслажденья. Они, сидя въ халатахъ, чинятъ пистолетъ, клеятъ изъ картона всякія вещицы, полезныя для дома, играютъ съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки и карты, и такъ проводятъ утро, дѣлая почти то же ввечеру, съ присоединеньемъ кое-когда пунша. Послѣ этихъ тузовъ и аристократства Коломны, слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь. Ихъ такъ же трудно

поименовать, какъ исчислить то множество насѣкомыхъ, которое зараждается въ старомъ уксусѣ. Тутъ есть старухи, которыя пьянствуютъ, старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка, съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копѣекъ; словомъ, чисто самый несчастный осадокъ человѣчества, которому бы ни одинъ благодѣтельный политическій экономъ не нашелъ средствъ улучшить состояніе.

«Я для того привелъ ихъ, чтобы показать вамъ, какъ часто этотъ народъ находится въ необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибѣгать къ займамъ, и тогда поселяются между ними особаго рода ростовщики, снабжающіе небольшими суммами подъ заклады и за большіе проценты. Эти небольшіе ростовщики бываютъ въ нѣсколько разъ безчувственнѣй всякихъ большихъ, потому что возникаютъ среди бѣдности и ярко выказываемыхъ нищенскихъ лохмотьевъ, которыхъ не видитъ богатый ростовщикъ, имѣющій дѣло только съ пріѣзжающими въ каретахъ, — и потому уже слишкомъ рано умираетъ въ душахъ ихъ всякое чувство человѣчества. Между такими ростовщиками былъ одинъ . . ., но не мѣшаетъ вамъ сказать, что происшествіе, о которомъ я принялся разсказать, относится къ прошедшему вѣку, именно къ царствованію покойной Государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый видъ Коломны и жизнь внутри ея должны были значительно измѣниться. И такъ, между ростовщиками былъ одинъ — существо во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенное, поселившееся уже давно въ этой части города. Онъ ходилъ въ широкомъ азіатскомъ нарядѣ; темная краска лица указывала на южное его происхожденіе; но какой именно былъ онъ націи, — Индіецъ, Грекъ, Персіянинъ, — объ этомъ никто не могъ сказать навѣрно. Высокій, почти необыкновенный ростъ, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо странный цвѣтъ его, большіе, необыкновеннаго огня глаза, нависнувшія гу-

стыя брови, отличали его сильно и рѣзко отъ всѣхъ пепельныхъ жителей столицы. Самое жилище его непохоже было на прочіе маленькіе деревяные домики. Это было каменное строеніе въ родѣ тѣхъ, которыхъ когда-то настроили вдоволь генуэзскіе купцы, съ неправильными, неравной величины окнами, съ желѣзными ставнями и засовами. Этотъ ростовщикъ отличался отъ другихъ ростовщиковъ уже тѣмъ, что могъ снабдить какою угодно суммою всѣхъ, начиная отъ нищей старухи до расточительнаго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самые блестящіе экипажи, изъ оконъ которыхъ иногда глядѣла голова роскошной свѣтской дамы. Молва, по обыкновенію, разнесла, что желѣзные сундуки его полны безъ счету денегъ, драгоцѣнностей, брилліантовъ и всякихъ залоговъ, но что однакоже онъ вовсе не имѣлъ той корысти, какая свойственна другимъ ростовщикамъ. Онъ давалъ деньги охотно, распредѣляя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то странными ариѳметическими выкладками заставлялъ ихъ восходить до непомѣрныхъ процентовъ. Такъ по крайней мѣрѣ говорила молва. Но что́ страннѣе всего и что́ не могло не поразить многихъ — это была странная судьба всѣхъ тѣхъ, которые получали отъ него деньги: всѣ они оканчивали жизнь несчастнымъ образомъ. Было ли это просто людское мнѣніе, нелѣпые суевѣрные толки, или съ умысломъ распущенные слухи — это осталось неизвѣстно. Но нѣсколько примѣровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ глазами всѣхъ, были живы и разительны.

Изъ среды тогдашняго аристократства скоро обратилъ на себя глаза юноша лучшей фамиліи, отличившійся уже въ молодыхъ лѣтахъ на государственномъ поприщѣ, жаркій почитатель всего истиннаго, возвышеннаго, ревнитель всего, что́ породило искусство и умъ человѣка, пророчившій въ себѣ Мецената. Скоро онъ былъ достойно отличенъ самой Государыней, ввѣрившей ему значительное мѣсто, совершенно согласное съ собственными его требованіями,

мѣсто, гдѣ онъ могъ много произвести для наукъ и вообще для добра. Молодой вельможа окружилъ себя художниками, поэтами, ученными. Ему хотѣлось всѣмъ дать работу, все поощрить. Онъ предпринялъ на собственный счетъ множество полезныхъ изданій, надавалъ множество заказовъ, объявилъ поощрительные призы, издержалъ на это кучи денегъ и наконецъ разстроился. Но, полный великодушнаго движенья, онъ не хотѣлъ отстать отъ своего дѣла, искалъ вездѣ занять и наконецъ обратился къ извѣстному ростовщику. Сдѣлавши значительный заемъ у него, этотъ человѣкъ въ непродолжительное время измѣнился совершенно: сталъ гонителемъ, преслѣдователемъ развивающагося ума и таланта. Во всѣхъ сочиненіяхъ сталъ видѣть дурную сторону, толковалъ криво всякое слово. Тогда на бѣду случилась французская революція. Это послужило ему вдругъ орудіемъ для всѣхъ возможныхъ подозрѣній. Онъ сталъ видѣть во всемъ какое-то революціонное направленіе, во всемъ ему чудились намеки. Онъ сдѣлался подозрительнымъ до такой степени, что началъ наконецъ подозрѣвать самого себя, сталъ сочинять ужасные, несправедливые доносы, надѣлалъ тьму несчастныхъ. Само собой разумѣется, что такіе поступки не могли не достигнуть наконецъ престола. Великодушная Государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающаго вѣнценосцевъ, произнесла слова, которыя хотя не могли перейти къ намъ во всей точности, но глубокій смыслъ ихъ впечатлѣлся въ сердцахъ многихъ. Государыня замѣтила, что не подъ монархическимъ правленіемъ угнетаются высокія, благородныя движенья души, не тамъ презираются и преслѣдуются творенія ума, поэзіи и художествъ; что, напротивъ, одни монархи бывали ихъ покровителями; что Шекспиры, Мольеры, процвѣтали подъ ихъ великодушной защитой, между тѣмъ какъ Дантъ не могъ найти угла въ своей республиканской родинѣ; что истинные геніи возникаютъ во время блеска и могущества государей и государствъ, а не во время безобразныхъ политическихъ явленій и терроризмовъ ре-

спубликанскихъ, которые доселѣ не подарили міру ни одного поэта; что нужно отличать поэтовъ-художниковъ, ибо одинъ только миръ и прекрасную тишину низводятъ они въ душу, а не вольненье и ропотъ, что ученые, поэты и всѣ производители искусствъ суть перлы и брилліанты въ императорской коронѣ: ими красуется и получаетъ еще бо́льшій блескъ эпоха великаго государя. Словомъ, Государыня, произнесшая эти слова, была въ эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что, старики не могли объ этомъ говорить безъ слезъ. Въ дѣлѣ всѣ приняли участіе. Къ чести нашей народной гордости, надобно замѣтить, что въ русскомъ сердцѣ всегда обитаетъ прекрасное чувство взять сторону угнетеннаго. Обманувшій довѣренность вельможа былъ наказанъ примѣрно и отставленъ отъ мѣста. Но наказаніе гораздо ужаснѣйшее читалъ онъ на лицахъ своихъ соотечественниковъ: это было рѣшительное и всеобщее презрѣніе. Нельзя разсказать, какъ страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбіе, разрушившіяся надежды, все соединилось вмѣстѣ, и въ припадкахъ страшнаго безумія и бѣшенства прервалась его жизнь.

«Другой разительный примѣръ произошелъ тоже въ виду всѣхъ: изъ красавицъ, которыми не бѣдна была тогда наша сѣверная столица, одна одержала рѣшительное первенство надъ всѣми. Это было какое-то чудное сліянье нашей сѣверной красоты съ красотой полудня, брилліантъ, какой попадается на свѣтѣ рѣдко. Отецъ мой признавался, что никогда онъ не видывалъ во всю жизнь свою ничего подобнаго. Все, казалось, въ ней соединилось: богатство, умъ и душевная прелесть. Искателей была толпа и въ числѣ ихъ замѣчательнѣе всѣхъ былъ князь Р., благороднѣйшій, лучшій изъ всѣхъ молодыхъ людей, прекраснѣйшій и лицомъ и рыцарскими, великодушными порывами, высокій идеалъ романовъ и женщинъ, Грандисонъ во всѣхъ отношеніяхъ. Князь Р. былъ влюбленъ страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему отвѣтомъ. Но родственникамъ показалась партія не-

ровною. Родовыя вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилія была въ немилости, и плохое положенье дѣлъ его было извѣстно всѣмъ. Вдругъ князь оставляетъ на время столицу, будтобы съ тѣмъ, чтобы поправить свои дѣла, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блескомъ неимовѣрнымъ. Блистательные балы и праздники дѣлаютъ его извѣстнымъ двору. Отецъ красавицы становиться благосклоннымъ, и въ городѣ разыгрывается интереснѣйшая свадьба. Откуда произошла такая перемѣна и неслыханное богатство жениха, этого не могъ навѣрно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что онъ вошелъ въ какія-то условія съ непостижимымъ ростовщикомъ и сдѣлалъ у него заемъ. Какъ бы то ни было, но свадьба заняла весь городъ, и женихъ, и невѣста были предметомъ общей зависти. Всѣмъ была извѣстна ихъ жаркая, постоянная любовь, долгія томленья, претерпѣнныя съ обѣихъ сторонъ, высокія достоинства обоихъ. Пламенныя женщины начертывали заранѣе то райское блаженство, которымъ будутъ наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. Въ одинъ годъ произошло страшная перемѣна въ мужѣ. Ядомъ подозрительной ревности, нетерпимостью и неисточимыми капризами отравился дотолѣ благородный и прекрасный характеръ. Онъ сталъ тираномъ и мучителемъ жены своей и, чего бы никто не могъ предвидѣть, прибѣгнулъ къ самымъ безчеловѣчнымъ поступкамъ, даже побоямъ. Въ одинъ годъ никто не могъ узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорныхъ поклонниковъ. Наконецъ, не въ силахъ будучи выносить долѣе тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводѣ. Мужъ пришелъ въ бѣшенство при одной мысли о томъ. Въ первомъ движеньи неистовства, ворвался онъ къ ней въ комнату съ ножомъ и безъ сомнѣнія закололъ бы ее тутъ же, если бы его не схватили и не удержали. Въ порывѣ изступленья и отчаянья, онъ обратилъ ножъ на себя — и въ ужаснѣйшихъ мукахъ окончилъ жизнь.

«Кромѣ этихъ двухъ примѣровъ, совершившихся въ глазахъ всего общества, разсказывали множество случившихся въ низшихъ классахъ, которые почти всѣ имѣли ужасный конецъ. Тамъ честный, трезвый человѣкъ дѣлался пьяницей; тамъ купеческій прикащикъ обворовалъ своего хозяина; тамъ извощикъ, возившій нѣсколько лѣтъ честно, за грошъ зарѣзалъ сѣдока. Нельзя, чтобы такія происшествія, разсказываемыя иногда не безъ прибавленій, не навели родъ какого-то невольнаго ужаса на скромныхъ обитателей Коломны. Никто не сомнѣвался о присутствіи нечистой силы въ этомъ человѣкѣ. Говорили, что онъ предлагалъ такія условія отъ которыхъ дыбомъ поднимались волосы и которыхъ никогда потомъ не посмѣлъ несчастный передавать другому; что деньги его имѣютъ притягающее свойство, раскаляются сами собою и носятъ какіе-то странные знаки... словомъ, много было всякихъ нелѣпыхъ толковъ. И замѣчательно, что все это коломенское поселеніе, весь этотъ міръ бѣдныхъ старухъ мелкихъ чиновниковъ, мелкихъ артистовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпѣть и выносить послѣднюю крайность, нежели обратиться къ страшному ростовщику; находили даже умершихъ отъ голода старухъ, которыя лучше соглашались умертвить свое тѣло, нежели погубить душу. Встѣчаясь съ нимъ на улицѣ, невольно чувствовали страхъ. Пѣшеходъ осторожно пятился и долго еще озирался послѣ того назадъ, слѣдя пропадавшую вдали его непомѣрно высокую фигуру. Въ одномъ уже образѣ его было столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существованіе. Эти сильныя черты, врѣзанныя такъ глубоко, какъ не случается у человѣка; этотъ горячій, бронзовый цвѣтъ лица; эта непомѣрная гущина бровей, невыносимые, страшные, глаза, даже самыя широкія складки его азіатской одежды, — все, казалось, какъ-будто говорило, что предъ страстями, двигавшимися въ этомъ тѣлѣ, были блѣдны всѣ страсти другихъ людей. Отецъ мой всякій разъ останавливался неподвижно,

когда встрѣчалъ его, и всякій разъ не могъ удержаться, чтобы не произнести: «Дьяволъ, совершенный дьяволъ!» Но надобно васъ поскорѣе познакомить съ моимъ отцомъ, который между прочимъ есть настоящій сюжетъ этой исторіи.

«Отецъ мой былъ человѣкъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедшій, по причинамъ, можетъ быть, неизвѣстнымъ ему самому одною только указанною изъ души дорогою: одно изъ тѣхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники честятъ обиднымъ словомъ *невѣжи* и которые не охлаждаются отъ охуленій и собственныхъ неудачъ, получаютъ только новыя рвенья и силы и уже далеко въ душѣ своей уходятъ отъ тѣхъ произведеній, за которыя получили титло невѣжъ. Высокимъ внутреннимъ инстинктомъ почуялъ онъ присутствіе мысли въ каждомъ предметѣ; постигнулъ самъ собой истинное значеніе слова *историческая живопись*; постигнулъ, почему простая головка, простой портретъ Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тиціана, Корреджіо можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина историческаго содержанія всё-таки будетъ tableau de genre, не смотря на всѣ притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убѣжденіе обратили кисть его къ христіанскимъ предметамъ, высшей и послѣдней ступени высокаго. У него не было честолюбія, или раздражительности, столь неотлучной отъ характера многихъ художниковъ. Это былъ твердый характеръ, честный, прямой человѣкъ, даже грубый, покрытый снаружи нѣсколько черствой корою, не безъ нѣкоторой гордости въ душѣ, отзывавшійся о людяхъ вмѣстѣ и снисходительно, и рѣзко. «Что́ на нихъ глядѣть?» обыкновенно говорилъ онъ: «вѣдь я не для нихъ работаю. Не въ гостинную понесу я картины. Кто пойметъ меня, поблагодаритъ. Свѣтскаго человѣка нечего винить, что онъ не смыслитъ въ живописи:

зато онъ смыслитъ въ картахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ винѣ, въ лошадяхъ, — зачѣмъ знать больше барину? Еще, пожалуй, какъ попробуетъ того, да другаго, да пойдетъ умничать, тогда и житья отъ него не будетъ! Всякому свое, всякій пусть занимается своимъ. По мнѣ, ужъ лучше тотъ человѣкъ, который говоритъ прямо, что онъ не знаетъ толку, нежели тотъ, который лицемѣритъ, говоритъ, будтобы знаетъ то́, чего не знаетъ, и только гадитъ да портитъ.» Онъ работалъ за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кромѣ того, онъ ни въ какомъ случаѣ не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бѣдному художнику; вѣровалъ простой, благочестивой вѣрой предковъ, и оттого, можетъ быть, на изображенныхъ имъ лицахъ являлось само собою то высокое выраженье, до котораго не могли докопаться блестящіе таланты. Наконецъ постоянствомъ своего труда и неуклонностью начертаннаго себѣ пути онъ сталъ даже пріобрѣтать уваженіе со стороны тѣхъ, которые честили его невѣжей и доморощеннымъ самоучкой. Ему давали безпрестанно заказы въ церкви — и работа у него не переводилась. Одна изъ работъ заняла его сильно. Не помню уже, въ чѣмъ именно состоялъ сюжетъ ея, знаю только то́ — на картинѣ нужно было помѣстить духа тьмы. Долго думалъ онъ надъ тѣмъ, какой дать ему оборотъ: ему хотѣлось осуществить въ лицѣ его все тяжелое, гнетущее человѣка. При такихъ размышленіяхъ иногда проносился въ головѣ его образъ таинственнаго ростовщика, и онъ думалъ невольно: «Вотъ бы съ кого мнѣ слѣдовало написать дьявола!» Судите же объ его изумленіи, когда одинъ разъ, работая въ своей мастерской, услышалъ онъ стукъ въ дверь, и вслѣдъ за тѣмъ прямо вошелъ къ нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробѣжала невольно по его тѣлу.

«Ты художникъ?» сказалъ онъ безъ всякихъ церемоній моему отцу.

«Художникъ,» сказалъ отецъ въ недоумѣньи, ожидая, что́ будетъ далѣе.

«Хорошо. Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ быть, скоро умру, дѣтей у меня нѣтъ; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портретъ, чтобы былъ совершенно, какъ живой?»

«Отецъ мой подумалъ: «Чего лучше? онъ самъ просится въ дьяволы ко мнѣ на картину.» Далъ слово. Они уговорились во времени и цѣнѣ, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. Высокій дворъ, собаки, желѣзныя двери и затворы, дугообразныя окна, сундуки, покрытые странными коврами, и наконецъ самъ необыкновенный хозяинъ, сѣвшій неподвижно передъ нимъ, — все это произвело на него странное впечатлѣніе. Окна какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу такъ, что давали свѣтъ только съ одной верхушки. «Чортъ побери, какъ теперь хорошо освѣтилось его лицо!» сказалъ онъ про-себя, и принялся жадно писать, какъ-бы опасаясь, чтобы какъ-нибудь неизчезло счастливое освѣщенье. «Экая сила!» повторилъ онъ про-себя: «если я хотя вполовину изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убьетъ всю мою прежнюю работу; онъ у меня, просто, выскочитъ изъ полотна, если только хоть немного буду вѣренъ натурѣ. Какія необыкновенныя черты!» повторялъ онъ безпрестанно, усугубляя рвеніе, и уже видѣлъ самъ, какъ стали переходить на полотно нѣкоторыя черты. Но чѣмъ болѣе онъ приближался къ нимъ, тѣмъ болѣе чувствовалъ какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себѣ самому. Однакоже, не смотря на то, онъ положилъ себѣ преслѣдовать съ буквальною точностью всякую незамѣтную черту и выраженье. Прежде всего занялся онъ отдѣлкою глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать ихъ точно, какъ были въ натурѣ. Однакоже, во что́ бы то ни стало, онъ рѣшился доискаться въ нихъ послѣдней мелкой черты и оттѣнка, постигнуть ихъ тайну... Но какъ только

началъ онъ входить и усугубляться въ нихъ кистью, въ душѣ его возродилось такое странное отвращеніе, такая непонятная тягость, что онъ долженъ былъ на нѣсколько времени бросить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ уже не могъ онъ болѣе выносить: онъ чувствовалъ, что эти глаза вонзились ему въ душу и производили въ ней тревогу непостижимую. На другой, на третій день это было еще сильнѣе. Ему сдѣлалось страшно. Онъ бросилъ кисть и сказалъ наотрѣзъ, что не можетъ болѣе писать съ него. Надобно было видѣть, какъ измѣнился при этихъ словахъ страшный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и молилъ кончить портретъ, говоря, что отъ этого зависитъ судьба его и существованіе въ мірѣ; что уже онъ тронулъ своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ вѣрно, жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретѣ; что онъ черезъ то не умретъ совершенно; что ему нужно присутствовать въ мірѣ. Отецъ мой почувствовалъ ужасъ отъ такихъ словъ: они ему показались до того странны и страшны, что онъ бросилъ и кисти, и палитру, и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.

«Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а поутру онъ получилъ отъ ростовщика портретъ, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него въ услугахъ, объявившая тутъ же, что хозяинъ не хочетъ портрета, не даетъ за него ничего и присылаетъ назадъ. Ввечеру въ тотъ же день узналъ онъ, что ростовщикъ умеръ и что собираются уже хоронить его по обрядамъ его религіи. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тѣмъ съ этого времени оказалась въ характерѣ его ощутительная перемѣна: онъ чувствовалъ неспокойное, тревожное состояніе, которому самъ не могъ понять причины, и скоро сдѣлалъ онъ такой поступокъ, котораго бы никто не могъ ожидать. Съ нѣкотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали привлекать вниманіе небольшого круга знатоковъ и любителей. Отецъ мой всегда видѣлъ въ немъ талантъ и оказы-

валъ ему за то свое особенное расположеніе. Вдругъ почувствовалъ къ нему зависть. Всеобщее участіе и толки о немъ сдѣлались ему невыносимы. Наконецъ, къ довершенію досады, узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нѣтъ, не дамъ же молокососу восторжествовать!» говорилъ онъ: «рано, братъ, вздумалъ стариковъ сажать въ грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вотъ увидимъ, кто кого скорѣе посадитъ въ грязь.» И прямодушный, честный въ душѣ человѣкъ употребилъ интриги и происки, которыми дотолѣ всегда гнушался; добился наконецъ того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ и другіе художники могли войти также съ своими работами. Послѣ чего заперся онъ въ свою комнату и съ жаромъ принялся за кисть. Казалось, всѣ свои силы, всего себя хотѣлъ онъ сюда собрать. И точно, это вышло одно изъ лучшихъ его произведеній. Никто не сомнѣвался, чтобы не за нимъ осталось первенство. Картины были представлены, и всѣ прочія показались предъ нею какъ ночь предъ днемъ. Какъ вдругъ одинъ изъ присутствовавшихъ членовъ, если не ошибаюсь, духовная особа, сдѣлалъ замѣчаніе, поразившее всѣхъ. «Въ картинѣ художника точно есть много таланта,» сказалъ онъ, «но нѣтъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что-то демонское въ глазахъ, какъ-будтобы рукую художника водило нечистое чувство.» Всѣ взглянули и не могли не убѣдиться въ истинѣ этихъ словъ. Отецъ мой бросился впередъ къ своей картинѣ, какъ-бы съ тѣмъ, чтобы повѣритъ самому такое обидное замѣчаніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ всѣмъ почти фигурамъ придалъ глаза ростовщика. Они такъ глядѣли демонски-сокрушительно, что онъ самъ невольно вздрогнулъ. Картина была отвергнута, и онъ долженъ былъ, къ неописанной своей досадѣ, услышать, что первенство осталось за его ученикомъ. Невозможно было описать того бѣшенства, съ какимъ возвратился домой. Онъ чуть не прибилъ мать мою, разогналъ дѣтей, переломалъ кисти и мольбертъ, схва-

тилъ со стѣны портретъ ростовщика потребовалъ ножа и велѣлъ разложить огонь въ каминѣ, намѣреваясь изрѣзать его въ куски и сжечь. На этомъ движеньи засталъ его вошедшій въ комнату пріятель, живописецъ, какъ и онъ весельчакъ, всегда довольный собой, незаносившійся никакими отдаленными желаніями, работавшій весело все, что̀ попадалось, и еще веселѣй того принимавшійся за обѣдъ и пирушку.

Что̀ ты дѣлаешь? что́ собираешься жечь?» сказалъ онъ и подошелъ къ портрету. «Помилуй, это одно изъ самыхъ лучшихъ твоихъ произведеній. Это ростовщикъ, который недавно умеръ; да, это совершеннѣйшая вещь. Ты ему, просто, попалъ не въ бровь, а въ самые глаза залѣзъ. Такъ въ жизнь никогда не глядѣли глаза, какъ, они глядятъ у тебя.»

«А вотъ я посмотрю, какъ они будутъ глядѣть въ огнѣ!» сказалъ отецъ сдѣлавши движенье швырнуть портретъ въ каминъ.

«Остановись, ради Бога!» сказалъ пріятель, удержавъ его: отдай его ужъ лучше мнѣ, если онъ тебѣ до такой степени колетъ глазъ.» Отецъ сначала упорствовалъ, наконецъ согласился, и весельчакъ, чрезвычайно довольный своимъ пріобрѣтеніемъ, утащилъ портретъ съ собою.

«По уходѣ его, отецъ мой вдругъ почувствовалъ себя спокойнѣе. Точно, какъ-будтобы вмѣстѣ съ портретомъ свалилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемѣнѣ своего характера. Разсмотрѣвши поступокъ свой, онъ опечалился душою и, не безъ внутренней скорби, произнесъ: «Нѣтъ, это Богъ наказалъ меня; картина моя по дѣло́мъ понесла посрамленье. Она была замышлена съ тѣмъ, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться въ ней.» Онъ немедленно отправился искать бывшаго ученика своего, обнялъ его крѣпко, просилъ у него прощенья и старался, сколько могъ, загладить предъ нимъ вину свою. Работы его вновь по текли попрежнему безмя-

тежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лицѣ. Онъ больше молился, чаще бывалъ молчаливъ и не выражался такъ рѣзко о людяхъ; самая грубая наружность его характера какъ-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще болѣе потрясло его. Онъ уже давно не видался съ товарищемъ своимъ, выпросившимъ у него портретъ. Уже собирался было идти его провѣдать, какъ вдругъ онъ самъ вошелъ неожиданно въ его комнату. Послѣ нѣсколькихъ словъ и вопросовъ съ обѣихъ сторонъ онъ сказалъ: «Ну, братъ, не даромъ ты хотѣлъ сжечь портретъ. Чортъ его побери, въ немъ есть что-то страшное... Я вѣдь-мамъ не вѣрю, но, воля твоя, въ немъ сидитъ нечистая сила...»

«Какъ?» сказалъ отецъ мой.

«А такъ, что съ тѣхъ поръ, какъ повѣсилъ я къ себѣ его въ комнату, почувствовалъ тоску такую.... точно какъ-будтобы хотѣлъ кого-то зарѣзать. Въ жизнь мою я не зналъ, что́ такое безсонница, а теперь испыталъ не только безсонницу, но сны такіе... я и самъ не умѣю сказать, сны ли это, или что́ другое: точно домовой тебя душитъ, и всё мерещится проклятый старикъ. Однимъ словомъ, не могу разсказать тебѣ моего состоянія. Подобнаго со мной никогда не бывало. Я бродилъ какъ шальной всѣ эти дни: чувствовалъ какую-то боязнь, непріятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго и искренняго слова; точно, какъ-будто возлѣ меня сидитъ шпіонъ какой-нибудь. И только съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ портретъ племяннику, который напросился на него, почувствовалъ, что съ меня вдругъ будто какой-то камень свалился съ плечъ: вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну, братъ, состряпалъ ты чорта!»

«Во время этого разсказа отецъ мой слушалъ его съ неразвлекаемымъ вниманіемъ, и наконецъ спросилъ: «И портретъ теперь у твоего племянника?»

«Куда у племянника! не выдержалъ!» сказалъ весельчакъ: «знать, душа самого ростовщика переселилась

въ него: онъ выскакиваетъ изъ рамъ, расхаживаетъ по комнатѣ, и то, что́ разсказываетъ племянникъ, просто уму непонятно. Я бы принялъ его за сумасшедшаго, если бы отчасти не испыталъ самъ. Онъ его продалъ какому-то собирателю картинъ, да и тотъ не вынесъ его и тоже кому-то сбылъ съ рукъ.»

«Этотъ разсказъ произвелъ сильное впечатлѣнье на моего отца. Онъ задумался не въ-шутку, впалъ въ ипохондрію и наконецъ совершенно увѣрился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ орудіемъ, что часть жизни ростовщика перешла въ самомъ дѣлѣ какъ-нибудь въ портретъ и тревожитъ теперь людей, внушая бѣсовскія побужденія, совращая художника съ пути, порождая страшныя терзанья зависти, и проч. и проч. Три случившіяся вслѣдъ затѣмъ несчастія, три внезапныя смерти: жены, дочери и малолѣтняго сына, почелъ онъ небесною казнью себѣ и рѣшился непремѣнно оставить свѣтъ. Какъ только минуло мнѣ девять лѣтъ, онъ помѣстилъ меня въ академію художествъ и, расплатясь съ своими должниками, удалился въ одну уединенную обитель, гдѣ скоро постригся въ монахи. Тамъ, строгостью жизни, неусыпнымъ соблюденіемъ всѣхъ монастырскихъ правилъ, онъ изумилъ всю братію. Настоятель монастыря, узнавши объ искусствѣ его кисти, требовалъ отъ него написать главный образъ въ церковь. Но смиренный братъ сказалъ на-отрѣзъ, что онъ недостоинъ взяться за кисть, что она осквернена, что трудомъ и великими жертвами онъ долженъ прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить къ такому дѣлу. Его не хотѣли принуждать. Онъ самъ увеличивалъ для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Онъ удалился, съ благословенья настоятеля, въ пустыню, чтобъ быть совершенно одному. Тамъ изъ древесныхъ вѣтвей выстроилъ онъ себѣ келью, питался одними сырыми кореньями, таскалъ на себѣ камни съ мѣста на мѣсто, стоялъ отъ восхода до заката солнечнаго на одномъ и томъ же мѣстѣ съ поднятыми къ небу руками, читая безпре-

рывно молитвы; словомъ, изыскиѣалъ, казалось, всѣ возможныя степени терпѣнья и того непостижимаго самоотверженья, которому примѣры можно развѣ найти въ однихъ житіяхъ святыхъ. Такимъ образомъ, долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, изнурялъ онъ свое тѣло, подкрѣпляя его въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ въ одинъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо настоятелю: «Теперь я готовъ; если Богу угодно, я совершу свой трудъ.» Предметъ, взятый имъ, было Рождество Іисуса. Цѣлый годъ сидѣлъ онъ за нимъ, не выходя изъ своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь безпрестанно. По истеченіи года, картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братія, ни настоятель не имѣли большихъ свѣдѣній въ живописи, но всѣ были поражены необыкновенной святостью фигуръ. Чувство божественнаго смиренья и кротости въ лицѣ Пречистой Матери, склонившейся надъ Младенцемъ, глубокій разумъ въ очахъ Божественнаго Младенца, какъ-будто уже что-то прозрѣвающихъ вдали, торжественное молчанье пораженныхъ Божественнымъ чудомъ царей, повергнувшихся къ ногамъ его, и, наконецъ, святая невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало въ такой согласной силѣ и могуществѣ красоты, что впечатлѣнье было магическое. Вся братія повергласъ на колѣни передъ новымъ образомъ, и умиленный настоятель произнесъ: «Нѣтъ, нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства произвести такую картину; святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небесъ почило на трудѣ твоемъ.»

«Въ это время окончилъ я свое ученье въ академіи, получилъ золотую медаль и вмѣстѣ съ нею радостную надежду на путешествіе въ Италію — лучшую мечту двадцатилѣтняго художника. Мнѣ оставалось только проститься съ моимъ отцомъ, съ которымъ уже двѣнадцать лѣтъ, какъ разстался. Признаюсь, даже самый образъ его давно исчезнулъ изъ моей памяти. Я уже нѣсколько наслышался о суровой святости его

жизни и заранѣе воображалъ встрѣтить чорствую наружность отшельника, чуждаго всему въ мірѣ, кромѣ своей кельи и молитвы, изнуреннаго, высохшаго отъ вѣчнаго поста и бдѣнья. Но какъ же я изумился, когда предсталъ предо мною прекрасный, почти божественный старецъ! И слѣдовъ изможденія не было замѣтно на его лицѣ: оно сіяло свѣтлостью небеснаго веселія. Бѣлая, какъ снѣгъ, борода и тонкіе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвѣта разсыпались картинно по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самого вервія, которымъ опоясывалась его убогая монашеская одежда. Но болѣе всего изумительно было для меня услышать изъ устъ его такія слова и мысли объ искусствѣ, которыя, признаюсь, я долго буду хранить въ душѣ и желалъ бы искренно, чтобы всякій мой собратъ сдѣлалъ то же.

«Я ждалъ тебя, сынъ мой,» сказалъ онъ, когда я подошелъ къ его благословенью. «Тебѣ предстоитъ путь, по которому отнынѣ потечетъ жизнь твоя. Путь твой чистъ, — не совратись съ него. У тебя есть талантъ; талантъ есть драгоцѣннѣйшій даръ Бога, — не погуби его. Изслѣдуй, изучай все, что́ ни видишь, покори все кисти, но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаженъ избранникъ, владѣющій ею! Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго; ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намекъ о Божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненья мірского; во сколько разъ творенье выше разрушенья; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свѣтлой души своей выше всѣхъ несмѣтныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны: во столько разъ выше всего, что́ ни есть

на свѣтѣ, высокое созданье искусства. Все принеси ему въ жертву и возлюби его всей страстью, — не страстью, дышущей земнымъ вожделѣніемъ, но тихой, небесной страстью: безъ нея не властенъ человѣкъ возвыситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ звуковъ успокоенія. Ибо для успокоенія и примиренія всѣхъ нисходитъ въ міръ высокое созданье искусства. Оно не можетъ поселить ропота въ душѣ, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты...» Онъ остановился, и я замѣтилъ, что вдругъ омрачился свѣтлый ликъ его, какъ-будто-бы на него набѣжало какое-то мгновенное облако. «Есть одно происшествіе въ моей жизни,» сказалъ онъ. «Донынѣ я не могу понять, что́ былъ тотъ странный образъ, съ котораго я написалъ изображеніе. Это было точно какое-то дьявольское явленіе. Я знаю, свѣтъ отвергаетъ существованіе дьявола, и потому не буду говорить о немъ; но скажу только, что я съ отвращеніемъ писалъ его: я не чувствовалъ въ то время никакой любви къ своей работѣ. Насильно хотѣлъ покорить себя и, бездушно заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которыя объемлютъ всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства художника ибо художникъ и въ тревогѣ дышетъ покоемъ. Мнѣ говорили, что портретъ этотъ ходитъ по рукамъ и разсѣваетъ томительныя впечатлѣнья, зараждая въ художникѣ чувство зависти, мрачной ненависти къ брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранитъ тебя Всевышній отъ сихъ страстей! Нѣтъ ихъ страшнѣе. Лучше вынести всю горечь возможныхъ гоненій, нежели нанести кому-либо одну тѣнь гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человѣку, который вышелъ изъ дома въ свѣтлой праздничной одеждѣ, сто́итъ только быть обрызнуту одной каплей грязи изъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступилъ его и указываетъ на него пальцемъ, и тол-

куетъ объ его неряшествѣ, тогда какъ тотъ же народъ не замѣчаетъ множества пятенъ на другихъ проходящихъ, одѣтыхъ въ будничныя одежды, ибо на будничныхъ одеждахъ не замѣтны пятна.»

«Онъ благословилъ меня и обнялъ. Никогда въ жизни не былъ я такъ возвышенно подвигнутъ. Благоговѣйно, болѣе, нежели съ чувствомъ сына, прильнулъ я къ груди его и поцѣловалъ въ разсыпавшіеся его серебряные волосы.

«Слеза блеснула въ его глазахъ. «Исполни, сынъ мой, одну мою просьбу,» сказалъ онъ мнѣ уже при самомъ разставаньи. «Можетъ быть, тѣбѣ случится увидѣть гдѣ-нибудь тотъ портретъ, о которомъ я говорилъ тебѣ. Ты его узна́ешь вдругъ по необыкновеннымъ глазамъ и неестественному ихъ выраженію. Во что́ бы то ни было, истреби его...»

«Вы можете судить сами, могъ ли я не обѣщать клятвенно исполнить такую просьбу. Въ продолженіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ не случалось мнѣ встрѣтить ничего такого, что́ бы хотя сколько-нибудь походило на описаніе, сдѣланное моимъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукціонѣ...»

Здѣсь художникъ, не договоривъ еще своей рѣчи, обратилъ глаза на стѣну съ тѣмъ, чтобы взглянуть еще разъ на портретъ. То же самое движеніе сдѣлала въ одинъ мигъ вся толпа слушавшихъ, ища глазами необыкновеннаго портрета. Но, къ величайшему изумленію, его уже не было на стѣнѣ. Невнятный говоръ и шумъ пробѣжалъ по всей толпѣ, и вслѣдъ за тѣмъ послышались явственно слова: *украденъ*. Кто-то успѣлъ уже стащить его, воспользовавшись вниманіемъ слушателей увлеченныхъ разсказомъ. И долго всѣ присутствовавшіе оставались въ недоумѣніи, не зная, дѣйствительно ли они видѣли эти необыкновенные глаза, или это была, просто, мечта, представшая только на мигъ глазамъ ихъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

НОСЪ.

I.

Марта, 25 числа, случилось въ Петербургѣ необыкновенно странное происшествіе. Цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ живущій на Вознесенскомъ проспектѣ (фамилія его утрачена, и даже на вывѣскѣ его, гдѣ изображенъ господинъ съ намыленною щекою и надписью: *И кровь отворяютъ*, не выставлено ничего болѣе), цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ проснулся довольно рано и услышалъ запахъ горячаго хлѣба. Приподнявшись немного на кровати, онъ увидѣлъ, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала изъ печи только-что испеченные хлѣбы.

«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе,» сказалъ Иванъ Яковлевичъ: «а вмѣсто того хочется мнѣ съѣсть горячаго хлѣбца съ лукомъ.» (То есть, Иванъ Яковлевичъ хотѣлъ бы и того, и другаго, но зналъ, что было совершенно невозможно требовать двухъ вещей разомъ, ибо Прасковья Осиповна очень не любила такихъ прихотей). «Пусть дуракъ ѣстъ хлѣбъ: мнѣ же лучше,» подумала про-себя супруга: «останется кофею лишняя порція,» и бросила одинъ хлѣбъ на столъ.

Иванъ Яковлевичъ для приличія надѣлъ сверхъ рубашки фракъ и, усѣвшись передъ столомъ, насыпалъ соли, приготовилъ двѣ головки луку, взялъ въ руки ножъ и, сдѣлавши значительную мину, принялся рѣзать хлѣбъ. Разрѣзавши хлѣбъ на двѣ половины, онъ поглядѣлъ въ середину — и, къ удивленію своему, увидѣлъ что-то бѣлѣвшееся. Иванъ Яковлевичъ ковырнулъ осторожно ножомъ и пощупалъ пальцемъ: «Плотное!» сказалъ онъ самъ про-себя: «что́ бы это такое было?»

Онъ засунулъ пальцы и вытащилъ — носъ!... Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ; сталъ протирать глаза и щупать: носъ, точно носъ! и еще, казалось, какъ-будто чей-то знакомый. Ужасъ изобразился на лицѣ Ивана Яковлевича. Но этотъ ужасъ былъ ничто противъ негодованія, которое овладѣло его супругою.

«Гдѣ это ты, звѣрь, отрѣзалъ носъ?» закричала она съ гнѣвомъ. «Мошенникъ! пьяница! я сама на тебя донесу полиціи! Разбойникъ какой! Вотъ ужъ я отъ трехъ человѣкъ слышала, что ты во время бритья такъ теребишь за носы, что еле держатся.»

Но Иванъ Яковлевичъ былъ ни живъ, ни мертвъ: онъ узналъ, что этотъ носъ былъ не кого другого, какъ коллежскаго ассессора Ковалева, котораго онъ брилъ каждую середу и воскресенье.

«Стой, Прасковья Осиповна! Я заверну его въ тряпочку и положу въ уголокъ; пусть тамъ маленечко полежитъ; а послѣ я его вынесу.»

«И слушать не хочу! чтобы я позволила у себя въ комнатѣ лежать отрѣзанному носу!... Сухарь подъ жаристый! знай умѣетъ только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсѣмъ не въ состояніи будетъ исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвѣчать полиціи?... Ахъ, ты, пачкунъ бревно глупое! Вонъ его! вонъ! неси, куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!»

Иванъ Яковлевичъ стоялъ совершенно какъ убитый. Онъ думалъ, думалъ и — не зналъ, что́ подумать. «Чортъ его знаетъ, какъ это сдѣлалось,» сказалъ

онъ наконецъ, почесавъ рукою за ухомъ: «пьянъ ли я вчера возвратился, или нѣтъ, ужъ навѣрное сказать не могу. А по всѣмъ примѣтамъ, должно быть происшествіе несбыточное; ибо хлѣбъ — дѣло печеное, а носъ — совсѣмъ не то. Ничего не разберу!» Иванъ Яковлевичъ замолчалъ. Мысль о томъ, что полицейскіе отыщутъ у него носъ и обвинятъ его, привела его въ совершенное безпамятство. Уже ему мерещился алый воротникъ, красиво вышитый серебромъ, шпага... и онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Наконецъ, досталъ онъ свое исподнее платье и сапоги, напялилъ на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увѣщаніями Прасковьи Осиповны, завернулъ носъ въ тряпку и вышелъ на улицу.

Онъ хотѣлъ его куда-нибудь подсунуть: или въ тумбу подъ воротами, или такъ какъ-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть въ переулокъ. Но какъ на бѣду ему попадался какой-нибудь знакомый человѣкъ, который начиналъ тотчасъ вопросомъ: «Куда идешь?» или: «Кого такъ рано собрался брить?» такъ-что Иванъ Яковлевичъ никакъ не могъ улучить минуты. Въ другой разъ онъ уже совсѣмъ уронилъ было носъ; но будочникъ еще издали указалъ ему алебардою, примолвивъ: «Подыми, вонъ ты что-то уронилъ!» и Иванъ Яковлевичъ долженъ былъ поднять носъ и спрятать его въ карманъ. Отчаяніе овладѣло имъ, тѣмъ болѣе, что народъ безпрестанно умножался на улицѣ, по мѣрѣ того, какъ начали отпираться магазины и лавочки.

Онъ рѣшился идти къ Исакіевскому мосту, не удастся ли какъ-нибудь швырнуть его въ Неву... Но я нѣсколько виноватъ, что до сихъ поръ не сказалъ ничего объ Иванѣ Яковлевичѣ, человѣкѣ почтенномъ во многихъ отношеніяхъ.

Иванъ Яковлевичъ, какъ всякій порядочный русскій мастеровой, былъ пьяница страшный, и, хотя каждый день брилъ чужіе подбородки, но его собственный былъ у него вѣчно небритъ. Фракъ у Ивана Яковлевича (Иванъ Яковлевичъ никогда не ходилъ въ сюртукѣ) былъ пѣгій, то есть, онъ былъ черный, но весь

въ коричнево-желтыхъ и сѣрыхъ яблокахъ; воротникъ лоснился; а вмѣсто трехъ пуговицъ, висѣли однѣ только ниточки. Иванъ Яковлевичъ былъ большой циникъ, и, когда коллежскій ассессоръ Ковалевъ обыкновенно говорилъ ему во время бритья: «у тебя, Иванъ Яковлевичъ, вѣчно воняютъ руки!» то Иванъ Яковлевичъ отвѣчалъ на это вопросомъ: «Отъ чего жъ бы имъ вонять?» — «Не знаю, братецъ, только воняютъ,» говорилъ коллежскій ассессоръ, и Иванъ Яковлевичъ понюхавши табаку, мылилъ ему за это на щекѣ и подъ носомъ, и за ухомъ, и подъ бородою, однимъ словомъ — гдѣ только ему была охота.

Этотъ почтенный гражданинъ находился уже на Исакіевскомъ мосту. Онъ прежде всего осмотрѣлся, потомъ нагнулся на перила, будтобы посмотрѣть подъ мостъ, много ли рыбы бѣжитъ, и швырнулъ потихоньку тряпку съ носомъ. Онъ почувствовалъ, какъ-будтобы съ него разомъ свалилось десять пудъ: Иванъ Яковлевичъ даже усмѣхнулся. Вмѣсто того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, онъ отправился въ заведеніе съ надписью: *Кушанье и чай*, спросить стаканъ пуншу, какъ вдругъ замѣтилъ въ концѣ моста квартальнаго надзирателя, благородной наружности съ широкими баккенбардами, въ треугольной шляпѣ, со шпагою. Онъ обмеръ; а между тѣмъ квартальный кивнулъ ему пальцемъ и проговорилъ: «А подойди сюда, любезный!»

Иванъ Яковлевичъ, зная форму, снялъ издали еще картузъ и, подошедши проворно, сказалъ: «Желаю здравія вашему благородію!»

«Нѣтъ, нѣтъ, братецъ, не благородію, скажи-ка, что́ ты тамъ дѣлалъ, стоя на мосту?»

«Ей Богу, сударь, ходилъ брить, да посмотрѣлъ только, шибко ли рѣка идетъ.»

«Врешь, врешь! Этимъ не отдѣлаешься. Изволька отвѣчать!»

«Я вашу милость два раза въ недѣлю, или даже три, готовъ брить безъ всякаго прекословія,» отвѣчалъ Иванъ Яковлевичъ.

«Нѣтъ, пріятель, это пустяки! Меня три цырюльника брѣютъ, да еще и за большую честь почитаютъ. А вотъ изволь-ка разсказать, что́ ты тамъ дѣлалъ?»

Иванъ Яковлевичъ поблѣднѣлъ . . . Но здѣсь происшествіе совершенно закрывается туманомъ, и что́ далѣе произошло, рѣшительно ничего не извѣстно.

II.

Коллежскій ассессоръ Ковалевъ проснулся доволно рано и сдѣлалъ губами *брр* . . .! что́ всегда онъ дѣлалъ, когда просыпался, хотя самъ не могъ растолковать, по какой причинѣ. Ковалевъ потянулся, приказалъ себѣ подать небольшое, стоящее на столѣ, зеркало. Онъ хотѣлъ взглянуть на прыщикъ, который вчерашнимъ вечеромъ вскочилъ у него на носу; но къ величайшему изумленію увидѣлъ, что у него, вмѣсто носа, совершенно гладкое мѣсто! Испугавшись Ковалевъ велѣлъ подать воды и протеръ полотенцомъ глаза: точно нѣтъ носа! Онъ началъ щупать рукою, чтобы узнать, не спитъ ли онъ; кажется, не спитъ! Коллежскій ассессоръ Ковалевъ вскочилъ съ кровати, встряхнулся — нѣтъ носа! . . . Онъ велѣлъ тотчасъ подать себѣ одѣться и полетѣлъ прямо къ оберъ-полицеймейстеру.

Но между тѣмъ необходимо сказатъ что-нибудь о Ковалевѣ, чтобы читатель могъ видѣть, какого рода былъ этотъ коллежскій ассессоръ. Коллежскихъ ассессоровъ, которые получаютъ это званіе съ помощію ученыхъ аттестатовъ, никакъ нельзя сравнивать съ тѣми коллежскими ассессорами, которые дѣлались на Кавказѣ. Это два совершенно особые рода. Ученые коллежскіе ассессоры... Но Россія такая чудная земля, что, если скажешь объ одномъ коллежскомъ ассессорѣ, то всѣ коллежскіе ассессоры, отъ Риги до Камчатки, непремѣнно примутъ на свой счетъ; то же разумѣй и о всѣхъ званіяхъ и чинахъ. Ковалевъ былъ кавказскій коллежскій ассессоръ. Онъ два года только еще состоялъ въ этомъ званіи, потому ни на минуту не могъ его позабыть; а чтобы болѣе

придать себѣ благородства и вѣсу, онъ никогда не называлъ себя коллежскимъ ассессоромъ, но всегда маіоромъ. «Послушай, голубушка,» говорилъ онъ обыкновенно, встрѣтивши на улицѣ бабу, продававшую манишки: «ты приходи ко мнѣ на домъ; квартира моя на Садовой; спроси только: здѣсь ли живетъ маіоръ Ковалевъ? тебѣ всякій покажетъ.» Если же встрѣчалъ какую-нибудь смазливенькую, то давалъ ей сверхъ того секретное приказаніе, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру маіора Ковалева.» По этому-то самому и мы будемъ впередъ этого коллежскаго ассессора называть маіоромъ.

Маіоръ Ковалевъ имѣлъ обыкновеніе каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничокъ его манишки былъ всегда чрезвычайно чистъ и накрахмаленъ. Баккенбарды у него были такого рода какія и теперь еще можно видѣть у губернскихъ и уѣздныхъ землемѣровъ, у архитекторовъ и полковыхъ докторовъ, также у отправляющихъ разныя обязанности и, вообще, у всѣхъ тѣхъ мужей, которыя имѣютъ полныя, румяныя щеки и очень хорошо играютъ въ бостонъ: эти баккенбарды идутъ по самой срединѣ щеки и прямехонько доходятъ до носа. Маіоръ Ковалевъ носилъ множество сердоликовыхъ печатокъ, и съ гербами, и такихъ на которыхъ было вырѣзано: *среда*, *четвергъ*, *понедѣльникъ* и проч. Маіоръ Ковалевъ пріѣхалъ въ Петербургъ по надобности, а именно — искать приличнаго своему званію мѣста: если удастся, то вице-губернаторскаго, а не то — экзекуторскаго въ какомъ-нибудь видномъ департаментѣ. Маіоръ Ковалевъ былъ не прочь и жениться, но только въ такомъ случаѣ, когда за невѣстою случится двѣсти тысячъ капиталу. И потому читатель теперь можетъ судить самъ, каково было положеніе этого маіора, когда онъ увидѣлъ, вмѣсто довольно недурнаго и умѣреннаго носа, преглупое, ровное и гладкое мѣсто.

Какъ на бѣду, ни одинъ извощикъ не показывался на улицѣ, и онъ долженъ былъ идти пѣшкомъ, закутавшись въ свой плащъ и закрывши платкомъ лицо,

показывая видъ, какъ-будто у него шла кровь. «Но авось-либо мнѣ такъ представилось: не можетъ быть, чтобы носъ пропалъ съ дуру,» подумалъ онъ и зашелъ въ кондитерскую нарочно съ тѣмъ, чтобы посмотрѣться въ зеркало. Къ счастію, въ кондитерской никого не было: мальчики мели комнаты и разставляли стулья; нѣкоторые съ сонными глазами выносили на подносахъ горячіе пирожки; на столахъ и стульяхъ валялись залитыя кофеемъ вчерашнія газеты. «Ну, слава Богу, никого нѣтъ,» произнесъ онъ: «теперь можно поглядѣть.» Онъ робко подошелъ къ зеркалу и взглянулъ. «Чортъ знаетъ что́, какая дрянь!» произнесъ онъ, плюнувши: «хотя бы уже что-нибудь было вмѣсто носа, а то ничего!. . .»

Съ досадою, закусивъ губы, вышелъ онъ изъ кондитерской и рѣшился, противъ своего обыкновенія не глядѣть ни на кого и никому не улыбаться. Вдругъ онъ сталъ, какъ вкопанный, у дверей одного дома; въ глазахъ его произошло явленіе неизъяснимое: передъ подъѣздомъ остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнулъ, согнувшись, господинъ въ мундирѣ и побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ. Каковъ же былъ ужасъ и вмѣстѣ изумленіе Ковалева, когда онъ узналъ, что это былъ — собственный его носъ! При этомъ необыкновенномъ зрѣлищѣ, казалось ему, все перевернулось у него въ глазахъ; онъ чувствовалъ, что едва могъ стоять; но рѣшился, во что́ бы ни стало, ожидать его возвращенія въ карету, весь дрожа, какъ въ лихорадкѣ. Чрезъ двѣ минуты, носъ дѣйствительно вышелъ. Онъ былъ въ мундирѣ, шитомъ золотомъ, съ большимъ стоячимъ воротникомъ; на немъ были замшевыя панталоны; на боку шпага. По шляпѣ съ плюмажемъ можно было заключить, что онъ считался въ рангѣ статскаго совѣтника. По всему замѣтно было, что онъ ѣхалъ куда-нибудь съ визитомъ. Онъ поглядѣлъ на обѣ стороны, закричалъ кучеру: «Подавай!» сѣлъ и уѣхалъ.

Бѣдный Ковалевъ чуть не сошелъ съ ума. Онъ не зналъ, какъ и подумать о такомъ странномъ проис-

шествіи. Какъ же можно въ самомъ дѣлѣ, чтобы носъ, который еще вчера былъ у него на лицѣ и не могъ ни ѣздить, ни ходить, былъ въ мундирѣ! Онъ побѣжалъ за каретою, которая, къ счастію, проѣхала недалеко и остановилась передъ гостиннымъ дворомъ. Онъ поспѣшилъ туда, пробрался сквозь рядъ нищихъ старухъ съ завязанными лицами и двумя отверстіями для глазъ, надъ которыми онъ прежде такъ смѣялся. Народу было немного. Ковалевъ чувствовалъ себя въ такомъ разстроенномъ состояніи, что ни на что́ не могъ рѣшиться, и искалъ глазами это господина по всѣмъ угламъ; наконецъ увидѣлъ его стоявшаго передъ лавкою. Носъ спряталъ совершенно лицо свое въ большой стоячій воротникъ и съ глубокимъ вниманіемъ разсматривалъ какіе-то товары.

«Какъ подойти къ нему?» думалъ Ковалевъ. «По всему — по мундиру, по шляпѣ — видно, что онъ статскій совѣтникъ. Чортъ его знаетъ, какъ это сдѣлать!»

Онъ началъ около него покашливать; но носъ ни на минуту не оставлялъ своего положенія.

«Милостивый государь,» сказалъ Ковалевъ, внутренно принуждая себя ободриться, «милостивый государь . . .»

«Что́ вамъ угодно?» отвѣчалъ носъ, оборотившись.

«Мнѣ странно, милостивый государь . . . мнѣ кажется . . . Вы должны знать свое мѣсто. И вдругъ я васъ нахожу, и гдѣ же? . . . Согласитесь . . .»

«Извините меня, я не могу взять въ толкъ, о чемъ вы изволите говорить . . . Объяснитесь.»

«Какъ мнѣ ему объяснить?» подумалъ Ковалевъ и, собравшись съ духомъ, началъ: «Конечно, я . . . впрочемъ, я маіоръ. Мнѣ ходить безъ носа согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговкѣ, которая продаетъ на Воскресенскомъ мосту очищенные апельсины, можно сидѣть безъ носу; но, имѣя въ виду получить . . . притомъ, будучи во многихъ домахъ знакомъ съ дамами: Чехтырева, статская совѣтница, и другія . . . Вы посудите сами . . . я не знаю, милости-

вый государь . . . (при этомъ маіоръ Ковалевъ пожалъ плечами) . . . извините . . . если на это смотрѣть сообразно съ правилами долга и чести . . . Вы сами можете понять . . .»

«Ничего рѣшительно не понимаю,» отвѣчалъ носъ. «Изъяснитесь удовлетворительнѣе.»

«Милостивый государь,» сказалъ Ковалевъ, съ чувствомъ собственнаго достоинства, я не знаю, какъ понимать слова ваши . . . Здѣсь все дѣло, кажется, совершенно очевидно . . . или вы хотите . . . Вѣдь вы — мой собственный носъ!»

Носъ посмотрѣлъ на маіора, и брови его нахмурились.

«Вы ошибаетесь, милостивый государь: я самъ по себѣ. Притомъ, между нами не можетъ быть никакихъ тѣсныхъ отношеній. Судя по пуговицамъ вашего вицъ-мундира, вы должны служить по другому вѣдомству.» Сказавши это, носъ отвернулся.

Ковалевъ совершенно смѣшался, не зная, что́ дѣлать и что́ даже подумать. Въ это время послышался пріятный шумъ дамскаго платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и съ нею тоненькая, въ бѣломъ платьи, очень мило рисовавшемся на ея стройной таліи, въ палевой шляпкѣ, легкой какъ пирожное. За ними остановился и открылъ табакерку высокій гайдукъ съ большими баккенбардами и цѣлой дюжиной воротниковъ.

Ковалевъ подступилъ поближе, высунулъ батистовый воротничокъ манишки, поправилъ висѣвшія на золотой цѣпочкѣ печатки свои и, улыбаясь по сторонамъ, обратилъ вниманіе на легенькую даму, которая, какъ весенній цвѣточекъ, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою бѣленькую ручку съ полупрозрачными пальцами. Улыбка на лицѣ Ковалева раздвинулась еще далѣе, когда онъ увидѣлъ изъ-подъ шляпки ея кругленькій, яркой бѣлизны подбородокъ и часть щеки, осѣненной цвѣтомъ первой весенней розы; но вдругъ онъ отскочилъ, какъ-будтобы обжегшись. Онъ вспомнилъ, что у него, вмѣсто носа, совершенно нѣтъ ни-

чего, и слезы выжались изъ глазъ его. Онъ оборотился съ тѣмъ, чтобы напрямикъ сказать господину въ мундирѣ, что онъ только прикинулся статскимъ совѣтникомъ, что онъ плутъ и подлецъ и что онъ больше ничего, какъ только его собственный носъ . . . Но носа уже не было: онъ успѣлъ ускакать, вѣроятно, опять къ кому-нибудь съ визитомъ.

Это повергло Ковалева въ отчаяніе. Онъ пошелъ назадъ и остановился съ минуту подъ колоннадою, тщательно смотря во всѣ стороны, не попадется ли гдѣ носъ. Онъ очень хорошо помнилъ, что шляпа на немъ была съ плюмажемъ и мундиръ съ золотымъ шитьемъ, но шинели не замѣтилъ, ни цвѣта его кареты, ни лошадей, ни даже того, былъ ли у него сзади какой-нибудь лакей и въ какой ливреѣ. Притомъ, каретъ неслось такое множество взадъ и впередъ и съ такою быстротою, что трудно было даже примѣтить; но если бы и примѣтилъ онъ какую-нибудь изъ нихъ, то не имѣлъ бы никакихъ средствъ остановить. День былъ прекрасный и солнечный. На Невскомъ народу была тьма; дамъ цѣлый цвѣточный водопадъ сыпался по всему тротуару, начиная отъ Полицейскаго до Аничкина моста. Вонъ и знакомый ему надворный совѣтникъ идетъ, котораго онъ называлъ подполковникомъ, особливо, ежели то случалось при постороннихъ. Вонъ и Ярыгинъ, большой пріятель его, который вѣчно въ бостонѣ обремизивался, когда игралъ восемь. Вонъ и другой маіоръ, получившій на Кавказѣ ассессорство, махаетъ рукой, чтобы шелъ къ нему . . .

«А! чортъ возьми!» сказалъ Ковалевъ. «Эй, извощикъ, вези прямо къ полицеймейстеру!»

Ковалевъ сѣлъ въ дрожки и только покрикивалъ извощику: «Валяй во всю ивановскую!»

«У себя полицеймейстеръ?» вскричалъ онъ, зашедши въ сѣни.

«Никакъ нѣтъ,» отвѣчалъ привратникъ: «только что уѣхалъ.»

«Вотъ тебѣ разъ!»

«Да,» прибавилъ привратникъ: «оно и не такъ

давно, но уѣхалъ; минуточкой бы пришли раньше, то, можетъ быть, застали бы дома.»

Ковалевъ, не отнимая платка отъ лица, сѣлъ на извощика и закричалъ отчаяннымъ голосомъ: «Пошелъ!»

«Куда?» сказалъ извощикъ.

«Пошелъ прямо!»

«Какъ — прямо? тутъ поворотъ: направо, или налѣво?»

Этотъ вопросъ остановилъ Ковалева и заставилъ его опять подумать. Въ его положеніи слѣдовало ему прежде всего отнестись въ управу благочинія, не потому, что оно имѣло прямое отношеніе къ полиціи, но потому, что ея распоряженія могли быть гораздо быстрѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; искать же удовлетворенія по начальству того мѣста, при которомъ носъ объявилъ себя служащимъ, было бы безразсудно, потому что изъ собственныхъ отвѣтовъ носа уже можно было видѣть, что для этого человѣка ничего не было священнаго и онъ могъ такъ же солгать и въ этомъ случаѣ, какъ солгалъ, увѣряя, что онъ никогда не видался съ нимъ. И такъ Ковалевъ уже хотѣлъ было приказать ѣхать въ управу благочинія, какъ опять пришла мысль ему, что этотъ плутъ и мошенникъ, который поступилъ уже при первой встрѣчѣ такимъ безсовѣстнымъ образомъ, могъ опять удобно, пользуясь временемъ, какъ-нибудь улизнуть изъ города, — и тогда всѣ исканія будутъ тщетны, или могутъ продолжиться, чего Боже сохрани, на цѣлый мѣсяцъ. Наконецъ, казалось, само Небо вразумило его. Онъ рѣшился отнестись прямо въ газетную экспедицію и заблаговременно сдѣлать публикацію съ обстоятельнымъ описаніемъ всѣхъ его качествъ, дабы всякій встрѣтившійся съ нимъ могъ въ ту же минуту его представить къ нему, или, по крайней мѣрѣ, дать знать о мѣстѣ его пребыванія. И такъ онъ, рѣшивъ на этомъ, велѣлъ извощику ѣхать въ газетную экспедицію и во всю дорогу не переставалъ его тузить кулакомъ въ спину, приговаривая: «Скорѣй, подлецъ! скорѣй, мошенникъ!» — «Эхъ, баринъ!» говорилъ извощикъ, потряхивая го-

ловой и стегая возжей свою лошадь, на которой шерсть была длинная, какъ на болонкѣ. Дрожки наконецъ остановились, и Ковалевъ, запыхавшись, вбѣжалъ въ небольшую пріемную комнату, гдѣ сѣдой чиновникъ, въ старомъ фракѣ и очкахъ, сидѣлъ за столомъ и, взявши въ зубы перо, считалъ принесенныя мѣдныя деньги.

«Кто здѣсь принимаетъ объявленія?» закричалъ Ковалевъ. «А, здравствуйте!»

«Мое почтеніе,» сказалъ сѣдой чиновникъ, поднявши на минуту глаза и опустивши ихъ снова на разложенныя кучи денегъ.

«Я желаю припечатать . . .»

«Позвольте, прошу немножко повременить,» произнесъ чиновникъ, ставя одною рукою цыфру на бумагѣ и передвигая пальцами лѣвой руки два очка на счетахъ. Лакей съ галунами и наружностію, показывавшею пребываніе его въ аристократическомъ домѣ, стоялъ возлѣ стола съ запискою въ рукахъ и почелъ приличнымъ показать свою общежительность: «Повѣрите ли, сударь, что собачонка не стóитъ восьми гривенъ, то есть, я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любитъ, ей Богу, любитъ, — и вотъ, тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по приличію, то вотъ такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы людей совсѣмъ несовмѣстны: ужъ когда охотникъ, то держи лягавую собаку, или пуделя; не пожалѣй пяти сотъ, тысячу дай, но за то ужъ, чтобъ была собака хорошая.»

Почтенный чиновникъ слушалъ это съ значительною миною и въ то же время занимался смѣтою, сколько буквъ въ принесенной запискѣ. По сторонамъ стояло множество старухъ, купеческихъ сидѣльцевъ и дворниковъ съ записками. Въ одной значилось, что отпускается въ услуженіе кучеръ трезваго поведенія; въ другой — малоподержанная коляска, вывезенная въ 1814 году изъ Парижа; тамъ отпускалась дворовая дѣвка 19 лѣтъ, упражнявшаяся въ прачечномъ дѣлѣ, годная и для другихъ работъ; прочныя дрожки безъ одной рессоры; молодая горячая лошадь въ сѣрыхъ яблокахъ, семнадцати лѣтъ отъ роду; новыя получен-

ныя изъ Лондона сѣмена рѣпы и редиса; дача со всѣми угодьями: двумя стойлами для лошадей и мѣстомъ, на которомъ можно развести превосходный березовый, или еловый садъ; тамъ же находился вызовъ желающихъ купить старыя подошвы, съ приглашеніемъ явиться къ переторжкѣ каждый день отъ 8 до 3 часовъ утра. Комната, въ которой помѣщалось все это общество, была маленькая, и воздухъ въ ней былъ чрезвычайно густъ; но коллежскій ассессоръ Ковалевъ не могъ слышать запаха, потому что закрылся платкомъ, и потому что самый носъ находился Богъ знаетъ въ какихъ мѣстахъ.

«Милостивый государь, позвольте васъ попросить... мнѣ очень нужно,» сказалъ онъ наконецъ съ нетерпѣніемъ.

«Сейчасъ, сейчасъ! — Два рубля сорокъ-три копѣйки! — Сію минуту! — Рубль шестьдесятъ четыре копѣйки!» говорилъ сѣдовласый господинъ, бросая старухамъ и дворникамъ записки въ глаза. «Вамъ что́ угодно?» наконецъ сказалъ онъ, обратившись къ Ковалеву.

«Я прошу...» сказалъ Ковалевъ: «случилось мошенничество, или плутовство — я до сихъ поръ не могу никакъ узнать. Я прошу только припечатать, что тотъ, кто ко мнѣ этого подлеца представитъ, получитъ достаточное вознагражденіе.»

«Позвольте узнать, какъ ваша фамилія?»

«Нѣтъ, зачѣмъ же фамилію? мнѣ нельзя сказать ее. У меня много знакомыхъ: Чехтырева, статская совѣтница, Палагея Григорьевна Подточина, штабъ-офицерша... Вдругъ узнаютъ, Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежскій ассессоръ, или, еще лучше: состоящій въ маіорскомъ чинѣ.»

«А сбѣжавшій былъ вашъ дворовый человѣкъ?»

«Какое дворовый человѣкъ! это бы еще не такое большое мошенничество! сбѣжалъ отъ меня... носъ...»

«Гм! какая странная фамилія! И на большую сумму этотъ г. Носовъ обокралъ васъ?»

«Носъ, то есть... вы не то думаете! Носъ, мой

собственный носъ пропалъ, неизвѣстно куда. Чортъ хотѣлъ подшутить надо мною!»

«Да какимъ же образомъ пропалъ? я что то не могу хорошенько понять!»

«Да я не могу вамъ сказать, какимъ образомъ; но главное то, что онъ разъѣзжаетъ теперь по городу и называетъ себя статскимъ совѣтникомъ. И потому я васъ прошу объявить, чтобы поймавшій представилъ его немедленно ко мнѣ въ самомъ скорѣйшемъ времени. Вы посудите въ самомъ дѣлѣ, какъ же мнѣ быть безъ такой замѣтной части тѣла? Это не то, что́ какой-нибудь мизинецъ на ногѣ, который я въ сапогъ — и ни кто не увидитъ, если его нѣтъ. Я бываю по четвергамъ у статской совѣтницы Чехтыревой; Подточина Палагея Григорьевна, штабъ-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошія знакомыя; и вы посудите сами, какъ же мнѣ теперь . . . Мнѣ теперь къ нимъ нельзя явиться.»

Чиновникъ задумался, что̀ означали крѣпко сжавшіеся его губы.

«Нѣтъ, я не могу помѣстить такого объявленія въ газетахъ,» сказалъ онъ наконецъ послѣ долгаго молчанія.

«Какъ? отчего?»

«Такъ — газета можетъ потерять репутацію. Если всякій начнетъ писать, что у него сбѣжалъ носъ, то... И такъ уже говорятъ, что печатается много несообразностей и ложныхъ слуховъ.»

«Да чѣмъ же это дѣло несообразное? Тутъ, кажется, ничего нѣтъ такого.»

«Это вамъ такъ кажется, что нѣтъ. А вотъ, на прошлой недѣлѣ, такой же былъ случай. Пришелъ чиновникъ такимъ же образомъ, какъ вы теперь пришли, принесъ записку, денегъ по разсчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявленіе состояло въ томъ, что сбѣжалъ пудель черной шерсти. Кажется, что́ бы тутъ такое? А вышелъ пасквилъ: пудель-то этотъ былъ казначей, не помню, какого-то заведенія.»

«Да вѣдь я вамъ непуделѣ дѣлаю объявленіе, а

о собственномъ моемъ носѣ: стало быть, почти то же, что о самомъ себѣ.»

«Нѣтъ, такого объявленія никакъ не могу помѣстить.»

«Да когда у меня точно пропалъ носъ!»

«Если пропалъ, то это дѣло медика. Говорятъ, что есть такіе, которые могутъ приставить, какой угодно, носъ. Но впрочемъ я замѣчаю, что вы человѣкъ веселаго нрава и любите въ обществѣ пошутить.»

«Клянусь вамъ, вотъ какъ Богъ святъ! пожалуй, ужъ если до того дошло, то я покажу вамъ.»

«Зачѣмъ безпокоиться!» продолжалъ чиновникъ, нюхая табакъ: «впрочемъ, если не въ безпокойство,» прибавилъ онъ съ движеніемъ любопытства, «то желательно бы взглянуть.»

Коллежскій ассессоръ отнялъ отъ лица платокъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, чрезвычайно странно!» сказалъ чиновникъ: «мѣсто совершенно гладкое, какъ-будтобы только что выпеченный блинъ. Да, до невѣроятности ровное!»

«Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вамъ буду особенно благодаренъ, и очень радъ, что этотъ случай доставилъ мнѣ удовольствіе съ вами познакомиться.» Маіоръ, какъ видно изъ этого, рѣшился на сей разъ немного поподличать.

«Напечатать-то, конечно, дѣло небольшое,» сказалъ чиновникъ: «только я непредвижу въ этомъ никакой для васъ выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имѣетъ искусное перо, описать это, какъ рѣдкое произведеніе натуры, и напечатать эту статейку въ «Сѣверной Пчелѣ» (тутъ онъ понюхалъ еще разъ табаку), для пользы юношества (тутъ онъ утеръ носъ), или такъ, для общаго любопытства.»

Коллежскій ассессоръ былъ совершенно обезнаженъ. Онъ опустилъ глаза въ низъ газеты, гдѣ было извѣщеніе о спектакляхъ; уже лицо его было готово улыбнуться, встрѣтивъ имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карманъ, есть ли при немъ

синяя ассигнація, потому что штабъ-офицеры, по мнѣнію Ковалева, должны сидѣть въ креслахъ; но мысль о носѣ все испортила!

Самъ чиновникъ, казалось, былъ тронутъ затруднительнымъ положеніемъ Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, онъ почелъ приличнымъ выразить участіе свое въ нѣсколькихъ словахъ: «Мнѣ, право, очень прискорбно, что съ вами случился такой анекдотъ. Не угодно ли вамъ понюхать табачку? это разбиваетъ головныя боли и печальныя расположенія; даже въ отношеніи къ геморроидамъ это хорошо.» Говоря это, чиновникъ поднесъ Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернувъ подъ нее крышку съ портретомъ какой-то дамы въ шляпкѣ.

Этотъ неумышленный поступокъ вывелъ изъ терпѣнія Ковалева. «Я не понимаю, какъ вы находите мѣсто шуткамъ,» сказалъ онъ съ сердцемъ: «развѣ вы не видите, что у меня нѣтъ именно того, чѣмъ бы я могъ понюхать? Чтобъ чортъ побралъ вашъ табакъ! Я теперь не могу смотрѣть на него, и не только на скверный вашъ березинскій, но хоть бы вы поднесли мнѣ самаго Рапé.» Сказавши это, онъ вышелъ глубоко раздосадованный, изъ газетной экспедиціи и отправился къ частному приставу.

Ковалевъ вошелъ къ нему въ то время, когда онъ потянулся, крякнулъ и сказалъ: «Эхъ, славно засну два часика!» и потому можно было предвидѣть, что приходъ коллежскаго ассессора былъ совершенно не во́-время. Частный былъ большой поощритель всѣхъ искусствъ и мануфактурностей; но государственную ассигнацію предпочиталъ всему. «Это вещь,» обыкновенно говорилъ онъ: «ужъ нѣтъ ничего лучше этой вещи: ѣсть не проситъ, мѣста займетъ немного, въ карманѣ всегда помѣстится, уронишь — не расшибется.»

Частный принялъ довольно сухо Ковалева и сказалъ, что послѣ обѣда не то время, чтобы производить слѣдствіе, что сама натура назначила, чтобы, наѣвшись, немного отдохнуть (изъ этого коллежскій ассессоръ

могъ видѣть, что частному приставу были не безъизвѣстны изреченія древнихъ мудрецовъ); что у порядочнаго человѣка не оторвутъ носа.

То есть, не въ бровь, а прямо въ глазъ! Нужно замѣтить, что Ковалевъ былъ чрезвычайно обидчивый человѣкъ. Онъ могъ простить все, что́ ни говорили о немъ самомъ, но никакъ не извинялъ, если это относилось къ чину, или званію. Онъ даже полагалъ, что въ театральныхъ пьесахъ можно пропускать все, что́ относится къ оберъ-офицерамъ, но на штабъ-офицеровъ никакъ не должно нападать. Пріемъ частнаго такъ его сконфузилъ, что онъ тряхнулъ головою и сказалъ съ чувствомъ достоинства, немного разставивъ свои руки: «Признаюсь, послѣ эдакихъ обидныхъ съ вашей стороны замѣчаній, я ничего не могу прибавить...» и вышелъ.

Онъ пріѣхалъ домой, едва слыша подъ собою ноги. Были уже сумерки. Печальною, или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ исканій. Вошедши въ переднюю, увидѣлъ, онъ на кожаномъ запачканномъ диванѣ лакея своего Ивана, который, лежа на спинѣ, плевалъ въ потолокъ и попадалъ довольно удачно въ одно и то же мѣсто. Такое равнодушіе человѣка взбѣсило его; онъ ударилъ его шляпою по лбу, примолвивъ: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иванъ вскочилъ вдругъ съ своего мѣста и бросился со всѣхъ ногъ снимать съ него плащъ.

Вошедши въ свою комнату, маіоръ, усталый и печальный, бросился въ кресла и, наконецъ, послѣ нѣсколькихъ вздоховъ, сказалъ:

«Боже мой! Боже мой! За что́ это такое несчастіе? Будь я безъ руки, или безъ ноги — всё бы это лучше; но безъ носа человѣкъ — чортъ знаетъ что́: птица не птица, гражданинъ не гражданинъ: просто, возьми, да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войнѣ отрубили, или на дуэли, или я самъ былъ причиною; но вѣдь пропалъ ни за́ что, ни про́ что, пропалъ даромъ, ни за грошъ!... Только, нѣтъ, не

моежтъ быть,» прибавилъ онъ, немного подумавъ: «невѣроятно, чтобы носъ пропалъ; никакимъ образомъ невѣроятно. Это, вѣрно, или во снѣ снится, или, просто, грезится; можетъ быть, я какъ-нибудь, ошибкою, выпилъ вмѣсто воды водку, которую натираю послѣ бритья себѣ бороду. Иванъ дуракъ не принялъ, и я, вѣрно, хватилъ ея.» Чтобы дѣйствительно увѣриться, что онъ не пьянъ, маіоръ ущипнулъ себя такъ больно, что самъ вскрикнулъ. Эта боль совершенно увѣрила его, что онъ дѣйствуетъ и живетъ наяву. Онъ потихоньку приблизился къ зеркалу и сначала зажмурилъ глаза съ тою мыслію, что авось-либо носъ покажется на своемъ мѣстѣ; но въ туже минуту отскочилъ назадъ, сказавши: «Экой пасквильный видъ!»

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы, или что-нибудь подобное, — но пропáсть, чему же пропасть? и притомъ еще на собственной квартирѣ!... Маіоръ Ковалевъ, сообразя всѣ обстоятельства, предполагалъ едва ли не ближе всего къ истинѣ, что виною этого долженъ быть не кто другой, какъ штабъ-офицерша Подточина, которая желала, чтобы онъ женился на ея дочери. Онъ и самъ любилъ за нею приволокнуться, но избѣгалъ окончательной раздѣлки. Когда же штабъ-офицерша объявила ему на-прямикъ, что она хочетъ выдать ее за него, онъ потихоньку отчалилъ съ своими комплиментами, сказавши, что еще молодъ, что нужно ему прослужить лѣтъ пятокъ, чтобы уже ровно было сорокъ два года. И потому штабъ-офицерша, вѣрно, изъ мщенія, рѣшилась его испортить и наняла для этого какихъ-нибудь колдовокъ-бабъ, потому что никакимъ образомъ нельзя было предположить, чтобы носъ былъ отрѣзанъ: никто не входилъ къ нему въ комнату; цырюльникъ же, Иванъ Яковлевичъ, брилъ его еще въ среду, а въ продолженіе всей среды, и даже во весь четвертокъ, носъ у него былъ цѣлъ, — это онъ помнилъ и зналъ очень хорошо; притомъ, была бы имъ чувствуема боль, и, безъ сомнѣнія, рана не могла бы такъ скоро зажить и быть гладкою, какъ блинъ. Онъ

строилъ въ головѣ планы: звать ли штабъ-офицершу формальнымъ порядкомъ въ судъ, или явиться къ ней самому и уличить ее. Размышленія его прерваны были свѣтомъ, который блеснулъ сквозь всѣ скважины дверей и далъ знать, что свѣча въ передней уже зажжена Иваномъ. Скоро показался и самъ Иванъ, неся ее передъ собою и озаряя ярко всю комнату. Первымъ движеніемъ Ковалева было схавтить платокъ и закрыть то мѣсто, гдѣ вчера еще былъ носъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ глупый человѣкъ не зазѣвался, увидя у барина такую странность.

Не успѣлъ Иванъ уйти въ конуру свою, какъ послышался въ передней незнакомый голосъ, произнесшій: «Здѣсь ли живетъ коллежскій ассессоръ Ковалевъ?»

«Войдите; маіоръ Ковалевъ здѣсь,» сказалъ Ковалевъ, вскочивши поспѣшно и отворяя дверь.

Вошелъ полицейскій чиновникъ, красивой наружности, съ баккенбардами не слишкомъ свѣтлыми и не темными, съ довольно полными щеками, тотъ самый, который въ началѣ повѣсти, стоялъ въ концѣ Исакіевскаго моста.

«Вы изволили затерять носъ свой?»

«Такъ точно.»

«Онъ теперь найденъ.»

«Что́ вы говорите?» закричалъ маіоръ Ковалевъ. Радость отняла у него языкъ. Онъ глядѣлъ въ оба на стоявшаго передъ нимъ квартальнаго, на полныхъ губахъ и щекахъ котораго ярко мелькалъ трепетный свѣтъ свѣчи. «Какимъ образомъ?»

«Страннымъ случаемъ: его перехватили почти на дорогѣ. Онъ уже садился въ дилижансъ и хотѣлъ уѣхать въ Ригу. И пашпортъ давно былъ написанъ на имя одного чиновника. И странно то́, что я самъ принялъ его сначала за господина. Но, къ счастію, были со мной очки, и я тотъ же часъ увидѣлъ, что это былъ носъ. Вѣдь я близорукъ, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у васъ лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замѣчу. Моя

теща, то есть, мать жены моей, тоже ничего не видитъ.»

Ковалевъ былъ внѣ себя. «Гдѣ же онъ? гдѣ? я сейчасъ побѣгу.»

«Не безпокойтесь. Я знаю, что онъ вамъ нуженъ, принесъ его съ собою. И странно то́, что́ главный участникъ въ этомъ дѣлѣ есть мошенникъ цырюльникъ на Вознесенской улицѣ, который сидитъ теперь на съѣзжей. Я давно подозрѣвалъ его въ пьянствѣ и воровствѣ, и еще третьяго дня стащилъ онъ въ одной лавочкѣ портище пуговицъ. Носъ вашъ совершенно таковъ, какъ былъ.» При этомъ квартальный полѣзъ въ карманъ и вытащилъ оттуда завернутый въ бумажкѣ носъ.

«Такъ, онъ!» закричалъ Ковалевъ: «точно, онъ! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.»

«Почелъ бы за большую пріятность, но никакъ не могу: мнѣ нужно заѣхать отсюда въ смирительный домъ... Очень большая поднялась дороговизна на всѣ припасы... У меня въ домѣ живетъ и теща, то есть, мать моей жены, и дѣти; старшій особенно подаетъ большія надежды, очень умный мальчишка; но средствъ для воспитанія совершенно нѣтъ никакихъ...»

Коллежскій ассессоръ, по уходѣ квартальнаго, нѣсколько минутъ оставался въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи и едва черезъ нѣсколько минутъ пришелъ въ возможность видѣть и чувствовать: въ такое безпамятство повергла его неожиданная радость. Онъ взялъ бережливо найденный носъ въ обѣ руки, сложенныя горстью, и еще разъ разсмотрѣлъ его внимательно.

«Такъ, онъ! точно, онъ!» говорилъ маіоръ Ковалевъ. «Вотъ и прищикъ на лѣвой сторонѣ, вскочившій вчерашняго дня.» Маіоръ чутъ не засмѣялся отъ радости.

Но на свѣтѣ нѣтъ ничего долговременнаго, а потому и радость, въ слѣдующую минуту за первою, уже не такъ жива; въ третью минуту она становится еще слабѣе, и наконецъ — незамѣтно сливается съ

обыкновеннымъ положеніемъ души, какъ на водѣ кругъ, рожденный паденіемъ камешка, наконецъ сливается съ гладкою поверхностью. Ковалевъ началъ размышлять и смекнулъ, что дѣло еще не кончено: носъ найденъ, но вѣдь нужно же его приставить, помѣстить на свое мѣсто.

«А что́, если онъ не пристанетъ?»

При такомъ вопросѣ, сдѣланномъ самому себѣ, маіоръ поблѣднѣлъ.

Съ чувствомъ неизъяснимаго страха бросился онъ къ столу, придвинулъ зеркало, чтобы какъ-нибудь не поставить насъ криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложилъ онъ его на прежнее мѣсто. О ужасъ! носъ не приклеивался!... Онъ поднесъ его ко рту, нагрѣлъ его слегка своимъ дыханіемъ и опять поднесъ къ гладкому мѣсту, находившемуся между двухъ щекъ; но носъ никакимъ образомъ не держался.

«Ну, ну же! полѣзай, дуракъ!» говорилъ онъ ему; но носъ былъ, какъ деревяный, и падалъ на столъ съ такимъ страннымъ звукомъ, какъ-будтобы пробка. Лицо маіора судорожно скривилось. «Неужели онъ не прирастетъ?» говорилъ онъ въ испугѣ. Но сколько разъ ни подносилъ онъ его на его же собственное мѣсто — стараніе было, по-прежнему, неуспѣшно.

Онъ кликнулъ Ивана и послалъ его за докторомъ, который занималъ въ томъ же самомъ домѣ лучшую квартиру въ бель-этажѣ. Докторъ этотъ былъ видный собою мущина, имѣлъ прекрасныя смолистыя бакенбарды, свѣжую, здоровую докторшу, ѣлъ поутру свѣжія яблоки и держалъ ротъ въ необыкновенной чистотѣ, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разныхъ родовъ щеточками. Докторъ явился въ ту же минуту. Спросивши, какъ давно случилось несчастіе, онъ поднялъ маіора за подбородокъ и далъ ему большимъ пальцемъ щелчка въ то самое мѣсто, гдѣ прежде былъ носъ, такъ что маіоръ долженъ былъ откинуть свою голову назадъ съ такою силою, что ударился затылкомъ въ стѣну.

Медикъ сказалъ, что это ничего, и, посовѣтовавши отодвинуться немного отъ стѣны, велѣлъ ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то мѣсто, гдѣ прежде былъ носъ, сказалъ: «гм!» потомъ велѣлъ ему перегнуть голову на лѣвую сторону и сказалъ: «гм!» и въ заключеніе далъ опять ему большимъ пальцемъ щелчка, такъ что маіоръ Ковалевъ дернулъ головою, какъ конь, которому смотрятъ въ зубы. Сдѣлавши такую пробу, медикъ покачалъ головую и сказалъ: «Нѣтъ, нельзя. Вы ужъ лучше такъ оставайтесь, потому что можно сдѣлать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вамъ сейчасъ приставилъ его; но я васъ увѣряю, что это для васъ хуже.»

«Вотъ хорошо! какъ же мнѣ оставаться безъ носа?» сказалъ Ковалевъ: «ужъ хуже не можетъ быть, какъ теперь. Это, просто, чортъ знаетъ что́! Куда же я съ такою пасквильностью покажусь? Я имѣю хорошее знакомство: вотъ и сегодня мнѣ нужно быть на вечерѣ въ двухъ домахъ. Я со многими знакомъ: статская совѣтница Чехтарева, Подточина штабъ-офицерша... хоть послѣ теперешняго поступка ея я не имѣю съ ней другого дѣла, какъ только черезъ полицію. Сдѣлайте милость,» продолжалъ Ковалевъ умоляющимъ голосомъ: «нѣтъ ли средства? какъ-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпереть рукою въ опасныхъ случаяхъ. Я же притомъ и не танцую, чтобы могъ вредить какимъ-нибудь неосторожнымъ движеніемъ. Все, что́ относится на-счетъ благодарности за визиты, ужъ будьте увѣрены, сколько дозволятъ мои средства...»

«Вѣрите ли,» сказалъ докторъ ни громкимъ, ни тихимъ голосомъ, но чрезвычайно увѣтливымъ и магнетическимъ: «что я никогда изъ корысти не лѣчу. Это противно моимъ правиламъ и моему искусству Правда, я беру за визиты, но единственно съ тѣмъ только, чтобы не обидѣть моимъ отказомъ. Конечно, я бы приставилъ вашъ носъ; но я васъ увѣряю честью, если уже вы не вѣрите моему слову, что это будетъ

гораздо хуже. Предоставьте лучше дѣйствію самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я васъ увѣряю, что вы, не имѣя носа, будете такъ же здоровы, какъ если бы имѣли его. А носъ я вамъ совѣтую положить въ банку со спиртомъ, или, еще лучше, влить туда двѣ столовыя ложки острой водки и подогрѣтаго уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочныя деньги. Я даже самъ возьму его, если вы только не подорожитесь.»

«Нѣтъ, нѣтъ! ни за что не продамъ!» вскричалъ отчаянный маіоръ Ковалевъ: «лучше пусть онъ пропадетъ!»

«Извините!» сказалъ докторъ откланиваясь: «я хотѣлъ быть вамъ полезнымъ... Что́ жъ дѣлать! по крайней мѣрѣ, вы видѣли мое стараніе.» Сказавши это, докторъ съ благородною осанкою вышелъ изъ комнаты. Ковалевъ не замѣтилъ даже лица его и въ глубокой безчувственности видѣлъ только выглядывавшіе изъ рукавовъ его чернаго фрака рукавчики бѣлой и чистой, какъ снѣгъ, рубашки.

Онъ рѣшился на другой же день, прежде представленія жалобы писать къ штабъ-офицершѣ, не согласится ли она безъ бою возвратить ему то́, что́ слѣдуетъ. Письмо было такого содержанія:

Милостивая государыня,

Александра Григорьевна!

Не могу понять страннаго со стороны Вашей дѣйствія. Будьте увѣрены, что, поступая такимъ образомъ, ничего Вы не выиграете и ни чуть не принудите меня жениться на Вашей дочери. Повѣрьте, что исторія на-счетъ моего носа совершенно извѣстна, равно какъ и то, что въ этомъ Вы есть главныя участницы, а не кто другой. Внезапное его отдѣленіе съ своего мѣста, побѣгъ и маскированіе, то подъ видомъ одного чиновника, то наконецъ, въ собственномъ видѣ, есть

больше ничего, какъ слѣдствіе волхвованій, произведенныхъ Вами, или тѣми, которые упражняются въ подобныхъ Вамъ благородныхъ занятіяхъ. Я съ своей стороны почитаю долгомъ васъ предувѣдомить, если упоминаемый мною носъ не будетъ сегодня же на своемъ мѣстѣ, то я принужденъ буду прибѣгнуть къ защитѣ и покровительству законовъ.

Впрочемъ, съ совершеннымъ почтеніемъ къ Вамъ, имѣю честь быть

Вашъ покорный слуга

Платонъ Ковалевъ.

Милостивый государь,

Платонъ Кузьмичъ!

Чрезвычайно удивило меня письмо Ваше. Я, признаюсь вамъ по откровенности, никакъ не ожидала, а тѣмъ болѣе относительно несправедливыхъ укоризнъ со стороны Вашей. Предувѣдомляю Васъ, что я чиновника, о которомъ упоминаете Вы, никогда не принимала у себя въ домѣ, ни замаскированнаго, ни въ настоящемъ видѣ. Бывалъ у меня, правда, Филиппъ Ивановичъ Потанчиковъ. И хотя онъ, точно, искалъ руки моей дочери, будучи самъ хорошаго трезваго поведенія и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носѣ. Если Вы разумѣете подъ симъ, что будтобы я хотѣла оставить Васъ съ носомъ, то есть, дать Вамъ формальный отказъ; то меня удивляетъ, что Вы сами объ этомъ говорите, тогда какъ я, сколько Вамъ извѣстно, была совершенно противнаго мнѣнія, и если Вы теперь же посватаетесь на моей дочери законнымъ образомъ, я готова сей же часъ удовлетворить Васъ, ибо это составляло всегда предметъ моего живѣйшаго желанія, въ надеждѣ чего остаюсь всегда готовою къ услугамъ вашимъ

Александра Подточина.

«Нѣтъ,» говорилъ Ковалевъ, прочитавши письмо: «она, точно, не виновата. Не можетъ быть! Письмо такъ написано, какъ не можетъ написать человѣкъ виноватый въ преступленіи.» Коллежскій ассессоръ былъ въ этомъ свѣдущъ, потому что былъ посыланъ нѣсколько разъ на слѣдствіе еще въ кавказской области. «Какимъ же образомъ, какими судьбами это приключилось? Только чортъ разберетъ это!» сказалъ онъ наконецъ, опустивъ руки.

Между тѣмъ слухи объ этомъ необыкновенномъ происшествіи распространились по всей столицѣ и, какъ водится, не безъ особенныхъ прибавленій. Тогда умы всѣхъ именно настроены были къ чрезвычайному: недавно только-что занимали публику опыты дѣйствія магнетизма. Притомъ, исторія о танцующихъ стульяхъ въ Конюшенной улицѣ была еще свѣжа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто носъ коллежскаго ассессора Ковалева ровно съ три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытныхъ стекалось каждый день множество. Сказалъ кто-то, что носъ будтобы находился въ магазинѣ Юнкера — и возлѣ Юнкера такая сдѣлалась толпа и давка, что должна была вступиться даже полиція. Одинъ спекуляторъ почтенной наружности, съ баккенбардами, продававшій при входѣ въ театръ разные сухіе кондитерскіе пирожки, нарочно надѣлалъ прекрасныхъ деревянныхъ, прочныхъ скамеекъ, на которыя приглашалъ любопытныхъ становиться, за восемьдесятъ копѣекъ, каждаго посѣтителя. Одинъ заслуженный полковникъ нарочно для этого вышелъ раньше изъ дому и съ большимъ трудомъ пробрался сквозь толпу; но къ большому негодованію своему увидѣлъ въ окнѣ магазина, вмѣсто носа, обыкновенную шерстяную фуфайку и литографираванную картину съ изображеніемъ дѣвушки, поправлявшей чулокъ, и глядѣвшаго на нее изъ за дерева франта съ откиднымъ жилетомъ и небольшою бородкою, картинку, уже болѣе десяти лѣтъ висящую всё на одномъ мѣстѣ. Отошедъ, онъ сказалъ съ досадою: «Какъ можно этакими глупыми и неправдоподобными

слухами смущать народъ?» Потомъ пронесся слухъ, что не на Невскомъ проспектѣ, а въ Таврическомъ саду прогуливается носъ маіора Ковалева; что будтобы онъ давно уже тамъ; что когда еще проживалъ тамъ Хосревъ-Мирза, то очень удивлялся этой странной игрѣ природы. Нѣкоторые изъ студентовъ Хирургической Академіи отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особеннымъ письмомъ смотрителя за садомъ, показать дѣтямъ ея этотъ рѣдкій феноменъ и, если можно, съ объясненіемъ, наставительнымъ и назидательнымъ для юношей.

Всѣмъ этимъ происшествіямъ были чрезвычайно рады всѣ свѣтскіе, необходимые посѣтители раутовъ, любившіе смѣшить дамъ, у которыхъ запасъ въ то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенныхъ и благонамѣренныхъ людей была чрезвычайно недовольна. Одинъ господинъ говорилъ съ негодованіемъ, что онъ не понимаетъ, какъ въ нынѣшній просвѣщенный вѣкъ могутъ распространяться нелѣпыя выдумки, и что онъ удивляется, какъ не обратитъ на это вниманія правительство. Господинъ этотъ, какъ видно, принадлежалъ къ числу тѣхъ господъ, которые желали бы впутать правительство во все, даже въ свои ежедневныя ссоры съ женою. Вслѣдъ за этимъ... но здѣсь вновь все происшествіе скрывается туманомъ, и что́ было потомъ, рѣшительно неизвѣстно.

III.

Чепуха совершенная дѣлается на свѣтѣ. Иногда вовсе нѣтъ никакого правдоподобія вдругъ тотъ самый носъ который разъѣзжалъ въ чинѣ статскаго совѣтника и надѣлалъ столько шуму въ городѣ очутился, какъ ни въ чемъ не бывало, вновь на своемъ мѣстѣ, то есть, именно между двухъ щекъ маіора Ковалева. Это случилось уже апрѣля, 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянувъ въ зеркало, видитъ онъ — носъ! хвать рукою — точно носъ! «Эге!» сказалъ Ковалевъ и въ ра-

дости чуть не дернулъ по всей комнатѣ босикомъ трепака; но вошедшій Иванъ помѣшалъ. Онъ приказалъ тотъ же часъ дать себѣ умыться и, умываясь, взлянулъ еще разъ въ зеркало — носъ! Вытираясь полотенцемъ, онъ опять взглянулъ въ зеркало — носъ!

«А посмотри, Иванъ, кажется, у меня на носу какъ-будто прыщикъ,» сказалъ онъ и между тѣмъ думалъ: «Вотъ бѣда, какъ Иванъ скажетъ: «Да нѣтъ, сударь, не только прыщика, и самаго носа нѣтъ!»

Но Иванъ сказалъ: «Ничего-съ, никакого прыщика: носъ чистый!»

«Хорошо, чортъ побери!» сказалъ самъ себѣ маіоръ и щелкнулъ пальцами. Въ это время выглянулъ въ дверь цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ, но такъ боязливо, какъ кошка которую только что высѣкли за кражу сала.

«Говори впередъ: чисты руки?» кричалъ еще издали ему Ковалевъ.

«Чисты.»

«Врешь!»

«Ей Богу-съ чисты, сударь.»

«Ну смотри же.»

Ковалевъ сѣлъ. Иванъ Яковлевичъ закрылъ его салфеткою и, въ одно мгновенье, съ помощью кисточки, превратилъ всю бороду его и часть щеки въ кремъ, какой подаютъ на купеческихъ именинахъ. «Вишь ты!» сказалъ самъ себѣ Иванъ Яковлевичъ, взглянувши на носъ, и потомъ перегнулъ голову на другую сторону и посмотрѣлъ на него съ боку: «Вона! экъ его, право, какъ подумаешь,» продолжалъ онъ и долго смотрѣлъ на носъ. Наконецъ легенько, съ бережливостью, какую только можно себѣ вообразить, онъ приподнялъ два пальца съ тѣмъ, чтобы поймать его за кончикъ. Такова ужъ была система Ивана Яковлевича.

«Ну, ну, ну, смотри!» закричалъ Ковалевъ. Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ, оторопѣлъ и смутился, какъ никогда не смущался. Наконецъ, осторожно сталъ онъ щекотать бритвой у него подъ бородою, и хотя ему было совсѣмъ не сподручно и трудно брить безъ

придержки за нюхательную часть тѣла однакоже, кое-какъ упираясь своимъ шереховатымъ большимъ пальцемъ ему въ щеку и въ нижнюю десну, наконецъ одолѣлъ всѣ препятствія и выбрилъ.

Когда все было готово, Ковалевъ поспѣшилъ тотъ же часъ одѣться, взялъ извощика и поѣхалъ прямо въ кондитерскую. Входя, закричалъ онъ еще издали: «Мальчикъ, чашку шоколаду!» а самъ въ ту же минуту къ зеркалу — есть носъ! Онъ весело оборотился назадъ и съ сатирическимъ видомъ посмотрѣлъ, нѣсколько прищуря глазъ, на двухъ военныхъ, изъ которыхъ у одного былъ носъ никакънебольше жилетной пуговицы. Послѣ того отправился онъ въ канцелярію того департамента, гдѣ хлопоталъ объ вицегубернаторскомъ мѣстѣ, а въ случаѣ неудачи объ экзекуторскомъ. Проходя чрезъ пріемную, онъ взглянулъ въ зеркало — есть носъ! Потомъ, поѣхалъ онъ къ другому коллежскому ассессору, или маіору, большому насмѣшнику, которому онъ часто говорилъ въ отвѣтъ на разныя занозистыя замѣтки: «Ну, ужъ ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою онъ подумалъ: «Если маіоръ не треснетъ со смѣху, увидѣвши меня, тогда ужъ вѣрный знакъ, что все, что́ ни есть, сидитъ на своемъ мѣстѣ.» Но коллежскій ассессоръ ничего. «Хорошо, хорошо, чортъ побери!» подумалъ про-себя Ковалевъ. На дорогѣ встрѣтилъ онъ штабъ-офицершу Подточину вмѣстѣ съ дочерью, раскланялся съ ними, и былъ встрѣченъ съ радостными восклицаніями: стало быть, ничего, въ немъ нѣтъ никакого ущерба. Онъ разговаривалъ съ ними очень долго, и нарочно, вынувши табакерку, набивалъ передъ ними весьма долго свой носъ съ обоихъ подъѣздовъ, приговаривая про-себя: «Вотъ, молъ вамъ, бабьё, куриный народъ! а на дочкѣ всё-таки не женюсь. Такъ, просто, par amour — изволь!» И маіоръ Ковалевъ съ тѣхъ поръ прогуливался, какъ ни въ чемъ не бывало, и на Невскомъ проспектѣ, и въ театрахъ, и вездѣ. И носъ тоже, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣлъ на его лицѣ, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонамъ. И послѣ того, маіора Ковалева видѣли вѣчно

въ хорошемъ юморѣ, улыбающагося, преслѣдующаго рѣшительно всѣхъ хорошенькихъ дамъ и даже остановившагося одинъ разъ передъ лавочкой въ гостинномъ дворѣ и покупавшаго какую-то орденскую ленточку, неизвѣстно для какихъ причинъ. потому что онъ самъ не былъ кавалеромъ никакого ордена.

Вотъ какая исторія случилась въ сѣверной столицѣ нашего обширнаго государства! Теперь только, по соображеніи всего, видимъ, что въ ней есть много неправдоподобнаго. Не говоря уже о томъ, что, точно, странно сверхъестественное отдѣленіе носа и появленіе его въ разныхъ мѣстахъ въ видѣ статскаго совѣтника, — какъ Ковалевъ не смекнулъ, что нельзя чрезъ газетную экспедицію объявлять о носѣ? Я здѣсь не въ томъ смыслѣ говорю, чтобы мнѣ казалось дорого заплатить за объявленіе: это вздоръ, и я совсѣмъ не изъ числа корыстолюбивыхъ людей; но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже: какъ носъ очутился въ печеномъ хлѣбѣ, и какъ самъ Иванъ Яковлевичъ... нѣтъ, этого я никакъ не понимаю, рѣшительно не понимаю! Но что́ страннѣе, что́ непонятнѣе всего, это то́, какъ авторы могутъ брать подобные сюжеты. Признаюсь, это ужъ совсѣмъ непостижимо, это точно... нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ не понимаю! Вопервыхъ, пользы отечеству рѣшительно никакой; вовторыхъ... но и вовторыхъ тоже нѣтъ пользы. Просто, я не знаю, что́ это...

А однакоже, при всемъ томъ, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, можетъ даже... ну, да и гдѣ жъ не бываетъ несообразностей? а всё однакоже, какъ поразмыслишь, во всемъ этомъ, право, есть-что-то. Кто что́ ни говори, а подобныя происшествія бываютъ на свѣтѣ, — рѣдко, но бываютъ.

ШИНЕЛЬ.

Въ департаментѣ . . . . но лучше не называть, въ какомъ департаментѣ. Ничего нѣтъ сердитѣе всякаго рода департаментовъ, полковъ, канцелярій и, словомъ, всякаго рода должностныхъ сословій. Теперь уже всякій частный человѣкъ считаетъ въ лицѣ своемъ оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капитанъ-исправника, не помню какого-то города, въ которой онъ излагаетъ ясно, что гибнутъ государственныя постановленія и что священное имя его произносится рѣшительно всуе; а въ доказательство приложилъ къ просьбѣ преогромнѣйшій томъ какого-то романическаго сочиненія, гдѣ, чрезъ каждыя десять страницъ, является капитанъ-исправникъ, мѣстами даже совершенно въ пьяномъ видѣ. Итакъ во избѣжаніе всякихъ непріятностей, лучше департаментъ, о которомъ идетъ дѣло, мы назовемъ *однимъ департаментомъ*. И такъ *въ одномъ департаментѣ* служитъ *одинъ чиновникъ*, — чиновникъ, нельзя сказать, чтобы очень замѣчательный: низенькаго роста, нѣсколько рябоватъ, нѣсколько рыжеватъ, нѣсколько даже на-видъ подслѣповатъ, съ небольшой лысиной на лбу, съ морщинами по обѣимъ

сторонамъ щекъ и цвѣтомъ лица, что́ называется, гемороидальнымъ... Что́ жъ дѣлать? виноватъ петербургскій климатъ. Что́ же касается до чина (ибо у насъ прежде всего нужно объявить чинъ), то онъ былъ то, что́ называютъ вѣчный титулярный совѣтникъ, надъ которымъ, какъ извѣстно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имѣющіе похвальное обыкновенье налегатъ на тѣхъ, которые не могутъ кусаться. Фамилія чиновника была Башмачкинъ. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла отъ башмака; но когда, въ какое время и какимъ образомъ произошла она отъ башмака, — ничего этого неизвѣстно. И отецъ, и дѣдъ, и даже шуринъ, и совершенно всѣ Башмачкины ходили въ сапогахъ, перемѣняя только раза три въ годъ подметки. Имя его было: Акакій Акакіевичъ. Можетъ быть, читателю оно покажется нѣсколько страннымъ и выисканнымъ, но можно увѣрить, что его никакъ не искали, а что сами собою случились такія обстоятельства, что никакъ нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вотъ какъ. Родился Акакій Акакіевичъ противъ ночи, если только не измѣняетъ память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, какъ слѣдуетъ, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати противъ дверей, а по правую руку стоялъ кумъ, превосходнѣйшій человѣкъ, Иванъ Ивановичъ Ерошкинъ, служившій столоначальникомъ въ сенатѣ, и кума, жена квартальнаго офицера, женщина рѣдкихъ добродѣтелей, Арина Семеновна Бѣлобрюшкова. Родильницѣ предоставили на выборъ любое изъ трехъ, какое она хочетъ выбрать: Мокія, Соссія, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нѣтъ,» подумала покойница, «имена-то всё такія.» Чтобы угодить ей, развернули календарь въ другомъ мѣстѣ; вышли опять три имени: Трифилій, Дула и Варахасій. «Вотъ это наказаніе!» проговорила старуха: «какія всё имена! я, право, никогда и не слыхивала такихъ. Пусть бы еще Варадатъ или Варухъ, а то Трефилій и Варахасій.» Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахій и Вахтисій.

«Ну, ужъ я вижу,» сказала старуха, «что, видно, есть такая судьба. Ужъ если такъ, пусть лучше будетъ онъ называться, какъ и отецъ его. Отецъ былъ Акакій, такъ пусть и сынъ будетъ Акакій.» Такимъ образомъ и произошелъ Акакій Акакіевичъ. Ребенка окрестили, при чемъ онъ заплакалъ и сдѣлалъ такую гримасу, какъ будтобы предчувствовалъ, что будетъ титулярный совѣтникъ. Итакъ вотъ какимъ образомъ произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель, могъ самъ видѣть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никакъ невозможно. Когда и въ какое время онъ поступилъ въ департаментъ и кто опредѣлилъ его, этого никто не могъ припомнить. Сколько ни перемѣнялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видѣли всё на одномъ и томъ же мѣстѣ, въ томъ же положеніи, въ той же самой должности, тѣмъ же чиновникомъ для письма; такъ что потомъ увѣрились, что онъ, видно, такъ и родился на свѣтъ уже совершенно готовымъ, въ вицмундирѣ и съ лысиной на головѣ. Въ департаментѣ не оказывалось къ нему никакого уваженія. Сторожа́ не только не вставали съ мѣстъ, когда онъ, проходилъ, но даже не глядѣли на него, какъ-будтобы черезъ пріемную пролетѣла простая муха. Начальники поступали съ нимъ какъ-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощникъ столоначальника прямо совалъ ему подъ носъ бумаги, не сказавъ даже: «Перепишите,» или: «Вотъ интересное, хорошенькое дѣльце,» или что-нибудь пріятное, какъ употребляется въ благовоспитанныхъ службахъ. И онъ бралъ, посмотрѣвъ только на бумагу, не глядя, кто ему подложилъ и имѣлъ ли на то право; онъ бралъ и тутъ же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмѣивались и острились надъ нимъ, во сколько хватало канцелярскаго остроумія, разсказывали тутъ же, предъ нимъ, разныя составленныя про него исторіи, про его хозяйку, семидесятилѣтнюю старуху, говорили, что она бьетъ его, спрашивали, когда будетъ ихъ свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снѣгомъ. Но ни одного слова не

отвѣчалъ на это Акакій Акакіевичъ, какъ-будтобы никого и не было передъ нимъ. Это не имѣло даже вліянія на занятія его: среди всѣхъ этихъ докукъ онъ не дѣлалъ ни одной ошибки въ письмѣ. Только, если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произносилъ. «Оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человѣкъ, недавно опредѣлившійся, который, по примѣру другихъ, позволилъ было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ-будто все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ: какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. И долго потомъ среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкой на лбу, съ своими проникающими словами: «Оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?» и въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «Я братъ твой.» И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ.

Врядъ ли гдѣ можно́ было найти человѣка, который такъ жилъ бы въ своей должности. Мало сказать — онъ служилъ ревностно; нѣтъ, онъ служилъ съ лыбовью. Тамъ, въ этомъ переписываньи, ему видѣлся какъ-то свой разнообразный и пріятный міръ. Наслажденіе выражалось на лицѣ его; нѣкоторыя буквы у него были фавориты, до которыхъ если онъ добирался, то былъ самъ не свой: и подсмѣивалъ, и подмигивалъ, и помогалъ губами, такъ что въ лицѣ его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмѣрно его рвенію, давали ему награды, онъ, къ изумленію

своему, можетъ быть, даже попалъ бы въ статскіе совѣтники; но выслужилъ онъ, какъ выражались остряки, его же товорищи, пряжку въ петлицу да геморой въ поясницу. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы не было къ нему никакого вниманія. Одинъ директоръ, будучи добрый человѣкъ и желая вознаградить его за долгую службу, приказалъ дать ему что-нибудь поважнѣе, чѣмъ обыкновенное переписыванье: именно изъ готоваго уже дѣла велѣно было ему сдѣлать какое-то отношеніе въ другое присутственное мѣсто; дѣло состояло только въ томъ, чтобы перемѣнить заглавный титулъ да перемѣнить кое-гдѣ глаголы изъ перваго лица въ третье. Это задало ему такую работу, что онъ вспотѣлъ совершенно, теръ лобъ и наконецъ сказалъ: «Нѣтъ, лучше дайте я перепишу что-нибудь.» Съ тѣхъ поръ оставили его навсегда переписывать. Внѣ этого переписыванья казалось, для него ничего не существовало. Онъ не думалъ вовсе о своемъ платьи: вицмундиръ у него былъ — не зеленый а какого-то рыжевато-мучного цвѣта. Воротничокъ на немъ былъ узенькій, низенькій, такъ что шея его, не смотря на то́, что не была длинна, выходя изъ воротника, казалась необыкновенно длинною, какъ у тѣхъ гипсовыхъ котенковъ, болтающихъ головами, которыхъ носятъ на головахъ цѣлыми десятками русскіе иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало къ его вицмундиру: или сѣнца кусочекъ, или какая-нибудь ниточка; къ тому же онъ имѣлъ особенное искусство, ходя по улицѣ, поспѣвать подъ окно именнно въ то самое время, когда изъ него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вѣчно уносилъ на своей шляпѣ арбузныя и дынныя корки и тому подобный вздоръ. Ни одинъ разъ въ жизни не обратилъ онъ вниманія на то, что́ дѣлается и происходитъ всякій день на улицѣ, на что́, какъ извѣстно, всегда посмотритъ его же братъ, молодой чиновникъ, простирающій до того проницательность своего бойкаго взгляда, что замѣтитъ даже у кого на другой сторонѣ тотуара отпоролась внизу панталонъ стремешка, — что́ вызываетъ всегда лукавую усмѣшку на лицѣ его. Но

Акакій Акакіевичъ если и глядѣлъ на что́, то видѣлъ на всемъ свои чистыя, ровнымъ почеркомъ выписанныя строки, и только развѣ, если, неизвѣстно откуда взявшись, лошадиная морда помѣщалась ему на плечо и напускала ноздрями цѣлый вѣтеръ въ щеку, тогда только замѣчалъ онъ, что онъ не на срединѣ строки, а скорѣе на среднѣ улицы. Приходя домой, онъ садился тотъ же часъ за столъ, хлѣбалъ наскоро свои ши и ѣлъ кусокъ говядины съ лукомъ, вовсе не замѣчая ихъ вкуса, ѣлъ все это съ мухами и со всѣмъ тѣмъ, что́ ни посылалъ Богъ на ту пору. Замѣтивши, что жолудокъ начиналъ пучиться, вставалъ изъза стола, вынималъ баночку съ чернилами и переписывалъ бумаги, принесенные на домъ. Если же такихъ не случалось, онъ снималъ нарочно, для собственнаго удовольствія, копію для себя, особенно, если бумага была замѣчательна не по красотѣ слога, но по адресу къ какому-нибудь новому, или важному лицу.

Даже въ тѣ часы, когда совершенно потухаетъ петербургское сѣрое небо и весь чиновый народъ наѣлся и отобѣдалъ, кто какъ могъ, сообразно съ получаемымъ жалованьемъ и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло послѣ департаментскаго скрипѣнья перьями, бѣготни, своихъ и чужихъ необходимыхъ занятій и всего того, что́ задаетъ себѣ добровольно, больше даже чѣмъ нужно, неугомонный человѣкъ, — когда чиновники спѣшатъ предать наслажденію оставшееся время: кто побойчѣе, несется въ театръ; кто на улицу, опредѣляя его на разсматриванье кое-какихъ шляпенокъ; кто на вечеръ истратить его въ комплиментахъ какой-нибудь смазливой дѣвушкѣ, звѣздѣ небольшого чиновнаго круга; кто — и это случается чаще всего — идетъ, просто, кѣ своему брату въ четвертый, или третій этажъ, въ двѣ небольшія комнаты съ передней, или кухней, и кое-какими модными претензіями, лампой, или иной вещицей, стоившей многихъ пожертвованій, отказовъ отъ обѣдовъ, гуляній; словомъ, даже въ то время, когда всѣ чиновники разсѣяваются по маленькимъ квартиркамъ своихъ

пріятелей поиграть въ штурмовой вистъ, прихлебывая чай изъ стакановъ съ копѣечными сухарями, затягиваясь дымомъ изъ длинныхъ чубуковъ, разсказывая во время сдачи какую нибудь сплетню, занесшуюся изъ высшаго общества, отъ котораго никогда и ни въ какомъ состояніи не можетъ отказаться русскій человѣкъ, или даже, когда не о чемъ говорить, пересказывая вѣчный анекдотъ о комендантѣ, которому пришли сказать, что подрубленъ хвостъ у лошади Фальконетова монумента; — словомъ, даже тогда, когда все стремится, развлечься, Акакій Акакіевичъ не предавался никакому развлеченію. Никто не могъ сказать, чтобы когда-нибудь видѣлъ его на какомъ-нибудь вечерѣ. Написавшись въ сласть, онъ ложился спать, улыбаясь заранѣе при мысли о завтрашнемъ днѣ — что́-то Богъ пошлетъ переписывать завтра. Такъ протекла мирная жизнь человѣка, который, съ четырьмя стами жалованья, умѣлъ быть довольнымъ своимъ жребіемъ, и дотекла бы, можетъ быть, до глубокой старости, если бы не было разныхъ бѣдствій разсыпанныхъ на жизненной дорогѣ не только титулярнымъ, но даже тайнымъ, дѣйствительнымъ, надворнымъ, и всякимъ совѣтникамъ, даже и тѣмъ, которые не даютъ никому совѣтовъ, ни отъ кого не берутъ ихъ сами.

Есть въ Петербургѣ сильный врагъ всѣхъ, получающихъ 400 рублей въ годъ жалованья, или около того. Врагъ этотъ не кто другой, какъ нашъ сѣверный морозъ, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что онъ очень здоровъ. Въ девятомъ часу утра, именно въ тотъ часъ, когда улицы покрываются идущими въ департаментъ, начинаетъ онъ давать такіе сильные и колючіе щелчки безъ разбору по всѣмъ носамъ, что бѣдные чиновники рѣшительно не знаютъ, куда дѣвать ихъ. Въ это время, когда даже у занимающихъ высшія должности болитъ отъ морозу лобъ, и слезы выступаютъ въ глазахъ, бѣдные титулярные совѣтники иногда бываютъ беззащитны. Все спасеніе состоитъ въ томъ, чтобы въ тощенькой шинелишкѣ перебѣжать какъ можно скорѣе пять-шесть

улицъ и потомъ натопаться хорошенько ногами въ швейцарской, пока не оттаютъ такимъ образомъ всѣ замерзнувшія на дорогѣ способности и дарованья къ должностнымъ отправленіямъ. Акакій Акакіевичъ съ нѣкотораго времени началъ чувствовать, что его какъ-то особенно сильно стало пропекать въ спину и плечо, не смотря на то́, что онъ старался перебѣжать какъ можно скорѣе законное пространство. Онъ подумалъ наконецъ, не заключается ли какихъ грѣховъ въ его шинели. Разсмотрѣвъ ее хорошенько у себя дома, онъ открылъ, что въ двухъ мѣстахъ, именно, на спинѣ и на плечахъ, она сдѣлалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надо знать, что шинель Акакія Акакіевича служила тоже предметомъ насмѣшекъ чиновникамъ; отъ нея отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотомъ. Въ самомъ дѣлѣ она имѣла какое-то странное устройство: воротникъ ея уменьшался съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе, ибо служилъ на подтачиванье другихъ частей ея. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мѣшковато и некрасиво. Увидѣвши, въ чемъ дѣло, Акакій Акакіевичъ рѣшилъ, что шинель нужно будетъ снести къ Петровичу, портному, жившему гдѣ-то въ четвертомъ этажѣ по черной лѣстницѣ, который, не смотря на свой кривой глазъ и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьихъ и всякихъ другихъ панталонъ и фраковъ, разумѣется, когда бывалъ въ трезвомъ состояніи и не питалъ въ головѣ какого-нибудь другого предпріятія. Объ этомъ портномъ конечно не слѣдовало бы много говорить, но такъ какъ уже заведено, чтобы въ повѣсти характеръ всякаго лица былъ совершенно означенъ, то, нечего дѣлать, подавайте намъ и Петровича сюда. Сначала онъ назывался просто Григорій и былъ крѣпостнымъ человѣкомъ у какого-то барина; Петровичемъ онъ началъ называться съ тѣхъ поръ, какъ получилъ отпускную и сталъ попивать довольно сильно по всякимъ праздникамъ, сначала по большимъ, а потомъ, безъ разбору, по всѣмъ церков-

нымъ, гдѣ только стоялъ въ календарѣ крестикъ. Съ этой стороны онъ былъ вѣренъ дѣдовскимъ обычаямъ и, споря съ женой, называлъ ее мірскою женщиной и Нѣмкой. Такъ какъ мы уже заикнулись про жену, то нужно будетъ и о ней сказать слова два; но, къ сожалѣнію, о ней немного было извѣстно, развѣ только то́, что у Петировча есть жена, носить даже чепчикъ, а не платокъ, но красотою, какъ кажется, она не могла похвастаться — по крайней мѣрѣ, при встрѣчѣ съ нею, одни только гвардейскіе солдаты заглядывали ей подъ чепчикъ, моргнувши усомъ и испустивши какой-то особый голосъ.

Взбираясь по лѣстницѣ, ведшей къ Петровичу, которая — надобно отдать справедливость — была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тѣмъ спиртуознымъ запахомъ, который ѣстъ глаза и, какъ извѣстно, присутствуетъ неотлучно на всѣхъ черныхъ лѣстницахъ петербургскихъ домовъ, — взбираясь по лѣстницѣ, Акакій Акакіевичъ уже подумывалъ о томъ, сколько запроситъ Петровичъ, и мысленно положилъ не давать больше двухъ рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму въ кухнѣ, что нельзя было видѣть даже и самихъ таракановъ. Акакій Акакіевичъ прошелъ черезъ кухню, незамѣченный даже самою хозяйкою, и вступилъ наконецъ въ комнату, гдѣ увидѣлъ Петровича, сидѣвшаго на широкомъ деревяномъ некрашенномъ столѣ и подвернувшаго подъ себя ноги свои какъ турецкій паша. Ноги, по обычаю портныхъ, сидящихъ за работою, были нагишомъ; и прежде всего бросился въ глаза большой палецъ, очень извѣстный Акакію Акакіевичу, съ какимъ-то изуродованнымъ ногтемъ, толстымъ и крѣпкимъ, какъ у черепахи черепъ. На шеѣ у Петровича висѣлъ мотокъ шелку и нитокъ, а на колѣняхъ была какая-то ветошь. Онъ уже минуты съ три продѣвалъ нитку въ иглиное ухо, не попадалъ и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча въ полголоса: «Не лѣзетъ, варварка! уѣла ты меня, шельма этакая!» Акакію Акакіевичу было

непріятно, что онъ пришелъ именно въ ту минуту, когда Петровичъ сердился: онъ любилъ что-либо заказывать Петровичу тогда, когда послѣдній былъ уже нѣсколько подъ-куражемъ или, какъ выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый чортъ.» Въ такомъ состояніи Петровичъ, обыкновенно, очень охотно уступалъ и соглашался, всякій разъ даже кланялся и благодарилъ. Потомъ, правда, приходила жена, плачась, что мужъ, де, былъ пьянъ и потому дешево взялся; но гривенникъ бывало одинъ прибавишь, и дѣло въ шляпѣ. Теперь же Петровичъ былъ, казалось, въ трезвомъ состояніи, а потому крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламывать чортъ знаетъ какія цѣны. Акакій Акакіевичъ смекнулъ это и хотѣлъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужъ дѣло было начато. Петровичъ прищурилъ на него очень пристально свой единственный глазъ, и Акакій Акакіевичъ невольно выговорилъ: «Здравствуй, Петровичъ!» — «Здравствовать желаю, судырь!» сказалъ Петровичъ и покосилъ свой глазъ на руки Акакія Акакіевича, желая высмотрѣть, какого рода добычу тотъ несъ.

«А я вотъ къ тебѣ, Петровичъ, того...» Нужно знать, что Акакій Акакіевичъ изъяснялся большею частью предлогами, нарѣчіями и наконецъ такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затруднительно, то онь даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами: «Это, право, совершенно того...» а потомъ уже и ничего не было, и самъ онъ позабывалъ, думая, что все уже выговорилъ.

«Что́ жъ такое?» сказалъ Петровичъ и осмотрѣлъ въ то же время своимъ единственнымъ глазомъ весь вицмундиръ его, начиная съ воротника до ручкавовъ, спинки, фалдъ и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таковъ ужъ обычай у портныхъ: это первое, что́ онъ сдѣлаетъ при встрѣчѣ.

«А я вотъ того, Петровичъ... шинель-то, сукно...

вотъ видишь, вездѣ въ другихъ мѣстахъ совсѣмъ крѣпкое... оно немножко запылилось и, кажется, какъ будто старое, а оно новое, да вотъ только въ одномъ мѣстѣ немного того... на спинѣ, да еще вотъ на плечѣ одномъ немного попротерлось, да вотъ на этомъ плечѣ немножко... видишь? вотъ и все. И работы немного...»

Петровичъ взялъ капотъ, разложилъ его сначала на столъ, разсматривалъ долго, покачалъ головою и полѣзъ рукою на окно за круглой табакеркой съ портретомъ какого-то генерала, — какого именно неизвѣстно, потому что мѣсто, гдѣ находилось лицо, было проткнуто пальцемъ и потомъ наклеено четвероугольнымъ лоскуточкомъ бумажки. Понюхавъ табаку, Петровичъ растопырилъ капотъ на рукахъ и разсмотрѣлъ его противъ свѣта и опять покачалъ головою: потомъ обратилъ его подкладкой вверхъ и вновь покачалъ; вновь снялъ крышку съ генераломъ, заклеенным бумажкой, и, натащивши въ носъ табаку, закрылъ спряталъ табакерку и наконецъ сказалъ: «Нѣтъ, нельзя поправить: худой гардеробъ!»

У Акакія Акакіевича при этихъ словахъ ёкнуло сердце.

«Отчего же нельзя, Петровичъ?» сказалъ онъ почти умоляющимъ голосомъ ребенка: «вѣдь только всего, что́ на плечахъ поистерлось! вѣдь у тебя есть же какіе-нибудь кусочки...»

«Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся,» сказалъ Петровичъ. «да нашить-то нельзя: дѣло совсѣмъ гнилое, тронешь иглой — а вотъ ужъ оно и ползеть.»

«Пустъ ползетъ, а ты тотъ-часъ заплаточку.»

«Да заплаточки не на чемъ положить, укрѣпиться ей не за что́: подержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй вѣтеръ — такъ разлетится.»

«Ну, да ужъ прикрѣпи. Какъ же этакъ, право, того...»

«Нѣтъ,» сказалъ Петровичъ рѣшительно, «ничего нельзя сдѣлать. Дѣло совсѣмъ плахое. Ужъ вы лучше,

какъ придетъ зимнее холодное время, надѣлайте изъ нея себѣ онучекъ, потому что чулокъ не грѣетъ. Это Нѣмцы выдумали, чтобы побольше себѣ денегъ забирать (Петровичъ любилъ при случаѣ кольнуть Нѣмцевъ), а шинель ужъ, видно, вамъ придется новую дѣлать.»

При словѣ *новую* у Акакія Акакіевича затуманило въ глазахъ, и все, что́ ни было въ комнатѣ, такъ и пошло передъ нимъ путаться. Онъ видѣлъ ясно одного только генерала съ заклееннымъ бумажкой лицомъ, находившагося на крышкѣ Петровичевой тобакерки. «Какъ же новую?» сказалъ онъ, всё еще какъ-будто находясь во снѣ: «вѣдь у меня и денегъ на это нѣтъ.»

«Да, новую,» сказалъ съ варварскимъ спокойствіемъ Петровичъ.

«Ну, а если бы пришлось новую, какъ бы она того . . .»

«То есть, что будетъ стоить?»

«Да.»

«Да три полсотни слишкомъ надо будетъ приложить,» сказалъ Патровичъ и сжалъ при этомъ значительно губы. Онъ очень любилъ сильные эффекты, любилъ вдругъ какъ-нибудь озадачить совершенно и потомъ поглядѣть искоса, какую озадаченный сдѣлаетъ рожу послѣ такихъ словъ.

«Полтораста рублей за шинель!» вскрикнулъ бѣдный Акакій Акакіевичъ, вскрикнулъ можетъ быть, въ первый разъ отъ-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

«Да-съ,» сказалъ Петровичъ: «да еще какова шинель. Если положить на воротникъ куницу, да пустить капишонъ на шелковой подкладкѣ, такъ и въ двѣсти войдетъ.»

«Петровичъ, пожалуйста,» говорилъ Акакій Акакіевичъ умоляющимъ голосомъ, не слыша и не стараясь слышать сказанныхъ Петровичемъ словъ и всѣхъ его еффектовъ, «какъ-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.»

«Да нѣтъ, это выйдетъ — и работу убивать, и

деньги попусту тратить,» сказалъ Петровичъ, и Акакій Акакіевичъ послѣ такихъ словъ вышелъ, совершенно уничтоженный. А Петревичъ, по уходѣ его, долго еще стоялъ, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволенъ, что и себя не уронилъ, да и портного искусства тоже не выдалъ.

Вышедъ на улицу, Акакій Акакіевичъ былъ какъ во снѣ. «Этаково-то дѣло этакое,» говорилъ онъ самъ себѣ: «я, право, и не думалъ, чтобы оно вышло того...» а потомъ, послѣ нѣкотораго молчанія, прибавилъ: «такъ вотъ какъ! наконецъ вотъ что́ вышло! а я, право, совсѣмъ и предполагать не могъ, чтобы оно было этакъ.» За симъ послѣдовало опять долгое молчаніе, послѣ котораго онъ произнесъ: «Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожиданное, того... этого бы никакъ... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, онъ, вмѣсто того, чтобы идти домой, пошелъ совершенно въ противную сторону, самъ того не подозрѣвая. Дорогою задѣлъ его всѣмъ нечистымъ своимъ бокомъ трубочистъ и вычернилъ все плечо ему; цѣлая шапка извести высыпалась на него съ верхушки строившагося дома. Онъ ничего этого не замѣтилъ, и потомъ уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивалъ изъ рожка на мозолистый кулакъ табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочникъ сказалъ: «Чего лѣзешь въ самое рыло? развѣ нѣтъ тебѣ тротуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здѣсь только онъ началъ собирать мысли, увидѣлъ въ ясномъ и настоящемъ видѣ свое положеніе, сталъ разговаривать съ собою уже не отрывисто, но разсудительно и откровенно, какъ съ благоразумнымъ пріятелемъ, съ которымъ можно поговорить о дѣлѣ самомъ сердечномъ и близкомъ. «Ну, нѣтъ,» сказалъ Акакій Акакіевичъ: «теперь съ Петровичемъ нельзя толковать: онъ теперь того... жена, видно, какъ-нибудь поколотила его. А вотъ я лучше приду къ нему въ воскресный день утромъ: онъ послѣ канунешной субботы будетъ косить глазомъ и заспавшись, такъ

ему нужно будетъ опохмѣлиться, а жена денегъ не дастъ, а въ это время я ему гривенничекъ и того, въ руку, — онъ и будетъ сговорчивѣе, и шинель тогда и того . . .» Такъ разсудилъ самъ съ собою Акакій Акакіевичъ, ободрилъ себя и дождался перваго воскресенья, и, увидѣвъ издали, что жена Петровича куда-то выходила изъ дому, онъ прямо къ нему. Петровичъ точно послѣ субботы сильно косилъ глазомъ, голову держалъ къ полу и былъ совсѣмъ заспавшись; но при всемъ томъ, какъ только узналъ, въ чемъ дѣло, точно какъ будто его чортъ толкнулъ. «Нельзя,» сказалъ: «извольте заказать новую.» Акакій Акакіевичъ тутъ-то и всунулъ ему гривенничекъ. «Благодарствую, сударь, подкрѣплюсь маленечко за ваше здоровье,» сказалъ Петровичъ, «а ужъ объ шинели не извольте безпокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель ужъ я вамъ сошью на славу, ужъ на этомъ постоимъ.»

Акакій Акакіевичъ еще было на-счетъ починки, но Петровичъ не дослушалъ и сказалъ. «Ужъ новую я вамъ сошью безпремѣнно, въ этомъ извольте положиться, старанье приложимъ. Можно будетъ даже такъ, какъ пошла мода, воротникъ будетъ застегиваться на серебреныя лапки подъ аплике.»

Тутъ то увидѣлъ Акакій Акакіевичъ, что безъ новой шинели нельзя обойтись, и поникъ совершенно духомъ. Какъ же въ самомъ дѣлѣ, на что́, на какія деньги ее сдѣлать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награжденіе къ празднику, но эти деньги давно уже размѣщены и распредѣлены впередъ. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долгъ за приставку новыхъ головокъ къ старымъ голенищамъ, да слѣдовало заказать швеѣ три рубахи, да штуки двѣ того бѣлья, которое неприлично называть въ печатномъ слогѣ; словомъ — всѣ деньги совершенно должны были разойтися, и если бы даже директоръ былъ такъ милостивъ, что, вмѣсто сорока рублей наградныхъ, опредѣлилъ бы сорокъ-пять, или пятьдесятъ, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздоръ, который въ шинельномъ капиталѣ будетъ капля

въ морѣ. Хотя, конечно онъ зналъ что за Петровичемъ водилась блажь заломить вдругъ, чортъ знаетъ, какую непомѣрную цѣну, такъ что ужъ бывало сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что́ ты, съ ума сходишь, дуракъ такой! Въ другой разъ ни за что́ возьметъ работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цѣну, какой и самъ не стоитъ.» Хотя, конечно, онъ зналъ, что Петровичъ и за восемьдесятъ рублей возьмется сдѣлать; однако всё же, откуда взять эти восемьдесятъ рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; можетъ быть, даже немножко и больше; но гдѣ взять другую половину? . . . Но прежде читателю должно узнать, гдѣ взялась первая половина. Акакій Акакіевичъ имѣлъ обыкновеніе со всякаго истрачиваемаго рубля откладывать по грошу въ небольшой ящичекъ, запертый на ключъ, съ прорѣзанною въ крышкѣ дырочкой для бросанія туда денегъ. По истеченіи всякаго полугода, онъ ревизовалъ накопившуюся мѣдную сумму и замѣнялъ ее мелкимъ серебромъ. Такъ продолжалъ онъ съ давнихъ поръ, и такимъ образомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, оказалось накопившейся суммы болѣе, чѣмъ на сорокъ рублей. Итакъ, половина была въ рукахъ; но гдѣ же взять другую половину? гдѣ взять другіе сорокъ рублей? Акакій Акакіевичъ думалъ-думалъ и рѣшилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенныя издержки, хотя по крайней мѣрѣ въ продолженіе одного года: изгнать употребленіе чаю по вечерамъ, не зажигать по вечерамъ свѣчи, а если что́ понадобится дѣлать, идти въ комнату къ хозяйкѣ и работать при ея свѣчкѣ; ходя по улицамъ, ступать какъ можно легче и осторожнѣе по камнямъ и плитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ не истереть скоровременно подметокъ; какъ можно рѣже отдавать прачкѣ мыть бѣлье, а чтобы не занашивалось, то всякой разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только демикотоновомъ халатѣ, очень давнемъ и щадимомъ даже самимъ временемъ. Надобно сказать правду, что сначала ему было нѣсколько

трудно привыкать къ такимъ ограниченіямъ, но потомъ какъ-то привыклось и пошло на-ладъ, — даже онъ совершенно пріучился голодать по вечерамъ; но зато онъ питался духовно, нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели. Съ этихъ поръ какъ-будто самое существованіе его сдѣлалось какъ-то полнѣе, какъ-будтобы онъ женился, какъ-будто какой-то другой человѣкъ присутствовалъ съ нимъ, какъ-будто онъ былъ не одинъ, а какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить вмѣстѣ жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, какъ таже шинель, на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ безъ износу. Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, даже тверже характеромъ, какъ человѣкъ, который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль. Съ лица и съ поступковъ его исчезло само собою сомнѣніе, нерѣшительность, словомъ — всѣ колеблющіяся и неопредѣленныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали самыя дерзкія и отважныя мысли: не положить ли, точно, куницу на воротникъ? Размышленія объ этомъ чуть не навели на него разсѣянности. Одинъ разъ, переписывая бумагу, онъ чуть было дажа не сдѣлалъ ошибки, такъ что почти вслухъ вскрикнулъ: «Ухъ!» и перекрестился. Въ продолженіе каждаго мѣсяца онъ, хотя одинъ разъ, навѣдывался къ Петровичу, чтобы поговорить о шинели, гдѣ лучше купить сукна, а какого цвѣта, и въ какую цѣну, — и, хотя нѣсколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что наконецъ придетъ же время, когда все это купится и когда шинель будетъ сдѣлана. Дѣло пошло даже скорѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Противу всякаго чаянія, директоръ назначилъ Акакію Акакіевичу не сорокъ, или сорокъ пять, а цѣлыхъ шестьдесятъ рублей. Ужъ предчувствовалъ ли онъ, что Акакію Акакіевичу нужна шинель, или само собой такъ случилось, но только у него чрезъ это очутилось лишнихъ двадцать рублей. Это обстоятельство ускоряло ходъ дѣла. Еще какихъ-нибудь два-три мѣсяца небольшого голоданья — и у Акакія Акакіевича на-

бралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. Въ первый же день онъ отправился вмѣстѣ съ Петровичемъ въ лавки. Купили сукна очень хорошаго — и немудрено, потому что объ этомъ думали еще за полгода прежде и рѣдкій мѣсяцъ не заходили въ лавки примѣняться къ цѣнамъ; зато самъ Петровичъ сказалъ, что лучше сукна и не бываетъ. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротнаго и плотнаго, который, по словамъ Петровича, былъ еще лучше шелку и даже на-видъ казистѣй и глянцовитѣй. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вмѣсто ея выбрали кошку лучшую, какая только нашлась въ лавкѣ, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петровичъ провозился за шинелью всего двѣ недѣли, потому что много было стеганья, а иначе — она была бы готова раньше. За работу Петровичъ взялъ двѣнадцать рублей — меньше никакъ нельзя было: все было рѣшительно шито на шелку, двойнымъ мелкимъ швомъ, и по всякому шву Петровичъ потомъ проходилъ собственными зубами, вытѣсняя ими разныя фигуры. Это было . . . трудно сказать, въ который именно день, но, вѣроятно, въ день самый торжественный въ жизни Акакія Акакіевича, когда Петровичъ принесъ наконецъ шинель. Онъ принесъ ее поутру, предъ самымъ тѣмъ временемъ, какъ нужно было идти въ департаментъ. Никогда бы въ другое время не пришлась такъ кстати шинель, потому что начинались уже довольно крѣпкіе морозы и, казалось, грозили еще болѣе усилиться. Петровичъ явился съ шинелью, какъ слѣдуетъ хорошему портному. Въ лицѣ его показалось выраженіе такое значительное, какого Акакій Акакіевичъ никогда еще не видалъ. Казалось, онъ чувствовалъ въ полной мѣрѣ, что сдѣлалъ не малое дѣло и что вдругъ показалъ въ себѣ бездну, раздѣляющую портныхъ, которые подставляютъ только подкладки и переправляютъ, отъ тѣхъ, которые шьютъ за-ново. Онъ вынулъ шинель изъ носового платка, въ которомъ ее принесъ (платокъ былъ только что отъ прачки; онъ

уже тутъ свернулъ его и положилъ въ карманъ для употребленія). Вынувши шинель, онъ гордо посмотрѣлъ и, держа въ обѣихъ рукахъ, набросилъ весьма ловко на плеча Акакію Акакіевичу; потомъ потянулъ и осадилъ ее сзади рукой къ низу; потомъ драпировалъ ею Акакія Акакіевича нѣсколько въ распашку. Акакій Акакіевичъ, какъ человѣкъ въ лѣтахъ, хотѣлъ попробовать въ рукава; Петровичъ помогъ надѣть и въ рукава — вышло, что и въ рукава была хороша. Словомъ, оказалось, что шинель была совершенно и какъ разъ въ пору. Петровичъ не упустилъ при семъ случаѣ сказать, что онъ такъ только, потому что живетъ безъ вывѣски на небольшой улицѣ и притомъ давно знаетъ Акакія Акакіевича, потому взялъ такъ дешево; а на Невскомъ проспектѣ съ него бы взяли за одну только работу семьдесятъ пять рублей. Акакій Акакіевичъ объ этомъ не хотѣлъ разсуждать съ Петровичемъ, да и боялся всѣхъ сильныхъ суммъ, какими Петровичъ любилъ запускать пыль. Онъ расплатился съ нимъ, поблагодарилъ и вышелъ тутъ же въ новой шинели въ департаментъ. Петровичъ вышелъ вслѣдъ за нимъ и, оставаясь на улицѣ, долго еще смотрѣлъ издали на шинель и пошелъ нарочно въ сторону, чтобы, обогнувши кривымъ переулкомъ, забѣжать вновь на улицу и посмотрѣть еще разъ на свою шинель съ другой стороны, то есть, прямо въ лицо. Между тѣмъ Акакій Акакіевичъ шелъ въ самомъ праздничномъ расположеніи всѣхъ чувствъ. Онъ чувствовалъ всякій мигъ минуты, что на плечахъ его новая шинель, и нѣсколько разъ даже усмѣхнулся отъ внутренняго удовольствія. Въ самомъ дѣлѣ, двѣ выгоды: одна то́, что тепло, а другая, что хорошо. Дороги онъ не примѣтилъ вовсе и очутился вдругъ въ департаментѣ; въ швейцарской скинулъ шинель, осмотрѣлъ ее кругомъ и поручилъ въ особенный надзоръ швейцару. Неизвѣстно, какимъ образомъ въ дапартаментѣ всѣ вдругъ узнали, что у Акакія Акакіевича новая шинель, и что уже капота болѣе не существуетъ. Всѣ въ ту же минуту выбѣжали въ швейцарскую смотрѣть новую

шинель Акакія Акакіевича. Начали поздравлять его, привѣтствовать, такъ что тотъ сначала только улыбался, а потомъ сдѣлалось ему даже стыдно. Когда же всѣ, приступивъ къ нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что по крайней мѣрѣ онъ долженъ задать имъ всѣмъ вечеръ, Акакій Акакіевичъ потерялся совершенно, не зналъ какъ ему быть, что́ такое отвѣчать и какъ отговориться. Онъ уже минутъ черезъ нѣсколько, весь закраснѣвшись, началъ было увѣрять довольно простодушно, что это совсѣмъ не новая шинель, что это такъ, что это старая шинель. Наконецъ одинъ изъ чиновниковъ, какой-то даже помощникъ столоначальника, вѣроятно, для того, чтобы показать, что онъ ничуть не гордецъ и знается даже съ низшими себя, сказалъ: «Такъ и быть, я вмѣсто Акакія Акакіевича даю вечеръ, я прошу ко мнѣ сегодня на чай: я же, какъ нарочно, сегодня именинникъ.» Чиновники, натурально, тутъ же поздравили помощника столоначальника и приняли съ охотою предложеніе. Акакій Акакіевичъ началъ было отговариваться, но всѣ стали говорить, что, неучтиво, что, просто, стыдъ и срамъ, и онъ уже никакъ не могъ отказаться. Впрочемъ, ему потомъ сдѣлалось пріятно, когда вспомнилъ, что онъ будетъ имѣть чрезъ то случай пройтись даже и ввечеру въ новой шинели. Этотъ весь день былъ для Акакія Акакіевича, точно, самый большой торжественный праздникъ. Онъ возвратился домой въ самомъ счастливомъ расположеніи духа, скинулъ шинель и повѣсилъ ее бережно на стѣнѣ, налюбовавшись еще разъ сукномъ и подкладкой, и потомъ нарочно вытащилъ для сравненія прежній капотъ свой, совершенно расползшійся. Онъ взглянулъ на него, и самъ даже засмѣялся: такая была далекая разница! И долго еще потомъ за обѣдомъ онъ всё усмѣхался, какъ только приходило ему на умъ положеніе, въ которомъ находился капотъ. Пообѣдалъ онъ весело и послѣ обѣда ужъ ничего не писалъ, никакихъ бумагъ, а такъ немножко посибаритствовалъ на постели, пока не потемнѣло. Потомъ, не затягивая дѣла, одѣлся, надѣлъ

на плеча шинель и вышелъ на улицу. Гдѣ именно жилъ пригласившій чиновникъ, къ сожалѣнію, не можемъ сказать: память начинаетъ намъ сильно измѣнять, и все, что́ ни есть въ Петербургѣ, всѣ улицы и домы, слились и смѣшались такъ въ головѣ, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь въ порядочномъ видѣ. Какъ бы то ни было, но вѣрно по крайней мѣрѣ то, что чиновникъ жилъ въ лучшей части города, стало быть, очень неблизко отъ Акакія Акакіевича. Сначала надо было Акакію Акакіевичу пройти кое-какія пустынныя улицы съ тощимъ освѣщеніемъ, но, по мѣрѣ приближенія къ квартирѣ чиновника, улицы становились живѣе, населеннѣй и сильнѣе освѣщены. Пѣшеходы стали мелькать, чаще начинали попадаться и дамы красиво одѣтыя; на мущинахъ попадались бобровые воротники; рѣже встрѣчались ваньки съ деревяными рѣшетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками; напротивъ всё попадались лихачи, въ малиновыхъ бархатныхъ шапкахъ, съ лакированными санками, съ медвѣжьими одѣялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снѣгу, кареты съ убранными козлами. Акакій Акакіевичъ глядѣлъ на все это, какъ на новость. Онъ уже нѣсколько лѣтъ не выходилъ по вечерамъ на улицу. Остановился съ любопытствомъ передъ освѣщеннымъ окошкомъ магазина посмотрѣть на картину, гдѣ изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала съ себя башмакъ, обнаживши такимъ образомъ всю ногу, очень недурную; а за спиной ея, изъ дверей другой комнаты, выставилъ голову какой-то мущина, съ баккенбардами и красивой эспаньолкой подъ губой. Акакій Акакіевичъ покачнулъ головой и усмѣхнулся, и потомъ пошелъ своею дорогою. Почему онъ усмѣхнулся? потому ли, что встрѣтилъ вещь вовсе незнакомую, но о которой, однакоже, всётаки у каждаго сохраняется какое-то чутье, или подумалъ онъ, подобно многимъ другимъ чиновникамъ, слѣдующее: «Ну, ужъ эти Французы! что́ и говорить? ужъ ежели захотятъ что-нибудь того, такъ ужъ точно того . . .» А, можетъ быть, даже и этого не подумалъ:

вѣдь нельзя же залѣзть въ душу человѣку и узнать все, что́ онъ ни думаетъ. Наконецъ достигнулъ онъ дома, въ которомъ квартировалъ помощникъ столоначальника. Помощникъ столоначальника жилъ на большую ногу: на лѣстницѣ свѣтилъ фонарь, квартира была во второмъ этажѣ. Вошедши въ переднюю, Акакій Акакіевичъ увидѣлъ на полу цѣлые ряды калошъ. Между ними, посреди комнаты, стоялъ самоваръ, шумя и испуская клубами паръ. На стѣнахъ висѣли всё шинели да плащи, между которыми нѣкоторые были даже съ бобровыми воротниками или съ бархатными отворотами. За стѣной былъ слышанъ шумъ и говоръ, которые вдругъ сдѣлались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышелъ лакей съ подносомъ, уставленнымъ опорожненными стаканами, сливочникомъ и корзиною сухарей. Видно, что ужъ чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакій Акакіевичъ, повѣсивши самъ шинель свою, вошелъ въ комнату, и передъ нимъ мелькнули въ одно время свѣчи, чиновники, трубки, столы для картъ, и смутно поразили слухъ его бѣглый, со всѣхъ сторонъ подымавшійся разговоръ и шумъ передвигаемыхъ стульевъ. Онъ остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что́ ему сдѣлать. Но его уже замѣтили, приняли съ крикомъ и всѣ пошли тотъ же часъ въ переднюю и вновь осмотрѣли его шинель. Акакій Акакіевичъ, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человѣкомъ чистосердечнымъ, не могъ не порадоваться, видя, какъ всѣ похвалили шинель. Потомъ, разумѣется, всѣ бросили и его, и шинель, и обратились, какъ водится, къ столамъ, назначеннымъ для виста. Все это: шумъ, говоръ и толпа людей, все это было какъ-то чудно Акакію Акакіевичу. Онъ, просто, не зналъ, какъ ему быть, куда дѣть руки, ноги и всю фигуру свою; наконецъ подсѣлъ онъ къ игравшимъ, смотрѣлъ въ карты, засматривалъ тому и другому въ лица и чрезъ нѣсколько времени началъ зѣвать, чувствовать, что скучно, — тѣмъ болѣе, что ужъ давно наступило то время, въ которое онъ, по обыкно-

венію, ложился спать. Онъ хотѣлъ проститься съ хозяиномъ, но его не пустили, говоря, что непремѣнно надо выпить, въ честь обновки, по бокалу шампанскаго. Черезъ часъ подали ужинъ; состоявшій изъ винегрета, холодной телятины, паштета, кандитерскихъ пирожковъ и шампанскаго. Акакія Акакіевича заставили выпить два бокала, послѣ которыхъ онъ почувствовалъ, что въ комнатѣ сдѣлалось веселѣе, однакожъ никакъ не могъ позабыть, что уже двѣнадцать часовъ и что давно пора домой. Чтобы какъ-нибудь не вздумалъ удерживать хозяинъ, онъ вышелъ потихоньку изъ комнаты, отыскалъ въ передней шинель, которую не безъ сожалѣнія увидѣлъ лежавшую на полу, стряхнулъ ее, снялъ съ нея всякую пушинку, надѣлъ на плеча и опустился по лѣстницѣ на улицу. На улицѣ все еще было свѣтло. Кое-какія мелочныя лавчонки, эти безсмѣнные клубы дворовыхъ и всякихъ людей, были отперты, другія же, которыя были заперты, показывали, однакожъ, длинную струю свѣта во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вѣроятно, дворовыя служанки, или слуги еще доканчиваютъ свои толки и разговоры, повергая своихъ господъ въ совершенное недоумѣніе на-счетъ своего мѣстопребыванія. Акакій-Акакіевичъ шелъ въ веселомъ расположеніи духа, даже побѣжалъ-было вдругъ, неизвѣстно почему, за какою-то дамою, которая, какъ молнія, прошла мимо и у которой всякая часть тѣла была исполнена необыкновеннаго движенія. Но однакожъ онъ тутъ же остановился и пошелъ опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже самъ неизвѣстно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись передъ нимъ тѣ пустыя улицы, которыя даже и днемъ не такъ веселы, а тѣмъ болѣе вечеромъ. Теперь онѣ сдѣлались еще глуше и уединеннѣе: фонари стали мелькать рѣже — масла, какъ видно, уже меньше отпускалось; пошли деревяные домы, заборы; нигдѣ ни души; сверкалъ только одинъ снѣгъ по улицамъ, да печально чернѣли съ закрытыми ставнями заснувшія низенькія лачужки. Онъ приблизился къ тому мѣсту, гдѣ перерѣзывалась улица безконечною

площадью съ едва видными на другой сторонѣ ея домами, которая глядѣла страшною пустынею.

Вдали, Богъ знаетъ гдѣ, мелькалъ огонекъ въ какой-то будкѣ, которая казалась стоявшею на краю свѣта. Веселость Акакія Акакіевича какъ-то здѣсь значительно уменьшилась. Онъ вступилъ на площадь не безъ какой-то невольной боязни, точно какъ-будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Онъ оглянулся назадъ и по сторонамъ — точно море вокругъ него. «Нѣтъ, лучше и не глядѣть,» подумалъ и шелъ, закрывъ глаза, и когда открылъ ихъ, чтобы узнать, близко ли конецъ площади, увидѣлъ вдругъ, что передъ нимъ стоятъ, почти передъ носомъ, какіе-то люди съ усами, — какіе именно, ужъ этого онъ не могъ даже различить. У него затуманило въ глазахъ и забилось въ груди. «А вѣдь шинель-то моя!» сказалъ одинъ изъ нихъ громовымъ голосомъ, схвативши его за воротникъ. Акакій Акакіевичъ хотѣлъ было уже закричать *караулъ*, какъ другой приставилъ ему къ самому рту кулакъ, величиною въ чиновничью голову, примолвивъ: «А вотъ только крикни!» Акакій Акакіевичъ чувствовалъ только, какъ сняли съ него шинель, дали ему пинка колѣномъ, и онъ упалъ навзничъ въ снѣгъ, и ничего ужъ больше не чувствовалъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ опомнился и поднялся на ноги, но ужъ никого не было. Онъ чувстсвовалъ, что въ полѣ холодно и шинели нѣтъ; сталъ кричать, но голосъ, казалось, и не думалъ долетать до концовъ площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился онъ бѣжать черезъ площадь прямо къ будкѣ, подлѣ которой стоялъ будочникъ и, опершись на свою алебарду, глядѣлъ, кажется, съ любопытствомъ, желая знать, какого чорта бѣжитъ къ нему издали и кричитъ человѣкъ. Акакій Акакіевичъ, прибѣжавъ къ нему, началъ задыхающимся голосомъ кричать, что онъ спитъ и ни за чѣмъ не смотритъ, не видитъ, какъ грабятъ человѣка. Будочникъ отвѣчалъ, что онъ не видалъ никого, что видѣлъ, какъ остановили его среди площади какіе то два человѣка, да думалъ, что то были его пріятели; а что пусть онъ вмѣсто того, чтобы понапрасну браниться, сходитъ завтра къ

надзирателю, такъ надзиратель отыщетъ, кто взялъ шинель. Акакій Акакіевичъ прибѣжалъ домой въ совершенномъ безпорядкѣ: волосы, которые еще водились у него въ небольшомъ количествѣ на вискахъ и затылкѣ, совершенно растрепались: бокъ и грудь и всѣ панталоны были въ снѣгу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стукъ въ дверь, поспѣшно вскочила съ постели и, съ башмакомъ на одной только ногѣ, побѣжала отворять дверь, придерживая на груди своей, изъ скромности, рукою рубашку; но, отворивъ, отсупила назадъ, увидя въ такомъ видѣ Акакія Акакіевича. Когда же разсказалъ онъ, въ чемъ дѣло, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо къ частному, что квартальный надуетъ, пообѣщается и станеть водить; а лучше всего идти прямо къ частному, что онъ даже ей знакомъ, потому что Анна, Чухонка, служившая прежде у нея въ кухаркахъ, опредѣлилась теперь къ частному въ няньки, что она часто видитъ его самаго, какъ онъ проѣзжаетъ мимо ихъ дома, и что онъ бываетъ такъ же всякое воскресенье въ церкви, молится, а въ то же время весело смотритъ на всѣхъ, и что, стало быть, по всему видно долженъ быть добрый человѣкъ. Выслушавъ такое рѣшеніе, Акакій Акакіевичъ печальный побрелъ въ свою комнату, и какъ онъ провелъ тамъ ночь, предоставляется судить тому, кто можетъ сколько нибудь представить себѣ положеніе другого. Поутру рано явился онъ къ частному; но сказали, что спитъ; онъ пришелъ въ десять — сказали опять: спитъ; онъ пришелъ въ одиннадцать часовъ — сказали: «Да нѣтъ частнаго дома;» онъ въ обѣденное время — но писаря въ прихожей никакъ не хотѣли пустить его и хотѣли непремѣнно узнать, за какимъ дѣломъ и какая надобность привела, и что́ такое случилось; такъ что наконецъ Акакій Акакіевичъ разъ въ жизни захотѣлъ показать характеръ и сказалъ на-отрѣзъ, что ему нужно лично видѣть самого частнаго, что они не смѣютъ его не допустить, что онъ пришелъ изъ департамента за казеннымъ дѣломъ, а что вотъ, какъ онъ на нихъ по-

жалуется, такъ вотъ тогда они увидятъ. Противъ этого писаря ничего не посмѣли сказать, и одинъ изъ нихъ пошелъ вызвать частнаго. Частный принялъ какъ-то чрезвычайно странно разсказъ о грабительствѣ шинели. Вмѣсто того, чтобы обратить вниманіе на главный пунктъ дѣла, онъ сталъ разспрашивать Акакія Акакіевича: да почему онъ такъ поздно возвращался? да не заходилъ ли онъ и не былъ ли въ какомъ непорядочномъ домѣ? такъ что Акакій Акакіевичъ сконфузился совершенно и вышелъ отъ него, самъ не зная, возъимѣетъ ли надлежащій ходъ дѣло о шинели, или нѣтъ. Весь этотъ день онъ не былъ въ присутствіи (единственный случай въ его жизни). На другой день онъ явился весь блѣдный и въ старомъ капотѣ своемъ, который сдѣлался еще плачевнѣе. Повѣствованіе о грабежѣ шинели, не смотря на то, что нашлись такіе чиновники, которые не пропустили даже и тутъ посмѣяться надъ Акакіемъ Акакіевичемъ, однакоже многихъ тронуло. Рѣшились тутъ же сдѣлать для него складчину, но собрали самую бездѣлицу, потому что чиновники и безъ того уже много истратились, подписавшись на директорскій портретъ и на одну какую-то книгу, по предложенію начальника отдѣленія, который былъ пріятелемъ сочинителю; и такъ сумма оказалась самая бездѣльная. Одинъ кто-то, движимый состраданіемъ, рѣшился по крайней мѣрѣ помочь Акакію Акакіевичу добрымъ совѣтомъ, сказавши, чтобъ онъ пошелъ не къ квартальному, потому что хоть и можетъ случиться, что квартальный, хотя заслужить одобреніе начальства, отыщетъ какимъ-нибудь образомъ шинель; но шинель всё-таки останется въ полиціи, если онъ не представить законныхъ доказательствъ, что она принадлежитъ ему; а лучше всего, чтобы онъ обратился къ одному *значительному, лицу*; что *значительное лицо*, спишась и снесясь съ кѣмъ слѣдуетъ, можетъ заставить успѣшнѣе идти дѣло. Нечего дѣлать, Акакій Акакіевичъ рѣшился идти къ значительному лицу. Какая именно и въ чемъ состояла должность *значительнаго лица*, это осталось до сихъ поръ неизвѣстнымъ. Нужно знать, что *одно*

значительное лицо недавно сдѣлался значительнымъ лицомъ, а до того времени онъ былъ незначительнымъ лицомъ. Впрочемъ мѣсто его и теперь не почиталось значительнымъ, въ сравненіи съ другими, еще значительнѣйшими. Но всегда найдется такой кругъ людей, для которыхъ незначительное въ глазахъ прочихъ есть уже значительное. Впрочемъ онъ старался усилить значительность многими другими сердствами, именно: завелъ, чтобы низшіе чиновники встрѣчали его еще на лѣстницѣ, когда онъ приходилъ въ должность; чтобы къ нему являться прямо никто не смѣлъ, а чтобъ шло все порядкомъ строжайшимъ: коллежскій регистраторъ докладывалъ бы губернскому секретарю, губернскій секретарь — титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже такимъ образомъ доходило дѣло до него. Такъ ужъ на святой Руси все заражено подражаніемъ, всякой дразнить и корчитъ своего начальника. Говорятъ даже, какой-то титулярный совѣтникъ, когда сдѣлали его правителемъ какой-то отдѣльной небольшой канцеляріи, тотчасъ же отгородилъ себѣ особенную комнату, назвавши ее *комнатой присутствія*, и поставилъ у дверей какихъ-то капельдинеровъ, съ красными воротниками, въ галунахъ, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя въ комнатѣ присутствія насилу могъ уставиться обыкновенный письменный столъ. Пріемы и обычаи *значительнаго лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главнымъ основаніемъ его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость,» говаривалъ онъ обыкновенно, и при послѣднемъ словѣ обыкновенно смотрѣлъ очень значительно въ лицо тому, которому говорилъ. Хотя, впрочемъ, этому и не было никакой причины, потому что десятокъ чиновниковъ, составлявшихъ весь правительственный механизмъ канцеляріи, и безъ того былъ въ надлежащемъ страхѣ: завидя его издали, оставлялъ уже дѣло и ожидалъ, стоя въ вытяжку, пока начальникъ пройдетъ черезъ комнату. Обыкновенный разговоръ его съ низшими отзывался строгостью состоялъ почти изъ трехъ фразъ: «Какъ вы смѣете? знаете ли

вы, съ кѣмъ говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами?» Впрочемъ онъ былъ въ душѣ добрый человѣкъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ; но генеральскій чинъ совершенно сбилъ его съ толку. Получивши генеральскій чинъ, онъ какъ-то спутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ ему быть. Если ему случалось быть съ ровными себѣ, онъ былъ еще человѣкъ, какъ слѣдуетъ, — человѣкъ очень порядочный, во многихъ отношеніяхъ даже неглупый человѣкъ; но какъ только случалось ему быть въ обществѣ, гдѣ были люди хоть однимъ чиномъ пониже его, тамъ онъ былъ, просто, хоть изъ рукъ вонъ: молчалъ, и положеніе его возбуждало жалость тѣмъ болѣе, что онъ самъ даже чувствовалъ, что могъ бы провести время несравненно лучше. Въ глазахъ его иногда видно было сильное желаніе присоединиться къ какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будетъ ли это ужъ очень много съ его стороны, не будетъ ли фамиліарно, и не уронитъ ли онъ чрезъ то своего значенія? И въ слѣдствіе такихъ разсужденій онъ оставался вѣчно въ одномъ и томъ же молчаливомъ состояніи, произнося только изрѣдка какіе-то односложные звуки, и пріобрѣлъ такимъ образомъ титулъ скучнѣйшаго человѣка. Къ такому-то *значительному лицу* явился нашъ Акакій Акакіевичъ, и явился во время самое неблагопріятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочемъ, кстати для значительнаго лица. Значительное лицо находился въ своемъ кабинетѣ и разговорился очень, очень весело съ однимъ недавно пріѣхавшимъ старинным знакомымъ и товарищемъ дѣтства, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видался. Въ это время доложили ему, что пришелъ какой-то Башмачкинъ. Онъ спросилъ отрывисто: «Кто такой?» ему отвѣчали: «Какой-то чиновникъ.» — А! можетъ подождать, теперь не время,» сказалъ значительный человѣкъ. Здѣсь надобно сказать, что значительный человѣкъ совершенно прилгнулъ: ему было время; они давно уже съ пріятелемъ переговорили обо всемъ и уже давно перекладывали разговоръ весьма

длинными молчаньями, слегка только потрепливая другъ друга по ляшкѣ и приговаривая: «Такъ-то, Иванъ Абрамовичъ!» — «Этакъ-то, Степанъ Варламовичъ!» но при всемъ томъ, однакоже, велѣлъ онъ чиновнику подождать, чтобы показать пріятелю, человѣку давно неслужившему и зажившемуся дома въ деревнѣ, сколько времени чиновники дожидаются у него въ передней. Наконецъ наговорившись, а еще болѣе намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку въ весьма покойныхъ креслахъ съ откидными спинками, онъ наконецъ какъ-будто вдругъ вспомнилъ и сказалъ секретарю, остановившемуся у дверей съ бумагами для доклада: «Да, вѣдь тамъ стоитъ, кажется, чиновникъ. Скажите ему, что онъ можетъ войти.» Увидѣвши смиренный видъ Акакія Акакіевича и его старенькій вицмундиръ, онъ оборотился къ нему вдругъ и сказалъ: «Что вамъ угодно?» голосомъ отрывистымъ и твердымъ, которому нарочно учился заранѣ у себя въ комнатѣ, въ уединеніи и передъ зеркаломъ, еще за недѣлю до полученія нынѣшняго чина. Акакій Акакіевичъ уже заблаговременно почувствовалъ надлежащую робость, нѣсколько смутился и, какъ могъ, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснилъ, съ прибавленіемъ даже чаще, чѣмъ въ другое время частицы *того*, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограбленъ безчеловѣчнымъ образомъ, и что онъ обращается къ нему, чтобъ онъ ходатайствомъ своимъ какъ-нибудь того... списался бы съ г. оберъ-полицеймейстеромъ, или другимъ кѣмъ, и отыскалъ шинель. Генералу, неизвѣстно почему, показалось такое обхожденіе фамиліарнымъ. «Что́ вы, милостивый государь!» продолжалъ онъ отрывисто: «не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, какъ водятся дѣла? Объ этомъ вы бы должны были прежде подать просьбу въ канцелярію; она пошла бы къ столоначальнику, къ начальнику отдѣленія, потомъ передана была бы секретарю, а секретарь доставилъ бы ее уже мнѣ...»

«Но, ваше превосходительство,» сказалъ Акакій Акакіевичъ, стараясь собрать всю небольшую горсть

присутствія духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же время, что онъ вспотѣлъ ужаснымъ образомъ: «я, ваше превосходительство, осмѣлился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народъ...»

«Что́, что́, что́?» сказалъ значительное лицо; «откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей такихъ набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми противъ начальниковъ и высшихъ!» Значительное лицо, кажется, не замѣтилъ, что Акакію Акакіевичу забралось уже за пятьдесятъ лѣтъ; стало быть, если бы онъ и могъ называться молодымъ человѣкомъ, то развѣ только относительно, то есть въ отношеніи къ тому, кому уже было семьдесятъ лѣтъ. «Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоитъ передъ вами? понимаете ли вы это? понимаете ли это? я васъ спрашиваю.» Тутъ онъ топнулъ ногою, возведя голосъ до такой сильной ноты, что даже и не Акакію Акакіевичу сдѣлалось бы страшно. Акакій Акакіевичъ такъ и обмеръ, пошатнулся, затрясся всѣмъ тѣломъ и никакъ не могъ стоять: если бы не подбѣжали тутъ же сторожа поддержать его, онъ бы шлепнулся на полъ; его вынесли почти безъ движенія. А значительное лицо, довольный тѣмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожиданіе, и совершенно упоенный мыслью, что слово его можетъ лишить даже чувствъ человѣка, искоса взглянулъ на пріятеля, чтобы узнать, какъ онъ на это смотритъ, и не безъ удовольствія увидѣлъ, что пріятель его находится въ самомъ неопредѣленномъ состояніи и начиналъ даже съ своей стороны самъ чувствовать страхъ.

Какъ сошелъ съ лѣстницы, какъ вышелъ на улицу, ничего ужъ этого не помнилъ Акакій Акакіевичъ. Онъ не слышалъ ни рукъ, ни ногъ. Въ жизнь свою онъ не былъ еще такъ сильно распеченъ генераломъ, да еще и чужимъ. Онъ шелъ по вьюгѣ, свистѣвшей въ улицахъ, разинувъ ротъ, сбиваясь съ тротуаровъ; вѣтеръ, по петербургскому обычаю, дулъ на него со всѣхъ четырехъ сторонъ, изъ всѣхъ переулковъ. Въ мигъ надуло ему въ горло жабу, и добрался

онъ домой, не въ силахъ будучи сказать ни одного слова; весь распухъ и слегъ въ постель. Такъ сильно иногда бываетъ надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованію петербургскаго климата, болѣзнь пошла быстрѣе, чѣмъ можно было ожидать, и когда явился докторъ, то онъ, пощупавши пульсъ, ничего не нашелся сдѣлать, какъ только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался безъ благодѣтельной помощи медицины; а впрочемъ тутъ же объявилъ ему чрезъ полтора сутокъ непремѣнный капутъ. Послѣ чего обратился къ хозяйкѣ и сказалъ: «А вы, матушка, и времени даромъ не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гробъ, потому что дубовый будетъ для него дорогъ.» Слышалъ ли Акакій Акакіевичъ эти произнесенныя роковыя для него слова? а если и слышалъ, произвели ли они на него сотрясающее дѣйствіе? пожалѣлъ ли онъ о горемычной своей жизни? — ничего этого неизвѣстно, потому что онъ находился все время въ бреду и жару. Явленія, одно другаго страннѣе, представлялись ему безпрестанно: то видѣлъ онъ Петровича и заказывалъ ему сдѣлать шинель съ какими-то западнями для воровъ, которые чудились ему безпрестанно подъ кроватью, и онъ поминутно призывалъ хозяйку вытащить у него одного вора даже изъ-подъ одѣяла; то спрашивалъ, зачѣмъ виситъ передъ нимъ старый капотъ его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что онъ стоитъ передъ генераломъ, выслушивая надлежащее распеканье и приговариваетъ: «Виноватъ, ваше превосходительство!» то, наконецъ, даже сквернохульничалъ, произнося самыя страшныя слова, такъ что старушка-хозяйка даже крестилась, отъ роду не слыхавъ отъ него ничего подобнаго — тѣмъ болѣе, что слова эти слѣдовали непосредственно за словомъ *ваше превосходительство*. Далѣе онъ говорилъ совершенную безсмыслицу, такъ что ничего нельзя было понять; можно было только видѣть, что безпорядочныя слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконецъ

бѣдный Акакій Акакіевичъ испустилъ духъ. Ни комнаты, ни вещей его но опечатывали, потому что, во-первыхъ, не было наслѣдниковъ, а во-вторыхъ, оставалось очень немного наслѣдства, именно — пучокъ гусиныхъ перьевъ, десть бѣлой казенной бумаги, три пары носковъ, двѣ-три пуговицы, оторвавшіяся отъ панталонъ, и уже извѣстный читателю капотъ. Кому все это досталось, Богъ знаетъ: объ этомъ, признаюсь, даже не интересовался разсказывающій сію повѣсть. Акакія Акакіевича свезли и похоронили. И Петербургъ остался безъ Акакія Акакіевича, какъ-будтобы въ немъ его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никѣмъ незащищенное, никому недорогое, ни для кого неинтересное, даже необратившее на себя вниманія и естествонаблюдателя, непропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и разсмотрѣть ее въ микроскопъ, — существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго всё же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестерпимо обрушилось несчастіе, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего! . . . Нѣсколько дней послѣ его смерти, посланъ былъ къ нему на квартиру изъ департамента сторожъ, съ приказаніемъ немедленно явиться: начальникъ де требуетъ; но сторожъ долженъ былъ возвратиться ни съ чѣмъ, давши отчетъ, что не можетъ больше прійти, и на запросъ: почему? выразился словами: «Да такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня похоронили.» Такимъ образомъ узнали въ департаментѣ о смерти Акакія Акакіевича, и на другой день уже на его мѣстѣ сидѣлъ новый чиновникъ, гораздо выше ростомъ и выставлявшій буквы уже не такимъ прямымъ почеркомъ, а гораздо наклоннѣе и косѣе.

Но кто бы могъ вообразить, что здѣсь еще не все объ Акакіи Акакіевичѣ, что суждено ему на нѣсколько дней прожить шумно послѣ своей смерти, какъ бы въ награду за непримѣченную никѣмъ жизнь? Но такъ

случилось, и бѣдная исторія наша неожиданно принимаетъ фантастическое окончаніе. По Петербургу пронеслись вдругъ слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше сталъ показываться по ночамъ мертвецъ, въ видѣ чиновника, ищущаго какой-то утащенной шинели и подъ видомъ стащенной шинели сдирающій со всѣхъ плечъ, не разбирая чина и званія, всякія шинели: на кошкахъ, на бобрахъ, на ватѣ, енотовыя, лисьи, медвѣжьи шубы, словомъ — всякаго рода мѣха и кожи, какія только придумали люди для прикрытія собственной. Одинъ изъ департаментскихъ чиновниковъ видѣлъ своими глазами мертвеца и узналъ въ немъ тотчасъ Акакія Акакіевича; но это внушило ему однакоже, такой страхъ, что онъ бросился бѣжать со всѣхъ ногъ и отъ того не могъ хорошенько разсмотрѣть, а видѣлъ только, какъ тотъ издали погрозилъ ему пальцемъ. Со всѣхъ сторонъ поступали безпрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярныхъ, но даже и надворныхъ совѣтниковъ, подвержены совершенной простудѣ, по причинѣ частаго сдергиванья шинелей. Въ полиціи сдѣлано было распоряженіе поймать мертвеца, во что́ бы то ни стало, живого или мертваго, и наказать его, въ примѣръ другимъ, жесточайшимъ образомъ, и въ томъ едва было даже не успѣли. Именно, будочникъ, какого-то квартала въ Кирюшкиномъ переулкѣ, схватилъ-было уже совершенно мертвеца за воротъ на самомъ мѣстѣ злодѣянія, на покушеніи сдернуть фризовую шинель съ какого-то отставного музыканта, свиставшаго въ свое время на флейтѣ. Схвативши его за воротъ, онъ вызвалъ своимъ крикомъ двухъ другихъ товарищей, которымъ поручилъ держать его, а самъ полѣзъ только на одну минуту за сапогъ, чтобы вытащить оттуда тавлинку съ табакомъ, освѣжить на время шесть разъ на вѣку приморожeнный носъ свой; но табакъ, вѣрно, былъ такого рода, котораго не могъ вынести даже и мертвецъ. Не успѣлъ будочникъ, закрывши пальцемъ свою правую ноздрю, потянуть лѣвою полгорсти, какъ мертвецъ чихнулъ такъ сильно, что совершенно сабрызгалъ имъ всѣмъ троимъ глаза. Покамѣсть они поднесли

кулаки протереть ихъ, мертвеца и слѣдъ пропалъ, такъ что они не знали даже, былъ ли онъ точно въ ихъ рукахъ. Съ этихъ поръ будочники получили такой страхъ къ мертвецамъ, что даже опасались хватать и живыхъ, и только издали покрикивали: «Эй ты, ступай своею дорогой!» и мертвецъ-чиновникъ сталъ показываться даже за Калинкинымъ мостомъ, наводя немалый страхъ на всѣхъ робкихъ людей. Но мы, однакоже, совершенно оставили *одно значительное лицо*, который, по настоящему, едва ли не былъ причиною фантастическаго направленія впрочемъ совершенно истинной исторіи. Прежде всего долгъ справедливости требуетъ сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходѣ бѣднаго распеченнаго въ-пухъ Акакія Акакіевича, почувствовалъ что-то въ родѣ сожалѣнія. Состраданіе было ему не чуждо; его сердцу были доступны многія добрыя движенія, не смотря на то, что чинъ весьма часто мѣшалъ имъ обнаруживаться. Какъ только вышелъ изъ его кабинета пріѣзжій пріятель, онъ даже задумался о бѣдномъ Акакіи Акакіевичѣ. И съ этихъ поръ почти всякій день представлялся ему блѣдный Акакій Акакіевичъ, невыдержавшій должностного распеканья. Мысль о немъ до такой степени тревожила его, что, недѣлю спустя, онъ рѣшился даже послать къ нему чиновника узнать, что́ онъ и какъ, и нельзя ли въ самомъ дѣлѣ чѣмъ помочь ему; и когда донесли ему, что Акакій Акакіевичъ умеръ скоропостижно въ горячкѣ, онъ остался даже пораженнымъ, слышалъ упреки совѣсти и весь день былъ не въ-духѣ. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть непріятное впечатлѣніе, онъ отправился на вечеръ къ одному изъ пріятелей своихъ, у котораго нашелъ порядочное общество, а что́ всего лучше, всѣ тамъ были почти одного и того же чина, такъ что онъ совершенно ничѣмъ не могъ быть связанъ. Это имѣло удивительное дѣйствіе на душевное ёго расположеніе. Онъ развернулся, сдѣлался пріятенъ въ разговорѣ, любезенъ, словомъ — провелъ вечеръ очень пріятно. За ужиномъ выпилъ онъ стакана два шампанскаго — средство, какъ извѣстно, не дурно

дѣйствующее въ-разсужденіи веселости. Шампанское сообщило ему расположеніе къ разнымъ экстренностямъ, а именно: онъ рѣшилъ не ѣхать еще домой, а заѣхать къ одной знакомой дамѣ, Каролинѣ Ивановнѣ, дамѣ, кажется, нѣмецкаго происхожденія, къ которой онъ чувствовалъ совершенно пріятельскія отношенія. Надобно сказать, что значительное лицо былъ уже человѣкъ немолодой, хорошій супругъ, почтенный отецъ семейства. Два сына, изъ которыхъ одинъ служилъ уже въ канцеляріи, и миловидная шестнадцатилѣтняя дочь, съ нѣсколько выгнутымъ, но хорошимъ носикомъ, приходили всякій день цѣловать его руку, приговаривая bonjour papa. Супруга его, еще женщина свѣжая и даже ни чуть недурная, давала ему прежде поцѣловать свою руку и потомъ, переворотивши ее на другую сторону, цѣловала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочемъ, довольный домашними семейными нѣжностями, нашелъ приличнымъ имѣть для дружескихъ отношеній пріятельницу въ другой части города. Эта пріятельница была ни чуть не лучше и не моложе жены его; но такія ужъ задачи бываютъ на свѣтѣ, и судить объ нихъ не наше дѣло. Итакъ значительное лицо сошелъ съ лѣстницы, сталъ въ сани и сказалъ кучеру: «Къ Каролинѣ Ивановнѣ,» а самъ, закутавшись весьма роскошно въ теплую шинель, оставался, въ томъ пріятномъ положеніи, лучше котораго и не выдумаешь для русскаго человѣка, то есть, когда самъ ни о чемъ не думаешь, а между тѣмъ мысли сами лѣзутъ въ голову, одна другой пріятнѣе, не давая даже труда гоняться за ними и искать ихъ. Полный удовольствія онъ слегка припоминалъ всѣ веселыя мѣста проведеннаго вечера, всѣ слова, заставившія хохотать небольшой кругъ: многія изъ нихъ онъ даже повторялъ въ-полголоса и нашелъ, что они всё такъ же смѣшны, какъ и прежде, а потому не мудрено, что и самъ посмѣивался отъ души. Изрѣдка мѣшалъ ему, однакоже, порывистый вѣтеръ, который, выхвативши вдругъ, Богъ знаетъ откуда, и нивѣсть отъ какой причины, такъ и рѣзалъ въ лицо, подбрасывая ему туда

клочки снѣга, хлобуча, какъ парусъ, шинельный воротникъ, или вдругъ съ неестественною силою набрасывая ему на голову и доставляя такимъ образомъ вѣчныя хлопоты изъ него выкарабкиваться. Вдругъ почувствовалъ значительное лицо, что его ухватилъ кто-то весьма крѣпко за воротникъ. Обернувшись, онъ замѣтилъ человѣка небольшого роста, въ старомъ поношенномъ вицмундирѣ, и не безъ ужаса узналъ въ немъ Акакія Акакіевича. Лицо чиновника было блѣдно, какъ снѣгъ, и глядѣло совершеннымъ мертвецомъ. Но ужасъ значительнаго лица превзошелъ всѣ границы, когда онъ увидѣлъ, что ротъ мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнесъ такія рѣчи: «А, такъ вотъ ты наконецъ! я тебя того . . . поймалъ за воротникъ! твоей-то шинели мнѣ и нужно! не хлопоталъ объ моей, да еще и распекъ; отдавай же теперь свою!» Бѣдное *значительное лицо* чуть не умеръ. Какъ ни былъ онъ характеренъ въ канцеляріи и вообще передъ низшими, и хотя, взглянувши на одинъ мужественный видъ его и фигуру, всякій говорилъ: «У, какой характеръ!» но здѣсь онъ подобно весьма многимъ, имѣющимъ богатырскую наружность, почувствовалъ такой страхъ, что не безъ причины даже сталъ опасаться на-счетъ какого-нибудь болѣзненнаго припадка. Онъ самъ даже скинулъ поскорѣе съ плечъ шинель свою и закричалъ кучеру не своимъ голосомъ: «Пошелъ во весь духъ домой!» Кучеръ, услышавши голосъ, который произносится обыкновенно въ рѣшительныя минуты и даже сопровождается кое-тѣмъ гораздо дѣйствительнѣйшимъ, упряталъ на всякій случай голову свою въ плечи, замахнулся кнутомъ и помчался, какъ стрѣла. Минутъ въ шесть съ небольшимъ, значительное лицо уже былъ предъ подъѣздомъ своего дома. Блѣдный, перепуганный и безъ шинели, вмѣсто того, чтобы къ Каролинѣ Ивановнѣ, онъ пріѣхалъ къ себѣ, доплелся кое-какъ до своей комнаты и провелъ ночь весьма въ большомъ безпорядкѣ, такъ что на другой день поутру, за чаемъ, дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсѣмъ блѣденъ, папа.» Но папа мол-

чалъ и никому ни слова о томъ, что́ съ нимъ случилось и гдѣ онъ былъ, и куда хотѣлъ ѣхать. Это происшествіе сдѣлало на него сильное впечатлѣніе. Онъ даже гораздо рѣже сталъ говорить подчиненнымъ: «Какъ вы смѣете? понимаете ли, кто передъ вами?» если же и произносилъ, то ужъ не прежде, какъ выслушавши сперва, въ чемъ дѣло. Но еще болѣе замѣчательно то, что съ этихъ поръ совершенно прекратилось появленіе чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечамъ; по крайней мѣрѣ уже не было нигдѣ слышно такихъ случаевъ, чтобы сдергивали съ кого шинели. Впрочемъ многіе дѣятельные и заботливые люди никакъ не хотѣли успокоиться и поговаривали, что въ дальнихъ частяхъ города все еще показывался чиновникъ-мертвецъ. И точно, одинъ коломенскій будочникъ видѣлъ собственными глазами, какъ показалось изъ-за одного дома привидѣніе; но, будучи по природѣ своей нѣсколько безсиленъ, такъ что одинъ разъ обыкновенный взрослый поросенокъ, кинувшись изъ какого-то частнаго дома, сшибъ его съ ногъ, къ величайшему смѣху стоявшихъ вокругъ извощиковъ, съ которыхъ онъ вытребовалъ за такую издѣвку по грошу на табакъ, — и такъ будучи безсиленъ, онъ не посмѣлъ остановить его, а такъ, шелъ за нимъ въ темнотѣ до тѣхъ поръ, пока наконецъ привидѣніе вдругъ оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебѣ чего хочется?» и показало такой кулакъ, какого и у живыхъ не найдешь. Будочникъ сказалъ: «Ничего» да и поворотилъ тотъ же часъ назадъ. Привидѣніе, однакоже, было уже гораздо выше ростомъ, носило преогромные усы и, направивъ шаги, какъ казалось, къ Обухову мосту, скрылось совершенно въ ночной темнотѣ.

КОЛЯСКА.

Городъ Б* очень повеселѣлъ, когда началъ въ немъ стоять *** кавалерійскій полкъ; а до того времени было въ немъ страхъ скучно. Когда бывало проѣзжаешь его и взглянешь на низенькіе мазанные домики, которые смотрятъ на улицу до невѣроятности кисло, то... невозможно выразить, что́ дѣлается тогда на сердцѣ: тоска такая, какъ-будто-бы или проигрался, или отпустилъ некстати какую-нибудь глупость, однимъ словомъ — не хорошо. Глина на домахъ обвалилась отъ дождя, и стѣны, вмѣсто бѣлыхъ, сдѣлались пѣгими; крыши большею частію крыты тростникомъ, какъ обыкновенно бываетъ въ южныхъ городахъ нашихъ. Садики, для лучшаго вида, городничій давно приказалъ вырубить. На улицахъ ни души не встрѣтишь, развѣ только пѣтухъ перейдетъ чрезъ мостовую, мягкую, какъ подушка, отъ лежащей на четверть пыли, которая, при малѣйшемъ дождѣ, превращается въ грязь, и тогда улицы городка Б* наполняются тѣми дородными животными, которыхъ тамошній городничій называетъ Французами. Выставивъ серьёзныя морды изъ своихъ ваннъ, онѣ подымаютъ такое хрюканье, что проѣзжающему остается только погонять лошадей поскорѣе. Впрочемъ, проѣзжающаго трудно встрѣтить

въ городкѣ Б* Рѣдко, очень рѣдко какой-нибудь помѣщикъ, имѣющій одиннадцать душъ крестьянъ, въ нанковомъ сюртукѣ, тарабанитъ по мотовой въ какой-то полубричкѣ и полутелѣжкѣ, выглядывая изъза наваленыхъ мучныхъ мѣшковъ и пристегивая гнѣдую кобылу, вслѣдъ за которою бѣжитъ жеребенокъ. Самая рыночная площадь имѣетъ нѣсколько печальный видъ: домъ портного выходитъ чрезвычайно глупо не всѣмъ фасадомъ, но угломъ; противъ него строится лѣтъ пятнадцать какое-то каменное строеніе о двухъ окнахъ; далѣе стоитъ самъ-по-себѣ модный досчатый дворъ, выкрашенный сѣрою краскою подъ цвѣтъ грязи, который, на образецъ другимъ строеніямъ, воздвигъ городничій во время своей молодости, когда не имѣлъ еще обыкновенія спать тотчасъ послѣ обѣда и пить на ночь какой-то декоктъ, заправленный сухимъ крыжовникомъ. Въ другихъ мѣстахъ всё почти плетень. Посреди площади самыя маленькія лавочки; въ нихъ всегда можно замѣтить связку баранковъ, бабу въ красномъ платкѣ, пудъ мыла, нѣсколько фунтовъ горькаго миндалю, дробь для стрѣлянія, демикотонъ и двухъ купеческихъ прикащиковъ, во всякое время играющихъ у дверей въ свайку. Но какъ началъ стоять въ уѣздномъ городкѣ Б* кавалерійскій полкъ, все перемѣнилось: улицы запестрѣли, оживились, словомъ — приняли совершенно другой видъ; низенькіе домики часто видѣли проходящаго мимо ловкаго, статнаго офицера съ султаномъ на головѣ, шедшаго къ товарищу поговорить о производствѣ, объ отличнѣйшемъ табакѣ, а иногда поставить на карточку дрожки, которыя можно было назвать полковыми, потому что онѣ, не выходя изъ полку, успѣвали обходить всѣхъ: сегодня катался на нихъ маіоръ, завтра онѣ появлялись въ поручиковой конюшнѣ, а чрезъ недѣлю, смотри, опять маіорскій деньщикъ подмазываетъ ихъ саломъ. Деревяный плетень между домами весь былъ усѣянъ висѣвшими на солнцѣ солдатскими фуражками; сѣрая шинель торчала непремѣнно гдѣ-нибудь на воротахъ; въ переулкахъ попадались солдаты съ такими жесткими усами, какъ

сапожныя щетки. Усы эти были видны во всѣхъ мѣстахъ: соберутся ли на рынкѣ съ ковшиками мѣщанки — изъ-за плечъ ихъ, вѣрно, выглядываютъ усы. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояла только изъ судьи, жившаго въ одномъ домѣ съ какою-до діаконицею, и городничаго, разсудительнаго человѣка, но спавшаго рѣшительнаго весь день — отъ обѣда до вечера и отъ вечера до обѣда. Общества сдѣлалось еще многолюднѣе и занимательнѣе, когда переведена была сюда квартира бригаднаго генерала, Окружные помѣщики, о существованіи которыхъ никто бы до того времени не догадался, начали пріѣзжать почаще въ уѣздный городокъ, чтобы видѣться съ господами офицерами, а иногда поиграть въ банчикъ, который уже чрезвычайно темно грезился въ головѣ ихъ, захлопотанной посѣвами, женниными порученіями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обѣдъ; заготовленіе къ нему было сдѣлано огромное: стукъ поварскихъ ножей на генеральской кухнѣ былъ слышенъ еще близъ городской заставы. Весь совершенно рынокъ былъ забранъ для обѣда, такъ что судья, съ своею діаконицею, долженъ былъ ѣсть однѣ только лепешки изъ гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворикъ генеральской квартиры былъ весь уставленъ дрожками и колясками. Общество состояло изъ мужчинъ — офицеровъ и нѣкоторыхъ окружныхъ помѣщиковъ. Изъ помѣщиковъ болѣе всѣхъ былъ замѣчателенъ Пиѳагоръ Пиѳагоровичъ Чертокуцкій, одинъ изъ главныхъ аристократовъ Б—го уѣзда, болѣе всѣхъ шумѣвшій на выборахъ и пріѣзжавшій туда въ щегольскомъ экипажѣ. Онъ служилъ прежде въ одномъ изъ кавалерійскихъ полковъ и былъ однимъ изъ числа значительныхъ и видныхъ офицеровъ; по крайней мѣрѣ его видали на многихъ балахъ и собраніяхъ, гдѣ только кочевалъ ихъ полкъ; впрочемъ объ этомъ можно спросить у дѣвицъ Тамбовской и Симбирской губерніи. Весьма можетъ быть, что онъ распустилъ бы и въ прочихъ

губерніяхъ выгодную для себя славу, если бы не вышелъ въ отставку по одному случаю, который обыкновенно называется *непріятною исторіею.* Онъ ли далъ кому-то въ старые годы оплеуху, или ему дали ее, объ этомъ навѣрное не помню, дѣло только въ томъ, что его попросили выдти въ отставку. Впрочемъ онъ этимъ ни чуть не уронилъ своего вѣсу: носилъ фракъ съ высокою таліей, на манеръ военнаго мундира, на сапогахъ шпоры и подъ носомъ усы, потому что безъ того дворяне могли бы подумать, что онъ служилъ въ пѣхотѣ, которую онъ презрительно называлъ иногда пѣхтурой, а иногда пѣхонтаріей. Онъ бывалъ на всѣхъ многолюдныхъ ярмаркахъ, куда внутренность Россіи, состоящая изъ мамокъ, дѣтей, дочекъ и толстыхъ помѣщиковъ, наѣзжала веселиться, бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какія и во снѣ никому не снились. Онъ пронюхивалъ носомъ, гдѣ стоялъ кавалерійскій полкъ, и всегда пріѣзжалъ видѣться съ господами офицерами, очень ловко выскакивалъ передъ ними изъ своей легонькой колясочки, или дрожекъ, и чрезвычайно скоро знакомился. Въ прошлые выборы далъ онъ дворянству прекрасный обѣдъ, на которомъ объявилъ, что если только его выберутъ предводителемъ, то онъ поставитъ дворянъ на самую лучшую ногу. Вообще велъ себя по-барски, какъ выражаются въ уѣздахъ и губерніяхъ; женился на довольно хорошенькой, взялъ за нею двѣсти душъ приданаго и нѣсколько тысячъ капиталу. Капиталъ былъ тотчасъ употребленъ на шестерку дѣйствительно отличныхъ лошадей, вызолоченные замки къ дверямъ, ручную обезьянку для дома и Француза-дворецкаго. Двѣсти же душъ, вмѣстѣ съ двумя стами собственныхъ, были заложены въ ломбардъ, для какихъ-то коммерческихъ оборотовъ. Словомъ, онъ былъ помѣщикъ, какъ слѣдуетъ, — изрядный помѣщикъ. Кромѣ его, на обѣдѣ у генерала было нѣсколько и другихъ помѣщиковъ, но объ нихъ нечего говорить. Остальные были всѣ военные того же полка и два штабъ-офицера: полковникъ и довольно толстый маіоръ. Самъ генералъ былъ

дюжъ и тученъ, впрочемъ хорошій начальникъ, какъ отзывались о немъ офицеры. Говорилъ онъ довольно густымъ, значительнымъ басомъ. Обѣдъ былъ чрезвычайный. Осетрина, бѣлуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы, доказывали, что поваръ еще со вчерашняго дня не бралъ въ ротъ горячаго, и четыре солдата съ ножами въ рукахъ работали, на помощь ему, всю ночь фрикасе и желе. Бездна бутылокъ, длинныхъ съ лафитомъ, короткошейныхъ съ мадерою, прекрасный лѣтній день, окна, открытыя на пролетъ, тарелки со льдомъ на столѣ, растрепанная манишка у владѣтелей окладистаго фрака, перекрестный разговоръ, покрываемый генеральскимъ голосомъ и заливаемый шампанскимъ, — все отвѣчало одно другому. Послѣ обѣда всѣ встали съ пріятною тяжестью въ желудкахъ и, закуривъ трубки съ длинными и короткими чубуками, вышли, съ чашками кофе въ рукахъ, на крыльцо,

«Вотъ ее можно теперь посмотрѣть,» сказалъ генералъ. «Пожалуста, любезнѣйшій,» промолвилъ онъ, обращаясь къ своему адьютанту, довольно ловкому молодому человѣку пріятной наружности, «прикажи, чтобы привели сюда гнѣдую кобылу! вотъ вы увидите сами.» Тутъ генералъ потянулъ изъ трубки и выпустилъ дымъ: «она еще не слишкомъ въ холѣ: проклятый городишка, — нѣтъ порядочной конюшни. Лошадь, пуфъ, пуфъ, очень порядочная.»

«И давно, ваше превосходительство, пуфъ, пуфъ, изволите имѣть ее?» сказалъ Чертокуцкій.

«Пуфъ, пуфъ, пуфъ, ну... пуфъ, не такъ давно; всего только два года, какъ она взята мною съ завода.»

«И получить ее изволили объѣзженную, или уже здѣсь изволили объѣздить?»

«Пуфъ, пуфъ, пу, пу, пу... у... у... фъ, здѣсь.» Сказавши это, генералъ весь исчезъ въ дымѣ.

Между тѣмъ изъ конюшни выпрыгнулъ солдатъ, послышался стукъ копытъ, наконецъ показался другой, въ бѣломъ балахонѣ съ черными огромными усами,

ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая вдругъ, поднявъ голову, чуть не подняла вверхъ присѣвшаго къ землѣ солдата вмѣстѣ съ его усами. «Ну жъ, ну, Аграфена Ивановна!» говорилъ онъ, подводя ее подъ крыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна. Крѣпкая и дикая, какъ южная красавица, она грянула копытами въ деревянное крыльцо и вдругъ остановилась.

Генералъ, опустивши трубку, началъ смотрѣть съ довольнымъ видомъ на Аграфену Ивановну. Самъ полковникъ, сошедши съ крыльца, взялъ Аграфену Ивановну за морду. Самъ маіоръ потрепалъ Аграфену Ивановну по ногѣ; прочіе пощелкали языкомъ.

Чертокуцкій сошелъ съ крыльца и зашелъ ей взадъ. Солдатъ вытянувшись и держа узду, глядѣлъ прямо посѣтителямъ въ глаза, будто бы хотѣлъ вскочить въ нихъ.

«Очень, очень хорошая!» сказалъ Чертокуцкій: «статистая лошадь! а позвольте, ваше превосходительство, узнать, какъ она ходитъ?»

«Шагъ у нея хорошъ; только... чортъ его знаетъ... этотъ дуракъ фельдшеръ далъ ей какихъ-то пилюль, и вотъ уже два дня всё чихаетъ.»

«Очень, очень хороша! А имѣете ли, ваше превосходительство, соотвѣтствующій экипажъ?»

«Экипажъ?... Да вѣдь это верховая лошадь.»

«Я это знаю; но я спросилъ, ваше превосходительство, для того, чтобы узнать, имѣете ли къ другимъ лошадямъ соотвѣтствующій экипажъ?»

«Ну, экипажей у меня не слишкомъ достаточно. Мнѣ, признаться вамъ сказать, давно хочется имѣть нынѣшнюю коляску. Я писалъ объ этомъ къ брату моему, который теперь въ Петербургѣ, да не знаю, пришлетъ ли онъ или нѣтъ.»

«Мнѣ кажется, ваше превосходительство,» замѣтилъ полковникъ, «нѣтъ лучше коляски, какъ вѣнская.»

«Вы справедливо думаете, пуфъ, пуфъ, пуфъ.»

У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска, настоящей вѣнской работы.»

«Какая? та, въ которой вы пріѣхали?»

«О, нѣтъ! это такъ, разъѣздная, собственно для моихъ поѣздокъ, но та . . . это удивительно, легка, какъ перышко, а когда вы сядете въ нее, то, просто, какъ-бы, съ позволенія вашего превосходительства, нянька васъ въ люлькѣ качала!»

«Стало быть покойна?»

«Очень, очень покойна; подушки, рессоры, это все какъ-будто на картинкѣ нарисовано.»

«Это хорошо.»

«А ужъ укладиста какъ! то есть, я, ваше превосходительство, и не видывалъ еще такой. Когда я служилъ, то у меня въ ящики помѣщалось десять бутылокъ рому и двадцать фунтовъ табаку, кромѣ того со мною еще было около шести мундировъ, бѣлье и два чубука, ваше превосходительство, самые длинные, а въ карманы можно цѣлаго быка помѣстить.»

«Это хорошо.»

«Я, ваше превосходительство, заплатилъ за нее четыре тысячи.»

«Судя по цѣнѣ, должна быть хороша; и вы купили ее сами?»

«Нѣтъ, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купилъ мой другъ, рѣдкій человѣкъ, товарищъ моего дѣтства, съ которымъ бы вы сошлись совершенно; мы съ нимъ, что твое, что мое — всё равно. Я выигралъ ее у него въ карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сдѣлать мнѣ честь пожаловать завтра ко мнѣ отобѣдать? и коляску вмѣстѣ посмотрите.»

«Я не знаю, что́ вамъ на это сказать. Мнѣ одному какъ то . . . Развѣ ужъ позвольте вмѣстѣ съ господами офицерами?»

«И господъ офицеровъ прошу покорнѣйше. Господа! я почту себѣ за большую честь имѣть удовольствіе видѣть васъ въ своемъ домѣ.»

Полковникъ, маіоръ и прочіе офицеры отблагодарили учтивымъ поклономъ.

«Я, ваше превосходительство, самъ того мнѣнія,

что если покупать вещь, то непремѣнно хорошую; а если дурную, то нечего и заводить. Вотъ у меня, когда сдѣлаете мнѣ честь завтра пожаловать, я покажу кое-какія статьи, которыя я самъ завелъ по хозяйственной части.»

Генералъ посмотрѣлъ и выпустилъ изо рту дымъ.

Чертокуцкій былъ чрезвычайно доволенъ, что приглашилъ къ себѣ господъ офицеровъ; онъ заранѣе заказывалъ въ головѣ своей паштеты и соусы, посматривалъ очень весело на господъ офицеровъ, которые также, съ своей стороны, какъ-то удвоили къ нему свое расположеніе, что́ было замѣтно изъ глазъ ихъ и небольшихъ тѣлодвиженій, въ родѣ полупоклоновъ. Чертокуцкій выступалъ впередъ какъ-то развязнѣе, и голосъ его принялъ разслабленіе — выраженіе голоса, обремененнаго удовольствіемъ.

«Тамъ, ваше превосходительство, познакомитесь съ хозяйкой дома.»

«Мнѣ очень пріятно,» сказалъ генералъ, поглаживая усы.

Чертокуцкій послѣ этого хотѣлъ немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все къ принятію гостей къ завтрашнему обѣду; онъ взялъ было уже и шляпу въ руки; но какъ-то странно случилось, что онъ остался еще на нѣсколько времени. Между тѣмъ уже въ комнатѣ были разставлены ломберные столы. Скоро все общество раздѣлилось на четверныя партіи въ вистъ и разсѣялось по разнымъ угламъ генеральскихъ комнатъ.

Подали свѣчи. Чертокуцкій долго не зналъ, садиться, или не садиться ему за вистъ. Но какъ господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно съ правилами общежитія отказаться. Онъ присѣлъ. Нечувствительно очутился передъ нимъ стаканъ съ пуншемъ, который онъ, позабывшись, въ ту же минуту выпилъ. Сыгравши два роббера, Чертокуцкій опять нашелъ подъ рукою стаканъ съ пуншемъ, который, тоже позабывшись, выпилъ, сказавши напередъ: «Пора, господа, мнѣ домой, право пора.» Но

опять присѣлъ и на вторую партію. Между тѣмъ разговоръ въ разныхъ углахъ комнаты принялъ совершено частное направленіе. Игравшіе въ вистъ были довольно молчаливы, но неигравшіе, сидѣвшіе на диванахъ въ сторонѣ, вели свой разговоръ. Въ одномъ углу штабъ-ротмистръ, подложивши себѣ подъ бокъ подушку, съ трубкою въ зубахъ, разсказывалъ довольно свободно и плавно любовныя свои приключенія и овладѣлъ совершенно вниманіемъ собравшагося около него кружка. Одинъ чрезвычайно толстый помѣщикъ съ короткими руками, нѣсколько похожими на два выросшіе кортофеля, слушалъ съ необыкновенно сладкою миною и только по временамъ силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобъ вытащить оттуда табакерку. Въ другомъ углу завязался довольно жаркій споръ объ эскадронномъ ученьи, и Чертокуцкій, который въ это время уже, вмѣсто дамы, два раза сбросилъ валета, вмѣшивался вдругъ въ чужой разговоръ и кричалъ изъ своего угла: «Въ которомъ году?» или «Котораго полка?» не замѣчая, что иногда вопросъ совершенно не проходился къ дѣлу. Наконецъ, за нѣсколько минутъ до ужина, вистъ прекратился, но онъ продолжался еще на словахъ, и, казалось, головы всѣхъ были полны вистомъ. Чертокуцкій очень помнилъ, что выигралъ много, но руками не взялъ ничего и, вставши изъ-за стола, долго стоялъ въ положеніи человѣка, у котораго нѣтъ въ карманѣ носового платка. Между тѣмъ подали ужинъ. Само собою разумѣется, что въ винахъ не было недостатка и что Чертокуцкій почти невольно долженъ былъ иногда наливать въ стаканъ себѣ, потому что направо и налѣво стояли у него бутылки.

Разговоръ затянулся за столомъ предлинный, но, впрочемъ, какъ-то странно онъ былъ веденъ: одинъ полковникъ, служившій еще въ кампанію 1812 года, разсказалъ такую баталію, какой никогда не было, и потомъ, совершенно неизвѣстно по какимъ причинамъ, взялъ пробку отъ графина и воткнулъ ее въ пирожное. Словомъ, когда начали разъѣзжаться, уже было три

часа, и кучера должны были нѣсколькихъ особъ взять въ охапку, какъ-бы узелки съ покупкою, и Чертокуцкій, несмотря на весь аристократизмъ свой, сидя въ коляскѣ, такъ низко кланялся и съ такимъ размахомъ головы, что, пріѣхавши домой, привезъ въ усахъ своихъ два репейника.

Въ домѣ все совершенно спало; кучеръ едва могъ сыскать камердинера, который проводилъ господина чрезъ гостинную, сдалъ горничной дѣвушкѣ, за которою кое-какъ Чертокуцкій добрался до спальни и улегся возлѣ своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнѣйшимъ образомъ, въ бѣломъ, какъ снѣгъ, спальномъ платьѣ. Движеніе, произведенное паденіемъ ея супруга на кровать, разбудило ее.

Протянувшись, поднявши рѣсницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла ихъ съ полусердитою улыбкою; но, видя, что онъ рѣшительно не хочетъ оказать на этотъ разъ никакой ласки, съ досады поворотилась на другую сторону и, положивъ свѣжую свою щеку на руку, скоро послѣ него заснула.

Было уже такое время, которое по деревнямъ не называется *рано*, когда проснулась молодая хозяйка подлѣ храпѣвшаго супруга. Вспомнивши, что онъ возвратился вчера домой въ четвертомъ часу ночи, она пожалѣла будить его и, надѣвъ спальные башмачки, которые супругъ ея выписалъ изъ Петербурга, въ бѣлой кофточкѣ, драпировавшейся на ней, какъ льющаяся вода, она вышла въ свою уборную, умылась свѣжею, какъ сама, водою и подошла къ туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидѣла, что сегодня очень недурна. Это, повидимому незначительное обстоятельство, заставило ее просидѣть передъ зеркаломъ ровно два часа лишнихъ. Наконецъ она одѣлась очень мило и вышла освѣжиться въ садъ. Какъ нарочно, время было тогда прекрасное, какимъ можетъ только похвалиться лѣтній южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей; но подъ темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цвѣты, пригрѣтые солнцемъ, утроили свой запахъ. Хорошень-

кая хозяйка вовсе позабыла о томъ, что уже двѣнадцать часовъ, а супругъ ея спитъ. Уже доходило до слуха ея послѣобѣденное храпѣнье двухъ кучеровъ и одного форрейтора, спавшихъ въ конюшнѣ, находившейся за садомъ. Но она всё сидѣла въ густой аллеѣ, изъ которой былъ открытъ видъ на большую дорогу, и разсѣянно глядѣла на безлюдную ея пустынность, какъ вдругъ показавшаяся вдали пыль привлекла ея вниманіе. Всмотрѣвшись, она скоро увидила нѣсколько экипажей. Впереди ѣхала открытая двумѣстная легонькая колясочка; въ ней сидѣлъ генералъ съ толстыми, блестѣвшими на солнцѣ эполетами, и рядомъ съ нимъ полковникъ. За ней слѣдовала другая четверомѣстная; въ ней сидѣлъ маіоръ съ генеральскимъ адъютантомъ и еще двумя насупротивъ сидѣвшими офицерами; за коляской слѣдовали извѣстныя всѣмъ полковыя дрожки, которыми владѣлъ на этотъ разъ тучный маіоръ; за дрожками четверомѣстный бонвояжъ, въ которомъ сидѣли четыре офицера и пятый на рукахъ; за бонвояжемъ рисовались три офицера на прекрасныхъ гнѣдыхъ лошадяхъ, въ темныхъ яблокахъ.

«Неужели это къ намъ?» подумала хозяйка дома. Ахъ, Боже мой! въ самомъ дѣлѣ они поворотили на мостъ!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побѣжала чрезъ клумбы и цвѣты прямо въ спальню своего мужа. Онъ спалъ мертвецки.

«Вставай, вставай! вставай скорѣе!» кричала она, дергая его за руку.

«А?» проговорилъ потягиваясь Чертокуцкій, не раскрывая глазъ.

«Вставай, пульпультикъ! слышишь ли? гости!»

«Гости? какіе гости?» сказавши это, онъ испустилъ небольшое мычаніе, какое издаетъ теленокъ, когда ищетъ мордою сосцовъ своей матери. «Мм» . . . ворчалъ онъ, «протяни, моньмуня, свою шейку! я тебя поцѣлую.»

«Душенька, вставай ради Бога скорѣй! Генералъ съ офицерами! Ахъ, Боже мой! у тебя въ усахъ репейникъ.»

«Генералъ? А, такъ онъ уже ѣдетъ? Да что́ же это, чортъ возьми, меня никто не разбудилъ. А обѣдъ, что́ жъ обѣдъ? все ли тамъ, какъ слѣдуетъ, готово?»

«Какой обѣдъ?»

«А я развѣ не заказывалъ?»

«Ты, ты, пріѣхалъ въ четыре часа ночи, и сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказалъ мнѣ. Я тебя, пульпультикъ, потому не будила, что мнѣ жаль тебя стало: ты ничего не спалъ» . . . Послѣднія слова сказала она чрезвычайно томнымъ и умоляющимъ голосомъ.

Чертокуцкій, вытаращивъ глаза, минуту лежалъ на постели, какъ громомъ пораженный; наконецъ вскочилъ онъ въ одной рубашкѣ съ постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

«Ахъ, я лошадь!» сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу: «я звалъ ихъ на обѣдъ! Что дѣлать? далеко ли они?»

«Я не знаю . . . они должны сію минуту уже быть.»

«Душенька . . . спрячься! . . . Эй, кто тамъ! ты, дѣвчонка! ступай . . . чего дура боишься? пріѣдутъ офицеры сію минуту: ты скажи, что барина нѣтъ дома, скажи, что и не будетъ совсѣмъ, что еще съ утра выѣхалъ . . . слышишь? и дворовымъ всѣмъ объяви; ступай скорѣе!»

Сказавши это, онъ схватилъ наскоро халатъ и побѣжалъ спрятаться въ экипажный сарай, полагая тамъ положеніе свое совершенно безопаснымъ. Но, ставши въ углу сарая, онъ увидѣлъ, что и здѣсь можно было его какъ-нибудь увидѣть. «А вотъ это будетъ лучше,» мелькнуло въ его головѣ, и онъ въ одну минуту отбросилъ ступени близъ стоявшей коляски, вскочилъ туда, закрылъ за собою дверцы, для бо́льшей безопасности закрылся фартукомъ и кожею, и притихъ совершенно, согнувшись въ своемъ халатѣ.

Между тѣмъ экипажи подъѣхали къ крыльцу.

Вышелъ генералъ и встряхнулся; за нимъ полковникъ, поправляя руками султанъ на своей шляпѣ; по-

томъ соскочилъ съ дрожекъ толстый маіоръ, держа подъ мышкою саблю; потомъ выпрыгнули изъ бонвояжа тоненькіе подпоручики съ сидѣвшимъ на рукахъ прапорщикомъ; наконецъ сошли съ сѣделъ рисовавшіеся на лошадяхъ офицеры.

«Барина нѣтъ дома,» сказалъ, выходя на крыльцо, лакей.

«Какъ нѣтъ? стало быть, онъ, однакожъ, будетъ къ обѣду?»

«Никакъ нѣтъ. Они уѣхали на весь день. Завтра развѣ около этого только времени будутъ.»

«Вотъ тебѣ на!» сказалъ генералъ, «какъ же это?...»

«Признаюсь, это штука!» сказалъ полковникъ смѣясь.

«Да нѣть, какъ же этакъ дѣлать?» продолжалъ генералъ съ неудовольствіемъ. «Фить . . . Чортъ . . . Ну, не можешь принять, зачѣмъ напрашиваться?»

«Я, ваше превосходительство, не понимаю, какъ можно это дѣлать!» сказалъ одинъ молодой офицеръ.

«Что́?» сказалъ генералъ, имѣвшій обыкновеніе всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорилъ съ оберъ-офицеромъ.

«Я говорилъ, ваше превосходительство: какъ можно поступать такимъ образомъ!»

«Натурально . . . Ну, не случилось, что́ ли — дай знать по крайней мѣрѣ, или не проси.»

«Что́ жъ, ваше превосходительство? нечего дѣлать, поѣдемте назадъ!» сказалъ полковникъ.

«Разумѣется, другого средства нѣтъ. Впрочемъ, коляску мы можемъ посмотрѣть и безъ него. Онъ, вѣрно, ея не взялъ съ собою. Эй, кто тамъ? подойди, братецъ, сюда!»

«Чего изволите?»

«Ты конюхъ?»

«Конюхъ, ваше превосходительство.»

«Покажи-ка намъ новую коляску, которую недавно досталъ баринъ.»

«А вотъ, пожалуйте въ сарай.»

Генералъ отправился вмѣстѣ съ офицерами въ сарай.

«Вотъ извольте, я ее немного выкачу: здѣсь темненько.»

«Довольно, довольно, хорошо!»

Генералъ и офицеры обошли вокругъ коляску и тщательно осмотрѣли колеса и рессоры.

«Ну, ничего нѣтъ особеннаго,» сказалъ генералъ: «коляска самая обыкновенная.»

«Самая неказистая,» сказалъ полковникъ, «совершенно нѣтъ ничего хорошаго.»

«Мнѣ кажется, ваше превосходительство, она совсѣмъ не стоитъ четырехъ тысячъ,» сказалъ одинъ изъ молодыхъ офицеровъ.

«Что́?»

«Я говорю, ваше превосходительство, что, мнѣ кажется, она не стоитъ четырехъ тысячъ.»

«Какое четырехъ тысячъ! она и двухъ не стоитъ. Просто, ничего нѣтъ. Развѣ внутри есть что-нибудь особенное . . . Пожалуста, любезный, отстегни кожу...»

И глазамъ офицеровъ предсталъ Чертокуцкій, сидящій въ халатѣ и согнувшійся необыкновеннымъ образомъ.

«А, вы здѣсь!» . . . сказалъ изумившійся генералъ.

Сказавши это, генералъ тутъ же захлопнулъ дверцы, закрылъ опять Чертокуцкаго фартукомъ и уѣхалъ вмѣстѣ съ господами офицерами.

РИМЪ.

ОТРЫВОКЪ.

Попробуй взглянуть на молнію, когда разскроивши черныя, какъ уголь, тучи нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потопомъ блеска. Таковы очи у Албанки Аннунціаты. Все напоминаетъ въ ней тѣ античныя времена, когда оживлялся мраморъ и блистали скульптурные рѣзцы. Густая смола волосъ тяжеловѣсной косою вознеслась въ два кольца надъ головой и четырьмя длинными кудрями разсыпались по шеѣ. Какъ ни поворотитъ она сіяющій снѣгъ своего лица — образъ ея весь отпечатлѣлся въ сердцѣ. Станетъ ли профилемъ — дивнымъ благородствомъ дышитъ профиль, и мечется красота линій, какихъ не создавала кисть. Обратится ли затылкомъ съ подобранными къ верху чудесными волосами, показавъ сверкающую позади шею и красоту невиданныхъ землею плечъ — и тамъ она чудо. Но чудеснѣе всего, когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивши хладъ и замиранье въ сердце. Полный голосъ ея звенитъ, какъ мѣдь. Никакой гибкій пантеръ не сравнится съ ней въ быстротѣ, силѣ и гордости движеній. Все въ ней вѣнецъ созданья, отъ плечъ до античной дышащей ноги и до послѣдняго пальчика на

ея ногѣ. Куда ни пойдетъ она — уже несетъ съ собой картину: спѣшитъ ли ввечеру къ фонтану съ кованной мѣдной вазой на головѣ — вся проникается чуднымъ согласіемъ обнимающая ее окрестность: легче уходятъ въ даль чудесныя линіи Альбанскихъ горъ, синѣе глубина римскаго неба, прямѣй летитъ вверхъ кипарисъ, и красавица южныхъ деревъ, римская пинна тоньше и чище рисуется на небѣ своею зонтико-образною, почти плывущею на воздухѣ верхушкою. И все: и самый фонтанъ, гдѣ уже столпились въ кучу на мраморныхъ ступеняхъ одна выше другой альбанскія горожанки, переговаривающіяся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьетъ вода звонкой алмазной дугой въ подставляемые мѣдные чаны, и самый фонтанъ, и самая толпа — все, кажется, для нея, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, какъ она предводитъ всѣмъ, подобно какъ царица предводитъ за собою придворный чинъ свой. Въ праздничный ли день, когда темная древесная галлерея, ведущая изъ Альбано въ Кастель-Гондольфо, вся полна празднично-убраннаго народа, когда мелькаютъ подъ сумрачными ея сводами щеголи миненти въ бархатномъ убранствѣ, съ яркими поясами и золотистымъ цвѣткомъ на пуховой шляпѣ, бредутъ, или несутся вскачь ослы съ полузажмуренными глазами, живописно неся на себѣ стройныхъ и сильныхъ альбанскихъ и фраскатанскихъ женщинъ, далеко блистающихъ бѣлыми головными уборами, или таща вовсе неживописно, съ трудомъ и спотыкаясь, длиннаго неподвижнаго Англичанина въ гороховомъ непромокаемомъ макинтошѣ, скорчившаго въ острый уголъ свои ноги, чтобы не зацѣпить ими земли, или неся художника въ блузѣ, съ деревяннымъ ящикомъ на ремнѣ и ловкой вандиковской бородкой, а тѣнь и солнце бѣгутъ попеременно по всей группѣ, — и тогда, и въ оный праздничный день при ней далеко лучше, чѣмъ безъ нея. Глубина галлереи выдаетъ ее изъ сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю въ блескѣ. Пурпурное сукно альбанскаго ея наряда вспыхиваетъ, какъ искерь, тронутое солнцемъ. Чудный

праздникъ летитъ изъ лица ея навстрѣчу всѣмъ; и, повстрѣчавъ ее, останавливаются, какъ вкопанные: и щеголь минente съ цвѣткомъ за шляпой, издавши невольное всклицаніе; и Англичанинъ въ гороховомъ макинтошѣ, показавъ вопросительный знакъ на неподвижномъ лицѣ своемъ; и художникъ съ вандиковской бородкой, долѣе всѣхъ остановившійся на одномъ мѣстѣ, подумывая: то-то была бы чудная модель для Діаны, гордой Юноны, соблазнительныхъ граціи и всѣхъ женщинъ, какія только передавались на полотно! и дерзновенно думая въ то же время: то-то былъ бы рай, еслибъ такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую!

Но кто же тотъ, чей взглядъ неотразимѣе вперился за ея слѣдомъ? Кто сторожитъ ея рѣчи, движенья и движенья мыслей на ея лицѣ? Двадцати-пятилѣтній юноша, римскій князь, потомокъ фамиліи, составлявшей когда-то честь, гордость и безславіе среднихъ вѣковъ, нынѣ пустынно догорающей въ великолѣпномъ дворцѣ, исписанномъ фресками Гверчина и Караччей, съ потускнѣвшей картинной галлереей, съ полинявшими штофами, лазурными столами и посѣдѣвшимъ, какъ лунь, maestro di casa. Его-то увидали недавно римскія улицы, несущаго свои черныя очи, метатели огней изъ-за перекинутаго черезъ плечо плаща, носъ, очеркнутый античной линіей, слоновую бѣлизну лба и брошенный на него летучій шелковый локонъ. Онъ появился въ Римѣ послѣ пятнадцати лѣтъ отсутствія, появился гордымъ юношею, вмѣсто еще недавно бывшаго дитяти.

Но читателю нужно знать непремѣнно, какъ все это совершилось, и потому пробѣжимъ наскоро исторію его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлѣніями. Первоначальное дѣтство его протекло въ Римѣ; воспитывался онъ такъ, какъ въ обычаѣ у доживающихъ вѣкъ свой римскихъ вельможъ. Учитель, гувернеръ, дядька и все, что́ угодно, былъ у него аббатъ, строгій классикъ, почитатель писемъ Піетра Бембо, сочиненій Джіованни делла Casa и пяти-шести пѣсней Данта, читавшій ихъ не иначе, какъ съ

сильными восклицаніями: Dio! chè cosa divina! и потомъ черезъ двѣ строки: Diavolo, che divina cosa! въ чемъ состояла почти вся художественная оцѣнка и критика, обращавшій остальной разговоръ на брокколи артишоки, любимый свой предметъ, знавшій очень хорошо, въ какое время лучше телятина, съ какого мѣсяца нужно начинать ѣсть козленка, любившій обо всемъ этомъ болтать на улицѣ, встрѣтясь съ пріятелемъ, другимъ аббатомъ, обтягивавшій весьма ловко полныя икры свои въ шелковые черные чулки, прежде запихнувши подъ нихъ шерстяные, чистившій себя регулярно одинъ разъ въ мѣсяцъ лекарствомъ olio di ricino въ чашкѣ кофе и полнѣвшій съ каждымъ днемъ и часомъ, какъ полнѣютъ всѣ аббаты. Натурально, что молодой князь узналъ немного подъ такимъ началомъ. Узналъ онъ только, что латинскій языкъ есть отецъ италіянскаго, что монсиньоры бываютъ трехъ родовъ: одни въ черныхъ чулкахъ, другіе въ лиловыхъ, а третьи такіе, которые бываютъ почти то же, что́ кардиналы; узналъ нѣсколько писемъ Піетра Бембо къ тогдашнимъ кардиналамъ, большею частью поздравительныхъ; узналъ хорошо улицу Корсо, по которой ходилъ прогуливаться съ аббатомъ, да виллу Боргезе, да двѣ-три лавки, передъ которыми останавливаяся аббатъ для закупки бумаги, перьевъ и нюхательнаго табаку, да аптеку, гдѣ бралъ онъ свое olio di ricino. Въ этомъ заключался весь горизонтъ свѣдѣній воспитанника. О другихъ земляхъ и государствахъ аббатъ намекнулъ въ какихъ-то неясныхъ и нетвердыхъ чертахъ: что есть земля Франція, богатая земля, что Англичане хорошіе купцы и любятъ ѣздить, что Нѣмцы пьяницы и что на сѣверѣ есть варварская земля Московія, гдѣ бываютъ такіе жестокіе морозы, отъ которыхъ можетъ лопнуть мозгъ человѣческій. Далѣе сихъ свѣдѣній воспитанникъ, вѣроятно бы, не узналъ, достигнувъ до дватцати пятилѣтняго своего возраста, еслибъ старому князю не пришла вдругъ въ голову идея перемѣнить старую методу воспитанья и дать сыну образованье европейское; что́ можно было отчасти приписать вліянію какой-то французской дамы, на которую онъ

съ недавняго времени сталъ наводить безпрестанно лорнетъ на всѣхъ театрахъ и гуляньяхъ, засовывая поминутно свой подбородокъ въ огромный бѣлый жабо и поправляя черный локонъ на парикѣ. Молодой князь былъ отправленъ въ Лукку, въ университетъ. Тамъ, во время шестилѣтняго его пребыванья, развернулась его живая италіянская природа, дремавшая подъ скучнымъ надзоромъ аббата. Въ юношѣ оказалась душа, жадная наслажденій избранныхъ, и наблюдательный умъ. Италіянскій университетъ, гдѣ наука влачилась, скрытая въ чорствыхъ схоластическихъ формахъ, не удовлетворялъ новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшіе черезъ Альпы. Французское вліяніе становилось замѣтно въ верхней Италіи: оно заносилось туда вмѣстѣ съ модами, виньетками, водевилями и напряженными произведеніями необузданной французской музы, чудовищной, горячей, но мѣстами не безъ признаковъ таланта. Сильное политическое движеніе въ журналахъ съ іюльской революціи отозвалось и здѣсь. Мечтали о возвращеніи погибшей италіянской славы, съ негодованіемъ глядѣли на ненавистный бѣлый мундиръ австрійскаго солдата. Но италіянская природа, любительница покойныхъ наслажденій, не вспыхнула возстаніемъ, надъ которымъ не позадумался бы Французъ; все окончилось только непреодолимымъ желаньемъ побывать въ заальпійской, въ настоящей Европѣ. Вѣчное ея движеніе и блескъ заманчиво мелькали вдали. Тамъ была новость, противуположность ветхости италіянской; тамъ начиналось XIX столѣтіе, европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключеній и свѣта, и всякій разъ тяжелое чувство грусти его осѣняло, когда онъ видѣлъ совершенную къ тому невозможность: ему былъ извѣстенъ непреклонный деспотизмъ стараго князя, съ которымъ было ему не подъ силу ладить; какъ вдругъ получилъ онъ отъ него письмо, въ которомъ предписано было ему ѣхать въ Парижъ, окончить ученье въ тамошнемъ университетѣ и дождаться въ Луккѣ только пріѣзда дяди, съ тѣмъ, чтобы

отправиться съ нимъ вмѣстѣ. Молодой князь прыгнулъ отъ радости, перецѣловалъ всѣхъ своихъ друзей, угостилъ всѣхъ въ загородной остеріи и черезъ двѣ недѣли былъ уже въ дорогѣ, съ сердцемъ, готовымъ встрѣтить радостнымъ біеньемъ всякій предметъ. Когда переѣхали Симплонъ, пріятная мысль пробѣжала въ головѣ его: онъ на другой сторонѣ, онъ въ Европѣ! Дикое безобразіе швейцарскихъ горъ, громоздившихся безъ перспективы, безъ легкихъ далей, нѣсколько ужаснуло его взоръ, пріученный къ высоко-спокойной, нѣжащей красотѣ италіянской природы. Но онъ просвѣтлѣлъ вдругъ при видѣ европейскихъ городовъ, великолѣпныхъ, свѣтлыхъ гостинницъ, удобствъ, разставленныхъ всякому путешественнику, располагающемуся, какъ дома. Щеголеватая чистота, блескъ — все было ему ново. Въ нѣмецкихъ городахъ нѣсколько поразилъ его страный складъ тѣла Нѣмцевъ, лишенный стройнаго согласія красоты, чувство которой зарождено уже въ груди Италіянца; нѣмецкій языкъ также поразилъ непріятно его музыкальное ухо. Но передъ нимъ была уже французская граница; сердце его дрогнуло. Порхающіе звуки европейскаго моднаго языка, лаская, облобызали слухъ его. Онъ съ тайнымъ удовольствіемъ ловилъ скользящій шелестъ ихъ, который еще въ Италіи казался ему чѣмъ-то возвышеннымъ, очищеннымъ отъ всѣхъ судорожныхъ движеній, какими сопровождаются сильные языки полуденныхъ народовъ, неумѣющихъ держать себя въ границахъ. Еще большее впечатлѣніе произвелъ на него особый родъ женщинъ, легкихъ, порхающихъ. Его поразило это улетучившееся существо, съ едва вызначавшимися легкими формами, съ маленькой ножкой, съ тоненькимъ воздушнымъ станомъ, съ отвѣтнымъ огнемъ во взорахъ и легкими, почти невыговаривающимися рѣчами. Онъ ждалъ съ нетерпѣніемъ Парижа, населялъ его башнями, дворцами, составилъ себѣ по-своему образъ его и съ сердечнымъ трепетомъ увидѣлъ наконецъ близкіе признаки столицы: наклеенныя афиши, исполинскія буквы, умножавшіеся дилижансы, омнибусы... наконецъ понеслись домы пред-

мѣстья. И вотъ онъ въ Парижѣ, безсвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движеніемъ, блескомъ улицъ, безпорядкомъ крышъ, гущиной трубъ, безархитектурными, сплоченными массами домовъ, облѣпленныхъ тѣсной лоскутностью магазиновъ, безобразьемъ нагихъ, неприслоненныхъ боковыхъ стѣнъ, безчисленной смѣшанной толпой золотыхъ буквъ, которыя лѣзли на стѣны, на окна, на крыши и даже на трубы, свѣтлой прозрачностью нижнихъ этажей, состоявшихъ только изъ однихъ зеркальныхъ стеколъ. Вотъ онъ, Парижъ, это вѣчное, волнующееся жерло, водометъ, мечущій искры новостей, просвѣщенья, модъ, изысканнаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ, великая выставка всего, что́ производитъ мастерство, художество и всякій талантъ, скрытый въ невидныхъ углахъ Европы, трепетъ и любимая мечта двадцати-лѣтняго человѣка, размѣнъ и ярмарка Европы! Какъ ошеломленный, не въ силахъ собрать себя, пошелъ онъ по улицамъ, пересыпавшимся всякимъ народомъ, исчерченнымъ путями движущихся омнибусовъ, поражаясь то видомъ кафе, блиставшаго неслыханнымъ царскимъ убранствомъ, то знаменитыми крытыми переходами, гдѣ оглушалъ его глухой шумъ нѣсколькихъ тысячъ стучавшихъ шаговъ сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла изъ молодыхъ людей, и гдѣ ослѣплялъ его трепещущій блескъ магазиновъ, озаряемыхъ свѣтомъ, падавшимъ сквозь стеклянный потолокъ въ галлерею; то останавливаясь передъ афишами, которыя милліонами пестрѣли и тол-пились въ глаза, крича о двадцати-четырехъ ежедневныхъ представленіяхъ и безчисленномъ множествѣ всякихъ музыкальныхъ концертовъ; то растерявшись, наконецъ, совсѣмъ, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебномъ освѣщеніи газа, всѣ домы вдругъ стали прозрачными, сильно засіявши снизу, — окна и стекла въ магазинахъ, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что́ лежало внутри ихъ, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь

въ углубленьи зеркалами. «Ма quest'è una cosa divina!» повторялъ живой Италіянецъ.

И жизнь его потекла живо, какъ течетъ жизнь многихъ Парижанъ и молпы молодыхъ иностранцевъ, наѣзжающихъ въ Парижъ. Въ девять часовъ утра, вскочивши съ постели, онъ уже былъ въ великолѣпномъ кафе, съ модными фресками за стекломъ, съ полтолкомъ, облитымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ приспѣшникомъ, проходившимъ мимо посѣтителей, держа великолѣпный серебряный кофейникъ въ рукѣ. Тамъ пилъ онъ съ сибаритскимъ наслажденьемъ свой жирный кофе изъ громадной чашки, нѣжась на эластическомъ, упругомъ, диванѣ и вспоминая о низенькихъ, темныхъ италіянскихъ кафе, съ неопрятнымъ боттегой, несущимъ невымытые стеклянные стаканы. Потомъ принимался онъ за чтеніе колоссальныхъ журнальныхъ листовъ и вспомнилъ о чахоточныхъ журалишкахъ Италіи, о какомъ-нибудь Diario di Roma, il Pirato и тому подобныхъ, гдѣ помѣщались невинныя политическія извѣстія и аннекдоты чуть не о Термопилахъ и персидскомъ царѣ Даріи. Тутъ, напротивъ, вездѣ видно было кипѣвшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возроженья; казалось, всякій изъ всѣхъ силъ топорщился: тотъ грозилъ близкой перемѣной вещей и предвѣщалъ разрушенье государству; всякое чуть замѣтное движеніе и дѣйствіе камеръ и министерства разросталось въ движенье огромнаго размаха между упорными партіями и почти отчаяннымъ крикомъ слышалось въ журналахъ. Даже страхъ чувствовалъ Италіянецъ, читая ихъ думая, что завтра же вспыхнетъ революція; какъ-будто въ чаду, выходилъ изъ литературнаго кабинета, и только одинъ Парижъ съ своими улицами могъ вывѣтрить въ одну минуту изъ головы весь этотъ грузъ. Его порхающій по всему блескъ и пестрое движенье, послѣ этого тяжелаго чтенія, казались чѣмъ-то похожимъ на легкіе цвѣтки, взбѣжавшіе по оврагу пропасти. Въ одинъ мигъ онъ переселялся весь на улицу и сдѣлался, подобно всѣмъ, зѣвакою во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ зѣвалъ передъ

свѣтлыми, легкими продавицами, только-что вступившими въ свою весну, которыми были наполнены всѣ парижскіе магазины, какъ-будтобы суровая наружность мущины была неприлична, и мелькала бы темнымъ пятномъ изъ-за цѣльныхъ стеколъ. Онъ глядѣлъ, какъ заманчиво щегольскія тонкія руки, вымытыя всякими мылами, блистая заворачивали бумажки конфектъ, межъ тѣмъ какъ глаза свѣтло и пристально вперялись на проходящихъ; какъ рисовалась въ другомъ мѣстѣ свѣтловолосая головка въ картинномъ склонѣ, опустивши длинныя рѣсницы въ страницы моднаго романа, не видя, что около нея собралась уже куча молодежи, разсматривающая и ея легкую снѣжную шейку, и всякій волосокъ на головѣ ея, подслушивающая самое колебаніе груди, произведенное чтеніемъ. Онъ зѣвалъ и передъ книжной лавкой гдѣ какъ пуки, темнѣли на слоновой бумагѣ черныя виньетки, на бросанныя размашисто, сгоряча, такъ что иногда и разобрать нельзя было, что́ на нихъ такое, и глядѣли іероглифами странныя буквы. Онъ зѣвалъ и передъ машиной, которая одна занимала весь магазинъи ходила за зеркальнымъ стекломъ, катая огромный валъ, растирающій шеколадъ. Онъ зѣвалъ передъ лавками, гдѣ останавливаются по цѣлымъ часамъ парижскіе крокодилы, засунувъ руки въ карманы и разинувъ ротъ, гдѣ краснѣлъ въ зелени огромный морской ракъ, воздымалась набитая трюфелами индѣйка, съ лаконическою надписью: 300 fr., и мелькали золотистымъ перомъ и хвостами желтыя и красныя рыбы въ стеклянныхъ вазахъ. Онъ зѣвалъ и на широкихъ бульварахъ, царственно проходящихъ поперегъ весь тѣсный Парижъ, гдѣ, среди города, стояли деревья въ ростъ шестиэтажныхъ домовъ, гдѣ на асфальтовые тротуары валила наѣздная толпа и куча доморощенныхъ парижскихъ львовъ и тигровъ, не всегда вѣрно изображаемыхъ въ повѣстяхъ. И назѣвавшись вдоволь и до-сыта, взбирался онъ къ ресторану, гдѣ уже давно сіяли газомъ зеркальныя стѣны, отражая въ себѣ безчисленныя толпы дамъ и мущинъ, шумѣвшихъ рѣчами за маленькими столиками, разбросанными по залѣ. Послѣ обѣда онъ

уже спѣшилъ въ театръ, недоумѣвая только, выбрать: на каждомъ изъ нихъ своя знаменитость, на каждомъ свой авторъ, свой актеръ. Вездѣ новость. Тамъ блещетъ водевиль, живой, вѣтренный, какъ самъ Француз, новый всякій день, создавшійся весь въ три минуты досуга, смѣшившій весь отъ начала до конца, благодаря неистощимымъ капризамъ веселости актера; тамъ горячая драма. И онъ невольно сравнилъ сухую, тощую драматическую сцену Италіи, гдѣ повторялись одинъ и тотъ же старикъ Гольдони, знаемый всѣми наизустъ, или же новыя комедійки, невинныя до того, что ребенокъ бы соскучился надъ ними; онъ сравнилъ ихъ тощую группу съ этимъ живымъ торопливымъ драматическимъ наводненіемъ, гдѣ все ковалось, пока было горячо, гдѣ всякій боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмѣявшись досыта, наволновавшись, наглядѣвшись, утомленный, подавленный впечатлѣніями, возвращался онъ домой и бросался въ постель, которая, какъ извѣстно, одна только нужна Французу въ его комнатѣ: кабинетомъ, обѣдомъ и вечернимъ освѣщеніемъ онъ пользуется въ публичныхъ мѣстахъ. Но князь, однакоже, не позабылъ съ этимъ разнообразнымъ зѣваньемъ соединить занятій ума, которыхъ требовала нетерпѣливо душа его. Онъ принялся слушать всѣхъ знаменитыхъ профессоровъ. Живая рѣчь, часто восторженная, новыя точки и стороны, подмѣченныя рѣчивымъ профессоромъ, были неожиданны для молодого Италіянца. Онъ чувствовалъ, какъ стала спадать съ глазъ его пелена, какъ въ другомъ, яркомъ видѣ возставали передъ нимъ прежде незамѣченные предметы, и самый пріобрѣтенный имъ хламъ кое-какихъ знаній, которыя обыкновенно погибаютъ у большей части людей безъ всякихъ примѣненій, пробуждался, и оглянутый другимъ глазомъ, утверждался навсегда въ его памяти. Онъ не пропустилъ также услышать ни одного знаменитаго проповѣдника, публициста, оратора, камерныхъ преній и всего, чѣмъ шумно гремитъ въ Европѣ Парижъ. Не смотря на то, что не всегда доставало ему средствъ, что старый князь присылалъ ему содер-

жанье, какъ студенту, а не какъ князю, онъ успѣлъ, однакоже, найти случай побывать вездѣ, найти допускъ ко всѣмъ знамѣнитостямъ, о которыхъ трубятъ, повторяя другъ друга, Европейскіе листки; даже увидалъ въ лицо тѣхъ модныхъ писателей, которыхъ странными созданьями была поражена, на-ряду съ другими, его пылкая, молодая душа и въ которыхъ всѣмъ мнилось слышать еще небранныя дотолѣ струны, неуловимые доселѣ изгибы страстей. Словомъ, жизнь Италіянца приняла широкій, многосторонній образъ, обнялась всѣмъ громаднымъ блескомъ Европейской дѣятельности. Разомъ, въ одинъ и тотъ же день беззаботное зѣванье и тревожное пробужденье, легкая работа глазъ и напряженіе ума, водевиль на театрѣ, проповѣдникъ въ церкви, политическій вихрь журналовъ и камеръ, рукоплесканье въ аудиторіяхъ, потрясающій громъ консерваторнаго оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполинская жизнь для двадцати-пяти-лѣтняго юноши! Нѣтъ лучшаго мѣста, какъ Парижъ; ни за что́ не промѣнялъ бы онъ такой жизни. Какъ весело и любо жить въ самомъ сердцѣ Европы, гдѣ идя подымаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества. Въ головѣ его даже вертѣлась мысль отказаться вовсе отъ Италіи и основаться навсегда въ Парижѣ. Италія казалась ему теперь какимъ-то темнымъ, заплесневѣлымъ угломъ Европы, гдѣ заглохла жизнь и всякое движенье.

Такъ пронеслись четыре пламенные года его жизни, четыре года, слишкомъ значительные для юноши, и къ концу ихъ, уже многое показалось не въ томъ видѣ, какъ было прежде. Во многомъ онъ разочаровался. Тотъ же Парижъ, вѣчно влекущій къ себѣ иностранцевъ, вѣчная страсть Парижанъ, уже показался ему много, много не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде. Онъ видѣлъ, какъ вся эта многосторонность и дѣятельность его жизни исчезла безъ выводовъ и плодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеніи вѣчнаго его кипѣнья и дѣятельности видѣлась теперь ему страшная недѣя-

тельность. Страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Онъ видѣлъ, какъ всякій Французъ, казалось, только работалъ въ одной разгоряченной головѣ; какъ это журнальное чтеніе огромныхъ листовъ поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; какъ всякій Французъ воспитывался этимъ страннымъ вихремъ книжной, типографски-движущейся политики и, еще чуждый сословія, къ которому принадлежалъ, еще не узнавъ на дѣлѣ всѣхъ правъ и отношеній своихъ, уже приставалъ къ той или другой партіи, горячо и жарко принимая къ сердцу всѣ интересы, становясь свирѣпо противъ своихъ противниковъ, еще не зная въ глаза ни интересовъ своихъ, ни противниковъ... и слово *политика* опротивѣло наконецъ сильно Итальянцу.

Въ движеньи торговли, ума, вездѣ, во всемъ видѣлъ онъ только напряженное усиліе и стремленіе къ новости. Одинъ силился предъ другимъ, во что́ бы то́ ни стало, взять верхъ, хотя бы на одну минуту. Купецъ весь капиталъ свой употреблялъ на одну только уборку магазина, чтобы блескомъ и великолѣпіемъ его заманить къ себѣ толпу. Книжная литература прибѣгала къ картинкамъ и типографической роскоши, чтобъ ими привлечь къ себѣ охлаждающееся вниманіе. Странностью неслыханныхъ страстей, уродливостью исключеній изъ человѣческой природы силились повѣсти и романы овладѣть читателемъ. Все казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само безъ зазыва, какъ непотребная женщина, что ловитъ человѣка ночью на улицѣ; все одно передъ другимъ вытягивало повыше свою руку, какъ обступившая толпа надоѣдливыхъ нищихъ. Въ самой наукѣ, въ ея одушевленныхъ лекціяхъ, которыхъ достоинства не могъ не признать онъ, теперь стало ему замѣтно вездѣ желанье выказаться, хвастнуть, выставить себя; вездѣ блестящіе эпизоды, и нѣтъ торжественнаго, величаваго теченія всего цѣлаго. Вездѣ усилія поднять доселѣ незамѣченные факты и дать имъ огромное вліяніе, иногда въ ущербъ гармоніи цѣлаго, съ тѣмъ только,

чтобы оставить за собой честь открытія; наконецъ, вездѣ почти дерзкая увѣренность, и нигдѣ смиреннаго сознанія собственнаго невѣдѣнія, — и онъ привелъ себѣ на память стихъ, которымъ Италіянецъ Алфіери, въ ѣдкомъ расположеньи своего духа, попрекнулъ Французовъ:

Tutto fanno, nulla sanno
Tutto sanno, nulla fanno:
Gira volta son Francesi,
Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположеніе духа имъ овладѣло. Напрасно старался онъ развлекать себя, старался сойтись съ людьми, которыхъ уважалъ; но не сошлась италіянская природа съ французскимъ элементомъ. Дружба завязывалась быстро, но уже въ одинъ день Французъ выказывалъ себя всего до послѣдней черты: на другой день нечего было и узнавать въ немъ, далѣе извѣстной глубины уже нельзя было погрузить вопроса въ его душу, не вонзалось далѣе остріе мысли; а чувства Италіянца были слишкомъ сильны, что бы встрѣтить себѣ полный отвѣтъ въ легкой природѣ. И нашелъ онъ какую-то странную пустоту даже въ сердцахъ тѣхъ, которымъ не могъ отказать въ уваженьи. И увидѣлъ онъ наконецъ, что при всѣхъ своихъ блестящихъ чертахъ, при благородныхъ порывахъ, при рыцарскихъ вспышкахъ, вся нація была что-то блѣдное, несовершенное, легкій водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Вездѣ намеки на мысли, и нѣтъ самихъ мыслей; вездѣ полустрасти, и нѣтъ страстей; все неокончено, все намечено, набросано съ быстрой руки; вся нація — блестящая виньекта, а не картина великаго мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все въ такомъ видѣ, или внутреннее вѣрное и свѣжее чувство Италіянца было тому причиною, то́ или другое, только Парижъ, со всѣмъ своимъ блескомъ и шумомъ, скоро сдѣлался для него тягостной пустиней и онъ невольно выбиралъ глухіе отдаленные концы его. Только въ одну еще итальян-

скую оперу заходилъ онъ, тамъ только какъ-будто отдыхала душа его, и звуки роднаго языка теперь выростали предъ нимъ во всемъ могуществѣ и полнотѣ. И стала представляться ему чаще забытая имъ Италія, вдали, въ какомъ-то манящемъ свѣтѣ; съ каждымъ днемъ зазывы ея становились слышнѣе, и онъ рѣшился наконецъ писать къ отцу, чтобы позволилъ ему возвратиться въ Римъ, что въ Парижѣ оставаться болѣе онъ не видитъ для себя нужды. Два мѣсяца не получалъ онъ никакого отвѣта, ни даже обычныхъ векселей, которые давно слѣдовало ему получить. Сначала ожидалъ онъ терпѣливо, зная капризный характеръ своего отца, наконецъ начало овладѣвать имъ безпокойство. Нѣсколько разъ на недѣлѣ навѣдывался къ своему банкиру, и всегда получалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ, что изъ Рима нѣтъ никакихъ извѣстій. Отчаяніе готово было вспыхнуть въ душѣ его. Средства содержанія уже давно у него всѣ прекратились, уже давно сдѣлалъ онъ у банкира заемъ, но и эти деньги давно вышли, давно уже онъ обѣдалъ, завтракалъ и жилъ кое-какъ въ долгъ; косо и непріятно начинали посматривать на него — и хоть бы отъ кого-нибудь изъ друзей какое-нибудь извѣстіе. Тутъ-то онъ сильно почувствовалъ свое одиночество. Въ безпокойномъ ожиданіи, бродилъ онъ въ этомъ надоѣвшемъ на-смерть городѣ. Лѣтомъ онъ былъ для него еще невыносимѣе: всѣ наѣздныя толпы разлетѣлись по минеральнымъ водамъ, по Европейскимъ гостинницамъ и дорогамъ. Призракъ пустоты видѣлся на всемъ. Домы и улицы Парижа были несносны; сады его томились сокрушительно между домовъ, палимыхъ солнцемъ. Какъ убитый, останавливался онъ надъ Сеной, на грузномъ, тяжеломъ мосту, на ея душной, набережной напрасно стараясь чѣмъ-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядѣться: тоска необъятная жрала его, и безъимянный червь точилъ его сердце. Наконецъ судьба надъ нимъ умилосердилась — и въ одинъ день банкиръ вручилъ ему письмо. Оно было отъ дяди, который извѣщалъ его, что старый князь уже не существуетъ, что онъ можетъ пріѣхать распорядиться

наслѣдствомъ, которое требуетъ его личнаго присутствія, потому что разстроено сильно. Въ письмѣ былъ тощій билетъ, едва достаточный на дорогу и на расплату четвертой доли долговъ. Молодой князь не хотѣлъ медлить минуты, уговорилъ кое-какъ банкира отсрочить долгъ и взялъ мѣсто въ курьерской каретѣ. Казалось, страшная тягость свалилась съ души его, когда скрылся изъ вида Парижъ и дохнуло на него свѣжимъ воздухомъ полей. Въ двое сутокъ онъ уже былъ въ Марселѣ, не хотѣлъ отдохнуть часу, и въ тотъ же вечеръ пересѣлъ на пароходъ. Средиземное море показалось ему роднымъ: оно омывало берега его отчизны, и онъ посвѣжелъ уже, только глядя на однѣ безконечныя его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при видѣ перваго италіянскаго города, — это была великолѣпная Генуа. Въ двойной красотѣ вознеслись надъ нимъ ея пестрыя колокольни, полосатыя церкви изъ бѣлаго и чернаго мрамора и весь многобашенный амфитеатръ ея, вдругъ обнесшій его со всѣхъ сторонъ, когда пароходъ пришелъ къ пристани. Никогда не видалъ онъ Генуи. Эта играющая пестрота домовъ, церквей и дворцовъ на тонкомъ небесномъ воздухѣ, блиставшемъ непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берегъ, онъ очутился вдругъ въ этихъ темныхъ чудныхъ узенькихъ, мощенныхъ плитами улицахъ, съ одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта тѣснота между домами высокими, огромными, отсутствіе экипажнаго стуку, треугольныя маленькія площадки и между ними, какъ тѣсные корридоры, изгибающіяся линіи улицъ, наполненныхъ лавочками генуэзскихъ серебрянниковъ и золотыхъ мастеровъ. Живописныя кружевныя покрывала женщинъ, чуть волнуемыя теплымъ широкко; ихъ твердыя походки, звонкій говоръ въ улицахъ, отворенныя двери церквей, кадильный запахъ, несшій оттуда, — все это дунуло на него чѣмъ-то далекимъ, минувшимъ. Онъ вспомнилъ, что уже много лѣтъ не былъ въ церкви, потерявшей свое чистое, высокое значеніе въ тѣхъ умныхъ земляхъ Европы, гдѣ онъ былъ. Тихо

вошелъ онъ и сталъ въ молчаніи на колѣна у великолѣпныхъ мраморныхъ колоннъ, и долго молился, самъ не зная за что́, — молился, что его приняла Италія, что снизошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душѣ, и молитва эта, вѣрно, была лучшая. Словомъ, какъ прекрасную станцію, унесъ онъ за собою Геную: въ ней принялъ онъ первый поцѣлуй Италіи. Съ такимъ же яснымъ чувствомъ увидѣлъ онъ Ливорно, пустѣющую Пизу, Флоренцію, слабо знаемую имъ прежде. Величаво глянулъ на него тяжелый, граненый куполъ ея собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величіе небольшого городка. Потомъ понесся чрезъ Аппенины, сопровождаемый тѣмъ же свѣтлымъ расположеніемъ духа, и когда наконецъ послѣ шести-дневной дороги, показался, въ ясной дали, на чистомъ небѣ, чудесно кругливши́йся куполъ . . . о, сколько чувствъ тогда столпилось разомъ въ его груди! Онъ не умѣлъ и не могъ передать ихъ; онъ огляды-валъ всякій холмикъ и отлогость. И вотъ уже наконецъ Ponte Molle, городскія ворота, и вотъ обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянулъ Monte Pincio съ терассами, лѣстницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушкахъ. Боже! какъ забилось его сердце! Ветуринъ понесся по улицѣ Корсо, гдѣ когда-то ходилъ онъ съ аббатомъ, невинный, простодушный, знавши́й только, что латинскій языкъ есть отецъ италіянскаго. Вотъ предстали предъ нимъ опять всѣ домы, которые онъ зналъ наизустъ: Pallazo Ruspoli съ своимъ огромнымъ кафе, Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Pallazo Doria, наконецъ поворотилъ онъ въ переулки, такъ бранимые иностранцами, некипящіе переулки, гдѣ изрѣдка только попадалась лавка брадобрея съ нарисованными лиліями надъ дверьми, да лавка шляпочника, высунувшаго изъ дверей долгополую кардинальскую шляпку, да лавчонка плетеныхъ стульевъ, дѣлавшихся тутъ же на улицѣ. Наконецъ карета остановилась предъ величавымъ дворцомъ брамантовскаго стиля. Никого не было въ нагихъ, неубранныхъ сѣняхъ. На лѣстницѣ встрѣтилъ его драхлый maestro

di casa, потому что швейцаръ съ своей булавой ушолъ, по обыкновенью, въ кафе, гдѣ проводилъ все время. Старикъ побѣжалъ отворять ставни и освѣщать мало-по малу странныя, величественныя залы. Грустное чувство овладѣло княземъ, чувство, понятное всякому пріѣзжающему, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, домой, когда все, что́ ни было, кажется еще старѣе, еще пустѣе и когда тягостно говоритъ всякій предметъ, знаемый въ дѣтствѣ, и чѣмъ веселѣе были съ нимъ сопряженные случаи, тѣмъ сокрушительнѣй грусть, насылаемая имъ на сердце. Онъ прошелъ длинный рядъ, залъ, оглянулъ кабинеть и спальню, гдѣ еще не такъ давно старый владѣтель дворца засыпалъ въ кровати, подъ балдахиномъ съ кистями и гербомъ, и потомъ выходилъ въ шлафрокѣ и туфляхъ въ кабинетъ выпить стаканъ ослинаго молока, съ намѣреніемъ пополнѣть, — уборную, гдѣ онъ наряжался съ утонченнымъ стараніемъ старой кокетки и откуда отправлялся потомъ въ колескѣ съ своими лакеями на гулянье въ виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то Англичанку, пріѣзжавшую туда также прогуливаться. На столахъ и въ ящикахъ видны были еще остатки румянъ, бѣлилъ и всякихъ притираній, которыми молодилъ себя старикъ. Maestro di casa объявилъ, что уже за двѣ недѣли до смерти онъ принялъ было твердое намѣреніе жениться и сдѣлалъ нарочно консультацію съ иностранными докторами, какъ поддержать con onore i doveri di marito, но что въ одинъ день, сдѣлавши два, или три визита кардиналамъ и какому-то пріору, онъ возвратился усталый домой, сѣлъ въ кресла и умеръ смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнѣе, если бы онъ, по словамъ maestro di casa, догадался послать за двѣ минуты прежде за своимъ духовникомъ, il padre Benvenuto. Все это слушалъ молодой князь разсѣянно, не принадлежа мыслью ни къ чему. Отдохнувши отъ дороги и отъ странныхъ впечатлѣній, онъ занялся своими дѣлами. Его поразилъ страшный безпорядокъ ихъ. Все, отъ малаго до большого было въ безтолковомъ, запутанномъ видѣ. Четыре безконечныя тяжбы за обва-

лившіеся дворцы и земли въ Феррарѣ и Неаполѣ, совершенно опустошенные доходы за три года впередъ, догли и нищенскій недостатокъ среди великолѣпія — вотъ что̀ представилось глазамъ его. Старый князь былъ непонятное соединеніе скупости и пышности. Онъ держалъ огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кромѣ ливреи, и довольствовалась подаяніями иностранцевъ, приходившихъ смотрѣть галлерею. При князѣ были егери, оффиціанты, лакеи, которые ѣздили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ѣздили и просиживали по цѣлымъ днямъ въ ближнемъ кафе, или остеріи, болтая всякій вздоръ. Онъ распустилъ тотъ же часъ всю эту сволочь, всѣхъ егерей и охотниковъ, оставилъ одного только старика maestro di casa; уничтожилъ почти вовсе конюшню, продавъ никогда неупотреблявшихся лошадей; призвалъ адвокатовъ и распорядился съ своими тяжбами, по крайней мѣрѣ такъ, что изъ четырехъ составилъ двѣ, бросивъ остальныя, какъ вовсе безполезныя; рѣшился ограничить себя во всемъ и вести жизнь со всею строгостью экономіи. Это было ему не трудно сдѣлать, потому что уже заблаговременно онъ привыкъ ограничивать себя. Ему не трудно было также отказаться отъ всякаго сообщества съ своимъ сословіемъ, которое, впрочемъ, все состояло изъ двухътрехъ дожившихъ фамилій — общества, воспитаннаго кое-какъ отголосками французскаго образованія, да богача-банкира, собиравшаго около себя кругъ иностранцевъ, да неприступныхъ кардиналовъ, людей необщительныхъ, черствыхъ, уединенно проводившихъ время за карточной игрой въ tresette (родъ дурачка) съ своимъ камердинеромъ или брадобреемъ. Словомъ, онъ, уединился совершенно, принялся разсматривать Римъ и сдѣлался въ этомъ отношеніе подобенъ иностранцу, который сначала бываетъ пораженъ мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами и съ недоумѣньемъ вопрошаетъ, попадая изъ переулка въ переулокъ: «Гдѣ же огромный древній Римъ?» и потомъ уже узнаетъ его, когда мало-помалу изъ тѣсныхъ переулковъ начи-

наетъ видвигаться древній Римъ, гдѣ темной аркой, гдѣ мраморнымъ карнизомъ, вдѣланнымъ въ стѣну, гдѣ порфировой потѣмнѣвшей колонной, гдѣ фронтономъ посреди вонючаго рыбнаго рынка, гдѣ цѣлымъ портикомъ передъ нестариннюю церковью, и наконецъ далеко, тамъ, гдѣ оканчивается вовсе живущій городъ, громадно воздымается онъ среди тысящелѣтнихъ плющей, алоэ и открытыхъ равнинъ, необъятнымъ Колизеемъ, тріумфальными арками, остатками необозримыхъ цезарскихъ дворцовъ, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полямъ, и уже не видитъ иноземецъ нынѣшнихъ тѣсныхъ его улицъ и переулковъ, весь объятый древнимъ міромъ: въ памяти его возстаютъ колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...

Но не такъ, какъ иностранецъ, преданный одному Титу Ливію и Тациту, бѣгущій мимо всего, къ одной только древности, желавшій бы въ порывѣ благороднаго педантизма срыть весь новый городъ, — нѣтъ, онъ находилъ все равно прекраснымъ: міръ древній шевелился изъ-подъ темнаго архитрава, могучій средній вѣкъ, положившій вездѣ слѣды художниковъ-исполиновъ и великолѣпной щедрости папъ, и, наконецъ, прилѣпившійся къ нимъ новый вѣкъ, съ толпящимся новымъ народонаселеніемъ. Ему нравилось это чудное ихъ сліяніе въ одно, эти признаки людной столицы и пустыни вмѣстѣ: дворецъ, колонны, трава, дикіе кусты, бѣгущіе по стѣнамъ, трепещущій рынокъ среди темныхъ, молчаливыхъ заслоненныхъ снизу громадъ, живой крикъ рыбнаго продавца у портика, лимонадчикъ съ воздушной, украшенной зеленью лавчонкой передъ Пантеономъ. Ему нравилась самая невзрачность улицъ, темныхъ, неприбранныхъ, отсутствіе желтыхъ и свѣтленькихъ красокъ на домахъ, идиллія среди города: отдыхавшее стадо козловъ на уличной мостовой, крики ребятишекъ и какое-то невидимое присутствіе на всемъ ясной торжественной тишины, обнимающей человѣка. Ему нравились эти безпрерывныя внезапности, нежданности, поражающія въ Римѣ. Какъ охотникъ, выходящій съ

утра на ловлю, какъ старинный рыцарь, искатель приключеній, онъ отправлялся отыскивать всякій день новыхъ и новыхъ чудесъ, и останавливался невольно, когда вдругъ среди ничтожнаго переулка возносился предъ нимъ дворецъ, дышавшій строгимъ сумрачнымъ величіемъ. Изъ темнаго травертина были сложены его тяжелыя, несокрушимыя стѣны, вершину вѣнчалъ великолѣпно набранный колоссальный карнизъ, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядѣли величаво, обремененныя роскошнымъ архитектурнымъ убранствомъ; или какъ вдругъ нежданно, вмѣстѣ съ небольшой площадью, выглядывалъ картинный фонтанъ, обрызгивавшій себя самого и свои обезображенныя мхомъ гранитныя ступени; какъ темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декораціей Бернини, или летящимъ кверху обелискомъ, или церковью и монастырской стѣною, вспыхивавшими блескомъ солнца на темнолазурномъ небѣ, съ черными, какъ уголь, кипарисами. И чѣмъ далѣе въ глубь уходили улицы, тѣмъ чаще росли дворцы и архитектурыя созданья Браманта, Барромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти ... и понялъ онъ наконецъ ясно, что только здѣсь, только въ Италіи, слышно присутствіе архитектуры и строгое ея величіе, какъ художества. Еще выше было духовное его наслажденіе, когда онъ переносился во внутренность церквей и дворцовъ, гдѣ арки, плоскіе столпы и круглыя колонны изъ всѣхъ возможныхъ сортовъ мрамора, перемѣшанные съ базальтовыми, лазурными карнизами, порфиромъ, золотомъ и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше ихъ всѣхъ вознеслось безсмертное созданіе кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманныя убранства залъ, полныя царскаго величія и архитектурной роскоши, вездѣ умѣвшей почтительно преклониться предъ живописью въ этотъ плодотворный вѣкъ, когда художникъ бывалъ и архитекторъ, и живописецъ, и даже скульпторъ вмѣстѣ. Могучія созданія кисти, уже неповторяющейся нынѣ, возносились сумрачно предъ нимъ на потемнѣвшихъ стѣнахъ, всё еще

непостижимыя и недоступныя для подражанія. Входя и погружаясь болѣе и болѣе въ созерцаніе ихъ, онъ чувствовалъ, какъ развивался видимо его вкусъ, залогъ котораго уже хранился въ душѣ его. И какъ предъ этой величественной прекрасной роскошью показалось ему теперь низкою роскошь XIX столѣтія, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенія магазиновъ, выведшая на поле дѣятельности золотильщиковъ, мебельщиковъ, обойщиковъ, столяровъ и кучи мастеровыхъ и лишившая міръ Рафаэлей, Тиціановъ, Микель-Анжеловъ, низведшая къ ремеслу искусство! Какъ низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взглядъ и озираемая потомъ равнодушно, передъ этой величавой мыслію — украсить стѣны вѣковѣчнымъ созданіемъ кисти, передъ этой прекрасной мыслью владѣльца дворца — доставить себѣ вѣчный предметъ наслажденія въ часы отдыха отъ дѣлъ и отъ шумнаго жизненнаго дрязга, уединившись тамъ, въ углу, на старинной софѣ, далеко отъ всѣхъ, вперя безмолвно взоръ и, вмѣстѣ со взоромъ, входя глубже душою въ тайны кисти, зрѣя невидимо въ красѣ душевныхъ помысловъ! Ибо высоко возвышаетъ искусство человѣка, придавая благородство и чудную красоту движеньямъ души. Какъ низки казались ему предъ этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человѣка предметами, движущими и воспитывающими душу, нынѣшнія мелочныя убранства, ломаемыя и выбрасываемыя ежегодно безпокойною модою, страннымъ, непостижимымъ порожденіемъ XIX вѣка, предъ которымъ безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего!, что́ колоссально величественно, свято. При такихъ разсужденіяхъ, невольно приходило ему на мысль: не отъ того ли этотъ равнодушный хладъ, обнимающій нынѣшній вѣкъ, торговый, низкій разсчетъ, ранняя притупленность еще неуспѣвшихъ развиться и возникнуть чувствъ? Иконы вынесли изъ храма — и храмъ уже не храмъ: летучія мыши и злые духи обитаютъ въ немъ.

Чѣмъ болѣе онъ всматривался, тѣмъ болѣе поражала

его эта необыкновенная плодотворность вѣка, и онъ невольно восклицалъ: «Когда и какъ успѣли они это надѣлать?» Эта великолѣпная сторона Рима какъ-будтобы росла передъ нимъ ежедневно. Галлереи и галлереи — и конца имъ нѣтъ: и тамъ, и въ той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти; и тамъ, на дряхлѣющей стѣнѣ, еще дивитъ готовый исчезнуть фрескъ; и тамъ, на вознесенныхъ мраморахъ и столпахъ, набранныхъ изъ древнихъ языческихъ храмовъ, блещетъ неувядаемой кистью плафонъ. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Какъ полно было у него всякій разъ на душѣ, когда возвращался онъ домой! какъ было различно это чувство, объятое спокойной торжественностью тишины, отъ тѣхъ тревожныхъ впечатлѣній, которыми безсмысленно наполнялась душа его въ Парижѣ, когда онъ возвращался домой усталый, утомленный, рѣдко будучи въ силахъ повѣрить итогъ ихъ!

Теперь ему казалась еще болѣе согласною съ этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемнѣвшая, запачканная наружность, такъ бранимая иностранцами. Ему бы непріятно было выйти послѣ всего этого на модную улицу, съ блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чѣмъ-то развлекающимъ, святотатственнымъ. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улицъ, это особенное выраженіе римскаго населенія, этотъ призракъ восемнадцатаго вѣка, еще мелькавшій по улицѣ то въ видѣ чернаго аббата съ треугольною шляпой черными чулками и башмаками, то въ видѣ старинной пурпурной кардинальской кареты съ позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами. Все какъ-то согласовалось съ важностью Рима: этотъ живой, неторопящійся народъ, живописно и покойно расхаживающій по улицамъ, закинувъ полуплащъ, или набросивъ себѣ на плечо крутку, безъ тягостнаго выраженія въ лицахъ, которое такъ поражало его на синихъ блузахъ и на всемъ народонаселеньи Парижа: тутъ самая нищета

являлась въ какомъ-то свѣтломъ видѣ, беззаботная, незнакомая съ терзаніемъ и слезами, безпечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монаховъ, переходившіе улицы въ длинныхъ, бѣлыхъ, или черныхъ одеждахъ; нечистый рыжій капуцинъ вдругъ вспыхнувшій на солнцѣ свѣтловерблюжьимъ цвѣтомъ; наконецъ, это населеніе художниковъ, собравшихся со всѣхъ сторонъ свѣта, которые бросили здѣсь узенькіе лоскуточки одѣяній европейскихъ и явились въ свободныхъ, живописныхъ нарядахъ; ихъ величественныя осанистыя бороды, снятыя съ портретовъ Леонарда да Винчи и Тиціана, такъ непохожія на тѣ уродливыя, узкія бородки которыя Французъ передѣлываетъ и стрижетъ себѣ по пяти разъ въ мѣсяцъ. Тутъ художникъ почувствовалъ красоту длинныхъ волнующихся волосъ и позволилъ имъ разсыпаться кудрями. Тутъ самый Нѣмецъ, съ кривизной ногъ своихъ и безперехватностью стана, получилъ значительное выраженіе, разнеся по плечамъ золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы, или бархатнымъ нарядомъ, извѣстнымъ подъ именемъ cinqueconto, которое усвоили себѣ только одни художники въ Римѣ. Слѣды строгаго спокойствія и тихаго труда отражались на ихъ лицахъ. Самые разговоры и мнѣнія, слышимые на улицахъ, въ кафе, въ остеріяхъ, были вовсе противоположны и не похожи на тѣ, которые слышались ему въ городахъ Европы. Тутъ не было толковъ о понизившихся фондахъ, о камерныхъ преніяхъ, объ испанскихъ дѣлахъ; тутъ слышались рѣчи объ открытой недавно древней статуѣ, о достоинствѣ кисти великихъ мастеровъ, раздавались споры и разногласія о выставленномъ произведеніи новаго художника, толки о народныхъ праздникахъ и, наконецъ, частные разговоры, въ которыхъ разскрывался человѣкъ и которые вытѣснены изъ Европы скучными общественными толками и политическими мнѣніями, изгнавшими сердечное выраженіе съ лицъ.

Часто оставлялъ онъ городъ для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другія чудеса. Прекрасны были эти нѣмыя, пустынныя рим-

скія поля, усѣянныя останками древнихъ храмовъ, съ невыразимымъ спокойствіемъ разстилавшіяся вокругъ, гдѣ пламенѣя сплошнымъ золотомъ отъ слившихся вмѣстѣ желтыхъ цвѣтковъ, гдѣ блеща жаромъ раздутаго угля отъ пунцовыхъ листовъ дикаго мака. Онѣ представляли четыре чудные вида на четыре стороны. Съ одной соединялись онѣ прямо съ горизонтомъ одной рѣзкой, ровной чертой; арки водопроводовъ казались стоящими на воздухѣ и какъ-бы наклеенными на блистающемъ серебряномъ небѣ. Съ другой — надъ полями сіяли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, какъ въ Тиролѣ или Швейцаріи, но согласными плывучими линіями выгибаясь и склоняясь, озаренныя чудною ясностью воздуха, онѣ готовы были улетѣть въ небо; у подошвы ихъ неслася длинная аркада водопроводовъ, подобно длинному фундаменту, и вершина горъ казалась воздушнымъ продолженіемъ чуднаго зданія, и небо надъ ними было уже не серебряное, но невыразимаго цвѣта весенней сирени. Съ третьей — эти поля увѣнчивались тоже горами, которыя уже ближе и выше возносились, выступая сильнѣе передними рядами, и легкими уступами уходя въ даль. Въ чудную постепенность цвѣтовъ облекалъ ихъ тонкій голубой воздухъ; и сквозь это воздушно-голубое ихъ покрывало сіяли чуть примѣтные домы и виллы Фраскати, гдѣ тонко и легко тронутые солнцемъ, гдѣ уходящіе въ свѣтлую мглу пылившихся вдали, чуть примѣтныхъ рощей. Когда же обращался онъ вдругъ назадъ, тогда представлялась ему четвертая сторона вида; поля оканчивались самимъ Римомъ. Сіяли рѣзко и ясно углы и линіи домовъ, круглость куполовъ, статуи Латранскаго Іоанна и величественный куполъ Петра, вырастающій выше и выше, по мѣрѣ отдаленія отъ него, и властительно остающійся наконецъ однимъ на всемъ полугоризонтѣ, когда уже совершенно скрылся весь городъ. Еще лучше любилъ онъ оглянуть эти поля съ террасы которой-нибудь изъ виллъ Фраскати, или Альбано, въ часы захожденія солнца. Тогда онѣ казались необозримымъ моремъ, сіявшимъ и возносившимся изъ темныхъ перилъ тер-

расы; отлогости и линіи исчезали въ обнявшемъ ихъ свѣтѣ. Сначала онѣ еще казались зеленоватыми, и по нимъ еще виднѣлись тамъ и тамъ разбросанныя гробницы и арки; потомъ онѣ сквозили уже свѣтлой желтизною въ радужныхъ оттѣнкахъ свѣта, едва выказывая древніе остатки, и наконецъ становились пурпурнѣй и пурпурнѣй, поглощая въ себѣ и самый безмѣрный куполъ, и сливаясь въ одинъ густой малиновый цвѣтъ, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отдѣляла ихъ отъ пурпурнаго, такъ же, какъ и онѣ, горизонта. Нигдѣ, никогда ему не случалось видѣть, чтобы поле превращалось въ пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимаго восхищенія, стоялъ онъ предъ такимъ видомъ, и потомъ уже стоялъ такъ, просто, не восхищаясь, позабывъ все, когда и солнце уже скрывалось, потухалъ быстро горизонтъ и еще быстрѣе потухали въ мигъ померкнувшія поля, вездѣ устанавливалъ свой темный образъ вечеръ, надъ развалинами огнистыми фонтанами подымались свѣтящіяся мухи, и неуклюжее крылатое насѣкомое, несущееся стоймя, какъ человѣкъ, извѣстное подъ именемъ дьявола, ударялось безъ толку ему въ очи. Тогда только онъ чувствовалъ что наступившій холодъ южной ночи уже прохватилъ его всего, и спѣшилъ въ городскія улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Такъ протекала жизнь его въ созерцаніяхъ природы, искусствъ и древностей. Среди этой жизни почувствовалъ онъ, болѣе нежели когда-либо, желаніе проникнуть поглубже исторію Италіи, доселѣ ему извѣстную эпизодами, отрывками; безъ нея казалось ему неполно настоящее, и онъ жадно принялся за архивы, лѣтописи и записки. Онъ теперь могъ ихъ читать не такъ, какъ Италіянецъ-домосѣдъ, входящій и тѣломъ, и душою въ читаемыя событія и невидящій изъ-за обступившихъ его лицъ и происшествій всей массы цѣлаго. Онъ теперь могъ оглядывать все покойно, какъ изъ ватиканскаго окна. Пребываніе внѣ Италіи въ виду шума и движенія дѣйствующихъ народовъ и государствъ, служило ему строгою повѣркою всѣхъ вы-

водовъ, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь онъ еще болѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безпристрастнѣй, былъ пораженъ величіемъ и блескомъ минувшей эпохи Италіи. Его изумляло такое быстрое, разнообразное развитіе человѣка на такомъ тѣсномъ углу земли, такимъ сильнымъ движеніемъ всѣхъ силъ. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь кипѣлъ человѣкъ, какъ каждый городъ говорилъ своею рѣчью, какъ у каждаго города были цѣлые томы исторіи; какъ разомъ возникли здѣсь всѣ образы и виды гражданства и правленій: волнующіяся республики сильныхъ, непокорныхъ характеровъ и полновластные деспоты среди ихъ; цѣлый городъ царственныхъ купцовъ, опутанный сокровенными правительственными нитями, подъ призракомъ единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцевъ; сильные напоры и отпоры въ нѣдрѣ незначительнаго городка; почти сказочный блескъ герцоговъ и монарховъ крохотныхъ земель; меценаты, покровители и гонители; цѣлый рядъ великихъ людей, столкнувшихся въ одно и то же время; лира, циркуль, мечъ и палитра; храмы, воздвигающіеся среди браней и волненій; вражда, кровавая месть, великолушныя черты и кучи романическихъ происшествій частной жизни среди политическаго, общественнаго вихря и чудная связь между ними, такое изумляющее раскрытіе всѣхъ сторонъ жизни политической и частной, такое пробужденіе въ столь тѣсномъ объемѣ всѣхъ элементовъ человѣка, совершавшихся въ другихъ мѣстахъ только частями и на большихъ пространствахъ! И все это исчезло и прошло вдругъ, все застыло, какъ погаснувшая лава, и выброшено даже изъ памяти Европою, какъ старый, ненужный хламъ. Нигдѣ, даже въ журналахъ, невыказываетъ бѣдная Италія своего развѣнчаннаго чела, лишенная значенія политическаго, а съ нимъ и вліянія на міръ.

«И неужели,» думалъ онъ, «не воскреснетъ никогда ея слава? Неужели нѣтъ средствъ возвратить минувшій блескъ ея?» И вспомнилъ онъ то время, когда еще въ университетѣ, въ Луккѣ, бредилъ онъ о

возобновленіи ея минувшей славы; какъ это было любимой мыслью молодежи; какъ за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о томъ, и увидѣлъ онъ теперь, какъ близорука была молодежъ и какъ близоруки бываютъ политики, упрекающіе народъ въ безпечности и лѣни. Почуялъ онъ теперь, смутясь, Великій Перстъ, передъ нимъ же повергается въ прахъ нѣмѣющій человѣкъ, — Великій Перстъ, начертывающій свыше всемірныя событія. Онъ вызвалъ изъ среды ея же гонимаго ея гражданина, бѣднаго Генуэзца, который одинъ убилъ свою отчизну, указавъ міру невѣдомую землю и другіе, широкіе пути. Раздался всемірный горизонтъ; огромнымъ размахомъ закипѣли движенія Европы; понеслись вокругъ свѣта корабли, двинувъ могучія сѣверныя силы. Осталось пусто Средиземное море; какъ обмелѣвшее рѣчное русло, обмѣлела обойденная Италія. Стоитъ Венеція, отразивъ въ адріатическія волны свои потухшіе дворцы; и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникшій гондольеръ влечетъ его подъ пустынными стѣнами и разрушенными перилами безмолвныхъ, мраморныхъ балконовъ. Онѣмѣла Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогскаго дворца. Глядятъ пустынно на всемъ пространствѣ Италіи ея наклонныя башни и архитектурныя чуда, очутясь среди равнодушнаго къ нимъ поколѣнія. Звонкое эхо раздается въ шумѣвшихъ когда-то улицахъ, и бѣдный ветуринъ подъѣзжаетъ къ грязной остеріи, поселившейся въ великолѣпномъ дворцѣ. Въ нищенскомъ вретищѣ очутилась Италія, и пыльными отрепьями висятъ на ней куски ея померкнувшей царственной одежды.

Въ порывѣ душевной жалости, готовъ онъ былъ даже лить слезы. Но утѣшительная, величественная мысль приходила сама къ нему въ душу, и чуялъ онъ другимъ, высшимъ чутьемъ, что не умерла Италія, что слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всѣмъ міромъ, что вѣчно вѣетъ надъ нею ея великій геній, уже въ самомъ началѣ завязавшій въ груди ея судьбу Европы, внесшій крестъ въ европейскіе темные

лѣса, захватившій гражданскимъ багромъ на дальнемъ краю ихъ дикообразнаго человѣка, закипѣвшій здѣсь впервые всемірной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданскихъ пружинъ, вознесшійся потомъ всѣмъ блескомъ ума, вѣнчавшій чело свое святымъ вѣнцомъ поэзіи и, котда уже политическое вліяніе Италіи стало исчезать, развернувшійся надъ міромъ торжественными дивами — искусствами, подарившими человѣку невѣдомыя наслажденія и Божественныя чувства, которыя дотолѣ не подымались изъ лона души его. Когда же и вѣкъ искусства сокрылся и къ нему охладѣли погруженные въ разсчеты люди, онъ вѣетъ и разносится надъ міромъ въ завывающихъ вопляхъ музыки, и на берегахъ Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземнаго, Чернаго моря, въ стѣнахъ Алжира и на отдаленныхъ, еще недавно дикихъ островахъ гремятъ восторженные плески звонкимъ пѣвцамъ. Наконецъ самой ветхостью и разушеньемъ своимъ онъ грозно владычествуетъ нынѣ въ мірѣ: эти величавыя архитектурныя чуда остались, какъ призраки, чтобы попрекнуть Европу въ ея китайской мелочной роскоши, въ игрушечномъ раздробленіи мысли. И самое это чудное собраніе отжившихъ міровъ, и прелесть соединенія ихъ съ вѣчно цвѣтущей природой, все существуетъ для того, чтобы будить міръ, чтобъ жителю сѣвера, какъ сквозь сонъ, представлялся иногда этотъ югъ, чтобъ мечта о немъ вырывала его изъ среды хладной жизни, преданной занятіямъ, очерствляющимъ душу, вырвала бы его оттуда, блеснувъ ему нежданно уносящею въ даль перспективой, колизейскою ночью при лунѣ, прекрасно умирающей Венеціей, невидимымъ небеснымъ блескомъ и теплыми поцѣлуями чудеснаго воздуха, — чтобы хоть разъ въ жизни былъ онъ прекраснымъ человѣкомъ . . .

Въ такую торжественную минуту онъ примирялся съ разрушеньемъ своего отечества, и зрѣлись тогда ему во всемъ зародыши вѣчной жизни, вѣчно лучшаго будущаго, которое вѣчно готовитъ міру его вѣчный Творецъ. Въ такія минуты онъ даже весьма часто задумывался надъ нынѣшнимъ значеніемъ римскаго народа.

Онъ видѣлъ въ немъ матеріялъ, еще непочатой. Еще ни разу не игралъ онъ роли въ блестящую эпоху Италіи. Отмѣчали на страницахъ исторіи имена свои папы да аристократическіе домы, но народъ оставался незамѣтенъ. Его не зацѣплялъ ходъ двигавшихся внутри и внѣ его интересовъ; его не коснулось образованіе и не взметнуло вихремъ сокрытыя въ немъ силы. Въ его природѣ заключалось что-то младенчески-благородное. Эта гордость римскимъ именемъ, въ слѣдствіе которой часть города, считая себя потомками древнихъ квиритовъ, никогда не вступала въ брачные союзы съ другими; эти черты характера, смѣшаннаго изъ добродушія и страстей, показывающія свѣтлую его натуру (никогда Римлянинъ не забывалъ ни зла, ни добра; онъ или добрый или злой, или расточитель, или скряга; въ немъ добродѣтели и пороки въ своихъ самородныхъ слояхъ, и не смѣшались, какъ у образованнаго человѣка, въ неопредѣленные образы, у котораго всякихъ страстишекъ понемногу подъ верховнымъ начальствомъ эгоизма); эта невоздержность и порывъ развернуться на всѣ деньги — замашка сильныхъ народовъ: все это имѣло для него значеніе. Эта свѣтлая, непритворная веселость, которой теперь нѣтъ у другихъ народовъ . . . Вездѣ, гдѣ онъ ни былъ, ему казалось что стараются тѣшить народъ; здѣсь, напротивъ, онъ тѣшится самъ; онъ самъ хочетъ быть участникомъ; его насилу удержишь въ карнавалѣ; все, что́ ни накоплено имъ въ продолженіе года, онъ готовъ промотать въ эти полторы недѣли; все усадитъ онъ на одинъ нарядъ: одѣнется паяцомъ, женщиной, поэтомъ, докторомъ, графомъ, вретъ чепуху и лекціи и слушающему, и не слушающему, — и веселость эта обнимаетъ, какъ вихорь, всѣхъ, отъ сорока лѣтняго до мальчишки; послѣдній бобыль, которому не во что́ одѣться, выворачиваетъ себѣ куртку, вымазываетъ лицо углемъ и бѣжитъ туда же, въ пеструю кучу; и веселость эта прямо изъ его природы; ею не хмѣль дѣйствуетъ: тотъ же самый народъ освищетъ пьянаго, если встрѣтитъ его на улицѣ. Потомъ черты природ-

наго художественнаго инстинкта и чувства. Онъ видѣлъ, какъ простая женщина указывала художнику погрѣшность въ его картинѣ; онъ видѣлъ, какъ выражалось невольно это чувство въ живописныхъ одеждахъ, въ церковныхъ убранствахъ; какъ въ Дженсано народъ убиралъ цвѣточными коврами улицы; какъ разноцвѣтные листики цвѣтовъ обращались въ краски и тѣни, на мостовой выходили узоры, кардинальскіе гербы, портретъ папы, вензеля, птицы, звѣри и арабески; какъ наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья продавцы съѣстныхъ припасовъ, *пицикароли*, убирали свои лавчонки: свинные окорока, колбасы, бѣлые пузыри, лимоны и листья обращались въ мозаику и составляли плафонъ; круги пармезановъ и другихъ сыровъ, ложась одинъ на другой, становились въ колоны; изъ сальныхъ свѣчей составлялась бахрама мозаичнаго занавѣса, драпировавшаго внутреннія стѣны; изъ сала бѣлаго какъ снѣгъ, отливались цѣлыя статуи, историческія группы христіанскихъ и библейскихъ содержаній, которыя изумленный зритель принималъ за алебастровыя; вся лавочка обращалась въ свѣтлый храмъ, сіяя позлащенными звѣздами, искусно освѣщаясь развѣшанными шкаликами и отражая зеркалами безконечныя кучи яицъ. Для всего этого нужно было присутствіе вкуса, и пицикароле дѣлалъ это не изъ какихъ-нибудь доходовъ, но для того, чтобы полюбовались другіе и полюбоваться самому. Наконецъ, народъ, въ которомъ живетъ чувство собственнаго достоинства. Здѣсь онъ il popolo, а не чернь, и носитъ въ своей природѣ прямыя начала временъ первоначальныхъ квиритовъ; его не могли даже совратить наѣзды иностранцевъ, развратителей пребывающихъ въ бездѣйствіи націй, наѣзды, порождающіе по трактирамъ и дорогамъ презрѣннѣйшій классъ людей, по которымъ путешественникъ произноситъ часто сужденіе обо всемъ народѣ. Самая нелѣпость правительственныхъ постановленій, эта безсвязная куча всякихъ законовъ, возникшихъ во всѣ времена и отношенія и неуничтоженныхъ понынѣ, между которыми даже есть эдикты временъ древней римской

республики, — все это не искоренило высокаго чувства-справедливости въ народѣ. Онъ порицаетъ неправеднаго притязателя, освистываетъ гробъ покойника и впрягается великодушно въ колесницу, везущую тѣло, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшіе бы въ другихъ мѣстахъ развратъ, почти не дѣйствуютъ на него: онъ умѣетъ отдѣлить религію отъ лицемѣрныхъ исполнителей и не заразился холодной мыслью невѣрія. Наконецъ, самая нужда и бѣдность — неизбѣжный удѣлъ стоячаго государства — не ведутъ его къ мрачному злодѣйству: онъ веселъ и переноситъ все, и только въ романахъ да повѣстяхъ рѣжетъ по улицамъ. Все это показывало ему стихіи народа сильнаго, непочатого, для котораго какъ-будтобы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвѣщеніе какъ-будто съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія. Самое духовное правительство, этотъ странный уцѣлѣвшій призракъ минувшихъ временъ, осталось какъ-будто для того, чтобы сохранить народъ отъ посторонняго вліянія, чтобъ никто изъ честолюбивыхъ сосѣдей не посягнулъ на его личность, чтобы до времени въ тишинѣ таилась его гордая народность. Притомъ здѣсь, въ Римѣ, не слышалось чего-то умершаго; въ самихъ развалинахъ и великолѣпной бѣдности Рима не было того томительнаго, проникающаго чувства, которымъ объемлется невольно человѣкъ, созерцающій памятники заживо умирающей націи. Тутъ противоположное чувство: тутъ ясное, торжественное спокойствіе. И всякій разъ, соображая все это, князь предавался невольно размышленіямъ, и сталъ подозрѣвать какое-то таинственное значеніе въ словѣ *вѣчный Римъ*.

Итогъ всего этого былъ тотъ, что онъ старался узнавать болѣе и болѣе свой народъ. Онъ его слѣдилъ на улицахъ, въ кафе, гдѣ въ каждомъ были свои посѣтители: въ одномъ антикваріи, въ другомъ стрѣлки и охотники, въ третьемъ кардинальскіе слуги, въ четвертомъ художники, въ пятомъ вся римская молодежь

и римское щегольство; слѣдилъ въ остеріяхъ, чисто римскихъ остеріяхъ, куда не заходитъ иностранецъ, гдѣ римскій nobile садится иногда рядомъ съ миненте, и общество скидаетъ съ себя сюртуки и галстуки въ жаркіе дни; слѣдилъ его въ загородныхъ живописно-невзрачныхъ трактиришкахъ съ воздушными окнами безъ стеколъ, куда фамиліями и компаніями наѣзжали Римляне обѣдать, или, по ихъ выраженію, far allegria. Онъ садился и обѣдалъ вмѣстѣ съ ними, вмѣшивался охотно въ разговоръ, дивясь весьма часто простому здравомыслію и живой оригинальности разсказа простыхъ, неграмотныхъ горожанъ. Но болѣе всего онъ имѣлъ случай узнавать его во время церемоній и празднествъ, когда всплываетъ наверхъ все народонаселеніе Рима и вдругъ показывается несмѣтное множество дотолѣ неподозрѣваемыхъ красавицъ, красавицъ, которыхъ образы мелькаютъ только въ барельефахъ да въ древнихъ антологическихъ стихотвореніяхъ. Эти полные взоры, алебастровыя плечи, смолистые волосы, въ тысячѣ разныхъ образовъ поднятые на голову, или опрокинутые назадъ, картинно пронзенные насквозь золотой стрѣлой, руки, гордая походка, вездѣ черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть граціозныхъ женщинъ. Тутъ женщины казались подобными зданіямъ въ Италіи: онѣ или дворцы, или лачужки, — или красавицы, или безобразныя; средины нѣтъ между ними: хорошенькихъ нѣтъ. Онъ ими наслаждался, какъ наслаждался въ прекрасной поэмѣ стихами, выбившимися, изъ ряду другихъ и насылающими свѣжительную дрожь на душу.

Но скоро къ такимъ наслажденьямъ присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всѣмъ прочимъ, чувство, которое вызвало изъ душевнаго дна сильныя человѣческія страсти, подымающія демократическій бунтъ противъ высокаго единодержавія души: онъ увидѣлъ Аннунціату. И вотъ такимъ образомъ мы добрались наконецъ до свѣтлаго образа, который озарилъ начало нашей повѣсти.

Это было во время карнавала. «Сегодня я не

пойду на Корсо,» сказалъ принчипе своему maestro di casa, выходя изъ дому: «мнѣ надоѣдаетъ карнавалъ, мнѣ лучше нравятся лѣтніе праздники и церемоніи...»

«Но развѣ это карнавалъ?» сказалъ старикъ: «это карнавалъ ребятъ. Я помню карнавалъ: когда по всему Корсо ни одной кареты не было и всю ночь гремѣла по улицамъ музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали цѣлыя группы, исторіи; когда народъ — князь понимаетъ — весь народъ, всѣ, всѣ золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасныя женщины, вся синьорія, всѣ nobili, всѣ, всѣ, всѣ... o quanta allegria! Вотъ когда былъ карнавалъ, такъ карнавалъ! а теперь что́ за карнавалъ? э!» сказалъ старикъ и пожалъ плечами; потомъ опять сказалъ: «э!» и пожалъ плечами, и потомъ уже произнесъ: «E una porcheria!» Затѣмъ maestro di casa, въ душевномъ порывѣ, сдѣлалъ необыкновенно сильный жестъ рукою, но утишился, увидѣвъ, что́ князя давно предъ нимъ не было: онъ былъ уже на улицѣ. Не желая участвовать въ карнавалѣ, онъ не взялъ съ собой ни маски, ни желѣзной сѣтки на лицо и, забросившись плащомъ, хотѣлъ только пробраться чрезъ Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишкомъ густа. Едва только продрался онъ между двухъ человѣкъ, какъ уже попотчивали его сверху мукой; пестрый арлекинъ ударилъ его по плечу трещеткою, пролетѣвъ мимо съ своей коломбиною; *конфетти* и пучки цвѣтовъ полетѣли ему въ глаза; съ двухъ сторонъ стали ему жужжать въ уши: съ одной стороны графъ, съ другой медикъ, читавшій ему длинную лекцію о томъ, что́, у него находится въ желудочной кишкѣ. Пробиться между нихъ не было силъ, потому что народная толпа возрасла, цѣпь, экипажей, уже не будучи въ возможности двинуться, остановилась. Вниманіе толпы занялъ какой-то смѣльчакъ, шагавшій на ходуляхъ наравнѣ съ домами, рискуя всякую минуту быть сбитымъ съ ногъ и грохнуться на-смерть о мостовую. Но объ этомъ, кажется, у него не было заботы. Онъ тащилъ на плечахъ чучелу великана, придерживая ее одной рукою, неся въ

другой написанный на бумагѣ сонетъ, съ придѣланнымъ къ нему бумажнымъ хвостомъ, какой бываетъ у бумажнаго змѣя, и крича во весь голосъ: Ecco il gran poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda (вотъ умершій великій поэтъ! вотъ его сонетъ съ хвостомъ)! [1]) Этотъ смѣлчакъ сгустилъ за собою толпу до такой степени, что князь едва могъ перевести духъ. Наконецъ вся толпа двинулась впередъ за мертвымъ поэтомъ; цѣпь экипажей тронулась, чему онъ обрадовался сильно, хоть народное движеніе сбило съ него шляпу, которую онъ теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, онъ поднялъ вмѣстѣ и глаза, и остолбенѣлъ: предъ нимъ стояла неслыханная красавица. Она была въ сіяющемъ альбаньскомъ нарядѣ, въ ряду двухъ другихъ, тоже прекрасныхъ женщинъ, которыя были предъ ней — какъ ночь передъ днемъ. Это было чудо въ высшей степени. Все должно было померкнуть предъ этимъ блескомъ. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянскіе поэты и сравниваютъ красавицъ съ солнцемъ. Это именно было солнце, — полная красота. Все, что́ разсыпалось и блистаетъ поодиночкѣ въ красавицахъ міра, все это собралось сюда вмѣстѣ. Взглянувши на грудь и бюстъ ея, уже становилось очевидно, чего недостаетъ въ груди и бюстахъ прочихъ красавицъ. Предъ ея густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными всѣ другіе волосы. Ея руки были для того, чтобы всякаго обратить въ художника, — какъ художникъ, глядѣлъ бы онъ на нихъ вѣчно, не смѣя дохнуть. Передъ ея ногами показались бы щепками ноги Англичанокъ, Нѣмокъ, Француженокъ и женщинъ всѣхъ другихъ націй; одни только древніе ваятели удержали высокую идею красоты ихъ въ своихъ статуяхъ. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всѣхъ равно

---

1) Въ итальянской поэзіи существуетъ родъ стихотворенья, извѣстнаго подъ именемъ *сонета съ хвостомъ* (con la coda), когда мысль не вмѣстилась и ведетъ за собою прибавленіе, которое часто бываетъ длиннѣе самого сонета.

ослѣпить. Тутъ не нужно было имѣть какой-нибудь особенный вкусъ; тутъ всѣ вкусы должны были сойтися, всѣ должны были повергнуться ницъ: и вѣрующій и невѣрующій упали бы передъ ней, какъ предъ внезапныхъ появленіемъ Божества. Онъ видѣлъ, какъ весь народъ, сколько его тамъ ни было, заглядѣлся на нее, какъ женщины выразили невольное изумленіе на своихъ лицахъ, смѣшанное съ наслажденьемъ, и повторяли: «o, bella!» какъ все, что́ ни было, казалось, превратилось въ художника и смотрѣло пристально на одну ее. Но въ лицѣ красавицы написано было только одно вниманіе къ карнавалу: она смотрѣла только на толпу и на маски, не замѣчая обращенныхъ на нее глазъ, едва слушая стоявшихъ позади ея мущинъ въ бархатныхъ курткахъ, вѣроятно, родственниковъ, пришедшихъ вмѣстѣ съ ними. Князь принимался-было разспрашивать у стоявшихъ подлѣ него: кто была такая чудная красавица и откуда? Но вездѣ получалъ въ отвѣтъ одно только пожатіе плечьми, сопровождаемое жестомъ, и слова: «Не знаю, должно быть, иностранка.» [1]) Недвижный, притаивъ дыханье, онъ поглошалъ ее глазами. Красавица наконецъ навела на него свои полныя очи, но тутъ же смутилась и отвела ихъ въ другую сторону. Его пробудилъ крикъ: передъ нимъ остановилась громадная телѣга. Толпа находившихся въ ней масокъ въ розовыхъ блузахъ, назвавъ его по имени, принялась качать въ него мукой, сопровождая однимъ длиннымъ восклицаніемъ *у, у, у*!... и въ одну минуту съ ногъ до головы былъ онъ усыпанъ бѣлою пылью, при громкомъ смѣхѣ всѣхъ обступившихъ его сосѣдей. Весь бѣлый, какъ снѣгъ, даже съ бѣлыми рѣсницами, князь побѣжалъ наскоро домой переодѣться.

Покамѣсть онъ сбѣгалъ домой, пока успѣлъ переодѣться, уже только полтора часа оставалось до *Ave*

1) Римляне всѣхъ, кто не живетъ въ Римѣ, называютъ иностранцами (forestieri), хотя бы они обитали только въ 10 миляхъ отъ города.

Maria. Съ Корсо возвращались пустыя кареты: сидѣвшіе въ нихъ перебрались на балконы смотрѣть оттуда непереставшую двигаться толпу, въ ожиданіи коннаго бѣга. При поворотѣ на Корсо, встрѣтилъ онъ телѣгу, полную мущинъ, въ курткахъ, и сіяющихъ женщинъ, съ цвѣточными вѣнками на головахъ, съ бубнами и тимпанами въ рукахъ. Телѣга, казалось, веселo возвращалась домой; бока ея были убраны гирляндами, спицы и ободья колесъ увиты зелеными вѣтвями. Сердце его захолонуло, когда онъ увидѣлъ, что среди женщинъ сидѣла въ ней поразившая его красавица. Сверкающимъ смѣхомъ озарялось ея лицо. Телѣга бытро промчалась при кликахъ и пѣсняхъ. Первымъ дѣломъ его было бѣжать вслѣдъ ея; но дорогу перегородилъ ему огромный поѣздъ музыкантовъ: на шести колесахъ везли страшилищной величины скрипку. Одинъ человѣкъ сидѣлъ верхомъ на подставкѣ, другой, идя съ боку ея, водилъ громаднымъ смычкомъ по четыремъ канатамъ, натянутымъ на нее вмѣсто струнъ. Скрипка, вѣроятно, стоила большихъ трудовъ, издержекъ и времени. Впереди шелъ исполинскій барабанъ. Толпа народа и мальчишекъ тѣсно валила вслѣдъ за музыкальнымъ поѣздомъ, и шествіе замыкалъ извѣстный въ Римѣ своей толщиною пицикароле, неся клистирную трубку вышиною съ колокольню. Когда улица очистилась отъ поѣзда, князь увидѣлъ, что бѣжать за телѣгой глупо и поздно, и притомъ неизвѣстно, по какимъ дорогамъ понеслась она. Онъ не могъ, однакоже, отказаться отъ мысли искать ее. Въ воображеніи его порхалъ этотъ сіяющій смѣхъ открытыя уста, съ чудными рядами зубовъ. «Это блескъ молніи, а не женщина!» повторялъ онъ въ себѣ, и въ тоже время съ гордостью прибавлялъ: «Она Римлянка: такая женщина могла только родиться въ Римѣ. Я долженъ непремѣнно ее увидѣть; я хочу ее видѣть, не съ тѣмъ, чтобы любить ее, нѣтъ, я хотѣлъ бы только смотрѣть на нее, смотрѣть на всю ее, смотрѣть на ея очи, смотрѣть на руки, на ея пальцы, на блистающіе волосы. Не цѣловать ее, хотѣлъ бы только глядѣть на нее. И что́ же? вѣдь

это такъ должно быть, это въ законѣ природы; она не имѣетъ права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того въ міръ, чтобы всякій ее увидалъ, чтобы идею о ней сохранялъ вѣчно въ своемъ сердцѣ. Еслибы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имѣла право принадлежать одному, ее бы могъ онъ унести въ пустыню, скрыть отъ міра. Но красота полная должна быть видима всѣмъ. Развѣ великолѣпный храмъ стоитъ архитекторъ въ тѣсномъ переулкѣ? Нѣтъ, онъ ставитъ его на открытой площади, чтобы человѣкъ со всѣхъ сторонъ могъ оглянуть его и подивиться ему. Развѣ для того зажженъ свѣтильникъ, сказалъ Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить подъ столъ? Нѣтъ, свѣтильникъ зажженъ для того, чтобы стоять на столѣ, чтобы всѣмъ было видно, чтобы всѣ двигались при его свѣтѣ. Нѣтъ, я долженъ ее, видѣтъ непремѣнно!» Такъ разсуждалъ князь, и потомъ долго передумывалъ и перебиралъ всѣ средства, какъ достигнуть этого; наконецъ, какъ казалось, остановился на одномъ и отправился тутъ же, ни мало ни медля, въ одну изъ тѣхъ отдаленныхъ улицъ, которыхъ много въ Римѣ, гдѣ нѣтъ даже кардинальскаго дворца съ выставленными расписными гербами на деревянныхъ овальныхъ щитахъ, гдѣ видѣнъ нумеръ надъ каждымъ окномъ и древью тѣснаго домика, гдѣ идетъ горбомъ выпученная мостовая, куда изъ иностранцевъ заглядываетъ только развѣ пройдоха нѣмецкій художникъ съ походнымъ стуломъ и красками да козелъ, отставшій отъ проходящаго стада и остановившійся посмотрѣть съ изумленьемъ, что́ за улица, имъ никогда невиданная. Тутъ раздается звонко лепетъ Римлянокъ: со всѣхъ сторонъ, изо всѣхъ оконъ несутся рѣчи и переговоры. Тутъ все откровенно, и проходящій можетъ совершенно знать всѣ домашнія тайны; даже мать съ дочерью разговариваютъ не иначе между собою, какъ высунувъ обѣ свои головы на улицу; тутъ мущинъ незамѣтно вовсе. Едва только блеснетъ утро, уже открываетъ окно и высовыется сьора Сусанна; потомъ изъ дру-

гого выказывается сьора Грація, надѣвая юбку; потомъ открываетъ окно сьора Нанна; потомъ вылѣзаетъ сьора Лучія, расчесывая гребнемъ косу; наконецъ сьора Чечилія высовываетъ руку изъ окна, чтобы достать бѣлье на протянутой веревкѣ, которое тутъ же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьемъ, киданьемъ на полъ и словами: che bestia! Тутъ все живо, все кипитъ: летитъ изъ окна башмакъ съ ноги въ шалуна-сына, или въ козла, который, подошедъ къ корзинкѣ, гдѣ поставленъ годовой ребенокъ, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что́ такое значатъ рога. Тутъ ничего не было неизвѣстнаго: все извѣстно. Синьоры все знали, что́ ни есть: какой сьора Джюдита купила платокъ, у кого будетъ рыба за обѣдомъ, кто любовникъ у Барбаручьи, какой капуцинъ лучше исповѣдуетъ. Изрѣдка только вставляетъ свое слово мужъ, стоящій обыкновенно на улицѣ, облокотясь у стѣны, съ коротенькою трубкою въ зубахъ, почитавшій необходимостью, услыша о капуцинѣ, прибавить короткую фразу: «Всё мошенники!» послѣ чего продолжалъ снова пускать себѣ подъ носъ дымъ. Сюда не заѣзжала никакая карета, кромѣ развѣ только одной двухъ-колесной трясучки, запряженной муломъ, привезшимъ хлѣбнику муку, и соннаго осла, едва дотащившаго перекидную корзинку съ броколями, не смотря на всѣ понуканья мальчишекъ, угощающихъ каменьями его нещекотливые бока. Тутъ нѣтъ никакихъ магазиновъ, кромѣ лавчонки, гдѣ продаются хлѣбъ и веревки, съ стеклянными бутылями, да темнаго узенькаго кафе, находящагося въ самомъ углу улицы, откуда виденъ былъ безпрестанно выходившій боттега, разносящій синьорамъ кофе, или шоколадъ на козьемъ молокѣ, въ жестяныхъ маленькихъ кофейничкахъ, извѣстный подъ именемъ Авроры. Домы тутъ принадлежали двумъ, тремъ, а иногда и четыремъ владѣльцамъ, изъ которыхъ одинъ имѣетъ только пожизненное право, другой владѣетъ однимъ этажемъ, и имѣетъ право пользоваться съ него доходомъ только два года, послѣ чего, въ слѣд-

ствіе завѣщанія, этажъ долженъ былъ перейти отъ него къ padre Vicenzo на десять лѣтъ, у котораго, однакоже, хочетъ оттягать его какой-то родственникъ прежней фамиліи, живущій во Фраскати и уже заблаговременно затѣявшій процессъ. Были и такіе владѣльцы, которые владѣли однимъ окномъ въ одномъ домѣ, да другими двумя въ другомъ домѣ, да пополамъ съ братомъ пользовались доходами съ окна, за которое, впрочемъ, вовсе не платилъ неисправный жилецъ; словомъ, предметъ неистощимый тяжебъ и продовольствія адвокатовъ и куріаловъ, наполняющихъ Римъ. Дамы, о которыхъ только-что было упомянуто, всѣ, какъ первоклассныя, честимыя полными именами, такъ и второстепенныя, называвшіяся уменьшительными именами, всѣ Тетты, Тутты, Нанны, большею частію ничѣмъ не занимались: онѣ были супруги — адвоката, мелкаго чиновника, мелкаго торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умѣвшаго только красиво драпироваться не весьма надежнымъ плащомъ.

Многія изъ синьоръ служили моделями для живописцевъ. Тутъ были всѣхъ родовъ модели. Когда бывали деньги, онѣ проводили весело время въ остеріи съ мужьями и цѣлой компаніей; не было денегъ — не были скучны и глядѣли въ окно. Теперь улица была тише обыкновеннаго, потому что нѣкоторыя отправились въ народную толпу, на Корсо. Князь подошелъ къ ветхой двери одного домика, которая вся была выверчена дырами, такъ что самъ хозяинъ долго тыкалъ въ нихъ ключомъ, покамѣсть попадалъ въ настоящую. Уже готовъ онъ былъ взять за кольцо, какъ вдругъ услышалъ слова: «Сьоръ принчипе хочетъ видѣть Пеппе?» Онъ поднялъ голову вверхъ: изъ третьяго этажа глядѣла, высунувшись, сьора Тутта.

«Экая крикунья!» сказала изъ супротивнаго окна сьора Сусанна: «Принчипе, можетъ быть, совсѣмъ пришелъ не съ тѣмъ, чтобъ видѣть Пеппе.»

«Конечно съ тѣмъ, чтобы видѣть Пеппе? не правда ли князь? Съ тѣмъ, чтобы видѣть Пеппе? не такъ ли, князь? Чтобы увидѣть Пеппе?»

«Какой Пеппе, какой Пеппе?» продолжала съ жестомъ обѣими руками сьора Сусанна: «князь сталъ бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала; князь поѣдетъ вмѣстѣ съ своей куджиной, маркезой Монтелли, поѣдетъ съ друзьями въ каретѣ бросать цвѣты, поѣдетъ за городъ far allegria. Какой Пеппе! какой Пеппе!»

Князь изумился такимъ подробностямъ о своемъ препровожденіи времени, но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

«Нѣтъ, мои любезныя синьоры,» сказаль князь: «мнѣ точно нужно видѣть Пеппе.»

На это дала отвѣтъ князю уже синьора Грація, которая давно высунулась изъ окошка второго этажа и слушала. Отвѣтъ дала она, слегка пощелкавъ языкомъ и покрутивъ пальцемъ (обыкновенный отрицательный знакъ у Римлянокъ) и потомъ прибавила: «Нѣтъ дома.»

«Но, можетъ быть, вы знаете, гдѣ онъ, куда ушелъ?»

«Э, куда ушелъ!» повторила сьора Грація, приклонивъ голову къ плечу; статься-можетъ въ остеріи, на площади, у фонтана; вѣрно, кто-нибудь позвалъ его, куда-нибудь ушелъ: chi lo sa (кто его знаетъ)!»

«Если хочетъ принчипе что-нибудь сказать ему,» подхватила изъ супротивнаго окна Барбаручья, вдѣвая въ тоже время серьгу въ свое ухо, «пусть скажетъ мнѣ; я ему передамъ.»

«Ну, нѣтъ,» подумалъ князь и поблагодарилъ за такую готовность. Въ это время выглянулъ изъ перекрестнаго переулка огромный запачканный носъ и, какъ большой топоръ, повиснулъ надъ показавшимися вслѣдъ за нимъ губами и всѣмъ лицомъ. Это самъ Пеппе.

«Вотъ Пеппе!» вскрикнула сьора Сусанна.

«Вотъ идетъ Пеппо, sior principe!» вскрикнула живо изъ своего окна синьора Грація.

«Идетъ, идетъ Пеппе!» зазвенѣла изъ самого угла улицы сьора Чечилія.

«Принчипе, принчипе! вонъ Пеппе! вонъ Пеппе! (ecco Peppe! ecco Peppe!)» кричали на улицѣ ребятишки.

«Вижу, вижу!» сказалъ князь, оглушенный такимъ живымъ крикомъ.

«Вотъ я, eccellenza! вотъ!» сказалъ Пеппе, снимая шапку. Онъ, видно, уже успѣлъ попробовать карнавала: его откуда-нибудь съ боку хватило сильно мукою; весь бокъ и спина были у него выбѣлены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито бѣлыми гвоздями. Пеппе уже былъ замѣчателенъ потому, что всю жизнь свою остался съ уменьшительнымъ именемъ своимъ, Пеппе. До Джьузеппе онъ никакъ не добрался, хотя и посѣдѣлъ. Онъ происходилъ даже изъ хорошей фамиліи, изъ богатаго дома негоціанта, но послѣдній домишка былъ у него оттяганъ тяжбой. Еще отецъ его человѣкъ тоже въ родѣ самого Пеппе, хотя и назывался sior Джіованни, проѣлъ послѣднее имущество, и онъ мыкалъ теперь свою жизнь подобно многимъ, то есть, какъ приходилось: то вдругъ опредѣлялся слугой у какого-нибудь иностранца, то былъ на посылкахъ у адвоката, то являлся убирателемъ студіи какого-нибудь художника, сторожемъ виноградника, или виллы, и, по мѣрѣ того, измѣнялся на немъ безпрестанно костюмъ. Иногда Пеппе попадался на улицѣ въ круглой шляпѣ и широкомъ сюртюкѣ, иногда въ узенькомъ кафтанѣ, лопнувшемъ въ двухъ, или трехъ мѣстахъ, съ такими узенькими рукавами, что длинныя руки его выглядывали оттуда, какъ метлы; иногда на ногѣ его являлся поповскій чулокъ и башмакъ; иногда онъ показывался въ такомъ костюмѣ, что ужъ и разобрать было трудно, тѣмъ болѣе, что все это было надѣто вовсе не такъ, какъ слѣдуетъ: иной разъ, просто, можно было подумать, что онъ надѣлъ на ноги, вмѣсто панталонъ, крутку, собравши и завязавши ее кое-какъ сзади. Онъ былъ самый радушный исполнитель всѣхъ возможныхъ порученій, часто вовсе безъинтересно: тащилъ продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаминныя книги разорившагося аббата, или анти-

кварія, картину художника; заходилъ по утрамъ къ аббатамъ забирать ихъ панталоны и башмаки для почистки къ себѣ на домъ, которые потомъ позабывалъ въ урочное время отнести назадъ, отъ излишняго желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными безъ башмаковъ и панталонъ на весь день. Часто ему перепадали порядочныя деньги; но деньгами онъ распоряжался по-римски, то есть, на-завтра никогда почти ихъ не ставало, — не потому, чтобы онъ тратилъ на себя, или проѣдалъ, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой былъ онъ страшный охотникъ. Врядъ ли существовалъ такой нумеръ, котораго бы онъ не попробовалъ. Всякое незначущее ежедневное происшествіе у него имѣло важное значеніе. Случилось ли ему найти на улицѣ какую-нибудь дрянь, онъ тотъ же часъ справлялся въ гадательной книгѣ, за какимъ нумеромъ она тамъ стоитъ, съ тѣмъ, чтобы его тотчасъ же взять въ лотереѣ. Приснился ему однажды сонъ, что сатана — который и безъ того ему снился, неизвѣстно по какой причинѣ, въ началѣ каждой весны, — что сатана потащилъ его за носъ по всѣмъ крышамъ всѣхъ домовъ, начиная отъ церкви св. Игнатія, потомъ по всему Корсо, потомъ по переулку tre Ladroni, потомъ по via della Stamperia, и остановился наконецъ у самой Trinita на лѣстницѣ, приговаривая: «вотъ тебѣ, Пеппа, за то́, что ты молился св. Панкратію: твой билетъ не выигралъ!» Сонъ этотъ произвелъ большіе толки между сьорой Чечиліей, сьорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрѣшилъ его по-своему: сбѣгалъ тотъ же часъ за гадательной книгой, узналъ, что чортъ значитъ 13 нумеръ, носъ 24, святой Панкратій 30, и взялъ въ то же утро всѣ три нумера. Потомъ сложилъ всѣ три нумера — вышелъ 67, онъ взялъ и 67. Всѣ четыре нумера, по обыкновенью, лопнули. Въ другой разъ случилось ему завести перепалку съ виноградаремъ толстымъ Римляниномъ, сьоромъ Рафаэлемъ Томачелли. За что́ они поссорились, Богъ ихъ вѣдаетъ, но кричали они громко, производя силные жесты руками, и наконецъ оба по-

блѣднѣли — признакъ ужасный, при которомъ обыкновенно со страхомъ высовываются изъ оконъ всѣ женщины и проходящій пѣшеходъ отстораниваетсяподальше, — признакъ, что дѣло доходитъ наконецъ до ножей. И точно, толстый Томачелли запустилъ уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда ножъ, и сказалъ: «Погоди ты, вотъ я тебя, телячья голова!» какъ вдругъ Пеппе ударилъ себя рукою по лбу и убѣжалъ съ мѣста битвы. Онъ вспомнилъ, что на телячью голову онъ еще ни разу не взялъ билета; отыскалъ нумеръ телячьей головы и побѣжалъ бѣгомъ въ лотерейную контору, такъ что всѣ приготовившіеся смотрѣть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и самъ Рафаэль Томачелли, засунувши обратно ножъ въ голенище, долго не зналъ, что ему дѣлать, и наконецъ сказалъ: Che uomo curioso (какой странный человѣкъ)! Что билеты лопались и пропадали, этимъ не смущался Пеппе. Онъ былъ твердо увѣренъ, что будетъ богачомъ, и потому, проходя мимо лавокъ, спрашивалъ почти всегда, что стоитъ всякая вещь. Одинъ разъ, узнавши, что продается большой домъ, онъ зашелъ нарочно поговорить объ этомъ съ продавцомъ; и, когда стали надъ нимъ смѣяться знавшіе его, онъ отвѣчалъ очень простодушно: «Но къ чему смѣяться? къ чему смѣяться? Я вѣдь не теперь хотѣлъ купить, а послѣ, со-временемъ, когда будутъ деньги. Тутъ ничего нѣтъ такого.... всякій долженъ пріобрѣтать состояніе, чтобы оставить потомъ дѣтямъ, на церковь, бѣднымъ, на другія разныя вещи... chi lo sa!» Онъ уже давно былъ извѣстенъ князю, былъ даже когда-то взятъ отцомъ его въ домъ въ качествѣ офиціянта, и тогда же прогнанъ за то, что въ мѣсяцъ износилъ свою ливрею и выбросилъ за окно весь туалетъ стараго князя, нечаянно толкнувъ его локтемъ.

«Послушай, Пеппе!» сказалъ князь.

«Что́ хочетъ приказать eccelenza?» говорилъ Пеппе, стоя съ открытою головою; «князю стоитъ только сказать: Пеппе! а я — Вотъ я! Потомъ князь пусть только скажетъ: Слушай, Пеппе! а я — Ecco me eccelenza!»

«Ты долженъ, Пеппе, сдѣлать мнѣ теперь вотъ какую услугу . . .» При сихъ словахъ князь взглянулъ вокругъ себя и увидѣлъ, что́ всѣ сьоры Граціи, сьоры Сусанны, Барбаруччьи, Тетты, Тутты, всѣ, сколько ихъ ни было, выставились любопытно изъ окна, а бѣдная сьора Чечилія чуть не вывалилась вовсе на улицу.

«Ну дѣло плохо!» подумалъ князь. «Пойдемъ, Пеппе, ступай за мною!»

Сказавши это, онъ пошелъ впередъ, а за нимъ Пеппе, потупивъ голову и разговаривая самъ съ собою: «Э, женщины! потому и любопытны, потому что женщины, потому что любопытны.»

Долго шли они изъ улицы въ улицу, погрузясь каждый въ свои соображенія. Пеппе думалъ вотъ о чемъ: «Князь дастъ, вѣрно, какое нибудь порученіе, можетъ быть важное, потому что не хочетъ сказать при всѣхъ; стало быть дастъ хорошій подарокъ, или деньги. Если же князь дастъ денегъ что́ съ ними дѣлать? Отдавать ли ихъ сьору Сервилію, содержателю кафе, которому онъ давно долженъ, потому-что сьоръ Сервиліо на первой же недѣлѣ поста непременно потребуетъ съ него денегъ, потому что сьоръ Сервиліо усадилъ всѣ деньги на чудовищную скрипку, которую собственноручно дѣлалъ три мѣсяца для карнавала, чтобъ проѣхаться съ нею по всѣмъ улицамъ, — теперь, вѣроятно, сьоръ Сервиліо долго будетъ ѣсть, вмѣсто жаренаго на вертелѣ козленка, одни броколи, вареные въ водѣ, пока не наберетъ вновь денегъ за кофе. Или же не платить сьору Сервиліо, да вмѣсто того позвать его обѣдать въ остерію, потому что сьоръ Сервиліо il vero Romano, и за предложенную ему честь будетъ готовъ потерпѣть долгъ; а лотерея непремѣнно начнется со второй недѣли поста. Только какимъ образомъ до того времени уберечь деньги? какъ сохранить ихъ такъ, чтобы не узналъ ни Джакомо, ни мастеръ Петручьо, точильщикъ, которые непремѣнно попросятъ у него взаймы, потому что Джакомо заложилъ въ Гету Жидамъ все свое платье, а мастеръ Петручьо тоже заложилъ свое платье въ Гету Жидамъ, и разорвалъ

на себѣ юбку и послѣдній платокъ жены, нарядясь женщиною... какъ сдѣлать такъ, чтобы не дать имъ въ-займы?» Вотъ о чемъ думалъ Пеппе.

Князь думалъ вотъ о чемъ: «Пеппе можетъ разыскать и узнать имя, гдѣ живетъ и откуда, и кто такая красавица. Во-первыхъ, онъ всѣхъ знаетъ, и потому, больше нежели всякій другой, можетъ встрѣтить въ толпѣ пріятелей, можетъ чрезъ нихъ развѣдать, можетъ заглянуть во всѣ кафе и остеріи, можетъ заговорить даже, не возбудивъ ни въ комъ подозрѣнія своей фигурой. И хотя онъ подъ-часъ болтунъ и разсѣянная голова, однако, если обязать его словомъ настоящаго Римлянина, онъ сохранитъ все втайнѣ.»

Такъ думалъ князь, идя изъ улицы въ улицу, и наконецъ остановился, увидѣвши, что уже давно перешелъ мостъ давно уже былъ въ Транстеверской сторонѣ Рима, давно взбирается на гору, и недалеко отъ него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дорогѣ, онъ взошелъ на площадку, съ которой открывался весь Римъ, и произнесъ, оборотившись къ Пеппе: «Слушай, Пеппе: я отъ тебя потребую одной услуги.»

«Что́ хочетъ eccelenza?» сказалъ опять Пеппе. Но тутъ князь взглянулъ на Римъ и остановился: передъ нимъ въ чудной сіяющей панорамѣ предсталъ вѣчный городъ. Вся свѣтлая груда домовъ, церквей, куполовъ, остроконечій сильно освѣщена была блескомъ понизившагося солнца. Группами и поодиночкѣ одинъ изъ-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушныя террасы, и галлереи; тамъ пестрѣла и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколенъ и куполовъ, съ узорною капризностью фонарей; тамъ выходилъ цѣликомъ темный дворецъ; тамъ плоскій куполъ Пантеона; тамъ убранная верхушка Антониновской колонны, съ капителью и статуей Апостола Павла; еще правѣе возносили верхи капитолійскія зданія, съ конями, статуями; еще провѣе надъ блещущей толпой домовъ и крышъ величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады; тамъ опять играющая толпа стѣнъ, террасъ и куполовъ, покрытая ослѣпительнымъ блескомъ

солнца. И надъ всей сверкающей массой темнѣли вдали своей черною зеленью верхушки каменныхъ дубовъ изъ виллъ Людовизи, Медичисъ, и цѣлымъ стадомъ стояли надъ ними въ воздухѣ куполообразныя верхушки римскихъ пиннъ, поднятыя тонкими стволами. И потомъ во всю длину всей картины возносились и голубѣли прозрачныя горы, легкія какъ воздухъ, объятыя какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ. Ни словомъ, ни кистью нельзя было передать чуднаго согласія и сочетанія всѣхъ плановъ этой картины! воздухъ былъ до того чистъ и прозраченъ, что малѣйшая черточка отдаленныхъ зданій была ясна, и все казалось такъ близко, какъ-будто можно было схватить рукою. Послѣдній мелкій архитектурный орнаментъ, узорное убранство карниза — все означалось въ непостижимой чистотѣ. Въ это время раздались пушечный выстрѣлъ и отдаленный слившійся крикъ народной толпы — знакъ, что уже пробѣжали кони безъ сѣдоковъ, завершающіе день карнавала. Солнце опускалось ниже къ землѣ; румянѣе и жарче сталъ блескъ его на всей архитектурной массѣ: еще живѣй и ближе сдѣлался городъ; еще темнѣй зачернѣли пинны, голубѣе и фосфорнѣе стали горы; еще торжественнѣе и лучше готовый погаснуть небесный воздухъ... Боже! какой видъ! Князь, объятый имъ, позабылъ и себя, и красоту Ануціаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что́ ни есть на свѣтѣ.

ОСТРАНИЦА.

НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА.

ГЛАВА I.

Былъ Апрѣль 1645 года, время, когда природа въ Малороссіи похожа на первый день своего творенія; самая нѣжная зелень убирала очнувшіяся деревья и степи. Этотъ день былъ передъ самымъ Воскресеньемъ Христовымъ. Онъ уже прошелъ, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый дѣвственный воздухъ, разносившій дыханіе весны, вѣялъ сильнѣе. Сквозь жидкую сѣть вишневыхъ листьевъ мелькали въ огнѣ окна деревяной церкви села Комышны. Старая, истерзанная временемъ, покрытая мохомъ церковь, будто обновилась; вокругъ ее, какъ рои пчелъ, толпились козаки изъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ, изъ которыхъ едва десятая часть помѣстилась въ церкви. Было душно; но что-то говорило свѣтлымъ торжествомъ. Авторъ проситъ читателей вообразить себѣ эту картину XVII-го столѣтія. Мужественныя, худощавыя, съ рѣзкими чертами, лица и бритыя головы, опустившіеся внизъ усы, падавшіе на грудь, широкія плечи, атлетическая сила, при каждомъ почти заткну-

тый за поясъ пистолетъ и сабля показывали уже въ какую эпоху собрались козаки. Странно было глядѣть на это море головъ, почти неволновавшееся. Благоговѣйное чувство обнимало зрителя. Все здѣсъ собравшееся было характеръ и воля, но и то и другое было тихо и безмолвно. Свѣтъ паникадила, отбрасываясь на всѣхъ, придавалъ еще сильнѣе выраженіе лицамъ. Это была картина великаго художника, вся полная движенія, жизни, дѣйствія и между тѣмъ неподвижная. Почти незамѣтно прибавилось одно новое лицо къ молящимся. Оно возвышалось надъ другими почти цѣлою головою; какой-то крѣпкій, смѣлый окладъ, какая-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вмѣстѣ такъ живо, что, взглянувши, ожидалъ бы непремѣнно услышать отъ него слово, чтобы увидѣть его измѣнившимся, какъ-будтобы оно непремѣнно должно было все заговорить конвульсіями. Но между тѣмъ, какъ всѣ мало-по малу начали обращаться на него, вся масса двинулась изъ храма, для торжественнаго хода вокругъ церкви, и замѣчательная физіономія смѣшалась съ другими. (У) выхода по церковной лѣстницѣ, у самаго крыльца, стояли нѣсколько Жидовъ, содержавшіе, по волѣ польскаго правительства, откупъ, и спорили между собою, намѣчая меломъ пасхи, приносимыя для освященія христіанами. Нужно было видѣть, какъ на лицѣ каждаго выходившаго дрогнули скулы. Это постановленіе правительства было уже давно объявлено; народъ съ ропотомъ, но покорился силѣ. Оппозиціонисты были испровержены. Къ этому, кажется, всѣ уже привыкли, зная что это такъ (постановлено); но, не смотря на это, при видѣ этого постановленія, приводимаго въ исполненіе, онъ такъ изумился, какъ-будтобы это была новость. Такъ преступникъ, знающій о своемъ осужденіи на смерть, еще движется, еще думаетъ о своихъ дѣлахъ; но прочитанный приговоръ разомъ разрушаетъ въ немъ жизнь. Послѣ перемѣны въ лицѣ, рука каждаго невольно опустилась къ кинжалу, или къ пистолетамъ. Но ходъ окончился; всѣ спокойно вошли въ церковь, при пѣніи *Христосъ вос-*

кресе изъ мертвыхъ! Между тѣмъ совершенно наступило утро. Выстрѣлы изъ пистолетъ и мушкетовъ потрясали деревяныя стѣны церкви. На всѣхъ лицахъ просіяла радость: у однихъ при мысли о пасхѣ, у дѣвушекъ при цѣлованьи съ козаками, (у тѣхъ) при попойкѣ, какъ вдругъ страшный шумъ извнѣ заставилъ многихъ выйти. Передъ разрушившейся церковью собрались въ кучу, изъ которой раздавались брань и крикъ Жидовъ. Три Жида отбирали у дряхлаго, посѣдѣвшаго, какъ лунь, козака, пасху, яицы и барана, утверждая, что онъ не вносилъ за нихъ денегъ. За старика вступилось двое, стоявшихъ около него; къ нимъ пристали еще, и наконецъ цѣлая толпа готовилась задавить Жидовъ, если бы тотъ же самый широкоплечій, высокаго росту, чья физіономія такъ поразила находившихся въ церкви, не остановилъ однимъ своимъ мощнымъ взглядомъ. «Чего вы, хлопцы, съ-дуру бѣснуетесь? У васъ, видно, нѣтъ ни на волосъ Божьяго страха. Люди стоятъ въ церкви и молятся, а вы тутъ чортъ знаетъ что́ дѣлаете. Гайда по мѣстамъ!» Послушно всѣ какъ овцы разбрелись по своимъ мѣстамъ, разсуждая: что́ это за чудо такое, откудова оно взялось и съ какой стати ввязывается онъ, куда его не просятъ, и отъ чего онъ хочетъ, чтобы слушались! Но это каждый только подумалъ, а не сказалъ вслухъ. Взглядъ и голосъ незнакомца какъ-будто имѣли волшебство: такъ были повелительны. Одинъ Жидъ стоялъ только, не отходя, и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною помощью, началъ было снова приступать, какъ тотъ же самый (козакъ подошелъ) и схватилъ его могучею рукою за воротъ такъ, что бѣдный потомокъ Израилевъ съежился и присѣлъ на колѣни. — «Ты чего хочешь, свиное ухо? Такъ тебѣ еще мало, что душа осталась въ галàнцахъ? Ступай же, тебѣ говорю, поганая Жидовина, пока не оборвалъ тебѣ пейсики!» Послѣ того толкнулъ онъ его, и Жидъ разостлался на землѣ, какъ лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бѣжать и спустя нѣсколько времени, возвратился съ начальникомъ поль-

скихъ уланъ. Это былъ довольно рослый Полякъ, съ глупо дерзкою физіономіею, которая всегда почти отличаетъ полицейскихъ служителей. «Что́ это? Какъ это? . . . Гунство, теремтете? Зачѣмъ драка, холопство проклятое? Лысый бѣсъ въ кашу съ смальцемъ! Развѣ? Что́ вы? Что́ тутъ драка? Порвалъ бы васъ собака! . . .» Блюститель порядка не зналъ бы, куда обратиться и на кого излить потокъ своихъ наставленій, приправляемыхъ бранью, если бы Жидъ не подвелъ его къ старому козаку, котораго волосы, вздуваемые вѣтромъ, какъ снѣжный иней серебрились. «Что́ ты, глупый холопъ, вздумалъ? Что́ ты драку, началъ драку? Пасе мазепято, гунство! Знаешь ты, что́ Жидъ? Гунство проклятое! . . . Знаешь, что борода поповская не стоитъ подошвы? . . . Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пупъ! . . . У него оломецъ краше, чѣмъ ваша *холопска вяра* . . .» Тутъ онъ схватилъ за волосы старца и выдернулъ клокъ серебряныхъ волосъ его . . .

Глухое стенаніе испустилъ старый козакъ.

«Бей еще! Самъ я виноватъ, что дожилъ до такихъ лѣтъ, что и счетъ уже имъ потерялъ. Сто лѣтъ, а можетъ, и больше тому назадъ, меня драли за чубъ, когда я былъ хлопцемъ у батька. Теперь опять бьютъ. Видно, снова воротились лѣта мои. Только нѣтъ, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Бей же меня! . . .» При сихъ словахъ сто-двадцати-лѣтній старецъ наклонилъ свою бѣлую голову на руки, сложенныя крестомъ на палкѣ, и подпершись ею, долго стоялъ въ живописномъ положеніи. Въ словахъ старца было невѣроятно трогательное. Замѣтно было, что многіе хватились рукою за сабли и пистолеты, но видъ столькихъ усатыхъ улановъ на лошадяхъ, и нѣсколько словъ, сказанныхъ незнакомцемъ, заставили всѣхъ принять положеніе молельщиковъ и креститься.

«Что́ ты врешь, глупой мужикъ, теремтете! Что (бы) я на тебѣ руки поганилъ, гунство проклятое! Лысый бѣсъ рогатый тебѣ въ кашу! Гершко! возьми отъ него пасху! Пусть его однимъ овсянымъ суха-

ремъ разговѣется. Вишь, гунство проклятое!» говорилъ блюститель правосудія, подвигаясь къ ряду дѣвичьему и ущипнулъ одну изъ нихъ за руку. «Что́ за драка? Охъ, славная дѣвка! Вишь драку!... Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь глупой мужикъ ... порвалъ бы его собака!... Ай, ай, ай! Сколько тутъ жиру!...» Блюститель порядка, вѣрно, себѣ позволилъ нескромность, потому что одна изъ дѣвушекъ вскрикнула во все горло. Въ это время пасхи были освящены, и обѣдня кончилась, и многіе уже стали расходиться. Нѣсколько только народу обступило козака, такъ заинтересовавшаго толпу, который между тѣмъ подходилъ къ исправлявшему званіе алгвазила.

«Славный у тебя усъ, панъ!» проговорилъ онъ, подступивъ къ нему близко.

«Хорошій! У тебя, холопа, не будетъ такого,» произнесъ онъ, расправляя его рукою.

«Славный! Только не туда ты, панъ, крутишь его. Вотъ куда нужно крутить!» Мощный козакъ дернулъ сильною рукою такъ, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закряхтѣлъ и заревѣлъ отъ боли. Лицо его сдѣлалось цвѣта вареной свеклы. «Рубите его, рубите лайдака!» кричалъ онъ, но почувствовалъ себя въ рукахъ высокаго козака, и увидя насмѣшливыя лица всѣхъ, сталъ искать глазами своихъ воиновъ. Малеваный шутъ струсилъ ...

«Какъ же тебѣ, панъ, не совѣстно бить такого старика! А если бы твоего стараго отца кто-нибудь сталъ безчестить такъ поносно при всѣхъ, какъ ты обезчестилъ старѣйшаго изъ всѣхъ, насъ? что́ тогда? весело тебѣ было бы терпѣть это? Ступай, панъ! Если бы ты не у короля въ службѣ былъ, я бы тебя не выпустилъ живого.»

Выпущенный плѣнникъ побѣжалъ, отряхиваясь. За нимъ слѣдомъ повалилъ народъ. Между тѣмъ козакъ, отвязавши коня, привязаннаго къ церковной оградѣ, готовился сѣсть, какъ былъ остановленъ средняго роста воиномъ, посѣдѣвшимъ человѣкомъ, который долго

не отводилъ отъ него вниманія и заглядывалъ ему въ глаза съ такимъ любопытствомъ, какъ иногда собака, когда видитъ ядущаго хлѣбъ. «Добро́дію! Вѣдь я васъ знаю. Можетъ быть, и правда? Ей Богу, знаю. Не скажу — таки точно знаю. Ей Богу, знаю! Чи вы Остраница, чи вы Омельченко? Можетъ и онъ. Ну, такъ! Я стою въ церкви и говорю: вотъ то, что́ стоитъ возлѣ его, то Остраница. Ей, ей Остраница. Да можетъ быть, и нѣтъ. Можетъ быть, и не Остраница. Нѣтъ, Остраница. Ей, тебѣ такъ показалось! Ну, такъ нѣтъ? Остраница да и Остраница. Какъ только послушалъ голосъ, ну тогда и рукою махнулъ. Вотъ такое точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ! Такъ же разумно бывало каждое слово отвѣтитъ.»

Остраница внимательно началъ въ него всматриваться и нашелъ точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Носъ, загнувшись внизъ придавалъ ему нѣсколько горбатое сложеніе и неподвижность членамъ, но за то узенькіе сѣрые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которыя, вѣрно, придали бы лицу суровый видъ, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое въ губахъ, не давали ему противнаго выраженія. Подъ кобенякомъ, надѣтымъ въ рукава, видѣнъ былъ овчинный кожухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепелъ и день былъ жарокъ.

«Я вѣрю и невѣрю, что вижу опять васъ. А что́, добродію? не во гнѣвъ будь сказано. Прошу извинить, только хотѣлъ бы узнать, что́ сдѣлалось съ тѣми, которые пошли съ вами? Что Дигтяй, Кузубія? воротились ли они съ вами, или тамъ остались, или воронъ, можетъ, гдѣ-нибуть доѣдаетъ козацки косточки?»

«Дигтяй твой сидитъ на колу у турецкаго султана, а Кузубія гуляетъ съ рыбами на днѣ Сиваша и тянетъ гнилую воду вмѣсто горилки . . . Но . . . ну, послѣ объ этомъ поговоримъ. Я тебя тоже узналъ. Здравствуй, старый Пудько́! Христосъ воскресе! . . .»

«Воистину воскресе! говорилъ цѣлуясь Пудько. «Какъ на то, и крашанки нѣтъ! Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество . . . передавилъ бы на кисель. Такъ, добродію, какъ-будто сердце знало . . .»

«Ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?»

«А что́ жъ дѣлать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продалъ табакъ. Прошлаго году отецъ съ полвоза накупилъ кремней, дроби, пороху, сѣры, ну и всего, что́ до мизеріи относится. Напросился на дорогѣ Жидокъ одинъ. «Свези, человиче, на Хыякивску ярмарку; дамъ три рубля!» Свезъ его какъ добраго, и надулъ проклятой Жидокъ, ей Богу, надулъ! Хоть бы чвертку горилки далъ, гаспидъ лысый. Знаете, что у меня чуть было Ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли подъ верхъ вербуна. Теперь у меня только и конины, что гнѣдко,» примолвилъ онъ, садясь на гнѣдого коня и видя, что Остраница поворотилъ коня ѣхать. «Эхъ, добродію! Если бы теперь кто сказалъ:» А ну, старый, «гайда на войну бить Ляховъ!» все бы продалъ, и жинку и дѣтей бы покинулъ, пошелъ бы въ компанейство.» При этомъ Пудько выпрямился и поскакалъ за Остраницею, который пришпорилъ сильнѣе коня своего. «Скажите добродію, пане сотнику,» говорилъ онъ, поровнявшись съ нимъ, «можетъ, вы теперь уже и не сотникъ; въ другой ротѣ какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божіи взяло на откупъ Жидовство? Какъ же это, добродію, не обидно? каково было снесть всякому христіанину, что горилка находится у враговъ христіанства? А теперь и храмы Божіи! Тутъ, добродію, нужно намъ взять вправо, ибо мимо валу нѣтъ уже проѣзду. Да, и забылъ, что онъ при васъ былъ подкопанъ. Говорятъ, какъ свѣчка полетѣлъ подъ самое небо. Боже-то мой! сколько народу перемерло! Такъ и Дигтяй, вы говорите, теперь сидитъ на колу? И Козубія потонулъ? А какой важный, какой сильный народъ былъ! Сколько, подумаешь, пропадаетъ козачества! Вы слышите, какъ постуки-

ваютъ хлопци изъ мушкетовъ, что земля дрожитъ? Мы сейчасъ будемъ ѣхать мимо площади, гдѣ веселится народъ. Если вы въ хуторъ свой ѣдите, добро́дію, то и я съ вами. Лучше тамъ разговѣюсь святою пасхою, чѣмъ дома съ бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Вѣрно, добро́дію, что произошло межъ народомъ, потому что всѣ столпились въ кучу и бросили всякое гулянье.»

Въ самомъ дѣлѣ, на открывшейся въ это время изъ-за хатъ площади, народъ сросся въ одну кучу. Качели, стрѣльба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчасъ увидѣлъ причину: на шестѣ былъ повѣшенъ, вверхъ ногами, Жидъ, тотъ самый, котораго онъ освободилъ изъ рукъ разгнѣваннаго народа. На ту же самую висѣлицу тащили храбреца съ оборваннымъ усомъ. Остраница ужаснулся, увидѣвъ это. «Нужно поспѣшить,» говорилъ онъ, пришпоривъ коня. «Народъ не знаетъ самъ, что́ дѣлаетъ. Дурни! Это на ихъ же головы рушится. — Стойте козаки, рыцарство и посполитый народъ! Развѣ этакъ по козацки дѣлается?» произнесъ онъ, возвыся голосъ.

«Что́ смотрѣть его!» послышался говоръ между молодежью. «Въ другой разъ хочетъ у насъ вытащить изъ рукъ.»

«Послушайте, у кого есть свой разумъ.»

«Онъ правду говоритъ,» говорило нѣсколько умѣренныхъ.

«Молоды вы еще, я вамъ разскажу, какъ дѣлаютъ по козацки. Когда одинъ да выйдетъ противъ трехъ, то бравой козакъ, противъ десяти — еще лучше; одинъ противъ одного — не штука; когда жъ три на одного нападутъ, то всѣ не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется; для святого праздника не скажу страмного слова. Какъ же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитнаго, какъ-будто на какую крѣпкость страшную? Спрашиваю васъ, братцы,» продолжалъ Остраница, замѣтивъ вниманіе, «какъ назвать тѣхъ?...»

«А чѣмъ назвать его?» заговорли многіе въ полго-

лоса. «Что́ жъ есть хуже бабы, или того, что́ онъ постыдился сказать? мы не знаемъ.»

«Э, не къ тому рѣчь, паноче, своротилъ,» произнесло въ голосъ нѣсколько парубковъ. «Что жъ? Развѣ мы должны позволить, чтобъ всякая падаль топтала насъ ногами?»

«Глупы вы еще: не великъ, видно, усъ у васъ,» продолжалъ Остраница. При этомъ многіе ухватились за усы и стали покручивать ихъ, какъ-бы въ опроверженіе сказаннаго имъ. «Слушайте, я разскажу вамъ одну присказку. Одинъ школяръ учился у одного дьяка. Тому школяру не далось Слово Божье. Вѣрно, онъ былъ придурковатъ, а можетъ быть, и лѣнь тому мѣшала. Дьякъ его поколотилъ дубинкою разъ, а послѣ въ другой, а тамъ и въ третій. «Крѣпко бьется, проклятая дубина,» сказалъ школяръ, принесъ сѣкиру и изру билъ ее въ куски. «Постой же ты!» сказалъ дьякъ, да и вырубилъ дубину, толщиною въ оглоблю, и такъ погладилъ ему бока, что и теперь еще болятъ. Кто жъ тутъ виноватъ: дубина развѣ?»

«Нѣтъ, нѣтъ,» кричала толпа: «тутъ виноватъ, виноватъ король! .....

Радуясь, что наконецъ удалось успокоить народъ и спасти шляхтича, Остраница выѣхалъ изъ мѣстечка и пришпорилъ коня сильнѣе, и услышалъ, что его нагоняетъ Пудько. Какъ-то тягостно ему было видѣть возлѣ себя другого. Множество скопившихся чувствъ нудило его къ раздумью. Свѣжій, тихій весенній воздухъ и притомъ нѣжно одѣвающіяся деревья какъ-то располагали въ такое состояніе, когда всякой товарищъ бываетъ скученъ въ глазахъ вѣчно упоительной природы. И потому Остраница выдумалъ предлогъ отослать впередъ Пудька въ хуторъ и ожидать его тамъ, а самъ, сказавъ, что ему еще нужно заѣхать къ одному пану, поворотилъ съ дороги.

Этимъ распоряженіемъ Пудько, кажется, не былъ недоволенъ, или, можетъ, только принялъ на себя такой видъ, потому что чрезъ это ни мало не измѣнялъ любимой привычкѣ своей говорить. Вся разница, что,

вмѣсто Остраницы, онъ все это пересказывалъ своему гнѣдку . . . «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, гнѣдко! Онъ тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на Ляховъ, онъ славную имъ далъ перепойку. Дали бъ и они ему перцу, когда бы не улизнулъ на Запорожье. А правда? не важно Жидъ болтается на висѣлицѣ? а пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него не достаетъ одной клепки въ головѣ, ну да что́ жъ дѣлать? Онъ отъ короля поставленъ. Можетъ, ты еще спросишь, за что́ жъ Жида повѣсили? вѣдь и онъ отъ короля поставленъ? Гм? вѣдь ты дуракъ, гнѣдко! Онъ за то врагъ Христовъ, нашего Бога святого.» Тутъ онъ ударилъ хлыстомъ своего скромнаго слушателя: убаюкиваемый его росказнями, (онъ) развѣсилъ уши и началъ ступать уже шагомъ. «Оно не такъ далеко и хуторъ, а всё лучше раньше поспѣть. Уже давно пора, хочется разговѣться святою пасхою. Говори, молъ, мнѣ не пасхи, мнѣ овса подавай. Потерпи немножко: у пана славной овесъ, и пшеницы дамъ въ волю, и сивухою попотчиваютъ. Я давно хотѣлъ у тебя спросить, гнѣдко, что́ лучше для тебя, пшеница, или овесъ? Молчишь? Ну, и будешь же вѣкъ молчать, потому что Богъ повелѣлъ только человѣку, да еще одной маленькой пташкѣ . . .»

При этомъ онъ опять хлеснулъ гнѣдка, замѣтивъ, что онъ заслушался и сталъ выступать по-прежнему... Но, вмѣсто того, чтобы слушать разсужденія нашихъ путешественниковъ на сѣдлѣ и подъ сѣдломъ, обратимся къ Остраницѣ, давно скакавшему по проселочной дорогѣ.

ГЛАВА II.

Какъ только рыцарь потерялъ изъ виду своего сотоварища, тотчасъ остановилъ рысь коня своего и поѣхалъ шагомъ. Солнце показывало полдень. День

былъ ясный, какъ душа младенца. Изрѣдка два, или три небольшихъ облака, повиснувъ, еще болѣе увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; вѣтру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое вліяніе свѣжести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытымъ нивамъ, на которыхъ стройно, какъ-будто лѣсъ житныхъ иголъ, восходилъ молодой посѣвъ. Дорога входила въ рытвины и была съ обѣихъ сторонъ сжата крутыми глинистыми стѣнами. Безъ сомнѣнія, очень давно была прорыта эта дорога въ горѣ, потому что, по обѣимъ сторонамъ обрыва, поросла орѣшникомъ; на самой же горѣ подымались по обѣимъ сторонамъ, высокіе какъ стрѣла, осокори. Иногда перемеживала ихъ лоза, вся въ отпрыскахъ, иногда дубъ талстый, которому сто лѣтъ и весь убранный павеликой, плющомъ, величаво расширялъ свою (верхушку) надъ ними, и казался еще выше отъ обросшаго кустами подмостка. Мѣстами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми вѣтвями на противоположную сторону и образовала надъ головою сводъ, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цвѣты свои, между тѣмъ какъ изъ деревъ часто выглядывалъ обрывъ, весь въ цвѣтахъ и самыхъ нѣжныхъ первенцахъ весны. Уже дорога становилась шире, и наконецъ открылась равнина раздольная, ограниченная, какъ рамами, синеватыми вдали горами и лѣсами, сквозь которые искрами серебра блестѣла прерванная нить рѣки, и подъ нею стлались хутора. Здѣсь путешественникъ нашъ остановился, всталъ съ коня и, какъ будто въ усталости, или въ желаніи собраться съ мыслями, сталъ поваживать по лбу. Долго стоялъ онъ въ такомъ положеніи, наконецъ, какъ-бы рѣшившись на что́, сѣлъ на коня и, уже не останавливаясь болѣе, поѣхалъ въ ту сторону, гдѣ на косогорѣ синѣли сады и, по мѣрѣ приближенія, становились бѣлѣе разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, свѣтлица. Очеретяная ея крыша, мѣстами поросшая зе-

ленью, на которой ярко отливалась желтая свѣжая заплата, съ бѣлою трубою, покрытою китайскою чорною крышею, была очень хороша. Въ ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерніе, и тогда нѣжной серебророзовой колеръ цвѣтущихъ деревъ становился пурпурнымъ. Путешественникъ слѣзъ съ коня и, держа его за поводъ, пошелъ пѣшкомъ черезъ плотину, стараясь идти какъ можно тише. Полощущіяся утки покрывали прудъ; черезъ плотину дѣвочка лѣтъ семи гнала гусей.

«Дома панъ?» спросилъ путешественникъ.

«Дома,» отвѣчала дѣвочка, разинувъ ротъ и ставъ совершенно въ машинальное положеніе.

«А пани?»

«И пани дома.»

«А панночка?» Это слово произнесъ путешественникъ какъ-то тише и съ какимъ-то страхомъ.

«И панночка дома.»

«Умная дѣвочка! Я дамъ тебѣ пряникъ. А какъ сдѣлаешь то, что́ я скажу, дамъ и другой, еще и злотой.»

«Дай!» говорила простодушно дѣвочка, протягивая руку.

«Дамъ, только пойди напередъ къ панночкѣ и скажи, чтобъ она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ея. Слышишь? Ну, скажешь ли ты такъ?»

«Скажу.»

«Какъ же ты скажешь ей?»

«Не знаю.»

Рыцарь засмѣялся и повторилъ ей снова тѣ самыя слова, и, наконецъ, увѣрившись, что она совершенно поняла, отпустилъ ее впередъ, а самъ, въ ожиданіи, сѣлъ подъ вербою.

Не прошло нѣсколько минутъ, какъ мелькнула между деревьевъ бѣлая сорочка, и дѣвушка лѣтъ осьмнадцати стала спускаться къ греблѣ. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ-будто отлиты. Строй-

ная роскошь совершенно нѣжныхъ (членовъ) не была скрыта. Широкіе рукава, шитые краснымъ шелкомъ и всѣ въ мережкахъ, спускались съ плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, какъ спѣющее яблоко, тогда какъ на груди подъ сорочкою упруго трепетали молодыя перси. Сходя на плотину, она подняла дотолѣ опущенную голову, и черныя очи и брови мелькнули какъ молнія. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно неприближавшееся къ греческому; ничего въ ней не было законно, прекрасно правильно. Ни одна черта лица, ничто не соотвѣтствовало съ положенными правилами красоты. Но въ этомъ своенравномъ, нѣсколько смугловатомъ, лицѣ, что-то было такое, что́ вдругъ поражало. Всякій взглядъ ея полонилъ сердце, душа занималась, и дыханіе отрывисто становилось.

«Откудова ты, человѣкъ добрый?» спросила она, увидѣвъ козака.

«А изъ Запорожья, панночка; зашелъ сюда по просьбѣ одного пана, коли милости вашей извѣстно, Остраницы.»

Дѣвушка вспыхнула. «А ты видѣлъ его?»

«Видѣлъ. Слушай . . .»

«Нѣтъ, говори по правдѣ! Еще разъ: видѣлъ?»

«Видѣлъ.»

«Забожись!»

«Ей Богу!»

«Ну, теперь я вѣрю,» повторила она, немного успокоившись. Гдѣ жъ ты его видѣлъ? Что́, онъ не позабылъ меня?»

«Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалъ мой, голубочка моя! Развѣ хочется мнѣ быть растоптану татарскимъ конемъ . . .» Тутъ онъ схватилъ ее за руки и посадилъ подлѣ себя. Удивленіе дѣвушки такъ было велико, что она краснѣла и блѣднѣла, не произнося ни одного слова.

«Какъ ты сюда прилетѣлъ?» говорила она шепотомъ . . . «Тебя поймаютъ. Еще никто не позабылъ про тебя. Ляхи еще не вышли изъ Украйны.»

«Не бойся, моя голубочка, я не одинъ, не поймаютъ. Со мною соберется кой-кто изъ нашихъ. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?»

«Люблю,» отвѣчала она и склонила къ нему на грудь разгорѣвшееся лицо.

«Когда любишь, слушай же, что́ я скажу тебѣ. Убѣжимъ отсюда? Мы поѣдемъ въ Польшу къ королю. Онъ, вѣрно, дасть мнѣ землю. Не то — поѣдемъ хоть въ Галицію, или хоть къ султану; и онъ дастъ мнѣ землю. Мы съ тобою не разлучимся тогда и заживемъ такъ же хорошо, еще лучше, чѣмъ тутъ на хуторахъ нашихъ. Золота у меня много, ходить есть въ чемъ; суконъ, епанечекъ, чего захочешь только.»

«Нѣтъ, нѣтъ, козакъ,» говорила она, кивая головою съ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ, «не пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чѣмъ всѣ сокровища, но не пойду. Какъ я оставлю престарѣлую бѣдную мать мою? Кто приглядитъ за нею? «Глядите, люди,» скажетъ она, «какъ бросила меня родная дочка моя!» Слезы покатились по ея щекамъ.

«Мы не надолго ее оставимъ,» говорилъ Остраница: «только годъ одинъ пробудемъ на Перекопѣ, или на Запорожьи, а тогда я выхлопочу грамоту отъ короля и шляхетство, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажетъ ничего и отецъ твой.»

Галя[1]) качала головою всё съ тою же грустью и слезами на глазахъ.

«Тогда мы оба станемъ присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старѣе твоей. Но я не сижу съ ней вмѣстѣ. Придетъ время, женюсь; тогда и не то будетъ со мною.»

«Нѣтъ, полно. Ты не то, ты козакъ; тебѣ подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чемъ тебѣ

---

1) Въ подлинникѣ *Ирися;* но какъ авторъ въ другихъ мѣстахъ всегда называетъ ее Галей и т. п. уменьшительными отъ *Ганна*, то мы и здѣсь сохраняемъ это названіе. Подобное измѣненіе именъ, въ черновыхъ рукописяхъ, у Гоголя встрѣчается весьма часто. *О. Б.*

не думать. Еслибъ я была козакомъ, и я бы закурила люльку, сѣла на коня — и все мнѣ (при этомъ она махнула граціозно рукой) трынъ трава! Но что́ будешь дѣлать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтобъ перемѣнилъ долю... Еще бы я кинула, можетъ быть, когда бы она была на рукахъ у добрыхъ людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каковъ отецъ мой. Онъ прибьетъ ее; жизнь ея, бѣдненькой моей матери, будетъ горше полыни. Она и то говоритъ: «Видно, скоро поставятъ надо мною крестъ, потому что мнѣ всё снится — то, что она замужъ выходитъ, то, что рядятъ ее въ богатое платье, но всё съ черными пятнами.»

«Можетъ быть, тебѣ оттого такъ жалъ своей матери, что ты не любишь меня,» говорилъ Остраница, поворотивъ голову на сторону.

«Я не люблю тебя? Гляди: я, какъ хмѣлинонька около дуба, вьюсь къ тебѣ,» говорила она, обвивая его руками. «Я безъ тебя не живу.»

«Можетъ быть, вмѣсто меня, кто-нибудь другой съ шпорами, съ золотою кистью... что́ добраго? можетъ быть и ляхъ?»

«Тарасъ, Тарасъ! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебѣ? Зачѣмъ ты укоряешь меня такъ?» сказала она, почти упавъ на колѣнахъ и въ слезахъ.

«О, вашъ родъ Таковъ,» продолжалъ всё такъ же Остраница. «Вы, когда хотите подымите такой вой, какъ десять волчицъ, и слезъ, когда захотите, напускаете въ волю, хоть ведра подставляй, а какъ на дѣлѣ...»

«Ну, чего жъ тебѣ хочется? скажи, что́ тебѣ нужно, чтобъ я сдѣлала?»

«Ѣдешь со мною, или нѣтъ?»

«Ѣду, ѣду!»

«Ну, вставай, полно плакать, встань, моя голубочка, Галочка!» говорилъ онъ, принимая ее на руки и осыпая поцѣлуями. «Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отниметъ. Не плачь, моя... За это согласенъ я, чтобъ ты осталась съ матерью до тѣхъ

поръ, пока не пройдетъ наше горе. Что́ дѣлаетъ отецъ твой?»

«Онъ спалъ въ саду подъ грушею. Теперь я слышу — ведутъ ему коня. Вѣрно, онъ проснулся. Прощай! Совѣтую тебѣ ѣхать скорѣе и лучше не попадаться ему теперь: онъ на тебя сердитъ.» При этомъ Ганна вскочила и побѣжала въ свѣтлицу...

Остраница медленно садился на коня и, выѣхавши, оборачивался нѣсколько разъ назадъ, какъ- (бы) желая вспомнить, не позабылъ ли онъ чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнулъ онъ своего хутора.

ГЛАВА III. [1])

Небо звѣздилось, но одѣяніе ночи были такъ темно, что рыцарь едва могъ только примѣтить хаты, почти подъѣхавъ къ самому хутору. Въ другое время путешественникъ нашъ, вѣрно бы, досадовалъ на темноту, мѣшавшую взглянуть на знакомыя хаты, сады, огороды, нивы, съ которыми срослось его дѣтство. Но теперь столько его занимали происшествія дня, что онъ не обращалъ вниманія, не чувствовалъ, почти не замѣтилъ, какъ заливавшіяся со всѣхъ сторонъ собаки прыгали передъ лошадью его такъ высоко, что, казалось, хотѣли ее укусить за морду. Такъ человѣкъ котораго будятъ, открываетъ на мгновеніе глаза и тотчасъ ихъ смежаетъ; онъ еще не разлучился со сномъ, лѣнивою рукою берется онъ за халатъ, но это движеніе для того только, чтобы обмануть разбудившаго его, будто онъ хочетъ вставать, а между тѣмъ онъ еще весь въ бреду и во снѣ, щеки его горятъ, можно читать цѣлый водопадъ сновидѣній, и утро дышетъ свѣжестью, и лучи солнца еще такъ живы и прохладны, какъ горный

---

1) Хотя означенія этой главы въ подлинникѣ нѣтъ, но по предыдущимъ и послѣдующимъ означеніямъ главъ, также по ходу разсказа и началу въ красную строку, видно, что тутъ должно поставить главу III. *О. Б.*

ключъ. Конь самъ собою ускорилъ шагъ, угадавъ родимое стойло, и только одинѣ привѣтливыя вѣтви вишень, которыя перекидывались черезъ плетень, стѣснявшій узкую улицу, хлестая его полу, заставляли его иногда браться рукою. Но это движеніе было машинально. Тогда только, когда конь остановился подъ воротами, онъ очнулся. Низенькія, рѣшетчатыя ворота отворились. [1]) Кто такой . . . ? [2]) Наконецъ ворота отворились. Остраница въѣхалъ въ дворъ, но, къ изумленію своему, чуть не наѣхалъ на трехъ улановъ спящихъ въ мундирахъ. Это выгнало всѣ мечты изъ головы его. Онъ терялся въ догадкахъ, откудова взялись польскіе уланы. Неужели успѣли уже узнать о его пріѣздѣ? И кто бы могъ открыть это? Если бы точно узнали, то какъ можно въ такомъ скоромъ времени совершить эту экспедицію! и гдѣ же дѣлись его Запорожцы, которые должны были еще утромъ поспѣть въ его хуторъ? Все это повергло его въ такое недоумѣніе, что не зналъ, на что́ рѣшиться: ѣхать ли опрометью назадъ, или остаться и узнать причину такой странности? Онъ былъ тронутъ тѣмъ самимъ, который отперъ ему ворота. Первымъ движеніемъ его было схватиться за саблю, но увидѣвши, что это Запорожецъ, онъ опустилъ руку...

«Но пойдемте, добро́дію, въ свѣтлицу: сдѣсь не въ обычаѣ говорить и слишкомъ многолюдно,» отвѣчалъ послѣдній.

Въ сѣняхъ вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, съ каганцемъ въ рукахъ. Осмотрѣвши съ головы до ногъ, она начала ворчать: «Чего васъ чортъ носитъ сюда? Всё только пугаютъ

---

1) Можетъ быть, къ этому мѣсту относится слѣдующая выноска на полѣ безъ значка: «Очень замѣчательная достопамятность въ той странѣ, гдѣ древностей почти не было, гдѣ брани, вѣчныя брани, производили жестокое опустошеніе и обращали въ руины все то, что успѣвали сдѣлать трудолюбіе и общежительность.» *О. Б.*

2) Тутъ очевидно пропускъ. *О. Б.*

меня. Я думала, что нашъ панъ пріѣхалъ. Что́ вамъ нужно? Еще мало горѣлки выпили!»

«Дурна баба! разсмотри хорошенько: вѣдь это панъ вашъ.»

Горпина начала снова осматривать, съ ногъ до головы, наконецъ вскрикнула: «Да это ты, мой голубчикъ! Да это жъ ты, моя матусенька! Да этожъ ты, мой соколъ! Какъ ты перемѣнился весь! какъ же ты загорѣлъ! какъ же ты оброслъ! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не далъ перемѣнить.» Тутъ Горпина рыдала на-взрыдъ и подняла такой вой, что лай собакъ, который было началъ стихать, удвоился.

«Сумасшедшая баба!» говорилъ Запорожецъ, отступивши и плюнувши ей прямо въ глаза. «Чего съ-дуру ты заревѣла? Народъ весь разбудишь!»

«Довольно, Горпина,» прервалъ Остраница. «Вотъ тебѣ, гляди на меня! Ну, насмотрѣлась?»

«Насмотрѣлась, моя матинько родная! Какъ не наглядѣться! Еще когда ты маленькимъ былъ, носила я на рукахъ тебя, и какъ выросталъ, все не спускала глазъ. Боже мой! а теперь вотъ опять вижу тебя! Охо, хо!» и старуха принялась рыдать.

«Слушай, Горпино!» сказалъ Остраница, примѣтивъ, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. «Лучше ты пренеси закусить чего-нибудь и напередъ подай святой пасхи, потому что я, грѣшной, цѣлый день сегодня не ѣлъ ничего и даже не попробовалъ пасхи.»

«Да ты жъ вотъ ото и пасхи не отвѣдывалъ, бѣдная моя головонька! Несчастная горемыка я на этомъ свѣтѣ! Охо, хо!» Тутъ потоки словъ, разрѣшившись, хлынули цѣлымъ водопадомъ, и подперши щеку рукою, снова была готова завыть, еслибъ не увидѣла надъ собою замахнувшейся руки Запорожца.

«Добро́дію! Позволь кіемъ угомонить проклятую бабу! Что́ это за соромный народъ! Пришла жъ охота Господу Богу породить эдакое племя? Или ему недосугъ тогда былъ, или Богъ его знаетъ, что́ ему тогда было...»

Остраница вошелъ между тѣмъ въ свѣтлицу, и, снявши съ себя кобенякъ, бросился на коверъ. Дорога, голодъ и встрѣчи привели его въ такую усталость, что онъ растянулся на немъ въ совершенной безчувственности, не обращая ни на что́ глазъ своихъ, а потому наше дѣло представить описаніе свѣтлицы, замѣчательной тѣмъ, что постройка ея принадлежала еще дѣду. Это была просторная, болѣе продолговатая комната и вмѣстѣ съ тѣмъ низенькая, какъ обыкновенно строилось въ тотъ вѣкъ. Ничто въ ней не говорило о прочности, какъ-будто, кажется, строитель былъ твердо увѣренъ, что ея существованіе должно быть эфемерно; но, однакожъ, поправками, придѣлками ветхое строеніе простояла около 50 лѣтъ. Стѣны были очень тонки, вымазаны глиною и выбѣлены снаружи и внутри такъ ярко, что глаза едва могли выносить этотъ блескъ. Весь полъ въ комнатѣ былъ тоже вымазанъ глиною, но такъ былъ чисто выметенъ, что на немъ можно было лечь, не опасаясь запылить платья. Въ углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ея, обращенная къ окнамъ, была покрыта бѣлыми изразцами, на которыхъ синею краскою были нарисованы подобія человѣческимъ лицамъ, съ желтыми глазами и губами; другая сторона состояла изъ зеленыхъ гладкихъ изразцовъ. Окна были невелики, круглы; матовыя стекла, пропуская свѣтъ, не давали видѣть ничего происходящаго на дворѣ. На стѣнѣ висѣлъ портретъ дѣда Остраницы, воевавшаго съ знаменитымъ Баторіемъ. Онъ былъ изображенъ почти во весь ростъ, въ кольчугѣ, съ парою (пистолетовъ), заткнутою за поясъ; нижняя часть ногъ до колѣнъ не была только видна. Потемнѣвшія краски едва позволяли видѣть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвѣстно. Надъ дверьми висѣла тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботнаго запорожца съ бочонкомъ водки, съ надписью: *Козакъ, душа правдивая, сорочки не мае*... которую и донынѣ можно иногда встрѣтить

въ Малороссіи. Противъ дверей — нѣсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цвѣтами, а подъ ними на длинной деревяной доскѣ нарисованы сцены изъ Священнаго Писанія: тутъ былъ Авраамъ, прицѣливающійся изъ пистолета въ Исаака; Святой Даміянъ, сидящій на колу, и другія подобныя; подалѣе висѣло нѣсколько турецкихъ саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижной подъ образами столъ, накрытый чистою скатертью, шитою по краямъ краснымъ шелкомъ и потемнѣвшимъ серебромъ; два страннаго вида складныхъ стула. Въ этомъ состояло убранство комнаты... Остраница между тѣмъ теперь только замѣтилъ, что столъ былъ уставленъ деревяными блюдами съ яйцами, масломъ и бараниною. Первымъ его дѣломъ было приблизиться къ столу и утолить голодъ, который теперь началъ сильнѣе докучать ему.

Въ это время вошла старая ключница съ пасхой, съ сметаной, сыромъ... «Вотъ тебѣ, паноченьку мой, и ро́зговины! вотъ тебѣ и сметанка!» говорила (она). Куда жъ, какъ онъ проголодался, бѣдная дытына! Вотъ какъ не подавится, бѣдненькой! А я-то думала, а я хлопотала, а я бѣгала, какъ бы ему, моему сердечному... А вотъ Господь сподобилъ, опять вижу тебя. Охо хо хо!»

Горпина опять было хотѣла всплакнуть, но Запорожецъ Пудько, который началъ было подремывать, сидя возлѣ насыщавшаго свой голодъ рыцаря, устремилъ на нее глаза и проговорилъ: «Ну, ну, ну, попробуй только заревѣть!...»

Это остановило намѣреніе Горпины... «Кушай, кушай, сынку мой, ѣшь на здоровье, ѣшь, я не мѣшаю тебѣ! Голубчикъ мой! Мы съ тобою только разъ христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!...»

«Еще и христосоваться!» проговорилъ Пудько сквозь сонъ и схватилъ, вмѣсто пуги, Горпинину ногу. «Пошла, проклятая баба!»

«Ступай, Горпино! полно тебѣ!» проговорилъ поднявшись Остраница. «А не то — я, не смотря на то,

что ты стара и что нянчила меня, сниму со стѣны вотъ этотъ батогъ; видишь ты этотъ батогъ?»

Горпина, которая привыкла бояться повелительнаго голоса своего пана, немедленно повиновалась.

«Ну, Пудько, гдѣ жъ Тарасъ? Что́ онъ дѣлаетъ? Что́ я его не вижу?»

«А что́ жъ ему дѣлать? Извѣстно, что́ дѣлаетъ: спитъ гдѣ нибудь.»

«Ну, такъ пойдемъ же и мы спать, только не въ душной хатѣ, а на вольной землѣ, подъ небомъ.»

Запорожецъ натянулъ на себя кобенякъ и пошелъ вслѣдъ за Отряницею изъ свѣтлицы, въ которой чуть было не упалъ, зацѣпившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало... завернувшееся въ кожухъ туловище. Остраница узналъ Курника, но замѣтно было, что онъ хватилъ не меньше другихъ, потому что въ его словахъ была страшная противуположность тому, что́ онъ говорилъ въ дверяхъ. Даже самый образъ выраженія былъ не тотъ; множество словъ вмѣшивалось такихъ, которыхъ странно и смѣшно было отъ него слышать. Замѣтно было, что на него много сдѣлали вліянія Запорожцы. «Эхъ, славная конница у Запорожцевъ! Торо, торо, торо, гайда, гопъ, гопъ, гопъ! Эка славная конница у Запорожцевъ! Торо, торо, гопъ, гопъ, гопъ! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мнѣ, какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты мужичекъ? Зачѣмъ ты пришелъ? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо! гопъ, гопъ, гопъ!» и тому подобное. Остраница попробовалъ было подойти къ отаману, котораго указалъ ему Пудько, и который лежалъ, подмостивши себѣ подъ голову бочонокъ, но услышалъ отъ него одни совершенно безсвязныя слова, изъ чего онъ заключилъ, что всѣ гуляли какъ слѣдуетъ и рѣшился оставить ихъ въ покоѣ и присоединиться къ другимъ, которыхъ храпѣніе составляло самую фантастическую музыку. Скоро всѣ уснули.

ГЛАВА IV.

Однакожъ Остраница долго не могъ заснуть; напрасно переворачивался онъ съ боку на бокъ и пробовалъ всѣ положенія: сонъ убѣгалъ его, а думы незванныя приходили и силою ложились въ его мозгу. Итакъ его пріѣздъ понапрасну, и столько приготовленій, столько заботъ — все по-пустому! Она не хочетъ ѣхать съ нимъ. Такъ это вотъ та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери. Для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда можетъ еще думать при ней объ другомъ, объ отцѣ, или матери? Нѣтъ, нѣтъ! Гдѣ любовь настоящая, такая, какъ слѣдуетъ, тамъ ни брата, ни отца. «Нѣтъ, я хочу,» говорилъ онъ, разбрасывая руками, «чтобъ она или меня одного, или никого не любила. Цѣлуй, прижимай меня! Пусть жаръ дыханья твоего пахнётъ мнѣ на щеки! Обнимая дрожащія груди твои, прижму тебя къ моимъ грудямъ... И еще при этомъ думать объ другомъ!... О, какъ чудно, какъ странно, создана женщина! какъ приводитъ она въ бѣшенство! весь горишь, пламень въ сердцѣ, душно, тоско, агонія... а сама она, можетъ, и не знаетъ, что́ творитъ въ насъ; она себѣ такъ, какъ ни въ чемъ не бывало; глядитъ безпечно и не знаетъ, что́ за муку произвела.»

Но между тѣмъ луна, плывшая среди необозримаго синяго, роскошнаго неба, и свѣжій воздухъ весенней ночи, на время успокоили его мысли. Они излились въ длинномъ монологѣ, изъ котораго, можетъ быть, узнаютъ (читатели) сколько-нибудь жизнь героя. «И какъ ей, въ самомъ дѣлѣ, оставить бѣдную мать, которая, когда то ее лелѣяла и которую теперь она лелѣетъ, для которой нѣтъ ничего и не будетъ уже ничего въ мірѣ, когда не будетъ ея дочери! Она одна для нея радость, пища, жизнь защита отъ отца. Нѣтъ, права она. И странная судьба моя! Отца я не видалъ: его убили на войнѣ, когда меня еще на свѣтѣ

не было. Матери я видѣлъ только посинѣлый и разрѣзанной трупъ. Она говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея вырѣзали меня безчувственнаго, неживого. Какъ мнѣ спасли жизнь, самъ не знаю. Кто спасъ? Зачѣмъ спасъ? Лучше бы пропалъ не живши. Чужіе призрѣли. Еще малъ и глупъ — я уже наѣздничалъ съ Запорожцами. Опять случай: меня полонили Татары. Негодится жить межъ ними Христіянину, пить кобылье молоко, ѣсть конину. Однакожъ я былъ веселъ душой: ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вотъ, пріѣхалъ я на родину, сирота сиротою. Не встрѣтилъ никого знакомаго. Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ дѣтствѣ. Никого, никого! Однакожъ, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядѣть, какъ посмѣвался католикъ православному народу, и вмѣстѣ весело. Подожди, Ляше, увидишь, какъ растопчетъ тебя вольной рыцарскій народъ! Что́ же? Вотъ тебѣ и похвалился! Увидѣлъ хорошую дивчину — и все позабылъ, все къ чорту. Охъ, очи, черныя очи! Захотѣлъ Богъ погубить людей за беззаконья, и послалъ васъ! Собиралось компанейство отмстить за ругательства надъ Христовой вѣрой и за безчестье народу. Я ни объ чемъ не думалъ; меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. Въ недобрый часъ затѣялась эта битва. Что́-то дѣлаютъ теперь въ Польшѣ, коронный гетманъ, сеймъ и полковники? Грѣхъ лежать на печкѣ. Еще бы можно было поправить; вражья потеря, вѣрно бъ, была сильнѣе, когда бы ударилъ изъ засады я. Бѣжатъ всѣ Запорожцы, увидавъ, что и Галькинъ отецъ держитъ вражью сторону. А все вы, черныя брови, вы всему виной! И вотъ я снова пріѣхалъ сюда съ ватагою товарищей; но не правда и месть, и жажда искупить себѣ славу силой и кровью завели меня: все вы, все вы, черныя брови! Дивно диво любовь! Ни объ чемъ не думаешь, ничего на свѣтѣ не хочешь, только сидѣть бы возлѣ ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе къ себѣ, такъ, чтобы пылающія щеки коснулись щеки, и все бы, гля-

дѣть. Боже! какъ хороша она была смѣясь! Вотъ она глядитъ на меня. Серденько мое Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь дѣлаешь ты? Вѣрно, лежишь и думаешь обо мнѣ! Нѣтъ, не могу, не въ силахъ оставить тебя, не оставлю ни за что́... Какъ же придумать?... Голова моя горитъ, а не знаю что́ дѣлать! Поѣду къ королю, упрошу Ивана Остраницу: онъ добудетъ мнѣ грамоту и королевское прощеніе, и тогда, тогда... Богъ знаетъ, что́ тогда будетъ! Только всё лучше, я буду близъ нея жить...»

Такъ раздумывалъ и почти разговаривалъ самъ съ собою Остраница; уже онъ обнималъ въ мысляхъ и свою Галю вмѣстѣ; уже воображалъ себя съ нею въ одной свѣтлицѣ: они хозяйничаютъ въ этомъ земномъ раѣ... Но настоящее опять вторгалось въ это обворожительное будущее, и герой нашъ въ досадѣ снова разбрасывалъ руками; кобенякъ слетѣлъ съ плечъ. Его терзала мысль, — какимъ образомъ объявить запорожскому ата́ману, что теперь уже онъ оставляетъ свое предпріятіе и, стало быть, помощь его больше не нужна.

ГЛАВА V.

Какъ только проснулся Остраница, то увидѣлъ весь дворъ, наполненый народомъ: усы, байбараки, женскіе парчевые кораблики, бѣлые намитки, синіе кунтуши; однимъ словомъ, дворъ представлялъ игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или еще лучше — пестрый турецкій платокъ. Со всею этою кучею народа (онъ) долженъ былъ перецѣловаться и принять неимовѣрное множество яицъ, подносимыхъ въ шапкахъ въ платкахъ, утокъ, гусей, и прочаго, — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, съ своей стороны, долженъ былъ отблагодарить угощеніемъ. Подносимое принято; и такъ какъ яйца, будучи сложены въ кучу, казались пирамидою ядеръ, выставленныхъ на крѣпости, (то)

противъ этого хозяинъ выкатилъ двѣ страшныя бочки горилки для всѣхъ гостей, и хуторянцы сдѣлали самое страшное вторженіе. Поглаживая усы, толпа нетерпѣливо ждала вступить въ бой съ этимъ драгоцѣннымъ непріятелемъ. И между тѣмъ, какъ одна толпа бросилась на столы, трещавшіе подъ баранами, жареными поросятами съ хрѣномъ, а другая къ пустившему хмѣльный водападъ, боясь ослушаться власти ата́мана, который наконецъ гостей принималъ, держа въ рукахъ плѣть. Онъ хлесталъ ею одного изъ подчиненныхъ своихъ, который стоялъ неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенанія при каждомъ ударѣ. Ата́манъ приговаривалъ такимъ дружескимъ образомъ, что, если бы не было въ рукахъ плѣти, то можно подумать, что онъ ласкаетъ родного сына. «Вотъ это тебѣ, голубчикъ, за то, чтобъ ты зналъ, какъ почитать старшихъ! Вотъ тебѣ, любезный, еще на придачу! А вотъ еще одинъ разъ! Вотъ тебѣ еще другой! Да, голубчикъ, не дѣлай такъ? А вотъ это какъ тебѣ кажется? А этотъ вкусенъ? Признайся, вкусенъ? Когда по вкусу, такъ вотъ еще! Что́ за славная плѣть! чудная плѣть! Что́, какъ вотъ это? Нашлись же такіе искусники, что такъ хитро сплѣли! Что́, танцуешь? Тебѣ, видно, весело? То-то, я зналъ, что будетъ весело. Я за тѣмъ тебя и благословляю такъ...» Тутъ ата́манъ наконецъ увидѣлъ, что молодой преступникъ, не смотря на все стараніе устоять на мѣстѣ, готовъ былъ закричать, остановился. «Ну, теперь подойди, да поклонись же! да ниже поклонись!» Принявшій удары, съ опущенными глазами, изъ которыхъ ручьемъ полились слезы, приблизился и отвѣсилъ поклонъ въ ноги. «Говори, любезный: «Благодарю, ата́манъ, за науку!»

«Благодарю, ата́манъ, за науку!»

«Теперь ступай! гайда! задай перцу баранамъ и сивухѣ!»

«Христосъ воскресъ, ата́манъ! Мы съ тобою еще не христосовались.»

«Воистину воскресъ!» отвѣчалъ ата́манъ.

«Нѣтъ ли у насъ въ запасѣ губки? Охота забираетъ люльку затянуть.» При этомъ вложилъ въ зубы, вытянутою изъ кармана, трубку.

«Какъ не быть! Это занятіе, когда матерія не клеится.»

«Я хотѣлъ сказать тебѣ дѣло,» промолвилъ Остраница съ нѣкоторою робостью.

«Гмъ!» отвѣчалъ ата́манъ, вырубая огонъ.

«Мое дѣло не клеится.»

«Не клеится?» промолвилъ, разкуривая трубку. «Погано!»

«Врядъ ли намъ что-нибудь достанется здѣсь.»

«Не достанется?... Погано!»

«Придется намъ возвратиться ни съ чѣмъ.»

«Гмъ!...»

«Что́ жъ ты скажешь?» спросилъ Остраница, удивленный такимъ неудовлетворительнымъ отвѣтомъ.

«Когда воротиться,» отвѣчалъ Запорожецъ, сплевывая, «такъ и воротиться.»

Остраница ободрило такое равнодушіе. «Только я не пойду съ вами; я поѣду на время въ Варшаву.»

«Гмъ!» отвѣчалъ ата́манъ.

«Ты, можетъ быть, сердитъ на меня, что я такъ обманулъ и поддѣлъ васъ? Божусь, что я самъ обманутъ!»

При этомъ словѣ грянула музыка, и вмѣстѣ съ нею, грянуло топанье танцующихъ. Ата́манъ, съ трубкою въ зубахъ, рынулся въ кучу танцующей компаніи, очистилъ около себя кругъ и пустился выбивать ногами и навприсядку.

ГЛАВА VI. [1])

«Что́ онъ себѣ думаетъ, этотъ дурень Остраница?» говорилъ старый Пудько. «Щенокъ! Еще и род-

---

1) Въ подлинникѣ эта глава также не обозначена. *О. Б.*

ниться задумалъ со мною! Поганый нечестивецъ! Поди къ матери своей, чтобъ доносила напередъ! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень!» говорилъ онъ, дергая рукою, какъ-будто далъ кого-нибудь за волоса. «Молодъ козакъ, усъ еще не прошибся!» Старой Кузубія не могъ вынести, когда видѣлъ, что младшій равняется съ старшими. «Знать долженъ, что кто задумалъ мстить, тотъ у того не жди уже милости. Скорѣе солнце посинѣетъ, вмѣсто дождя посыплются раки съ неба, чемъ я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! не хочу! Жинко! жинко!» Этимъ восклицаніемъ обыкновенно оканчивалъ онъ свою рѣчь, когда бывалъ сердитъ, и Боже сохрани жинкѣ не явиться тотъ же часъ! На эту рѣчь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло, изсохнувшее, едва живущее существо. Видъ ея не вдругъ (поражалъ). Нужно было взглядѣться въ этотъ несчастный остатокъ человѣка, въ это олицетворенное страданіе, чтобы ощутить въ душѣ неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себѣ длинное, все въ морщинахъ, почти безчувственное лицо; глаза черные какъ уголь, нѣкогда — огонь, буря, страсть, нынѣ неподвижные; губы какого-то мертваго цвѣта, но однакожъ онѣ были, когда-то свѣжи, какъ румянецъ на спѣющемъ яблокѣ. И кто бы подумалъ, что эти слившіяся въ сухія руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движеніе этихъ, нѣкогда гордыхъ и величественныхъ бровей, дарило счастіе, необитаемое на землѣ? И все прошло, прошло незамѣтно, образовалось наконецъ лишь безчувственное терпѣніе и безграничное повиновеніе .....

Примѣч. П. А. Кул. Отрывокъ этотъ принадлежитъ къ молодымъ произведеніямъ Гоголя. Онъ сохранился въ числѣ бумагъ, оставленныхъ Гоголемъ у В. А. Жуковскаго. Нѣкоторыя слова остались неразобраны.

НАЧАТЫЯ ПОВѢСТИ.[1])

1.

«Мнѣ нужно видѣть полковника, я къ нему имѣю дѣло, говорилъ почти отрокъ 17 лѣтъ.»

«Тебѣ полковника!» произнесъ съ разстановкою сторожевой козакъ передъ большою ставкою, разсматривая и переминая на своей ладони, съ какой-то недовѣрчивостью, грубо искрошенный табакъ, это странное растеніе, которое съ такою изумительною быстротою разнесла по всѣмъ концамъ міра вновь открытая часть свѣта. Трубка давно была у него въ зубахъ. «На что́ тебѣ полковникъ.»

При этомъ взглянулъ на просителя. Это былъ почти отрокъ, готовящійся быть юношею, уже съ мужественными чертами лица, воспитаннаго солнцемъ и здоровымъ воздухомъ, въ полотняномъ крашенномъ кунтушѣ и шароварахъ.

«Съ тобою не станетъ говорить полковникъ,» (продолжалъ козакъ, поглядѣвши) на него почти презри-

---

1) Найдены въ бумагахъ Гоголя и списаны П. А. Кулеш.

тельно и закинувъ назадъ алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ.

«Отъ чего же онъ не станетъ со мною говорить?»

«Кто жъ съ тобою станетъ говорить? ты еще недавно молоко сосалъ. Если бъ у тебя былъ хотя суконный кунтушъ да пищаль, тогда бы... Вѣдь ты, вѣрно, поповичъ, или школяръ? Знаешь ли ты этотъ инструментъ?» промолвилъ (козакъ) съ видомъ само довольной гордости и указалъ на трубку.

«Ты думаешь...»

Но молодой воинъ остановился, увидѣвши, что козакъ вдругъ онѣмѣлъ, потупилъ глаза въ землю и снялъ шапку, до того заломленную на бекрень.

«Двое пожилыхъ мужчинъ, одинъ въ короткомъ плащѣ съ рукавами, выложенными золотомъ, съ узорно вычеканенными пистолетами, другой, одѣтый въ кафтанъ съ серебряною привязанною къ поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли въ ставку. Дрожа и блѣднѣя, шмыгнулъ за ними молодой человѣкъ и вошелъ (также).

Молодой человѣкъ ударилъ поклонъ въ самую землю, отъ страха, увидѣвши, какъ вошедшіе передъ нимъ богатые кафтаны поклонились въ поясъ и почтительно потупили глаза въ землю съ тѣмъ безграничнымъ повиновеніемъ, которое такъ странно (со)-вмѣщалось съ необузданностію, чѣмъ особенно славились козацкія войска.

На разостланномъ коврѣ сидѣлъ полковникъ. Ему, казалось, на видъ было лѣтъ 50. Волоса у него стали сѣдѣть; бѣлые усы опускались внизъ. Длинный синій рубецъ на щекѣ и лбу придавалъ почти бронзовому его лицу...[1]) нельзя было отыскать никакой рѣзкой характерной черты, но просто выражалась спокойная увѣренность... Глядя на него можно было узнать, что у него рука желѣзная и... можетъ управлять... На немъ были широкіе, синіе, съ серебромъ шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Нѣсколько

1) Точки здѣсь означаютъ непрочитанныя мѣста. *П. К.*

пистолетовъ и ружей стояло и висѣло по угламъ ставки, съ уздами; (въ) углу куль соломы. Полковникъ самъ своей рукой чинилъ свое сѣдло, когда вошли къ нему писарь и есаулъ.

«Здравствуйте, пано́ве, мои вѣрные, мои добрые товарищи! Вотъ вамъ приказъ: Не пускать далеко на попасъ, потому что Татарва́ теперь рыскаетъ по степямъ... Да чтобъ козаки не стрѣляли по дорогамъ дрофъ и гусей, потому что и порохъ избавятъ даромъ... Сухари да вода, то козацкая ѣда... Да смотрите оба, чтобы все было какъ слѣдуетъ... вчера и видѣлъ, какъ козакъ кланялся что-(то) слишкомъ часто (на) конѣ. Я хотѣлъ было протрезвить его, да жаль было заряда: у меня пистолетъ былъ заряженъ хорошимъ порохомъ.» .....

II.

ПОВѢСТЬ

ИЗЪ КНИГИ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ: ЛУННЫЙ СВѢТЪ ВЪ РАЗБИТОМЪ ОКОШКѢ ЧЕРДАКА НА ВАСИЛЬЕВСКОМЪ ОСТРОВѢ, ВЪ 16 ЛИНІИ.

Было далеко за полночь. Одинъ фонарь только озарялъ неправильную улицу и бросалъ какой-то странный блескъ на каменные дома, и оставлялъ во мракѣ деревяные; изъ сѣрыхъ (они) превращались совершенно въ черные .....

III.

Я давно уже ничего не разсказывалъ вамъ. Признаться сказать, оно очень пріятно, если кто станетъ что-нибудь разсказывать. Если же выберется человѣкъ небольшого роста, съ сиповатымъ баскомъ, да и гово-

рить ни слишкомъ громко, ни слишкомъ тихо, а такъ совершенно, какъ котъ мурчитъ надъ ухомъ, то это такое наслажденіе, что ни перомъ описать, ни другимъ чѣмъ-нибудь не сдѣлать. Это мнѣ лучше нравится, нежели проливной дождикъ, когда сидишь въ сѣняхъ на полу, передъ дверью, поджавши подъ себя ноги, а онъ, голубчикъ, трепаетъ во весь духъ слому на крышѣ, и деревенскія бабы бѣгутъ босыми ногами, (набросивъ) свое рубье на голову и схвативъ подъ руку (черевики). — Вы никогда не слыхали про моего дѣда? Что́ это былъ за человѣкъ! съ какими достоинствами! я вамъ скажу, что такихъ людей я теперь нигдѣ не отыскивалъ . . . . . .

IV.

Дождь былъ продолжительный, сырой, когда я вышелъ на улицу. Сѣродымное небо предвѣщало его надолго. Ни одной полосы свѣта. Ни въ одномъ мѣстѣ, нигдѣ не разрывалось сѣрое покрывало. Движущаяся сѣть дождя задернула почти совершенно все, что́ прежде видѣлъ глазъ, и только одни передніе домы мелькали будто сквозь тонкій газъ; еще тусклѣе надъ ними балконъ; выше его еще этажъ, наконецъ крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманѣ, и только мокрый блескъ ея отличался немного отъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи . . .

Чортъ возьми, люблю я это время! Ни одного зѣваки на улицѣ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются для того, что (бы) посмотрѣть на сапоги ваши, на штаны, на фракъ, или на шляпу, и потомъ, разинувши родъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотрѣть задній фасадъ вашъ. Теперь раздолье мнѣ закутываться крѣпче въ свой плащъ . . .

Какъ удираетъ этотъ любезный молодой человѣкъ, съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ри-

дикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и заглядѣнье Невскаго Проспекта. Крѣпче его, крѣпче, дождикъ! пусть онъ вбѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой.

А! вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пестрыхъ тряпкахъ, поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушивъ послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчитъ, видя, какъ чиновн(икъ) — — запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагѣ трепещущихъ ногъ . . . О, это таковскій народъ! Они большіе бестіи, эти чиновники, ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, снѣгъ, ведро, всегда эта амфибія на улицѣ. Его воротникъ, какъ хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры; но онъ самъ неизмѣненъ, какъ его канцелярскій порядокъ.

На-встрѣчу русская борода, купецъ, въ синемъ, нѣмецкой работы, сюртукѣ, съ таліей на спинѣ, или лучше сказать на шеѣ. Съ какою купеческою ловкостью держитъ онъ зонтикъ надъ своею половиною! Какъ тяжело пыхтитъ эта масса мяса, обернутая въ капотъ и чепчикъ! Ее скорѣе можно причислить къ молюскамъ, нежели къ позвончатымъ животнымъ. Сильнѣе дождикъ, ради Бога, сильнѣе кропи его сюртукъ нѣмецкаго покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиковъ и подушекъ! Боже, какую адскую струю они оставили послѣ себя въ воздухѣ изъ капусты и луку! Кропи ихъ, дождикъ, за все: за наглое безстыдство плутоватой бороды, за жадность къ деньгамъ, за бороду, полную насѣкомыхъ, и сыромятную жизнь сожительницы . . . Какой вздоръ! ихъ не проймetъ — — что же можетъ сдѣлать дождь?»

Но какъ бы то ни было, только такого дождя давно не было. Онъ увеличился и, перемѣнивъ (въ) косвенное свое направленіе, сдѣлался прямой, (съ) шумомъ хлынулъ въ крыши, мостовую, какъ-(бы) желая вдавить еще ниже этотъ болотный городъ. Окна въ (домахъ) захлопнулись. Головы съ усами и трубкою,

долѣе всѣхъ глядѣвшія (на улицу), спрятались; даже сѣрый рыцарь, съ алебардою и завязанною щекою, убѣжалъ въ будку .....

V.

Фонарь умиралъ на одной изъ дальнихъ линій Васильевскаго Острова. Одни только бѣлые каменные домы кое-гдѣ вызначивались. Деревяные чернѣли и сливались съ густою массою мрака, тяготѣвшаго надъ ними. Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревянымъ, когда деревяный даже пропадаетъ, когда все чувствуетъ 12 часовъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, однѣ безсмысленныя кошки спѣвываются и бодрствуютъ, но человѣкъ знаетъ, что онѣ не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ аттакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему свои мрачныя объятья!

Но проходившій въ это время пѣшеходъ ничего подобнаго не имѣлъ въ мысляхъ. Это былъ не изъ обыкновенныхъ въ Петербургѣ пѣшеходовъ. Онъ былъ не чиновникъ, не русская борода, не офицеръ и не нѣмецкій ремесленникъ. Существо внѣ гражданства столицы, это былъ пріѣхавшій изъ Дерпта студентъ, готовый на всѣ должности, но еще покамѣсть ничего, кромѣ студентъ, занявшій полъ-угла въ Мѣщанской, у сапожника Нѣмца. Но обо всѣмъ этомъ послѣ. Студентъ, который въ этомъ чинномъ городѣ былъ тише воды, безъ шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался подъ домами, отбрасывая отъ себя самую огромную тѣнь, головою терявшуюся въ мракѣ.

Все, казалось, умерло ночью (безъ) огня. Ставни были закрыты. Наконецъ, подходя къ Большому проспекту, особенно остановилось его вниманіе на одномъ домѣ. Тонкая щель въ ставнѣ, свѣтившаяся огненною чертою, невольно привлекала (его) и заманила

заглянуть. Прильнувъ къ стѣнѣ и приставивъ глазъ къ тому мѣсту, гдѣ щель была пошире, (онъ засмотрѣлся) и задумался.

Лампа блистала въ голубой комнатѣ. Вся она была завалена разбросанными штуками матерій. Газъ, почти невидимый, безцвѣтный, воздушно висѣлъ на ручкахъ креселъ и тонкими струями, какъ льющійся водопадъ, падалъ на полъ. Палевые цвѣта, на бѣлой шелковой, блиставшей блескомъ серебра матеріи, свѣтились изъ-подъ газа. Около дюжины шалей, легкихъ и мягкихъ какъ пуховыя, съ цвѣтами, совершенно живыми, смятыя, были брошены на полу. Кушаки, золотыя цѣпи висѣли на взбитыхъ до потолка облакахъ батиста. Но болѣе всего занимала студента стоявшая въ углу комнаты стройная женская фигура . . . Сколько поэзіи для студента въ женскомъ платьи! . . . Но бѣлый цвѣтъ — (ни) въ чѣмъ нѣтъ сравненія . . . Какія искры пролетаютъ по жиламъ, когда блеснетъ среди мрака бѣлое платье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мракомъ. Всѣ чувства переселяются тогда въ запахъ, несущійся отъ него, и въ едва слышный, но музыкальный шумъ, производимый имъ. Это самое высшее и самое сладострастнѣйшее сладострастіе. И потому студентъ нашъ, котораго всякая горничная, (которая) шла по улицѣ, кидала въ озноб, который не зналъ прибрать имени женщинѣ, — пожиралъ глазами чудесное видѣніе, которое, стоя съ наклоненною на сторону головою, охваченною досадною тѣнью, наконецъ поворотило прямо противъ него ослѣпительную бѣлизну лица и шеи съ китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, съ бездною души . . . обворожительно бархатныя брови были невыносимы для студента.

Онъ задрожалъ и тогда только увидѣлъ другую фигуру, въ черномъ фракѣ, съ самымъ страннымъ профилемъ. Лицо, въ которомъ нельзя было замѣтитъ ни одного угла, но вмѣстѣ съ симъ оно назначалось легкими, округленными чертами. Лобъ не спускался прямо къ носу, но былъ совершенно покатъ, какъ ледяная

гора для катанья. Носъ былъ продолженіемъ его — великъ и тупъ. Губы . . . только верхняя выдвинулась гораздо далѣе. Подбородка совсѣмъ не было. Отъ носа шла діагональная линія до самой шеи. Это былъ треугольникъ, вершина котораго находилась въ носѣ: лица, которыя болѣе всего выражаютъ глупость .....

VI.

Я знаю одного чрезвычайно замѣчательнаго человѣка. Фамилія его была Рудокоповъ и дѣйствительно отвѣчала занятіямъ, потому что казалось — къ чему ни притрогивался онъ, все то обращалось въ деньги. Я его еще помню, когда онъ имѣлъ только 20 душъ крестьянъ да сотню десятинъ земли и ничего больше, когда онъ еще принадлежалъ .....

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА

ИЗЪ

ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я былъ тяжело боленъ; смертъ уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой полной трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать, послѣ моей смерти, нѣкоторыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить бесполезность всего, доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣлъ; мнѣ стало легче. Но чувствую, однако, слабость силъ моихъ, которая возвѣщаетъ мнѣ ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, и, приготовляясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мѣстамъ, необходимому душѣ моей, во время котораго можетъ все случиться, я захотѣлъ оставить при разставаньи что-нибудь отъ себя моимъ соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ моихъ послѣднихъ писемъ, которыя мнѣ удалось получить назадъ, все, что́ болѣе относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что́ можетъ получить

смыслъ только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что́ могло имѣть значеніе только для немногихъ. Прибавляю двѣ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ моей смерти, если бы она застигла меня на пути моемъ, возымѣло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидѣтельствованное всѣми моими читателями.

Сердце мое говоритъ мнѣ, что книга моя нужна и что она можетъ быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобы имѣлъ высокое о себѣ понятіе и надѣялся на умѣнье свое быть полезнымъ, но потому, что никогда еще доселѣ не питалъ такого сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ уже довольно бываетъ протянуть руку съ тѣмъ, чтобы помочь; помогаемъ же не мы, помогаетъ Богъ, ниспосылая силу слову безсильному. Итакъ, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себѣ издать ее въ свѣтъ и прошу моихъ состечественниковъ прочитать ее нѣсколько разъ; въ то же время прошу тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ достатокъ, купить нѣсколько ея экземпляровъ и раздать тѣмъ, которые сами купить не могутъ, увѣдомляя ихъ при этомъ случаѣ, что всѣ деньги, какія перевысятъ издержки на предстоящее мнѣ путешествіе, будутъ обращены, съ одной стороны, въ подкрѣпленіе тѣмъ которые, подобно мнѣ, почувствуютъ потребность внутренню отправиться къ наступающему великому посту во Святую Землю и не будутъ имѣть возможности совершить это одними собственными средствами, съ другой стороны — въ пособіе тѣмъ, которыхъ я встрѣчу на пути уже туда идущихъ и которые всѣ помолятся у Гроба Господня за моихъ читателей, своихъ благотворителей.

Путешествіе мое хотѣлъ бы я совершить, какъ добрый Христіянинъ, и потому испрашиваю здѣсь прощенія у всѣхъ моихъ соотечественниковъ во всемъ, чѣмъ ни случилось мнѣ оскорбить ихъ. Знаю, что моими необдуманными и незрѣлыми сочиненіями нанесъ я огорченіе многимъ, а другихъ даже вооружилъ противъ себя, вообще же во многихъ произвелъ неудовольствіе.

Въ оправданіе могу сказать только то, что намѣреніе мое было доброе и что я никого не хотѣлъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя; но одно мое собственное неразуміе, одна моя поспѣшность и торопливость были причиной тому, что сочиненія мои предстали въ такомъ несовершенномъ видѣ и почти всѣхъ привели въ заблужденіе на счетъ ихъ настоящаго смысла; за все же, что́ ни встрѣчается въ нихъ умышленнооскорбляющаго, прошу простить меня съ тѣмъ великодушіемъ, съ какимъ только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всѣхъ тѣхъ, съ которыми надолго, или на короткое время случилось мнѣ встрѣтиться на дорогѣ жизни. Знаю, что мнѣ случилось многимъ наносить непріятности, инымъ, быть можетъ, и умышленно. Вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило оттого, что я избѣгалъ встрѣчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человѣку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить мнѣ не хотѣлось) и будучи въ то же время убѣжденъ, что, по причинѣ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочного самолюбія, свойственнаго толко такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя въ-правѣ глядѣть спѣсиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всѣхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мнѣ случилось нанести кому либо, начиная отъ временъ моего дѣтства до настоящей минуты. Прошу таже прощенія у моихъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебреженіе, или не уваженіе къ нимъ, оказанное умышленно, или неумышленно; кому же изъ нихъ по чему-либо трудно простить меня, тому напомню, что онъ Христіянинъ. Какъ говѣющій передъ исповѣдью, которую готовится отдать Богу, проситъ прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія, и какъ никто въ такую минуту не посмѣетъ не проситъ своего

брата, такъ и онъ не долженъ посмѣть не простить меня. Наконецъ прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книгѣ встрѣтится что-нибудь непріятное и кого-нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гнѣва сокровеннаго, но вмѣсто того выставить благородно всѣ недостатки, какіе могутъ быть найдены ими въ этой книгѣ, — какъ недостатки писателя, такъ и недостатки человѣка: мое неразуміе, недомысліе, самонадѣянность, пустую увѣренность въ себѣ, словомъ — все, что́ бываетъ у всѣхъ людей, хотя они того и не видятъ, и что́, вѣроятно, еще въ большей мѣрѣ находится во мнѣ.

Въ заключеніе прошу всѣхъ въ Россіи помолиться обо мнѣ, начиная отъ святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвѣ, какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо мнѣ этою самой безсильной и черствою ихъ молитвой. Я же у Гроба Господня буду молиться о всѣхъ моихъ соотечественникахъ, не исключая изъ нихъ ни единаго; моя молитва будетъ также безсильна и черства, если святая небесная Милость не превратитъ ее въ то, чѣмъ должна быть наша молитва.

1846, Іюль.

I.

ЗАВѢЩАНІЕ.

Находясь въ полномъ присутствіи памяти и здраваго разсудка, излагаю здѣсь мою послѣднюю волю.

I. Завѣщаю тѣла моего не погребать по тѣхъ поръ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой болѣзни находили на меня минуты жизненнаго онѣмѣнія,

сердце и пульсъ переставали биться... Будучи въ жизни своей свидѣтелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей неразумной торопливости во всѣхъ дѣлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребеніе, я возвѣщаю это здѣсь въ самомъ началѣ моего завѣщанія, въ надеждѣ, что, можетъ быть, посмертный голосъ мой напомнитъ вообще объ осмотрительности. Предать же тѣло мое землѣ, не разбирая мѣста, гдѣ лежать ему; ничего не связывать съ оставшимся прахомъ. Стыдно тому, кто привлечется какимъ никудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя: онъ поклонится червямъ, ее грызущимъ. Прошу лучше помолится покрѣпче о душѣ моей, а вмѣсто всякихъ погребальныхъ почестей угостить отъ меня простымъ обѣдомъ нѣсколькихъ неимущихъ насущнаго хлѣба.

II. Завѣщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, Христіянина недостойномъ. Кому же изъ близкихъ моихъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мнѣ памятникъ иначе: воздвигнетъ онъ его въ самомъ себѣ, своею неколебимою твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, бодреньемъ и освѣженьемъ всѣхъ вокругъ себя. Кто послѣ моей смерти выростетъ выше духомъ, нежели какъ былъ при жизни моей, тотъ покажетъ, что онъ точно любилъ меня и былъ мнѣ другомъ, и симъ только воздвигнетъ мнѣ памятникъ; потому что и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, всегда ободрялъ друзей моихъ, и ни кто изъ тѣхъ, кто сходился поближе со мною въ послѣднее время, никто изъ нихъ, въ минуту своей тоски и печали, не видалъ на мнѣ унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственныя минуты, и тосковалъ я не меньше другихъ: пускай же объ этомъ вспомнитъ всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всѣ слова, мной ему сказанныя, перечтя всѣ письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною, или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мнѣ сдѣ-

лать что-нибудь полезнаго и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленнаго не на удовольствіе нѣкоторымъ, но надобнаго всѣмъ; то и тогда не слѣдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже смѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота, и зачѣмъ это видится только тогда, когда неуолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!

IV. Завѣщаю всѣмъ моимъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякій писатель долженъ оставить послѣ себя какую-нибудь благую мысль въ наслѣдство читателямъ), завѣщаю имъ лучшее изъ всего, что́ произвело перо мое, завѣщаю имъ мое сочиненіе, подъ названіемъ: *Прощальная Повѣсть*. Оно, какъ увидятъ, относится къ нимъ. Его носилъ я долго въ своемъ сердцѣ, какъ лучшее свое сокровище, какъ знакъ небесной милости ко мнѣ Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому незримыхъ, еще отъ временъ дѣтства моего. Его оставляю имъ въ наслѣдство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъ моихъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что-нибудь похожее на поученіе. Я писатель, а долгъ писателя — не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученіе людямъ. Да вспомнятъ также мои соотечественники, что и не бывши писателемъ, всякій отходѣщій отъ міра братъ нашъ

имѣетъ право оставить намъ что-нибудь въ видѣ братскаго поученія, и въ этомъ случаѣ нечего глядѣть ни на малость его званія, ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнить только то, что человѣкъ, лежащій на смертномъ одрѣ, можетъ иное видѣть лучше тѣхъ, которые кружатся среди міра. Не смотря, однако, на всѣ таковыя права мои, я бы веё не дерзнулъ заговорить о томъ, о чемъ они услышатъ въ *Прощальной Повѣсти;* ибо не мнѣ, худшему всѣхъ душою, страждущему тяжкими болѣзнями собственнаго несовершенства, произносить такія рѣчи. Но меня побуждаетъ къ тому другая, важнѣйшая причина. Соотечественники! страшно!... Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, передъ которыми пыль все величіе его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся.... Можетъ быть, *Прощальная Повѣсть* моя подѣйствуетъ сколько нибудь на тѣхъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышитъ хотя отчасти строгую тайну ея и сокровеннѣйшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники! не знаю и не умѣю какъ васъ назвать въ эту минуту... прочь пустое приличіе! Соотечественники, я васъ любилъ, любилъ тою любовью, которую не высказываютъ, которую мнѣ далъ Богъ, за которую благодарю Его, какъ, за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди наитягчайшихъ моихъ страданій. Во имя этой любви прошу васъ выслушать сердцемъ мою *Прощальную Повѣсть.* Клянусь, я не сочинялъ и не выдумывалъ ея: она выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы, намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всѣмъ. [1])

1) *Прощальная Повѣсть* не можетъ явиться въ свѣтъ: что могло имѣть значеніе по смерти, то не имѣетъ смысла при жизни.

V. Завѣщаю по смерти моей не спѣшить ни хвалой, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листкахъ и журналахъ: все будетъ такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ моихъ гораздо больше того, что́ нужно осудить, нежели того, что́ заслуживаетъ хвалу. Всѣ нападенія на нихъ были въ основаніи болѣе или менѣе справедливы. Передо мною никто не виноватъ; неблагороденъ и несправедливъ будетъ тотъ, кто попрекнетъ мною кого-либо въ какомъ бы то ни было отношеніи. Объявляю также во всеуслышаніе, что, кромѣ доселѣ напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведеній: все, что́ было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болѣзненномъ и принужденномъ состояніи. А потому, если бы кто-нибудь сталъ выдавать что-либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презрѣннымъ подлогомъ. Но возлагаю вмѣсто того обязанность на друзей моихъ собрать всѣ мои письма, писанныя къ кому-либо, начиная съ конца 1844 года, и, сдѣлавши изъ нихъ строгій выборъ только того, что̀ можетъ доставить какую-нибудь пользу душѣ, а все прочее, служащее для пустого развлеченія отвергнувши, издать отдѣльною книгою. Въ этихъ письмахъ было кое-что послужившее въ пользу тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ; можетъ быть, послужатъ они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей хотя часть суровой отвѣтственности за безполезность прежде написаннаго.

VI. . . . . [1])

VII. Завѣщаю . . . . но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому права на ега публичное

---

1) VI статья содержитъ распоряженія по дѣламъ семейственнымъ.

изданіе и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, если бы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портретъ мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его. Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудился въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всѣмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло, подходящее нынѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малаго числа знатоковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаградить его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображеніе кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но если бы случилось такъ, что, послѣ моей смерти, письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что́ ни пользуется извѣстностію, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же, по прочтеніи сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства,

и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: *Гравировалъ Іордановъ.* Симъ будетъ сдѣлано по крайней мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣй, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ станутъ, вмѣсто портрета моего, по́купать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу русскую.

Завѣщаніе моей немедленно по смерти моей должно́ быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлался передо мною невинно-виноватымъ и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

1845.

II.

ЖЕНЩИНА ВЪ СВѢТѢ.

ПИСЬМО КЪ . . . . . ОЙ.

Вы думаете, что никакого вліянія на общество имѣть не можете; я думая напротивъ. Вліяніе женщины можетъ быть очень велико, именно теперь, въ нынѣшнемъ порядкѣ, или безпорядкѣ, общества, въ которомъ съ одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой какое-то охлажденіе душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворенія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо содѣйствіе женщины. Эта истина въ видѣ какого-то темнаго́ предчувствія пронеслась вдругъ по всѣмъ угламъ міра, и все чего-то теперь ждетъ отъ женщины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что́ у насъ такъ часто передъ глазами — на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ и тому подобнаго, въ чемъ

обвиняютъ нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всѣхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей, или же отъ пустоты ихъ домашней жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нѣсколько разъ прекраснѣе и возвышеннѣе всякихъ мечтаній. Мужья не позволили бы себѣ и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько-нибудь исполнили свой долгъ. Душа жены — хранительный талисманъ для мужа, оберегающій его отъ нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогѣ, и проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую; и наоборотъ: душа жены можетъ быть его зломъ и погубить его навѣки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что всѣмъ другимъ женщинамъ предстоятъ поприща, а вамъ нѣтъ. Вы имъ видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь, что-нибудь нужное, словомъ — всячески помогать, а себѣ одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачѣмъ я не на ихъ мѣстѣ!» Знайте, что это общее ослѣпленіе. Всякому теперь кажется, что онъ могъ бы надѣлать много добра на мѣстѣ и въ должности другого, и только не можетъ сдѣлать его въ своей должности. Это причина всѣхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всѣмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мѣстѣ сдѣлать добро. Повѣрьте, что Богъ не даромъ повелѣлъ каждому быть на томъ мѣстѣ, на которомъ онъ теперь стоитъ. Нужно только хорошо осмотрѣться вокругъ себя. Вы говорите: зачѣмъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачѣмъ не разстроено ваше имѣніе, чтобы заставить васъ ѣхать въ деревню, быть помѣщицей и заняться хозяйствомъ; зачѣмъ вашъ мужъ не занятъ какою-нибудь

общеполезною трудною должностью, чтобы вамъ хоть здѣсь ему помогать и быть силою, его освѣжающею, и зачѣмъ, вмѣсто всего этого, предстоятъ вамъ одни пустые выѣзды въ свѣтъ и пустое, выдохшееся свѣтское общество, которое теперь вамъ кажется безлюднѣе самого безлюдья! Но тѣмъ не менѣе свѣтъ всё же населенъ; въ немъ люди, и притомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и болѣютъ, и страждутъ, и нуждаются, и безъ словъ вопіютъ о помощи — и, увы! даже но знаютъ, какъ попросить о ней. Какому же нищему слѣдуетъ прежде помогать: тому ли, кто еще можетъ выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чѣмъ вы можете быть кому-нибудь полезны въ свѣтѣ; что для этого нужно имѣть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной, и всезнающей женщиной, что у васъ уже кружится голова при одномъ помышленіи обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тѣмъ, что́ вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себѣ, совершенная правда: вы точно слишкомъ молоды, не пріобрѣли ни познанія людей, ни познанія жизни, словомъ — ничего того, что́ необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимъ; можетъ быть, даже, вы и никогда этого не пріобрѣтете: но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во-первыхъ, вы имѣете уже красоту, во-вторыхъ — неопозоренное, неоклеветанное имя, въ-третьихъ — власть, которой сами въ себѣ не подозрѣваете, власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Богъ не даромъ повелѣлъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредѣлено, чтобы всѣхъ равно поражала красота, — даже и такихъ, которые ко всему безчувственны и ни къ чему, неспособны. Если уже одинъ безсмысленный капризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемірныхъ и заставлялъ дѣлать глупости наиумнѣйшихъ людей, что́ же было бы тогда, если бы этотъ капризъ былъ осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра

тогда могла произвести красавица сравнительно съ другими женщинами! Стало быть, это орудіе сильное. Но вы имѣете еще высшую красоту — чистую прелесть какой-то особенной, одной вамъ свойственной, невинности, которую я не умѣю опредѣлить словомъ, но въ которой такъ и свѣтится всѣмъ ваша голубиная душа. Знаете ли, что мнѣ признавались наиразвратнѣйшіе изъ нашей молодежи, что передъ вами ничто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствіи не только двусмысленнаго слова, которымъ потчиваютъ другихъ избранницъ, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будетъ передъ вами какъ-то грубо и отзовется чѣмъ-то ухарскимъ и неприличнымъ. Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего вѣдома отъ одного вашего присутствія! Кто не смѣетъ себѣ позволить при васъ дурной мысли, тотъ уже ее стыдится; а такое обращеніе на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шагъ человѣка къ тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудіе также сильное. Въ прибавленіе ко всему, вы имѣете уже самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы, жажду добра. Не ужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за человѣка благороднаго, умнаго, имѣющаго всѣ качества, чтобы сдѣлать счастливою жену свою, какъ уже, намѣсто того, чтобы сокрыться въ глубину вашего домашняго счастія, мучитесь мыслію, что вы недостойны такого счастія, что не имѣете права имъ пользоваться въ то время, когда вокругъ васъ такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются вѣсти о бѣдствіяхъ всякого рода: о голодѣ, пожарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ болѣзняхъ ума, которыми заражено текущее поколѣніе. Повѣрьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душѣ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можетъ для нихъ сдѣлать; у того повсюду по-

прище, потому что повсюду люди. Не убѣгайте же свѣта, среди котораго вамъ назначено быть; не спорьте съ Провидѣніемъ. Въ васъ живетъ та невѣдомая сила, которая нужна теперь для свѣта: самый вашъ голосъ, отъ постояннаго устремленія вашей мысли летѣть на помощь человѣку, пріобрѣлъ уже какіе-то родные звуки всѣмъ, такъ что, если вы заговорите въ сопровожденіи чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда неоставляющей устъ вашихъ, которая однимъ только вамъ свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая-то небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталъ всемогущъ; вы можете повелѣвать и быть такимъ деспотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелѣвайте же безъ словъ, однимъ присутствіемъ вашимъ; повелѣвайте самимъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; повелѣвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынѣшняго свѣта. Съ вашей робкой неопытностію, вы теперь въ нѣсколько разъ больше сдѣлаете, нежели женщина умная и все испытавшая съ своей гордой самонадѣянностію: ея наиумнѣйшія убѣжденія, съ которыми она бы захотѣла обратить на путь нынѣшній свѣтъ, въ видѣ злыхъ эпиграммъ посыплются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмѣетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ, безъ словъ, вы попросите кого нибудь изъ насъ, чтобы онъ сдѣлался лучшимъ. Отчего вы такъ испугались разсказовъ о свѣтскомъ развратѣ? Онъ точно есть, и еще даже въ бóльшей мѣрѣ, нежели вы думаете; но вамъ и знать объ этомъ не должно. Вамъ ли бояться жалкихъ соблазновъ свѣта? Влетайте въ него смѣло, съ тою же сіяющею вашей улыбкою; входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествѣ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лекарства: вамъ не слѣдуетъ и разсматривать, какими болѣзнями кто боленъ. У васъ нѣтъ способности распознавать и исцѣлять болѣзни, и я вамъ не дамъ такого совѣта, какой бы мнѣ слѣдовало дать всякой другой женщинѣ, къ тому способной. Ваше дѣло только

приносить страждущему вашу улыбку да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человѣку прилетѣвшая съ небесъ его сестра, — ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними и спѣшите къ другимъ, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всѣхъ углахъ міра ждутъ и не дождутся ничего другого, какъ только тѣхъ родныхъ звуковъ, того самого голоса, который у васъ уже есть. Не болтайте со свѣтомъ о томъ, о чемъ онъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ Богъ отъ всякаго педантства и отъ всѣхъ тѣхъ разговоровъ которые изходятъ изъ устъ какой-нибудь нынѣшней львицы. Вносите въ свѣтъ тѣ же самые простодушные ваши разсказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей; когда такъ и сіяетъ всякое простое слово вашей рѣчи, а душѣ всякаго, кто васъ ни слушаетъ, кажется, какъ-будтобы она лепечетъ съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенчествѣ человѣка. Эти-то именно рѣчи вносите и въ свѣтъ.

1846.

III.

ЗНАЧЕНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.. .. МУ.

...Силы мои слабѣютъ ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тѣлесные недуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составѣ тѣла, что радъ бываешь, какъ Богъ знаетъ чему, когда наконецъ оканчивается день и доберешься до постели. Часто, въ душевномъ безсиліи, восклицаешь: «Боже! гдѣ же наконецъ берегъ всего?» Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себѣ

внутрь — ничего уже не издаетъ душа, кромѣ однихъ слезъ и благодаренія. О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынѣ каковъ я ни есть, но я всё же сталъ лучше, нежели былъ прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже такимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человѣка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ Милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходятъ ко мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что́ не выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнѣе прежняго. Не будь тяжкихъ болѣзненныхъ страданій, куда бъ я теперь не занесся! какимъ бы значительнымъ человѣкомъ вообразилъ себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, что недугъ можетъ остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принесть душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желаніи, а не въ исполненіи, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные мнѣ Богомъ таланты, и буду осужденъ, какъ послѣдній изъ преступниковъ... слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеснаго Промыслителя за мою болѣзнь. Принимайте же и вы покорно всякій недугъ, вѣря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось передъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла.

1846.

IV.

О ТОМЪ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО.

Пушкинъ, когда прочиталъ слѣдующіе стихи изъ оды Державина къ Храповицкому:

За слова меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ —

сказалъ такъ: «Державинъ не совсѣмъ правъ: слова поэта суть уже его дѣла.» Пушкинъ правъ. Поэтъ на поприщѣ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякой другой на своемъ поприщѣ. Если писатель станетъ оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспѣшной торопливости его слова, тогда и всякій несправедливый судья можетъ оправдаться въ томъ, что взялъ взятки и торговалъ правосудіемъ, складывая вину на свои тѣсныя обстоятельства, на жену, на большое семейство, словомъ — мало ли, на что́ можно сослаться? У человѣка вдругъ явятся тѣсныя обстоятельства. Потомству нѣтъ дѣла то того, кто былъ виною, что писатель сказалъ глупость, или нелѣпость, или же выразился вообще необдуманно и незрѣло. Оно не станетъ разбирать, кто толкалъ его подъ руку: близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную дѣятельность, журналистъ ли, хлопотавшій только о выгодѣ своего журнала. Потомство не приметъ въ уваженіе ни кумовства, ни журналистовъ, ни собственной его бѣдности и затруднительнаго положенія. Оно сдѣлаетъ упрекъ ему, а не имъ. Зачѣмъ ты не устоялъ противу всего этого? Вѣдь ты же почувствовалъ самъ честность званія своего; вѣдь ты же умѣлъ предпочесть его другимъ выгоднѣйшимъ должностямъ и сдѣлалъ это не въ слѣдствіе какой-нибудь фантазіи, но потому, что въ себѣ услышалъ на то призваніе Божіе; вѣдь ты же получилъ въ добавку къ тому умъ, который видѣлъ подальше, пошире и поглубже дѣла,

нежели тѣ, которые тебя подталкивали! Зачѣмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что́ нужно для мужа? Словомъ, еще какой-нибудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ. Онъ слишкомъ повредилъ себѣ тѣмъ, что не сжегъ по крайней мѣрѣ цѣлой половины одъ своихъ. Эта половина одъ представляетъ явленіе поразительное: никто еще доселѣ такъ не посмѣялся надъ самимъ собою, надъ святынею своихъ лучшихъ вѣрованій и чувствъ, какъ сдѣлалъ это Державинъ въ этой несчастной половинѣ своихъ одъ. Точно какъ-бы онъ силился здѣсь намалевать каррикатуру на самого себя: все, что́ въ другихъ мѣстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здѣсь холодно, бездушно и принужденно; а что́ хуже всего, здѣсь повторены тѣ же самые обороты, выраженія и даже цѣликомъ фразы, которые имѣютъ такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ и которые тутъ просто, смѣшны и походятъ на то, какъ-бы карликъ надѣлъ панцырь великана, да еще и не такъ, какъ слѣдуетъ. Сколько людей теперь произноситъ сужденіе о Державинѣ, основываясь на его пошлыхъ одахъ! сколько усомнилось въ искренности его чувствъ, потому только, что нашли ихъ во многихъ мѣстахъ выраженными слабо и бездушно! какіе двусмысленные толки составились о самомъ его характерѣ, душевномъ благородствѣ и даже неподкупности того самого правосудія, за которое онъ стоялъ! И все потому, что не сожжено то, что́ должно быть предано огню. Пріятель нашъ П*** имѣетъ обыкновеніе, отрывши какія ни попало строки извѣстнаго писателя, тотъ же часъ ихъ тиснуть въ журналѣ, не взвѣсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестію его. Онъ скрѣпляетъ все дѣло извѣстною оговоркою журналистовъ: «Надѣемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщеніе сихъ драгоцѣнныхъ строкъ; въ великомъ человѣкѣ все достойно любопытства,» и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкій читатель останется бла-

годаренъ; но потомство плюнетъ на эти драгоцѣнныя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что́ уже извѣстно, и если не дышетъ отъ нихъ святыня того, что́ должно быть свято. Чѣмъ истины выше тѣмъ нужно быть осторожнѣе съ ними: иначе — онѣ вдругъ обратятся въ общія мѣста, а общимъ мѣстамъ ужс не вѣрятъ. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемѣрные, или даже, просто, неприготовленные проповѣдыватели Бога, дерзавшіе произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться съ словомъ нужно честно. Оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Бѣда произносить его писателю въ тѣ поры, когда онъ находился подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гнѣва, или какого-нибудь личнаго нерасположенія къ кому бы то ни было, словомъ — въ тѣ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа: изъ него такое выйдетъ слово, которое всѣмъ опротивѣетъ; и тогда съ самымъ чистѣйшимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же нашъ пріятель П*** тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, спѣша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головѣ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всѣмъ, словомъ — выказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествѣ. И что́ жъ? Замѣтили ли читатели тѣ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли отъ него то, чѣмъ онъ хотѣлъ съ ними подѣлиться? Нѣтъ, они замѣтили въ немъ одно только неряшество и неопрятность, которыя прежде всего замѣчаетъ человѣкъ, и ничего отъ него не приняли. Тридцать лѣтъ работалъ и хлопоталъ, какъ муравей, этотъ человѣкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорѣе въ руки всѣмъ все, что́ ни находилось на пользу просвѣщенія и образованія Русскаго, — и ни одинъ человѣкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрѣтилъ, который бы сказалъ, что онъ обязанъ ему какимъ-нибудь новымъ свѣтомъ, или пре-

краснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже сприть и стоять за чистоту самихъ намѣреній и за искренность словъ его передъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнѣ было трудно даже убѣдить кого-либо, потому что онъ съумѣлъ такъ замаскировать себя передъ всѣми, что рѣшительно нѣтъ возможности показать его въ томъ видѣ, каковъ онъ дѣйствительно есть. Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гнило да не исходитъ изъ устъ нашихъ! Если это слѣдуетъ примѣнить ко всѣмъ намъ безъ изъятія, то во сколько кратъ болѣе оно должно быть примѣнено къ тѣмъ, у которыхъ поприще — слово, и которымъ опредѣлено говорить о прекрасномъ и возвышенномъ. Бѣда, если о предметахъ святыхъ и возвышенныхъ станетъ раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ. Всѣ великіе воспитатели людей налагали долгое молчаніе именно на тѣхъ, которые владѣли даромъ слова, именно въ тѣ поры и въ то время, когда больше всего хотѣлось имъ пощеголять словомъ и рвалась душа сказать даже много полезнаго людямъ. Они слышали, какъ можно опозорить то, что́ стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъ есть нашъ предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои,» говоритъ Іисусъ Сирахъ. «растопи золото и серебро, какое имѣешь, дабы сдѣлать изъ нихъ вѣсы, которые взвѣшивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста.»

1844.

V.

ЧТЕНІЯ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ ПЕРЕДЪ ПУБЛИКОЮ.

ПИСЬМО КЪ Л**.

Я радъ, что наконецъ начались у насъ публичныя чтенія произведеній нашихъ писателей. Мнѣ уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъ читали разныя литературныя современности, а въ томъ числѣ и мои повѣсти. Я думалъ всегда, что публичное чтеніе у насъ необходимо. Мы какъ-то охотнѣе готовы дѣйствовать съобща, даже и читать; поодиначкѣ изъ насъ всякъ лѣнивъ, и пока видитъ, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди насъ мало рѣчистыхъ говоруновъ, способныхъ щеголять въ палатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всякому *сочувствовать*. Передать, подѣлиться ощущеніемъ у многихъ обращается даже въ страсть, которая становится еще сильнѣе по мѣрѣ того, какъ живѣе начинаютъ замѣчать они, что не умѣютъ изъясниться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованію чтецовъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который, какъ-бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себѣ всѣ оттѣнки звуковъ и самые смѣлые переходы отъ возвышеннаго до простого въ одной и той же рѣчи. Я даже думаю, что публичныя чтенія со временемъ замѣнятъ у насъ спектакли. Но я бы желалъ, чтобы въ нынѣшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно сто́ящее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего такого, да и нѣтъ надобности читать современное: публика его прочтетъ и безъ того, благодаря страсти къ новизнѣ. Всѣ эти новыя повѣсти (въ томъ числѣ и мои) не такъ

важны, чтобы сдѣлать изъ нихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ нашимъ поэтамъ, къ тѣмъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обработывались въ головѣ, надъ которыми и чтецъ долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти не извѣстны публикѣ. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ что въ глазахъ ея личность каждаго поэта теперь двоится и никто не можетъ представить себѣ опредѣлительно, что́ такое изъ нихъ всякъ въ существѣ своемъ. Одно только искусное чтеніе можетъ установить о нихъ ясное понятіе. Но, разумѣется, нужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неуловимую черту того, что́ читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагедію, и комедію, и оду, и все, что ни попало. Прочесть какъ слѣдуетъ произведеніе лирическое — вовсе не бездѣлица; для этого нужно долго его изучать; нужно раздѣлить искренно съ поэтомъ высокое ощущеніе, наполнявшее его душу; нужно душою и сердцемъ почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будетъ вовсе не крикливое, не въ жару и горячкѣ. Напротивъ, оно можетъ быть даже очень спокойное, но въ голосѣ чтеца послышится невѣдомая сила, свидѣтель истинно растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится всѣмъ и произведетъ чудо: потрясутся и тѣ, которые не потрясались никогда отъ звуковъ поэзіи. Чтеніе нашихъ поэтовъ можетъ принести много публичнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совсѣмъ позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикѣ въ какомъ-то низкомъ смыслѣ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому

принадлежитъ мысль — обратить публичныя чтенія въ пользу бѣднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, болѣзней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утѣшились души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

1845.

VI.

О ПОМОЩИ БѢДНЫМЪ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ А. О. С. . . . . ОЙ.

. . . . . Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость молодежи, которая затѣяла подносить золотые вѣнки и кубки чужеземнымъ пѣвцамъ и актрисамъ въ то самое время, когда голодали столь многіе. Это происходитъ не отъ глупости и не отъ ожесточенія сердецъ, даже и не отъ легкомыслія. Это происходитъ отъ человѣческой всѣмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія и ужасы, производимые голодомъ, далеки отъ насъ; они совершаются внутри провинцій, они не передъ нашими глазами, — вотъ разгадка и объясненіе всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ, дабы насладиться пѣніемъ Рубини, сто рублей за кресла въ театрѣ, продалъ бы свое послѣднее имущество, если бы довелось ему быть свидѣтелемъ на дѣлѣ хотя одной изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станетъ дѣло: мы всѣ готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бѣдныхъ у насъ дѣлаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякій увѣренъ, дойдетъ ли, какъ слѣдуетъ, до мѣста назначенія его пожертвованіе, попадетъ ли оно именно въ тѣ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію слу-

чается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукѣ, вся расхлещется по дорогѣ, прежде нежели донесется, — и нуждающемуся приходится посмотрѣть только на одну сухую руку, въ которой нѣтъ ничего. Вотъ о какомъ предметѣ слѣдуетъ подумать прежде, нежели начнутъ собирать пожертвованія. Объ этомъ мы съ вами послѣ потолкуемъ, потому что это дѣло ни чуть не моловажное и сто́итъ того, чтобы о немъ толково потолковать. А теперь поговоримъ о томъ, гдѣ скорѣе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастіе внезапное, которое вдругъ, въ одну минуту лишило его всего за однимъ разомъ: или пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скотъ, или смерть, похитившая единственную подпору, словомъ — всякое лишеніе внезапное, гдѣ вдругъ является человѣку бѣдность, къ которой онъ еще не успѣлъ привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христіянскимъ образомъ; если же она будетъ состоять въ одной только выдачѣ денегъ, она равно ничего не будетъ значить и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головѣ всего положенія того человѣка, которому хотите помочь, и не принесли съ собою ему наученіи, какъ отнынѣ слѣдуетъ вести ему жизнь, онъ не получитъ большого добра отъ вашей помощи. Цѣна поданной помощи рѣдко равняется цѣнѣ утраты; вообще, она едва составляетъ половину того, что́ человѣкъ потерялъ, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русской человѣкъ способенъ на всѣ крайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что̀ ему дано на долговременное содержаніе. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощію, которую вы принесли ему; объясните ему истинное значеніе несчастія, чтобы онъ видѣлъ, что оно послано ему затѣмъ, дабы онъ измѣнилъ прежнее житіе свое, дабы отнынѣ онъ сталъ уже не прежній, но какъ-бы

другой человѣкъ, и вещественно, и нравственно. Вы съумѣете это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельства. Онъ васъ пойметъ: несчастіе умягчаетъ человѣка; природа его становится тогда болѣе чуткой и доступной къ пониманію предметовъ, превосходящихъ понятіе человѣка, находящагося въ обыкновенномъ и вседневномъ положеніи; онъ какъ-бы весь обращается тогда въ разогрѣтый воскъ, изъ котораго можно лѣпить все, что́ ни захотите. Всего лучше, однакожъ, если бы всякая помощь производилась чрезъ руки опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они одни въ силахъ истолковать человѣку святой и глубокій смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на землѣ, обитаетъ ли онъ въ избѣ, или палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человѣку о перемѣнѣ всей его прежней жизни.

1844.

VII.

ОБЪ ОДИССЕѢ, ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМЪ.

ПИСЬМО КЪ Н. М. Я. . . . ВУ.

Появленіе Одиссеи произведетъ эпоху. Одиссея есть рѣшительно совершеннѣйшее произведеніе всѣхъ вѣковъ. Объемъ ея великъ; Иліада предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашнюю жизнь, всѣ поприща тогдашнихъ людей, съ ихъ ремеслами, знаніями, вѣрованіями . . . словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что́ бы въ ней было пропущено. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ служила она неизсякаемымъ колодцемъ для древнихъ, а потомъ и для всѣхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчисленнаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему

свѣту, сдѣлалось достояніемъ всѣхъ, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна: въ Европѣ ея не оцѣнили. Виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передавалъ художественно великолѣпнѣйшее произведеніе древности, отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всѣ безчисленныя, неуловимыя красоты какъ самого Гомера, такъ и вообще эллинской рѣчи, отчасти же недостатокъ, наконецъ, и самого народа, въ такой степени одареннаго чистотою дѣвственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первѣйшаго поэтическаго творенія производится на языкѣ, полнѣйшемъ и богатѣйшемъ всѣхъ европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковскаго была какъ-бы приготовленіемъ къ этому дѣлу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переводахъ съ поэтовъ всѣхъ націй и языковъ, чтобы сдѣлаться потомъ способнымъ передать вѣчный стихъ Гомера, — уху его наслушаться всѣхъ лиръ, дабы сдѣлаться до того чуткимъ, чтобы и оттѣнокъ эллинскаго звука не пропалъ; нужно было, мало того, что влюбиться ему самому въ Гомера, получить еще страстное желаніе заставить всѣхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера, на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ такимъ событіямъ, которыя привели въ бóльшую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было, наконецъ, сдѣлаться глубже христіяниномъ, дабы пріобрѣсти тотъ прозирающій, углубленный взглядъ на жизнь, котораго никто не можетъ имѣть, кромѣ христіянина, уже постигнувшаго значеніе жизни. Вотъ сколькимъ условіямъ нужно было выполниться, чтобы переводъ Одиссеи вышелъ не рабская передача, по послышалось бы въ немъ слово живо и вся Россія приняла бы Гомера, какъ родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скорѣе возсозданіе, возстановленіе, воскресеніе Гомера. Переводъ какъ-бы еще болѣе вводитъ въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ-бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ-бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозь которое еще опредѣлительнѣе и яснѣе выказываются всѣ безчисленныя его сокровища.

По моему, всѣ нынѣшнія обстоятельства какъ-бы нарочно обстановились такъ, чтобы сдѣлать появленіе Одиссеи почти необходимымъ въ настоящее время. Въ литературѣ, какъ и во всемъ — охлажденіе. Какъ очаровываться, такъ и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя больныя произведенія вѣка, съ примѣсью всякихъ непереварившихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать; только одни задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое-что перечитываютъ, не замѣчая въ простодушіи, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе произведенія, стройнаго во всѣхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостію изумительною и отъ котораго повѣвало бы спокойствіемъ и простотою, почти младенческою.

Одиссея произведетъ у насъ вліяніе, какъ *вообще на всѣхъ*, такъ и *отдѣльно на каждаго*.

Разсмотримъ то вліяніе, которое она можетъ у насъ произвести *вообще на всѣхъ*. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключились всѣ нужныя условія, дабы сдѣлать ее чтеніемъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяетъ всю увлекательность сказки и всю простую правду человѣческаго похожденія, имѣющаго равную заманчивость для всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ. Дворянинъ, мѣщанинъ, купецъ, грамотѣй и не грамотѣй, рядовой солдатъ, лакей, дѣти обоего пола,

начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаетъ любить сказку, ее прочитаютъ и выслушаютъ безъ скуки. Обстоятельство слишкомъ важное, особенно если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое нравственное произведеніе и что единственно затѣмъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ живыхъ образахъ начертать законы дѣйствій тогдашнему человѣку.

Греческое многобожіе не соблазнитъ нашего народа. Народъ нашъ уменъ: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что́ приводитъ въ тупикъ умниковъ. Онъ здѣсь увидитъ только доказательство того, какъ трудно человѣку самому, безъ пророковъ и безъ откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога въ истинномъ видѣ, и въ какихъ нелѣпыхъ видахъ станетъ онъ представлять себѣ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Онъ даже не посмѣется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ невиноватыми: пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, апостоловъ не было. Нѣтъ, народъ нашъ скорѣе почешетъ у себя въ затылкѣ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его истинномъ видѣ, имѣя въ рукахъ уже письменный законъ Его, имѣя даже истолкователей закона въ отцахъ духовныхъ, молится лѣнивѣе и выполняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смѣкнетъ, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, не смотря на то, что онъ по невѣжеству взывалъ къ ней въ образѣ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Кефестовъ, Геліосовъ, Кипридъ и всей вереницы, которую наплело играющее воображеніе Грековъ. Словомъ, многобожіе отложитъ онъ въ сторону, а извлечетъ изъ Одиссеи то, что́ ему слѣдуетъ изъ нея извлечь, — то, что́ ощутительно въ ней видимо всѣмъ, что́ легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, то есть, что человѣку вездѣ, на всякомъ поприщѣ, предстоитъ много бѣдъ, что нужно съ ними бороться, для того и жизнь дана человѣку, что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ

унывать, какъ не унывалъ Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался къ своему сердцу, не подозрѣвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращеніемъ къ самому себѣ онъ уже творилъ ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бѣдствій совершаетъ всякій человѣкъ, даже неимѣющій никакого понятія о Богѣ. Вотъ то *общее*, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведетъ на всѣхъ впечатлѣніе Одиссея, прежде нежели одни восхитятся ея поэтическими достоинствами, вѣрностью картинъ и живостью описаній, прежде нежели другіе поразятся раскрытіемъ сокровищъ древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ея ни ваяніе, ни живопись, ни вообще всѣ древніе памятники; прежде нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всѣхъ изгибовъ души человѣческой, которые всѣ были вѣдомы всевидѣвшему слѣпцу; прежде нежели четвертые будутъ поражены глубокимъ вѣдѣніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чѣмъ обладалъ также божественный старецъ, законодатель и своего, и грядущихъ поколѣній, словомъ — прежде нежели кто-либо завлечется чѣмъ-нибудь отдѣльно въ Одиссеѣ сообразно своему ремеслу, занятіямъ, наклонностямъ и своей личной особенности. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущность его, что ни въ одномъ твореніи не проступаетъ она такъ сильно наружу, проникая все и прebладая надъ всѣмъ, особенно, когда разсмотримъ еще, какъ ярки всѣ эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застѣнить главное.

Отчего жъ такъ сильно это слышится всѣмъ? Оттого, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотѣлъ онъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіи то, что́ хотѣлъ бы утвердить навѣки въ людяхъ, какъ стремился укрѣпить въ народныхъ обычаяхъ то, что́ въ нихъ похвально, напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что́ есть въ немъ и что́ онъ способенъ поза-

бывать всякую минуту, — оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ вообще оставить въ своемъ неутомимомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитаніе обычаевъ, это благоговѣйное уваженіе власти и начальниковъ, не смотря на ограниченные предѣлы самой власти, эта дѣвственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгнѣвіе старцевъ, это радушное гостепріимство, это уваженіе и почти благоговѣніе къ человѣку, какъ представителю образа Божія, это вѣрованіе, что ни одна благая мысль не зарождается въ головѣ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа и что ничего не можетъ онъ сдѣлать своими собственными силами, словомъ — все, всякая малѣйшая черта въ Одиссеѣ говоритъ о внутреннемъ желаніи поэта всѣхъ поэтовъ оставить древнему человѣку живую и полную книгу законодательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленіями не были опредѣлены отношенія людей, когда люди еще многаго не вѣдали и даже не предчувствовали и когда одинъ только божественный старецъ все видѣлъ, слышалъ, соображалъ и предчувствовалъ, слѣпецъ, лишенный зрѣнія, общаго всѣмъ людямъ, и вооруженный тѣмъ внутреннимъ окомъ, котораго не имѣютъ люди.

И какъ искусно сокрытъ весь трудъ многолѣтнихъ обдумываній подъ простотою самаго простодушнѣйшаго повѣствованія! Кажется, какъ-бы, собравъ весь людъ въ одну семью и усѣвшись среди нихъ самъ, какъ дѣдъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться, ведетъ онъ добродушный разсказъ свой и только заботится о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумѣстною длинnотою поученія, но развѣять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы играя набрались всѣ того, что дано не на игрушку человѣку, и незамѣтно бы надышались тѣмъ, что зналъ онъ и видѣлъ лучшаго на своемъ вѣку и

въ своемъ вѣкѣ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, если бы по внимательномъ разсмотрѣніи уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цѣлаго и порознь каждой пѣсни. Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ — миѳъ, а всѣ творенія его — народныя пѣсни и рапсодіи!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвесть у насъ Одиссея *отдѣльно на каждаго*. Во первыхъ, она подѣйствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратитъ многихъ къ свѣту, проведя ихъ, какъ искусный лоцманъ, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнитъ намъ всѣмъ, въ какой безхитростной простотѣ нужно возсоздавать природу, какъ уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, въ какомъ уравновѣшенномъ спокойствіи должна изливаться рѣчь наша. Она вновь дастъ почувствовать всѣмъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую вѣкъ мы должны помнить и которую всегда позабываемъ, а именно: по тѣхъ поръ не приниматься за перо, пока все въ головѣ не установиться въ такой ясности и порядкѣ, что даже ребенокъ въ силахъ будетъ понять и удержать все въ памяти. Еще болѣе, нежели на самихъ писателей, Одиссея подѣйствуетъ на тѣхъ, которые еще готовятся въ писатели и, находясь въ гимназіяхъ и университетахъ, видятъ передъ собою еще туманно и неясно свое будущее поприще. Ихъ она можетъ навести съ самого начала на прямой путь, избавивъ отъ лишняго шатанія по кривымъ закоулкамъ, по которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во-вторыхъ, Одиссея подѣйствуетъ на вкусъ и на развитіе эстетическаго чувства. Она освѣжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ

появиться много истинно дѣльныхъ критикъ, тѣмъ болѣе, что врядъ ли есть на свѣтѣ другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увѣренъ, что толки, разборы, разсужденія, замѣчанія и мысли, ею возбужденные, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткѣ: критики не будутъ ничтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что̀ и сказать объ Одиссеѣ.

Въ-третьихъ, Одиссея своею русскою одеждою, въ которую облескъ ее Жуковскій, можетъ подѣйствовать значительно на очищеніе языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что́ ни писалъ онъ доселѣ, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнѣе его на слова и выраженія, не достигала до такой полноты русская рѣчь. Тутъ заключились всѣ ея извороты и обороты во всѣхъ видоизмѣненіяхъ. Безконечно огромные періоды, которые у всякаго другого были бы вялы, темны, и періоды сжатые, краткіе, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы рѣчь, у него такъ братски улегаются другъ возлѣ друга, всѣ переходы и встрѣчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучіи, все такъ сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего цѣлаго, что, кажется, какъ-бы пропалъ вовсе всякій слогъ и складъ рѣчи: ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ и самого переводчика. Намѣсто его стоитъ передъ глазами, во всемъ величіи, старецъ Гомеръ, и слышатся тѣ величавыя, вѣчныя рѣчи, которыя не принадлежатъ устамъ какого-нибудь человѣка, но которыхъ удѣлъ вѣчно раздаваться въ мірѣ. Здѣсь-то увидятъ наши писатели, съ какою разумною осмотрительностію нужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умѣньемъ помѣстить его въ надлежащемъ мѣстѣ и какъ много значитъ для такого сочиненія, которое назначается на всеобщее употребле-

ніе и есть сочиненіе геніальное, это наружное благоприличіе, эта внѣшняя обработка всего: тутъ малѣйшая соринка замѣтна и всѣмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваетъ весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великолѣпно-убранной комнатѣ, гдѣ все сіяетъ ясностью зеркала, начиная отъ потолка до паркета: всякій вошедшій прежде всего увидитъ эти бумажки именно по тому же самому, почему бы онъ ихъ вовсе не примѣтилъ въ неприбранной, нечистой комнатѣ.

Въ-четвертыхъ, Одиссея подѣйствуетъ въ любознательномъ отношеніи, какъ на занимающихся науками, такъ и на неучившихся никакой наукѣ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторіи не начитаешь того, что́ отыщешь въ ней: отъ нея такъ и дышетъ временемъ минувшимъ; древній человѣкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ-будто ты еще вчера его видѣлъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всѣхъ его дѣйствіяхъ, во всѣ часы дня: какъ приготовляется онъ благоговѣйно къ жертвоприношенію, какъ бесѣдуетъ чинно съ гостемъ за пировою критерой, какъ одѣвается, какъ выходитъ на площадь, какъ слушаетъ старца, какъ поучаетъ юношу; его домъ его колесница, его спальня, малѣйшая мебель въ домѣ, отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей, — все передъ глазами, еще свѣжѣе, нежели въ открытой изъ земли Помпеѣ.

Наконецъ, я даже думаю, что появленіе Одиссеи произведетъ впечатлѣніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно въ нынѣшнее время, когда таинственною волею Провидѣнія сталъ слышаться повсюду болѣзненный ропотъ неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человѣческаго на все, что́ ни есть на свѣтѣ: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всѣмъ наконецъ начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, въ которое возвели насъ наша новѣйшая гражданственность и просвѣщеніе; когда слышна у всякаго какая-то безотчетная жажда быть не тѣмъ, чѣмъ онъ есть, можетъ быть, происшедшая

отъ прекраснаго источника быть лучше; когда, сквозь нелѣпые крики и опрометчивыя проповѣдыванія новыхъ, еще темно услышанныхъ идей, слышно какое-то всеобщее стремленіе стать ближе къ какой-то желанной серединѣ, найти настоящій законъ дѣйствій, какъ въ массахъ, такъ у отдѣльно взятыхъ особахъ; словомъ, въ это именно время Одиссея поразитъ величавою патріархальностію древняго быта, простою несложностью общественныхъ пружинъ, свѣжестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человѣка. Въ Одиссеѣ услышитъ сильный упрекъ себѣ нашъ девятнадцатый вѣкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мѣрѣ того, какъ станетъ онъ поболѣе всматриваться въ нее и вчитываться.

Что́ можетъ быть, напримѣръ, уже сильнѣе того упрека, который раздастся въ душѣ, когда разглядишь, какъ древній человѣкъ, съ своими небольшими орудіями, со всѣмъ несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибѣгать къ коварству для истребленія врага, съ своею непокорною, жесткою, несклонною къ повиновенію природою, съ своими ничтожными законами, умѣлъ, однакоже, однимъ только простымъ исполненіемъ обычаевъ старины и обрядовъ, которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповѣданы передаваться въ видѣ святыни отъ отца къ сыну, однимъ только простымъ исполненіемъ этихъ обычаевъ дошелъ до того, что пріобрѣлъ какую-то стройность и даже красоту поступковъ, такъ что все въ немъ сдѣлалось величаво съ ногъ до головы, отъ рѣчи до простого движенія и даже до складки платья, и кажется, какъ-бы дѣйствительно слышишь въ немъ богоподобное происхожденіе человѣка? А мы, со всѣми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами всѣхъ вѣковъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана намъ на то, чтобы сдѣлать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей, со всѣми этими орудіями, умѣли дойти до какого-то неряшества и неустройства, какъ внѣшняго, такъ и внутрен-

няго, умѣли сдѣлаться лоскутными, мелкими, отъ головы до самого платья нашего, и, ко всему еще въ прибавку, опротивѣли до того другъ другу, что не уважаетъ никто никого, даже не выключая и тѣхъ, которое толкуютъ объ уваженіи ко всѣмъ.

Словомъ, на страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства Одиссея подѣйствуетъ. Много напомнитъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себѣ человѣчество, какъ свое законное наслѣдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природѣ, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію!

VIII.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВѢ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т. . . . . МУ.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу Церковь въ Европѣ. Обвинять въ равнодушіи духовенство наше будетъ также несправедливость. Зачѣмъ хотите вы, чтобы наше духовенство, доселѣ отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды европейскихъ крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дѣйствовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаемъ плохо нашу Церьковь. Духовенство, наше не бездѣйствуетъ. Я очень знаю, что въ глубинѣ монастырей и въ тишинѣ келій гото-

вятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дѣла свои они дѣлаютъ лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требуетъ такой предметъ, совершаютъ свой трудъ въ глубокомъ спокойствіи, молясь, васпитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное, похожее на неумѣстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которой слѣдуетъ пребывать, дабы быть въ силахъ заговорить о такомъ предметѣ. Но и эти защиты еще не послужатъ къ полному убѣжденію западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша, и нами же должны возвѣстить ея правду. Они говорятъ, что Церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ: мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу трупомъ. Какъ намъ защищать нашу Церковь и какой отвѣтъ мы можемъ дать имъ, если они намъ зададутъ такіе запросы: А сдѣлала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняетъ ли всякъ у васъ, какъ слѣдуетъ, свой долгъ? Что́ мы тогда станемъ отвѣчать имъ, почувствовавши вдругъ въ душѣ и совѣсти своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь? Владѣемъ сокровищемъ, которому цѣны нѣтъ, и не только не заботимся о томъ, чтобы это почувствовать, но не знаемъ даже, гдѣ положили его. У хозяина спрашиваютъ показать лучшую вещь въ его домѣ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдѣ лежитъ она. Это Церковь, которая, какъ цѣломудренная дѣва, сохранилась одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной чистотѣ своей эта Церковь, которая вся съ своими глубокими догматами и малѣйшими обрядами наружными какъ-бы снесена прямо съ неба для русскаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы недоумѣнія и вопросы наши, которая можетъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у насъ всякое сословіе, званіе и должность

войти въ ихъ законныя границы и предѣлы и, не измѣнивъ ничего въ государствѣ, дать силу Россіи, изумить весь міръ согласною стройностью того же самого организма, которымъ она доселѣ пугала, — и эта Церковь нами не знаема! и эту Церковь, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нѣтъ, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значитъ уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь;* благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвѣстить ея истину. Пусть миссіонеръ католичества западнаго бьетъ себя въ грудь, размахиваетъ руками и краснорѣчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проповѣдникъ же католичества восточнаго долженъ выступить такъ передъ народъ, чтобы уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всѣ желанія міра, все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ бы самае дѣло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: «Не произноси словъ: слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви!»

IX.

О ТОМЪ ЖЕ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Замѣчаніе, будто власть церкви отъ того у насъ слаба, что наше духовенство мало имѣетъ свѣтскости и ловкости обращенія въ обществѣ, есть такая нелѣпость, какъ и утвержденіе будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнію уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дѣйствіяхъ

правительствомъ. Духовенству нашему указаны законныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свѣтомъ и людьми. Повѣрьте, что если бы стали они встрѣчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ, и гульбищахъ, или входя въ семейныя дѣла, это было бы нехорошо. Духовному предстоитъ много искушеній, гораздо болѣе даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы тѣ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняютъ римско-католическихъ поповъ. Римско-католическіе попы именно отъ того сдѣлались дурными, что черезъ-чуръ сдѣлались свѣтскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встрѣчаются: исповѣдь и проповѣдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ только разъ, или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое воскресенье, можно сдѣлать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умѣлъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ себѣ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца; то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповѣди и проповѣди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами бесѣдахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди свѣта человѣку съ какого-то возвышеннаго мѣста, чтобы не его присутствіе слышалъ въ это время человѣкъ, но присутсвіе самого Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался бы обоюдный страхъ отъ Его незримаго присутствія. Нѣтъ, это даже хорошо, что духовенство наше находится въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ насъ. Хорошо, что даже самой одеждой своей, неподвластной никакимъ измѣненіямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они отдѣлились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не безсмысленное, оставшееся отъ осьмнадцатаго вѣка рококо и не лоскутная ничего необъясняющая одежда римско-католическихъ священниковъ. Она имѣетъ смыслъ; она по образу и подобію той одежды, которую носилъ самъ Спаситель. Нужно, чтобы и въ самой одеждѣ своей они носили себѣ вѣчное напоминаніе о Томъ, чей образъ

они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлеченій и ничтожныхъ нуждъ свѣта; ибо съ нихъ тысящу кратъ болѣе взыщется, нежели съ каждаго изъ насъ; чтобы слышали безпрестанно, что они, какъ-бы другіе и высшіе люди. Нѣтъ, покамѣсть священникъ еще молодъ и жизнь ему неизвѣстна, онъ не долженъ даже и встрѣчаться съ людьми иначе, какъ на исповѣди и проповѣди. Если же и можно ему входить въ бесѣду, то развѣ только съ мудрѣйшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердцемъ человѣка, изобразить ему жизнь въ ея истинномъ видѣ и свѣтѣ, а не въ томъ, въ какомъ она является неопытному человѣку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ съ Спасителя брать примѣръ, Который долгое время провелъ въ пустынѣ и не прежде, какъ послѣ сорокадневнаго предуготовительнаго поста, вышелъ къ людямъ учить ихъ. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свѣта для того, чтобы узнать его. Это, просто, вздоръ. Опроверженіемъ такого мнѣнія служатъ всѣ свѣтскіе люди, которые толкаются вѣчно среди свѣта и при всемъ томъ бываютъ всѣхъ пустѣе. Воспитываются для свѣта не посреди свѣта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцаніи, въ изслѣдованіи собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключъ къ своей собственной душѣ когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключомъ отопрешь души всѣхъ.

X.

О ЛИРИЗМѢ НАШИХЪ ПОЭТОВЪ.

ПИСЬМО КЪ В. А. Ж. . . . . МУ.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертный приговоръ, то есть о статьѣ подъ названіемъ: *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ.* Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ «Современникъ» мои сказанія о русскихъ поэмахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько глупостей успѣлъ бы я уже надѣлать, если бы только послушался другихъ моихъ пріятелей! Итакъ вотъ тебѣ прежде всего моя благодарственная пѣснь; а за тѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда помыслю, какъ до сихъ поръ еще я глупъ и какъ не умѣю заговорить ни а чемъ, что́ поумнѣе. Всего нелѣпѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое а пересказать, или написать ничего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчіе. Вновь повторю то же самое: въ лиризмѣ нашихъ поэтовъ есть что-то такое чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй именно — что-то близкое къ библейскому, — то высшее состояніе лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый возлетъ въ свѣтѣ разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовѣ и Державинѣ, даже у Пуш-

кина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдѣ ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомни только стихотворенія его: «къ пастырю Церкви, Пророкъ» и наконецъ этотъ таинственный побѣгъ изъ города, напечатанный уже послѣ его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь онъ что всякій разъ становится какъ-то неизмѣримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется къ чему-нибудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ «Геній;» оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенѣя,
Пророкъ на небо улеталъ,
Огонь могучій проникалъ
Живую душу Елисея.
Стятыми чувствами полна,
Мужала, крѣпла, возвышалась
И вдохновеньемъ озарялась,
И Бога слышала она.

Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Иного генія полетъ;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зрѣетъ для чудесъ,
И міру новыя свѣтила —
Дѣла избранника небесъ.

Какой свѣтъ и кокая строгость величія! Я изъяснялъ это тѣмъ, что наши поэты видѣли всякій высокій предметъ въ его законномъ соприкосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма — Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что русская душа, въ слѣдствіе своей русской природы, уже слышитъ это какъ-то сама собой, неизвѣстно почему. Я сказалъ, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Первый изъ нихъ — *Россія*. При одномъ этомъ имени какъ-то вдругъ просвѣтляется взглядъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ-бы облекается величіемъ, становясь превыше обыкновеннаго человѣка. Это что-то болѣе, нежели обыкновенная любовь къ отечеству. Любовь

къ отечеству отозвалась бы приторнымъ хвастаньемъ. Доказательствомъ тому наши такъ называемые квасные патріоты. Между тѣмъ заговоритъ Державинъ о Россіи — слышишь въ себѣ неестественную силу и какъ-бы самъ дышешь величіемъ Россіи. Одна простая любовь къ отечеству не дала бы силъ не только Державину, но даже и Языкову, выражаться такъ широко и торжественно всякій разъ, гдѣ ни коснется онъ Россіи. Напримѣръ, хоть бы въ стихахъ, гдѣ онъ изображаетъ, какъ наступилъ-было на нее Баторій:

. . . Повелительный Стефанъ
Въ одинъ могущественный станъ
Уже сбиралъ толпы густыя,
Да ниспровергнетъ Псковитянъ,
Да уничтожится Россія!
Но ты, къ отечеству любовь,
Ты, чѣмъ городились наши дѣды,
Ты ополчилась кровь за кровь —
И онъ не праздновалъ побѣды!

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, рождается отъ невольнаго прикосновенія мысли въ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбѣ нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ здѣсь сокровенный ужасъ при видѣ тѣхъ событій которымъ повелѣлъ Богъ совершиться въ землѣ, назначенной быть нашимъ отечествомъ, прозрѣніе прекраснаго, новаго зданія, которое покамѣсть не для всѣхъ видимо зиждется и которое можетъ слышать всеслышащимъ ухомъ поэзіи поэтъ, или же такой духовѣдецъ, который уже можетъ въ *зернѣ* прозрѣвать его *плодъ*. Теперь начинаютъ это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Тебѣ напрасно кажется, что нынѣшняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, слѣдуетъ какому-то модному повѣтрію. Они не умѣютъ вынашивать въ головѣ мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не замѣчая того, что ихъ мысли еще — глупыя ребята, вотъ и все. И въ еврейскомъ на-

родѣ четыреста пророковъ пророчествали вдругъ; изъ нихъ одинъ только бывалъ избранникъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу еврейскаго народа; всѣ же прочіе, вѣроятно, наговаривали много лишняго, по тѣмъ не менѣе они слышали неясно и темно то же самое, что́ избранники умѣли сказать здраво и ясно; иначе народъ побилъ бы ихъ камнями. Зачѣмъ же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повѣтріемъ и не пророчествуютъ о себѣ, а пророчествуетъ только одна Россія? Затѣмъ, что она сильнѣе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что́ ни сбывается въ ней, и чуетъ приближеніе иного царствія. Оттого и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не можетъ быть у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну и какъ бы ни жарко умѣли выражать такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, прекрасный другъ мой!

Но перейдемъ къ другому предмету, гдѣ также слышится у нашихъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идетъ рѣчь, то есть, *любви къ Царю*. Отъ множества гимновъ и одъ Царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выраженіе. Что чувства въ ней искренни, объ этомъ нечего и говорить. Только тотъ, кто надѣленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на одни мгновенныя, легкія соображенія, увидитъ здѣсь лесть и желаніе получить что-нибудь, и такое соображеніе оснуетъ на какихъ-нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тѣхъ же поэтовъ. Но тотъ, кто болѣе, нежели остроуменъ, кто мудръ, тотъ остановится передъ тѣми одами Державина, гдѣ онъ очертываетъ властелину широкій кругъ его благотворныхъ дѣйствій, гдѣ самъ со слезою на глазахъ говоритъ ему о тѣхъ слезахъ, которыя готовы застроиться изъ глазъ, не только Русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперіи, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можетъ показать народу одна полномощная власть. Тутъ многое такъ сказано сильно, что если бы даже нашелся такой

Государь, который позабылъ бы на время долгъ свой, то, прочитавши сіи строки, вспомнитъ онъ вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Екатеринѣ; но кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тѣхъ замѣчательныхъ строфъ, гдѣ поэтъ говоритъ, что если и перейдетъ его мраморный истуканъ въ потомство, такъ это потому только,

Что пѣлъ я Россовъ ту Царицу,
Какой другой намъ не найти,
Ни здѣсь, ни впредь въ пространномъ мірѣ...
Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

Не прочтетъ онъ также безъ непритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предсмертныхъ стиховъ:

Холодна старость духъ, у лиры гласъ отъемлетъ,
Екатерины муза дремлетъ.
. . . . . Пѣть
Ужъ не могу. Другимъ пѣвцамъ гремѣть
Мои оставлю ветхи струны,
Да черплютъ вновь изъ нихъ перуны
Тѣхъ чистыхъ пламенныхъ огней,
Какъ пѣлъ я трехъ Царей.

Старикъ у дверей гроба не будетъ лгать. При жизни своей носилъ онъ какъ святыню эту любовь, унесъ и за гробъ ее какъ святыню. Но не объ этомъ рѣчь. Откуда взялась эта любовь? вотъ вопросъ. Что весь народъ слышитъ ее какимъ-то сердечнымъ чутьемъ, а потому и поэтъ, какъ чистѣйшее отраженіе того же народа, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени — это объяснитъ только одну половину дѣла. Полный и совершенный поэтъ ничему не предается безотчетливо, не провѣривъ его мудростію полнаго своего разума. Имѣя ухо слышать впередъ, заключа въ себѣ стремленіе возсоздавать въ полнотѣ туже вещь, которую другіе видятъ отрывочно, съ одной, или двухъ сторонъ, а не со всѣхъ четырехъ, онъ не могъ не прозрѣвать развитія полнѣйшаго этой власти. Какъ умно опредѣлялъ Пушкинъ значеніе полномощнаго Монарха! и

какъ онъ вообще былъ уменъ во всемъ, что́ ни говорилъ въ послѣднее время своей жизни! «за чѣмъ нужно,» говорилъ онъ, «чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самого закона? Затѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь; нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха — автоматъ: много, много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что́ такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и выѣденнаго яица не стоитъ. Государство безъ полномощнаго монарха то же, что́ оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всѣ музыканты, но, если нѣтъ среди нихъ одного такого, который бы движеніемъ палочки всему подавалъ знакъ, никуда не пойдетъ концертъ. При немъ и мастерская скрипка не смѣетъ слишкомъ разгуляться на-счетъ другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодецъ верховнаго согласія!» Какъ мѣтко выражался Пушкинъ! какъ понималъ онъ значеніе великихъ истинъ!

Разберемъ, что́ такое монархъ вообще, какъ Божій, помазанникъ, обязанный стремить ввѣренный ему народъ къ тому свѣту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правѣ ли былъ Пушкинъ уподобить его [1]) древнему Боговидцу Моусею? Тотъ изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвѣтственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвѣтственности предъ людьми, кто болѣетъ ужасомъ этой отвѣтственности и льетъ, можетъ быть, незримо такія слезы и страждетъ такими стра-

---

[1]) Въ стихотвореніи, начинающемся:

Съ Гомеромъ долго Ты бесѣдовалъ одинъ;
Тебя мы долго ожидали — и проч.

даніями, о которыхъ и помыслить не умѣетъ стоящій внизу человѣкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышитъ вѣчный, неумолкаемо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо къ нему вопіющій, тотъ можетъ быть уподобленъ древнему Боговидцу, можетъ подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши вѣтренно-кружащееся племя, которое, намѣсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно́ стремиться на землѣ, суетно скачетъ около своихъ же, отъ себя самихъ созданныхъ кумировъ. Но Пушкина остановило еще высшее значеніе той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человѣчества, вымолило ее крикомъ не о правосудіи небесномъ, передъ которымъ не устоялъ бы ни одинъ человѣкъ на землѣ, но крикомъ о небесной любви Божіей которая бы все умѣла простить намъ, и забвеніе долга нашего, и самый ропотъ нашъ, все, что́ не прощаетъ на землѣ человѣкъ, чтобы одинъ затѣмъ только собралъ всю власть въ себя самого и отдѣлился бы отъ всѣхъ насъ и сталъ выше всего на землѣ, чтобы чрезъ то стать ближе, равно ко всѣмъ, снисходитъ съ вышины ко всему и внимать всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамѣтныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ бы въ этомъ стихотвореніи, Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что́ такое эта власть, самъ же упалъ въ прахъ величіемъ возникнувшаго въ душѣ его отвѣта. Не мѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, который былъ слишкомъ гордъ и независимостію своихъ мнѣній, и своимъ личнымъ достоинствомъ. Никто не сказалъ такъ о себѣ, какъ, онъ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
Къ нему не заростетъ народная тропа:
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя въ *Наполеоновомъ столпѣ* виноватъ конечно ты, но положимъ, если бы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видѣ, онъ всё-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще бо́льшимъ, какъ Пушкинъ,

чувствуя свое личное преимущество какъ человѣка передъ многими изъ вѣнценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость званія своего передъ званіемъ вѣнценосца и умѣлъ благоговѣйно поклониться предъ тѣми изъ нихъ, которые показали міру величество своего званія.

Поэты наши прозрѣвали значеніе высшее монарха, слыша, что онъ неминуемо долженъ наконецъ сдѣлаться весь одна *любовь*, и такимъ образомъ станетъ видно всѣмъ, почему государь есть образъ Божій, какъ это признаетъ покуда чутьемъ вся земля наша. Значеніе государя въ Европѣ неминуемо приблизится къ тому же выраженію. Все къ тому ведетъ, чтобы вызвать въ государяхъ высшую Божескую любовь къ народамъ. Уже раздаются вопли страданій душевныхъ всего человѣчества, которыми заболѣлъ почти каждый изъ нынѣшнихъ европейскихъ народовъ, и мечется, бѣдный не зная самъ, какъ и чѣмъ себѣ помочь: всякое постороннее прикосновеніе жестко разболѣвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приноситъ цѣленія. Эти крики усилятся наконецъ до того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и сила еще доселѣ небывалаго состраданія вызоветъ силу другой, еще доселы небывалой любви. Загорится человѣкъ любовію ко всему человѣчеству, такою, какою никогда еще незагорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымѣть такую любовь во всей силѣ никто не возможетъ; она останется въ идеяхъ и въ мысляхъ, а не въ дѣлѣ; могутъ проникнуться ею вполнѣ одни только тѣ, которымъ уже постановлено въ непремѣнный законъ полюбить всѣхъ, какъ одного человѣка. Все полюбивши въ своемъ государствѣ, до единаго человѣка всякаго сословія и званія, и обративши все, что́ни есть въ немъ, какъ-бы въ собственное тѣло свое, возболѣвъ духомъ о всѣхъ, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущемъ народѣ своемъ, государь пріобрѣтетъ тотъ всемогущій голосъ любви, который одинъ только можетъ быть доступенъ разболѣвшемуся человѣчеству и котораго прикосновеніе будетъ не жестко его ранамъ, который одинъ можетъ только

внести примиреніе во всѣ сословія и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцѣлится вполнѣ народъ, гдѣ постигнетъ монархъ высшее значеніе свое — быть образомъ Того на землѣ, Который самъ есть любовь. Въ Европѣ не приходило никому въ умъ опредѣлять высшее значеніе монарха. Государственные люди, законоискусники и правовѣдцы смотрѣли на одну его сторону, именно, какъ на высшее лицо въ государствѣ, а потому не знаютъ даже, какъ быть съ этой властію, когда, въ слѣдствіе ежедневно измѣняющихся у нихъ обстоятельствъ, она усиливается: то расширяютъ ея предѣлы, то ограничиваютъ; а черезъ это и государь, и народъ поставлены тамъ между собою въ странное положеніе: они глядятъ другъ на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другого. Высшее значеніе монархіи прозрѣли у насъ поэты, а не законовѣдцы; услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ Россіи въ ея законномъ видѣ; оттого и звуки ихъ становятся библейскими всякій разъ, какъ только излетаетъ изъ устъ ихъ слово *Царь*. Это слышатъ у насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторіи слишкомъ явно говорятъ о волѣ Промысла, да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видѣ. Всѣ событія въ нашемъ отечествѣ, начиная отъ порабощенія татарскаго, видимо клонятся къ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ былъ въ силахъ произвесть этотъ знаменитый переворотъ всего въ государствѣ, все потрясти и, всѣхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ тѣмъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человѣку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себѣ самомъ ту же брань всему невѣжественному и темному, какую воздвигнулъ царь въ своемъ государствѣ; чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придетъ въ сознаніе силъ своихъ, могъ бы такъ же одинъ, всѣхъ впереди, съ свѣтильникомъ въ рукѣ, устремить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному

свѣту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымь средствомъ, еще прежде, нежели могло объясниться полное значеніе этой власти, какъ самому государю, такъ и его подданнымъ, уже брошены были сѣмена взаимной любви въ сердца! Ни одинъ царскій домъ не начинался такъ необыкновенно какъ начался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ любви. Послѣдній и низшій подданный въ государствѣ принесъ и положилъ свою жизнь, для того чтобы датъ намъ царя, и сею чистою жертвою связалъ уже неразрывно государя съ подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всѣхъ кровное родство съ царемъ. Какъ явно тоже оказывается воля Бога— избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведеніе на престолъ никому неизвѣстнаго отрока! Тутъ же рядомъ стояли древнѣйшіе родомъ, и при томъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконецъ князья, по прямой линіи происходившіе отъ Рюрика. Всѣхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ: никто не посмѣлъ предъявлять правъ своихъ. И случилось это въ то смутное время, когда всякій могъ вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцевъ. И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линіи родственникомъ царю, отъ котораго недавній ужасъ ходилъ по всей землѣ. И при всемъ томъ все единогласно, отъ бояръ до послѣдняго бобыля, положило, чтобъ онъ былъ на престолѣ. Вотъ какія у насъ дѣлаются дѣла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное опредѣленіе царя въ книгахъ Ветхаго Завѣта и которые въ то же время такъ близко видѣли волю Бога на всѣхъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ, какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не былъ исполненъ библейскихъ отголосковъ? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью ихъ звуки; для этого потребно полное и твердое убѣжденіе разума, а не одно без-

отчетное чувство любви; иначе звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежнихъ твоихъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нѣтъ, есть что-то крѣпкое, слишкомъ крѣпкое у нашихъ поэтовъ, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй. Если тебѣ этого не видится, то́ еще не доказываетъ, чтобы его вовсе не было. Вспомни самъ, что въ тебѣ не всѣ стороны русской природы; напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ взошли въ тебѣ на такую высокую степень и такъ развились просторно, что черезъ это не дали мѣста другимъ и ты уже сталъ исключеніемъ изъ обще русскихъ характоровъ. Въ тебѣ заключились вполнѣ всѣ мягкія и нѣжныя струны нашей славянской природы; но тѣ густыя и крѣпкія ея струны, отъ которыхъ проходитъ тайный ужасъ и содроганіе по всему составу человѣка, тебѣ не такъ извѣстны. А они-то и есть родники того лиризма, о которомъ идетъ рѣчь. Этотъ лиризмъ уже ни къ чему не можетъ возноситься, какъ тогько къ одному верховному источнику своему — Богу. Онъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любитъ многословія, ему приторно все, что́ ни есть на землѣ, если только онъ не видитъ на немъ напечатлѣнія Божіяго. Въ комъ хотя одна крупица этого лиризма, тотъ, не смотря на всѣ несовершенства и недостатки, заключаетъ въ себѣ суровое, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожитъ самъ и которое заставляетъ его бѣжать отъ всего, похожаго на выраженіе признательности со стороны людской. Собственный лучшій его подвигъ ему вдругъ опротивѣетъ, если за него послѣдуетъ ему какая-нибудь награда: онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно́ быть выше награды. Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мицкевичъ сказалъ объ этомъ на лекціяхъ Парижу, и сказалъ въ такое время, когда и самъ онъ былъ раздраженъ противу насъ, и все въ Парижѣ на насъ негодовало. Не смотря, однакожъ, на то, онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ

ничего нѣтъ рабскаго, или низкаго, но, напротивъ, что-то свободно-величественное, и тутъ же, хотя это не понравилось никому изъ земляковъ его, отдалъ честь благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичъ правъ. Наши писатели точно заключили въ себѣ черты какой-то высшей природы. Въ минуты сознанія своего они сами оставили свои душевныя портреты, которые отозвались бы самохвальствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому подкрѣпленіемъ. Вотъ что́ говоритъ о себѣ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбѣ своей:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
И милость къ падшимъ призывалъ.

Сто́итъ только вспомнить Пушкина, чтобы видѣть, какъ вѣренъ этотъ портретъ. — — — Вспомни только то умилительное зрѣлище, какое представляетъ посѣщеніе всѣмъ народомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несетъ отъ себя, кто пищу, кто деньги, кто христіянски-утѣшительное слово. Ненависти нѣтъ къ преступнику, нѣтъ также и донкишотскаго порыва сдѣлать изъ него героя, собирать его факсимиле, портреты, или смотрѣть на него изъ любопытства, какъ дѣлается въ просвѣщенной Европѣ. Здѣсь что-то болѣе: не желаніе оправдать его, или вырвать изъ рукъ правосудія, но воздвигнуть упадшій духъ его, утѣшить, какъ братъ утѣшаетъ брата, какъ повелѣлъ Христосъ намъ утѣшать другъ друга. — — —

Пушкинъ умѣлъ оцѣнить черту въ жизни другого вѣнценосца, Петра. Вспомни стихотвореніе «Пиръ на Невѣ,» въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ о причинѣ необыкновеннаго торжества въ царскомъ домѣ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невѣ, потрясенной пальбою пушекъ. Онъ перебираетъ всѣ случаи, радостные царю, которые могли быть причиною такого пированія: родился ли государю наслѣдникъ его престола, имянинница ль жена его, побѣжденъ ли непобѣдимый врагъ, прибылъ ли флотъ,

составлявшій любимую страсть государя, и на все это отвѣчаетъ:

Нѣтъ, онъ, съ подданнымъ мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пѣнитъ съ нимъ одну.
Оттого-то пиръ веселый,
Рѣчь гостей хмѣльна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать всю красоту такого поступка. Умѣть не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощеніе, какъ побѣду надъ врагомъ — это истинно Божественная черта. Только на небесахъ умѣютъ поступать такъ. Тамъ только радуются обращенію грѣшника еще болѣе, нежели самому праведнику, и всѣ сонмы невидимыхъ силъ участвуютъ въ небесномъ пиршествѣ Бога. Пушкинъ былъ знатокъ и оцѣнщикъ вѣрный всего великаго въ человѣкѣ. Да и какъ могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всѣхъ нашихъ писателей? Замѣчательно, что во всѣхъ другихъ земляхъ писатель находится въ какомъ-то неуваженіи отъ общества, относительно своего личнаго характера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ, кто, просто, кропатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, но даже временами и вовсе подленекъ, во глубинѣ Россіи отнюдь не почитается такимъ. Напрстивъ, у всѣхъ вообще, даже и у тѣхъ, которые едва слышатъ о писателяхъ уже какое-то убѣжденіе, что писатель есть что-то высшее, что онъ непремѣнно долженъ быть благороденъ, что ему многое неприлично, что онъ не долженъ и позволить себѣ того, что́ прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянскихъ выборовъ, одинъ дворянинъ, который съ тѣмъ вмѣстѣ былъ и литераторъ, подалъ было свой голосъ въ пользу человѣка, совѣсти нѣсколько запятнан-

ной, — всѣ дворяне обратились къ нему тутъ же и его попрекнули, сказавши съ укоризною: «А еще и писатель!»

1846.

XI.

СПОРЫ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ Л***.

Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполнѣ проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти Славянисты и Европисты или же старовѣры и нововѣры, или же Восточники и Западники, а что́ они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покамѣсть они мнѣ кажутся только каррикатурами на то, чѣмъ хотятъ быть. Всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не перечатъ другу другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумѣется, правды больше на сторонѣ Славянистовъ и Восточниковъ, потому что они всё-таки видятъ весь фасадъ и, стало быть, всё-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ Европистовъ и Западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть, глава, куполъ и все, что́ ни есть въ вышинѣ.

Можно бы посовѣтовать обоимъ — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться, немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонѣ Славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ рѣпу. Разумѣется; что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болѣе противу себя Европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде неслышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ разкозырявшемуся человѣку. Вообще споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамѣсть не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ея дѣло. Повѣрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затѣмъ именно, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вмѣшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь заняться, очень умна, и я даже увѣренъ, что ты исполнишь это дѣло лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ минуты, сколько возможно, хладнокровныя и спокойныя. Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки, хотя бы даже въ малѣйшемъ выраженіи. Гнѣвъ вездѣ неумѣстенъ, а больше всего въ дѣлѣ правомъ, потому что затемняетъ и мутитъ его. Вспомни, что ты человѣкъ не только немолодой, но даже и весьма въ лѣтахъ. Молодому человѣку еще какъ-нибудь присталъ гнѣвъ; по крайней мѣрѣ въ глазахъ нѣкоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ горячиться, онъ дѣлается, просто, гадокъ; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставитъ смѣшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебѣ: «Экъ, скверный старикашка! всю жисть валялся на

боку, ничего не дѣлая, а теперь выступилъ укорять другихъ, зачѣмъ они не такъ дѣлаютъ!» Изъ устъ старика должно́ исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чистѣйшаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя рѣчи старца, такъ чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему въ возраженіе, почувствовавъ, что неприличны будутъ ея рѣчи и что сѣдина есть уже святыня.

1844.

XII.

ХРИСТІЯНИНЪ ИДЕТЪ ВПЕРЕДЪ.

ПИСЬМО КЪ Щ..... ВУ.

Другъ мой! считай себя не иначе, какъ школьникомъ и ученикомъ. Не думай, чтобы ты уже былъ старъ для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрѣлости и развитія и что характеръ и душа твоя получили уже настоящую форму и немогутъ быть лучшими. Для христіянина нѣтъ оконченнаго курса: онъ вѣчно ученикъ и до самого гроба ученикъ. По обыкновенному, естественному ходу, человѣкъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать лѣтъ. Отъ тридцати до сорока еще какъ идутъ впередъ его силы; дальше же этого срока въ немъ ничто не подвигается, и все имъ производимое не только не лучше прежняго, но даже слабѣе и холоднѣе прежняго. Но для христіянина этого не существуетъ, и гдѣ для другихъ предѣлъ совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, перевалясь за сорокалѣтній возрастъ, тупѣютъ, устаютъ и слабѣютъ. Перебери всѣхъ философовъ и первѣйшихъ всесвѣтныхъ геніевъ:

лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомни о Кантѣ, который въ послѣдніе годы обезпамятѣлъ вовсе и умеръ какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всѣхъ святыхъ: ты увидишь, что они крѣпли въ разумѣ и силахъ духовныхъ по мѣрѣ того, какъ приближались къ дряхлости и смерти. Даже и тѣ изъ нихъ, которые отъ природы не получили никакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ рѣчей своихъ. Отчего жъ это? Оттого, что у нихъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бываетъ у всякаго человѣка только въ лѣта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплесканіе, когда ему мерещится радужная даль, имѣющая такую заманку для юноши. Угаснула предъ нимъ даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но передъ христіяниномъ сіяетъ вѣчно даль, и видятся вѣчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чѣмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взглядъ его на самого себя, безпрестанно просвѣтляющійся, открываетъ ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми нужно производить новые битвы. Оттого и всѣ его силы не только не могутъ въ немъ заснуть, или ослабѣть, но еще возбуждаются безпрестанно; а желаніе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ придаетъ ему такія шпоры, какихъ не можетъ дать наисильнѣйшему честолюбцу его ненасытимѣйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему христіянинъ тогда идетъ впередъ, когда другіе назадъ, и отчего становится онъ, чѣмъ дальше, умнѣе.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ полицейская: онъ можетъ только привести въ порядокъ и разставить по мѣстамъ все то, что́ у насъ уже есть. Онъ самъ не двигнется впередъ покуда не двигнутся въ насъ двѣ другія способности, отъ которыхъ онъ умнѣетъ. Отвлеченными чтеніями, размышле-

ніями и безпрестанными слушаніями всѣхъ курсовъ наукъ его заставишь только слишкомъ немного уйти впередъ; иногда это даже подавляетъ его, мѣшая его самобытному развитію. Онъ несравненно въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ только забушуетъ страсть, онъ уже вдругъ поступаетъ слѣпо и глупо; если же покойна душа и не кипитъ никакая страсть, онъ и самъ проясняется и поступаетъ умно. Разумъ есть несравненно высшая способность; но она пріобрѣтается не иначе, какъ побѣдою надъ страстьми. Его имѣли въ себѣ только тѣ люди, которые не пренебрегли своимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Но и разумъ не даетъ полной возможности человѣку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее можетъ дать намъ одинъ Христосъ. Она не надѣляется никому изъ насъ при рожденіи, никому изъ насъ не есть природная, но есть дѣло высшей благодати небесной. Тотъ, кто уже имѣетъ и умъ, и разумъ можетъ не иначе получить мудрость, какъ молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможнѣйшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищъ, гдѣ не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и нѣтъ полнаго согласія во всемъ. Если же она вступитъ въ домъ, тогда начинается для человѣка небесная жизнь, и онъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ; весь міръ для него учитель; ничтожнѣйшій изъ людей можетъ быть для него учитель. Изъ совѣта самаго простого извлечетъ онъ мудрость совѣта; глупѣйшій предметъ станетъ къ нему своею мудрою стороною, и вся вселенная передъ нимъ станетъ, какъ одна открытая книга ученія: больше всѣхъ будетъ онъ черпать изъ нея сокровищъ, потому что больше всѣхъ будетъ слышать, что онъ ученикъ. Но если только возмнитъ онъ хотя на мигъ, что ученіе его кончено и онъ уже не ученикъ, и оскорбится онъ чьимъ бы то ни было урокомъ, или поученіемъ, мудрость вдругъ отъ него

отнимется, и останется онъ въ-потьмахъ, какъ царь Соломонъ въ свои послѣдніе дни.

1846.

XIII.

КАРАМЗИНЪ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ Н. М. Я....ВУ.

Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ похвальное слово Карамзину, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина, въ отношеніи къ благопристойности, какъ внутренней, такъ и внѣшней: въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжыхъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здѣсь, напротивъ того, стройно, обдумано и расположено въ большомъ порядкѣ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ-бы весь очертывается самимъ собою и, своими же словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Карамзинъ представляетъ, точно, явленіе необыкновенное. Вотъ о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполнилъ долгъ, ничего не зарылъ въ землю и на данные ему пять талантовъ истинно принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показалъ, что писатель можетъ быть у насъ независимъ и почтенъ всѣми равно, какъ именитѣйшій гражданинъ въ государствѣ. Онъ первый возвѣстилъ торжественно, что писателя не можетъ стѣснить ценсура, и если уже онъ исполнился чистѣйшимъ желаніемъ блага въ такой мѣрѣ, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никакая ценсура для него не строга, и ему вездѣ просторно. Онъ это сказалъ и доказалъ. Никто, кромѣ Карамзина, не говорилъ тамъ смѣло и благородно, не скрывая никакихъ своихъ мнѣ-

ній и мыслей, и слышишь невольно, что онъ одинъ имѣлъ на то право. Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россіи нельзя сказать полной правды и что она у насъ колетъ глаза! Самъ же выразится такъ нелѣпо и грубо, что болѣе, нежели самою правдою, уколетъ тѣми заносчивыми словами, которыми скажетъ свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потомъ самъ и изумляется, и негодуетъ, что отъ него никто не принялъ и не выслушалъ правды! Нѣтъ, имѣй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имѣлъ Карамзинъ, и тогда возвѣщай свою правду: все тебя выслушаетъ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ, и выслушаетъ съ такою любовію, съ какою не выслушивается ни въ какой землѣ ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругъ себя верхушку моднаго общества, и съ такою любовію можетъ выслушать только одна чудная наша Россія.

1846.

XIV.

О ТЕАТРѢ, ОБЪ ОДНОСТОРОННЕМЪ ВЗГЛЯДѢ НА ТЕАТРЪ И ВООБЩЕ ОБЪ ОДНОСТОРОННОСТИ.

ПИСЬМО КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Вы очень односторонни, и стали недавно такъ односторонни, и оттого стали односторонни, что, находясь на той точкѣ состоянія душевнаго, на которой теперь стоите вы, нельзя не сдѣлаться одностороннимъ всякому человѣку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасеніи вашемъ и, не найдя еще той именно

дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что́ ни есть въ мірѣ, соблазномъ и препятствіемъ къ спасенію. Монахъ не строже васъ. Такъ и ваши нападенія на театръ односторонни и несправедливы. Вы подкрѣпляете себя тѣмъ, что нѣкоторыя вамъ извѣстныя духовныя лица возстаютъ противъ театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше: точно ли они возстаютъ противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ онъ намъ теперь является. Церковь начала возставать противу театра въ первые вѣки всеобщаго водворенія христіянства, когда театры одни оставались прибѣжищемъ уже повсюду изгнаннаго язычества и притономъ безчинныхъ его вакханалій. Вотъ почему такъ сильно гремѣлъ противу нихъ Златоустъ. Но времена измѣнились. Міръ весь перечистился съизнова поколѣніями свѣжихъ народовъ Европы, которыхъ образованіе началось уже на христіянскомъ грунтѣ, и тогда сами святители начали первые вводить театръ: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Димитрій Ростовскій, справедливо поставляемый въ рядъ Св. Отцевъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представленія въ лицахъ. Стало быть, не театръ виноватъ. Все можно извратить, и всему можно дать дурной смыслъ, человѣкъ же на это способенъ. Но надобно смотрѣть на вещь въ ея основаніи и на то, чѣмъ она должна быть, а не судить о ней по карикатурѣ, которую на нее сдѣлали. Театръ ничуть не бездѣлица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображеніе то, что въ немъ можетъ помѣститься вдругъ толпа изъ пяти-шести тысячъ человѣкъ и что вся эта толпа, ни въ чемъ несходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однѣми слезами и засмѣяться однимъ всеобщимъ смѣхомъ. Это такая каѳедра, съ которой можно много сказать міру добра. Отдѣлите только собственно называемый высшій театръ отъ всякихъ балетныхъ скаканій, водевилей, мелодрамъ и тѣхъ мишурно-великолѣпныхъ зрѣлищъ для глазъ, угождающихъ разврату вкуса, или разврату сердца, и тогда по-

смотрите на театръ. Театръ, на которомъ представляются высокая трагедія и комедія, долженъ быть въ совершенной независимости отъ всего. Странно соединить Шекспира съ плясуньями, или плясунами въ лайковыхъ штанахъ. Что́ за сближеніе? Ноги ногами, а голова головой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ отдѣленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поняли это въ отношеніи порядка внѣшняго. Слѣдовало подумать не шутя о томъ, какъ поставить всѣ лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлеклась къ нимъ вниманіемъ и открылось бы ихъ нравственное, благотворное вліяніе, которое есть у всѣхъ великихъ писателей, Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Бомаршé, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе другіе изъ второстепенныхъ писателей прошедшаго вѣка ничего не произвели такого, что́ бы отвлекало отъ уваженія къ высокимъ предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что́ бурлило и кипѣло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившихъ неуваженіе къ святынѣ. У нихъ, если и попадаются насмѣшки, то надъ лицемѣріемъ, надъ кощунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ праваго, а никогда надъ тѣмъ, что́ составляетъ корень человѣческихъ доблестей; напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдѣ брызжутъ эпиграммы. Частое повтореніе высоко драматическихъ сочиненій, то есть, тѣхъ истинно классическихъ піесъ, гдѣ обращено вниманіе на природу и душу человѣка, станетъ необходимо укрѣплять общество въ правилахъ болѣе недвижныхъ, заставитъ нечувствительно характеры болѣе устоиваться въ самихъ себѣ, тогда какъ все это наводненіе пустыхъ и легкихъ піесъ, начиная съ водевилей и недодуманныхъ драмъ до блестящихъ балетовъ и даже оперъ, ихъ только расбрасываетъ, разсѣеваетъ, становитъ общество легкимъ и вѣтреннымъ. Развлеченный милліонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на всѣ стороны, свѣтъ

не въ силахъ встрѣтиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ христіянства. Онъ ихъ испугается, какъ мрачнаго монастыря, если не подставишь ему незримыя ступени къ христіянству, если не возведешь его на нѣкоторое высшее мѣсто, откуда ему станетъ виднѣе весь необъятный кругозоръ христіянства и понятнѣе то же самое, что́ прежде было вовсе недоступно. Среди свѣта есть много такого, что́ для всѣхъ, отдалившихся отъ христіянства, служитъ незримою ступенію къ христіянству. Въ томъ числѣ можетъ быть и театръ, если будетъ обращенъ къ своему высшему назначенію. Нужно ввести на сцену во всемъ блескѣ всѣ совершеннѣйшія драматическія произведенія всѣхъ вѣковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя безпрерывно одну и ту же піесу. И это можно сдѣлать. Можно всѣ піесы сдѣлать вновь свѣжими, новыми, любопытными для всѣхъ отъ мала до велика, если только съумѣешь ихъ поставить, какъ слѣдуетъ, на сцену. Это вздоръ, будто онѣ устарѣли и публика потеряла къ нимъ вкусъ. Публика не имѣетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ее. Не попотчивай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала къ нимъ вкуса и не потребовала бы ихъ. Возьми самую заиграннѣйшую піесу и поставь ее какъ нужно, та же публика повалитъ толпою. Мольеръ ей будетъ въ новость, Шекспиръ станетъ заманчивѣе наисовременнѣйшаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была дѣйствительно и вполнѣ художественно, чтобы дѣло это поручено было не кому другому, какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется въ труппѣ. И не мѣшать уже сюда никакого приклеиша съ боку, секретаря-чиновника; пусть тотъ одинъ распоряжается во всемъ. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвѣтственность легла на него одного, чтобы онъ рѣшился публично, передъ глазами всей публики сыграть самъ по порядку одну за другою всѣ второстепенныя роли, дабы оставить живые образцы второстепеннымъ акте-

рамъ, которые заучиваютъ свои роли по мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому-то темному преданію, которые образовались книжнымъ наученіемъ и не видятъ себѣ никакого живого интереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполненіе первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечъ публику видѣть двадцать разъ сряду ту же піесу. Кому не любопытно видѣть, какъ Щепкинъ, или Каратыгинъ станутъ играть тѣ роли, которыхъ никогда дотолѣ не играли! Потомъ же, когда первоклассный актеръ, разыгравши всѣ роли, возвратится вновь на свою прежнюю, онъ получитъ взглядъ еще полнѣйшій, какъ на собственную свою ролю, такъ и на всю піесу; а піеса получитъ вновь еще сильнѣйшую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія, — вещію, доселѣ неслыханною! Нѣтъ выше того потрясенія, которое производитъ на человѣка совершенно согласованное согласіе всѣхъ частей между собою, которое доселѣ могъ только слышать онъ въ одномъ музыкальномъ оркестрѣ и которое въ силахъ сдѣлать то, что драматическое произведеніе можетъ быть дано болѣе разовъ сряду, нежели наилюбимѣйшая опера. Что́ ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ нѣсколько разъ разнообразнѣе музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случаѣ, когда дѣло будетъ сдѣлано истинно такъ, какъ слѣдуетъ, и полная отвѣтственность всего по части репертуарной возляжетъ на первокласнаго актера, то есть, трагедіею будетъ завѣдывать первый трагическій актеръ, а комедіею первый комическій актеръ, когда одни они будутъ исключительные хоровожди такого дѣла. — — —

Нужно, чтобы въ дѣлѣ какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главномъ мастерѣ того мастерства. Только самъ мастеръ можетъ учить своей наукѣ, слыша вполнѣ ея потребности, и никто другой. Одинъ только первоклассный актеръ-художникъ можетъ сдѣлать хорошій выборъ піесъ, дать имъ строгую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиціи, понимаетъ,

какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенія піесы. Онъ даже не позволитъ актеру выучить ролю на дому, но сдѣлаетъ такъ, чтобы все выучилось имъ съобща и роля вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ чтобы всякой, окруженный тутъ же обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновенія съ ними слышалъ вѣрный тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго. Покуда актеры еще не заучили наизусть своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Тутъ всякой, не зная даже самъ, какимъ образомъ, набирается правды и естественности, какъ въ рѣчахъ, такъ и въ тѣлодвиженіяхъ. Тонъ вопроса даетъ тонъ отвѣту. Сдѣлай вопросъ напыщенный, получишь и отвѣтъ напыщенный; сдѣлай простой вопросъ, простой и отвѣтъ получишь. Всякой наипростѣйшій человѣкъ уже способенъ отвѣчать въ тактъ. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою ролю, отъ него изойдетъ напыщенный, заученный отвѣтъ, и этотъ отвѣтъ уже останется въ немъ на вѣкъ: его ничѣмъ не переломишь; ни одного слова не перейметъ онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окруженіе обстоятельствъ и характеровъ, обступающихъ его ролю, такъ же какъ и вся піеса станетъ ему глуха и чужда, и онъ какъ мертвецъ будетъ двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ художникъ можетъ слышать жизнь, заключенную въ пьесѣ, и сдѣлать такъ, что жизнь эта сдѣлается видною и живою для всѣхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную мѣру репетицій, какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того, дабы возмогла піеса явиться въ полномъ совершенствѣ своемъ передъ публикою. Умѣй только заставить актера-художника взяться за это дѣло, какъ за его собственное, родное дѣло, докажи ему, что это его долгъ и что честь его же искусства того требуетъ отъ него, и онъ это сдѣлаетъ, онъ это исполнитъ, потому что любитъ свое искусство. Онъ

сдѣлаетъ даже больше, позаботясь, чтобы и послѣдній изъ актеровъ сыгралъ хорошо, сдѣлавъ строгое исполненіе всего цѣлаго какъ-бы своею собственною ролею. Онъ не допуститъ на сцену никакой пошлой и ничтожной піесы, — потому не допуститъ, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнетъ ее. Ему невозможно также, если бы онъ даже и вздумалъ оказать какіе-нибудь притѣснительные поступки, или прижимки относительно ввѣренныхъ ему актеровъ: его не допуститъ къ тому его собственная извѣстность. Наконецъ, живя весь въ своемъ искусствѣ, которое стало уже его высшею жизнію, котораго чистоту блюдетъ онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не попуститъ никогда, чтобы театръ сталъ проповѣдникомъ разврата. Итакъ не театръ виновать. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ уже разбирайте и судите, что́ такое театръ. Я заговорилъ здѣсь о театрѣ не потому, чтобы хотѣлъ говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театрѣ можно примѣнить почти ко всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страждутъ изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ; а такъ какъ вообще на свѣтѣ есть много охотниковъ дѣйствовать сгоряча по пословицѣ: *разсердясь на вши, да шубу въ печь*, то черезъ это уничтожается много того, что послужило бы всѣмъ на пользу. Односторонніе люди и притомъ фанатики — язва для общества; бѣда той землѣ и государству, гдѣ въ рукахъ такихъ людей очутится какая либо власть. У нихъ нѣтъ никакого смиренія христіянскаго и сомнѣнія въ себѣ; они увѣрены, что весь свѣтъ вретъ и одни они только говорятъ правду. Другъ мой! смотрите за собою покрѣпче: вы теперь именно находитесь въ этомъ опасномъ состояніи. Хорошо, что, покуда, вы внѣ всякой должности и вамъ не ввѣрено никакого управленія; иначе вы, котораго я знаю, какъ наиспособнѣйшаго къ отправленію самыхъ трудныхъ и сложныхъ должностей, могли бы надѣлать больше зла и безпорядковъ, нежели самый неспособный изъ неспособнѣйшихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденіяхъ

своихъ обо всемъ! Не будьте похожи на тѣхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что́ ни есть въ свѣтѣ, видя во всемъ одно бѣсовское. Ихъ удѣлъ — впадать въ самыя грубыя ошибки. Нѣчто тому подобное случилось недавно въ литературѣ. Нѣкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ деистъ, а не христіянинъ; точно какъ-будтобы они побывали въ душѣ Пушкина, точно какъ-будто бы Пушкинъ непремѣнно обязанъ былъ въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ христіянскихъ, за которые и самъ святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготовя себя къ тому глубочайшею святостію своей жизни. По ихъ понятіямъ, слѣдовало бы все высшее въ христіянствѣ облекать въ риѳмы и сдѣлать изъ того какія-то стихотворныя игрушки. Пушкинъ слишкомъ разумно поступалъ, что не дерзалъ переносить въ стихи того, чѣмъ еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочиталъ лучше остаться нечувствительною ступенію къ Высшему для всѣхъ тѣхъ, которые слишкомъ отдалились отъ Христа, нежели оттолкнуть ихъ вовсе отъ христіянства такими же бездушными стихотвореніями, какія пишутся тѣми, которые выставляютъ себя христіянами. Я не могу даже понять, какъ могло придти въ умъ критику печатно, въ виду всѣхъ, взводить на Пушкина такое обвиненіе и что сочиненіе его служатъ къ развращенію свѣта, тогда какъ самой цензурѣ предписано, въ случаѣ, если бы смыслъ какого сочиненія не былъ вполнѣ ясенъ, толковать его въ прямую и выгодную для автора сторону, а не въ кривую и вредящую ему. Если это постановлено въ законъ цензурѣ, безмолвной и безгласной, неимѣющей даже возможности оговорится передъ публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себѣ въ законъ критика, которая можетъ изъясниться и оговориться въ малѣйшемъ дѣйствіи своемъ! Публично выставлять нехристіянинома человѣка и даже противникомъ Христа, основываясь на нѣкоторыхъ несовершенствахъ его души и на томъ, что онъ увлекался свѣтомъ такъ же,

какъ и всякъ изъ насъ увлекался, — развѣ это христіянское дѣло? Да и кто же изъ насъ христіянинъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его не-христіянствѣ. Я могу сказать: что христіянинъ не возымѣетъ такой увѣренности въ умѣ своемъ, чтобы рѣшить такое темное дѣло, которое извѣстно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполнѣ проясняется и можетъ обнимать со всѣхъ сторонъ предметъ только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ, можетъ быть, свята. Христіянинъ передъ тѣмъ, чтобы обвинить кого-либо въ такомъ уголовномъ преступленіи, каково есть непризнаніе Бога въ томъ видѣ, въ какомъ повелѣлъ призывать Его самъ Божій Сынъ, сходившій на землю, задумается, потому что дѣло это страшное. Онъ скажетъ и то: въ поэзіи многое есть еще тайна, да и вся поэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человѣкомъ произнести судъ свой, произнести же судъ окончательный и полный надъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себѣ самомъ поэтическое существо и есть самъ уже почти равный ему поэтъ, — какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствѣ понемногу можетъ судить всякъ, но вполнѣ судить можетъ только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, христіянинъ покажетъ прежде всего смиреніе, свое первое знамя, по которому можно узнать, что онъ христіянинъ. Христіянинъ, намѣсто того, чтобы говорить о тѣхъ мѣстахъ въ Пушкинѣ, которыхъ смыслъ еще теменъ и можетъ быть истолкованъ на двѣ стороны, станетъ говорить о томъ, что́ ясно, что́ было имъ произведено въ лѣта разумнаго мужества, а не увлекающейся юности. Онъ приведетъ его величественные стихи пастырю Церкви, гдѣ Пушкинъ самъ говоритъ о себѣ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увлекался суетою и прелестію свѣта, его поражалъ даже одинъ видъ служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавый
Меня внезапно поражалъ.

Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.

И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной,
Смиряешь буйныя мечты.

Твоимъ огнемъ душа палима,
Отвергла прахъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Вотъ на какое стихотвореніе Пушкина укажетъ критикъ-христіянинъ! Тогда критика его получитъ смыслъ и сдѣлаетъ добро: она еще сильнѣй укрѣпить самое дѣло, показавши, какъ даже и тотъ человѣкъ, который заключалъ въ себѣ всѣ разнородныя вѣрованія и вопросы своего времени, такъ сбивчивые, такъ отдалающіе насъ отъ Христа, какъ даже и тотъ человѣкъ въ лучшія и свѣтлѣйшія минуты своего поэтическаго ясновидѣнія, исповѣдалъ выше всего высоту христіянскую. Но какой теперь смыслъ критики? спрашиваю я. Какая польза — смутить людей, поселивши въ нихъ сомнѣніе и подозрѣніе въ Пушкинѣ? Бездѣлица — выставитъ наиумнѣйшаго человѣка своего времени непризнающимъ христіянства! человѣка, на котораго умственное поколѣніе смотритъ какъ на вождя и на передового, сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ былъ безталантливъ и не могъ пустить въ ходъ подобную ложь и что самъ Пушкинъ оставилъ тому опроверженіе въ своихъ же стихахъ. Вотъ что́ можно сдѣлать, будучи одностороннимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторонности: съ нею всюду человѣкъ произведетъ зло: въ литературѣ, на службѣ, въ семьѣ, на свѣтѣ, словомъ — вездѣ! Односторонній человѣкъ самоувѣренъ, односторонній человѣкъ дерзокъ, односторонній человѣкъ всѣхъ вооружитъ противъ себя. Односторонній человѣкъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Односторонній

человѣкъ не можетъ быть истиннымъ христіяниномъ: онъ можетъ быть только фанатикомъ. Односторонность въ мысляхъ показываетъ только то, что человѣкъ еще на дорогѣ къ христіянству, но не достигнулъ его, потому что христіянство даетъ уже многосторонность уму. Словомъ, храни васъ Богъ отъ односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что въ ней могутъ быть двѣ совершенно противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ — двѣ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дѣло восторгъ отъ какой-нибудь балетной танцовщицы, и опять иное дѣло восторгъ оттого, когда могущественный лицедѣй потрясающимъ словомъ подыметъ выше всѣхъ высокія чувства въ человѣкѣ. Иное дѣло — слезы оттого, что какой-нибудь заѣзжій пѣвецъ расщекотитъ музыкальное ухо человѣка, слезы, которыя, какъ я слышу, проливаютъ теперь въ Петербургѣ и немузыканты, и опять иное дѣло — слезы оттого, когда живымъ представленіемъ высокаго подвига человѣка весь насквозь просвѣжается зритель и по выходѣ изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполненіи. Другъ мой, мы призваны въ міръ не затѣмъ, чтобы истреблять и разрушать, но все направлять къ добру, даже и то, что́ уже испортилъ человѣкъ и обратилъ во зло. Нѣтъ такого орудія въ мірѣ, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тѣ же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними царемъ Давидомъ побѣды, обратились на восхваленіе истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тѣхъ инструментахъ, на которыхъ она дотолѣ не раздавалась.

1845.

XV.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКАГО ПОЭТА ВЪ НЫНѢШНЕЕ ВРЕМЯ.

ДВА ПИСЬМА КЪ Н. М. Я . . . У.

1.

Твое стихотвореніе «Землетрясеніе» меня восхитило. Жуковскій также былъ отъ него въ восторгѣ. Это, по его мнѣнію, лучшее, не только изъ твоихъ, но даже изъ всѣхъ русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго и обратить его къ настоящему — какая умная и богатая мысль! А примѣненіе къ поэту, довершающее оду, таково, что его слѣдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, примѣнить къ самому себѣ въ эту тяжелую годину всемірнаго землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ, передъ тобою разверзается живописный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ
Молитвы съ горней вышины —

заключаются слова тебѣ самому. Тайна твоей музы тебѣ открывается. Нынѣшнее время есть именно поприще для лирическаго поэта. Сатирою ничего не возьмешь; простою картиною дѣйствительности, оглянутой глазомъ современнаго свѣтскаго человѣка, никого не разбудишь: богатырски задремалъ нынѣшній вѣкъ. Нѣтъ, отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его въ виду всѣхъ, какъ поражено было оно гнѣвомъ Божіимъ въ свое время; бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово: живѣе черезъ то выступитъ прошедшее, и крикомъ закричитъ настоящее. Разогни книгу ветхаго Завѣта: ты найдешь тамъ каж-

дое изъ нынѣшнихъ событій, увидишь яснѣе дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудія и средства: въ стихѣ твоемъ есть сила, и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тѣхъ, которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тѣхъ, которые въ святые минуты небеснаго гнѣва и страданій повсюдныхъ дерзаютъ предаваться буйству всякихъ скаканій и позорнаго ликованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всѣхъ, какъ начертанныя на воздухѣ буквы, явившіяся на пиру Валтасара, отъ которыхъ все пришло въ ужасъ, еще прежде, нежели могло проникнуть самый ихъ смыслъ. А если хочешь быть еще понятнѣе всѣмъ, то, набравшись духа библейскаго, опустись съ нимъ, какъ со свѣточемъ, во глубину русской старины и въ ней порази позоръ нынѣшняго времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чѣмъ еще позорнѣе станетъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будетъ вялъ, не бойся; старина дастъ тебѣ краски и уже одною собою вдохновитъ тебя! Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лѣтописяхъ. На дняхъ попалась мнѣ книга: «Царскіе Выходы.» Тутъ уже одни слова и названія царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ — сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивишься драгоцѣнности нашего языка: что́ ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и, право, иное названіе еще драгоцѣннѣе самой вещи. Да если только убережешь такими словами стихъ свой — цѣликомъ унесешь читателя въ минувшее. Мнѣ, послѣ прочтенія трехъ страницъ изъ этой книги, такъ и видѣлся вездѣ Царь старинныхъ, прежнихъ временъ, благоговѣйно идущій къ вечернѣ въ старинномъ царскомъ своемъ убранствѣ.

1844.

2.

Пишу къ тебѣ подъ вліяніемъ того жъ стихотворенія твоего: «Землетрясеніе.» Ради Бога, не оставляй начатого дѣла! Перечитывай строго Библію, набирайся русской старины и, при свѣтѣ ихъ, приглядывайся къ нынѣшнему времени. Много, много предстоитъ тебѣ предметовъ, и грѣхъ тебѣ ихъ не видѣть. Жуковскій не даромъ досѣлѣ называлъ твою поэзію восторгомъ, никуда необращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видѣ холостыхъ выстрѣловъ на воздухъ. тогда какъ она дана тебѣ на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта; всякъ человѣкъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему; куда ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освѣжить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего, сильнымъ лирическимъ упрекомъ, умныхъ, но унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то есть, что человѣкъ, предавшійся унынію, есть дрянь во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины унынія, потому что уныніе проклято Богомъ. Истинно русскаго человѣка поведешь на брань даже и противъ унынія, поднимешь его превыше страха и колебаній земли, какъ поднялъ поэта въ своемъ «Землетрясеніи.»

Воззови, въ видѣ лирическаго сильнаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человѣку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бѣдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его ничтожная верхушка свѣта, несутъ обѣды, ноги плясавицъ, ежедневное сонное опьяненіе; нечувствительно облекается онъ плотію, и сталъ уже весь плоть, и уже почти нѣтъ въ немъ души. Завопи воплемъ и выставь ему вѣдьму-старость, къ нему идущую, которая вся изъ желѣза, передъ которою желѣзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О, если бъ ты могъ

сказать ему то, что́ долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома «Мертвыхъ Душъ!»

Опозорь, въ гнѣвномъ диѳирамбѣ, новѣйшаго лихоимца нынѣшнихъ временъ и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя и мужа, и презрѣнный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышатъ, чтобы, какъ отъ чумы, отъ нихъ побѣжало все бѣгомъ и безъ оглядки.

Возвеличь, въ торжественномъ гимнѣ, незамѣтнаго труженика, какой, къ чести высокой породы русской, находится посреди отважнѣйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотѣла носить старомодный чепецъ и стать предметомъ насмѣшекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдѣлать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бѣдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всѣхъ въ глазахъ и каждому изъ нихъ захотѣлось бы самому быть бѣднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ, — плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинно русской душѣ, но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ русская природа и чтобы все, даже въ грубомъ и низшемъ сословіи, вскрикнуло: «Эхъ, молодецъ!» почувствовавши, что и для него самого возможно такое дѣло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта, — въ книгѣ не вмѣстишь, не только въ письмѣ. Всякое истинное русское чувство глохнетъ, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни, которую привили къ намъ, подъ именемъ про-

свѣщенія, пустыя и мелкія нововведенія. Стряхни же сонъ съ очей своихъ и порази сонъ другихъ. На колѣна предъ Богомъ, и проси у Него гнѣва и любви! гнѣва — противу того, что́ губитъ человѣка, любви — къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ и которую губитъ онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; огни, а не слова, излетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сдѣлаешь это дѣло роднымъ и кровнымъ своимъ дѣломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, разодравши ризы, рыданіемъ вымолишь себѣ у Бога на то силу и такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе Богоизбраннаго своего народа.

1844.

XVI.

СОВѢТЫ.

ПИСЬМО КЪ Ш.....ВУ.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего болѣзненнаго и труднаго времени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я долженъ былъ вести такую дѣятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолѣ. Какъ нарочно, почти со всѣми близкими моей душѣ случились въ это время внутреннія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта. Тутъ только узналъ я близкое родство человѣческихъ душъ между собою. Сто́итъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся тебѣ понятны и почти знаешь, что́ нужно сказать имъ. Этого мало; самый умъ проясняется: дотолѣ сокрытыя, положенія и поприща людей становятся тебѣ извѣстны, и дѣлается видно, что́ кому изъ нихъ

потребно. Въ послѣднее время мнѣ случалось даже получать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не съумѣлъ дать прежде. А между прочимъ я ни чуть не умнѣе никого. Я знаю людей, которые въ нѣсколько разъ умнѣе и образованнѣе меня, и могли бы дать совѣты, въ нѣсколько разъ полезнѣйшіе моихъ; но они это не дѣлаютъ и даже не знаютъ, какъ это сдѣлать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! и чѣмъ же умудряющій? тѣмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бѣжимъ и хотимъ сокрыться. Страданіями и горемъ опредѣлено намъ добывать крупицы мудрости, непріобрѣтаемой въ книгахъ. Но кто уже пріобрѣлъ одну изъ этихъ крупицъ, тотъ уже не имѣетъ права скрывать ее въ себѣ отъ другихъ. Она не твое, но Божіе достояніе. Богъ ее выработалъ въ тебѣ; всѣ же дары Божіи даются намъ затѣмъ, чтобы мы служили ими собратіямъ нашимъ: Онъ повелѣлъ, чтобы ежеминутно учили мы другъ друга. Итакъ не останавливайся, учи и давай совѣты! Но, если хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебѣ самому пользу, дѣлай такъ какъ думаю я и какъ положилъ себѣ отнынѣ дѣлать всегда. Всякій совѣтъ и наставленіе, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человѣку, стоящему на самой низкой степени образованія, съ которымъ у тебя ничего не можетъ быть общаго, обрати въ тоже время къ самому себѣ, и то же самое, что́ посовѣтовалъ другому, посовѣтуй себѣ самому; тотъ же самый упрекъ, который сдѣлалъ другому, сдѣлай тутъ же себѣ самому. Повѣрь, все придется къ тебѣ самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Дѣйствуй оружіемъ обоюдуострымъ. Если даже тебѣ случится разсердиться на кого бы то ни было, разсердись въ то же время и на себя самого, хотя за то, что съумѣлъ разсердиться на другого. И это дѣлай непремѣнно! Ни въ какомъ случаѣ не своди глазъ съ самого себѣ. Имѣй всегда въ предметѣ себя прежде всѣхъ. Будь

эгоистъ въ этомъ случаѣ. Эгоизмъ тоже недурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое сквернное толкованіе, а въ основаніе эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище.

1846.

XVII.

ПРОСВѢЩЕНІЕ.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Еще разъ пишу къ тебѣ съ дороги. Братъ благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможетъ мнѣ отдать тебѣ хотя часть того умнаго добра, которымъ надѣлилъ меня ты. Вѣруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты пріѣдешь, какъ въ родную свою семью. Она предстанетъ тебѣ желанною пристанію, и въ ней будетъ покойнѣе тебѣ, нежели здѣсь. Ни пустой шумъ суеты, ни громъ экипажа не смутитъ тебя; объѣдутъ бережно и улицу, въ которой ты будешь жить. Если кто и пріѣдетъ тебя навѣстить, старый ли другъ твой, или же дотолѣ незнакомый человѣкъ, онъ станетъ впередъ просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У насъ умѣютъ и даже знаютъ, какъ почтить того, кто сдѣлалъ цѣликомъ свое дѣло. Кто такъ безукоризненно, такъ честно употреблялъ всѣ дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лѣнясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранилъ свѣжую старость свою, какъ-бы молодость, въ то время, какъ всѣ вокругъ истратили ее на пустые соблазны и когда молодые превратились въ хилыхъ стариковъ; тотъ

имѣетъ право на вниманіе благоговѣйное. Какъ патріархъ ты будешь въ Москвѣ, и на вѣсъ золота примутъ отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесетъ много общаго добра: это тебѣ предрекаю. Она возвратитъ къ свѣжести современнаго человѣка, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обновитъ въ глазахъ его много того, что́ брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ. Но не меньше добра, если еще не больше, принесутъ тѣ труды, на которые навелъ тебя самъ Богъ и которые ты держишь, покуда, разумно подъ спудомъ. Въ нихъ окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди впередъ! Да не испугаетъ тебя никакая нестройность того, что́ бы ты ни встрѣтилъ. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который, покуда, еще не всѣми видимъ, — наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіять свѣтомъ на всю землю. Въ ней заключено все, что́ нужно для жизни истинно русской, во всѣхъ ея отношеніяхъ, начиная отъ государственнаго до простого семейственнаго, всему настрой, всему направленіе, всему законная и вѣрная дорога. По мнѣ, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведеніе въ Россію, минуя нашу Церковь, не испросивъ у нея на то благословенія. Нелѣпо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было европейскія идеи, покуда не окреститъ ихъ она свѣтомъ Христовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ твоихъ же глазахъ будетъ признано всѣми въ Россіи, какъ вѣрующими, такъ и невѣрующими, какъ вдругъ выступитъ всѣми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слѣпота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздѣленію Церквей, повелѣвшую одной стоять неподвижно и какъ-бы вдали отъ людей, а другой — волноваться вмѣстѣ съ людьми; одной — не принимать въ себя никакихъ нововведеній, кромѣ тѣхъ, которыя были внесены святыми

людьми лучшихъ временъ христіянства и первоначальными Отцами Церкви, другой — мѣняясь и примѣняясь ко всѣмъ обстоятельствамъ времени, духу и привычекъ людей, вносить всѣ нововведенія, сдѣланныя даже порочными и несвятыми епископами; одной — на время какъ-бы умереть для міра, другой — на время какъ-бы овладѣть всѣмъ міромъ; одной — подобно скромной Маріи, отложивши всѣ попеченія о земномъ, помѣститься у ногъ самого Господа, затѣмъ чтобы лучше наслушаться словъ Его, прежде нежели примѣнять и передавать ихъ людямъ, другой жо — подобно заботливой хозяйкѣ Марѳѣ, гостепріимно хлопотать около людей, передавая имъ еще невзвѣшенныя всѣмъ разумомъ слова Господни. Благую часть избрала первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было-осмѣлилась называть ее *мертвымъ* трупомъ и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примѣнить слово Христово къ людямъ, и слѣдовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. Зато въ нашей Церкви сохранилось все, что́ нужно для просыпающагося нынѣ общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чѣмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тѣмъ больше изумляюсь чудной возможности примиренія тѣхъ противорѣчій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла кое-какъ управлять міромъ и мирить его со Христомъ во имя односторонняго и неполнаго развитія человѣчества. Теперь же, когда человѣчество стало достигать развитія полнѣйшаго во всѣхъ своихъ силахъ, во всѣхъ свойствахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваетъ отъ Христа: чѣмъ больше хлопочетъ о примиреніи, тѣмъ больше вноситъ раздоръ, будучи не въ силахъ освѣтить узкимъ свѣтомъ своимъ всякій нынѣшній предметъ со всѣхъ его сторонъ. Всѣ сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества по-

становленій человѣческихъ, сдѣланныхъ такими епископами, которые еще не достигнули святостію жизни своей до полной и многосторонней христіянской мудрости, она съузила взглядъ свой на жизнь и міръ, и не можетъ обхватить ихъ. Полный и всесторонній взглядъ на жизнь остался на ея восточной половинѣ, видимо сбереженной для позднѣйшаго и полнѣйшаго образованія человѣка. Въ ней просторъ не только душѣ и сердцу человѣка, но и разуму, во всѣхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человѣкѣ въ одинъ согласный гимнъ верховному Существу. Другъ не смущайся ничѣмъ! Если бы седьмерицею кратъ были запутанніе нынѣшнія обстоятельства — все примиритъ и распутаетъ наша Церковь. Уже, какимъ-то невѣдомымъ чутьемъ, даже наши свѣтскіе люди, толкающіеся среди, начинаютъ слышать, что есть какое-то сокровище, отъ котораго спасеніе, которое среди насъ и котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвѣтится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово *просвѣщеніе*. Даже и не задумались надъ тѣмъ, откуда пришло это слово и что́ оно значитъ. Слова этого нѣтъ ни на какомъ языкѣ; оно только у насъ. Просвѣтить не значитъ научить, или наставить, или образовать, или даже освѣтить, но всего насквозь высвѣтлить человѣка во всѣхъ его силахъ, а не въ одномъ умѣ, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взяго изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лѣтъ его произноситъ, не смотря на всѣ мраки и невѣжественныя тьмы, отвсюду ее окружавшіе, и знаетъ, зачѣмъ произноситъ. Не даромъ архіерей, въ торжественномъ служеніи своемъ, подъемля въ обѣихъ рукахъ и троесвѣщникъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвѣщникъ, знаменующій Его сходившее на землю Слово въ двойномъ естествѣ Его, и Божескомъ, и человѣческомъ, всѣхъ ими освѣщаетъ, произнося: «Свѣтъ Христовъ освѣщаетъ всѣхъ!» Недаромъ также въ другомъ мѣстѣ служенія гремятъ отрывочно, какъ-бы

съ неба, вслухъ всѣмъ слова: «Свѣтъ просвѣщенія!» и ничего къ нимъ не прибавляется больше.

1846.

XVIII.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХЪ ДУШЪ.»

1.

Вы напрасно негодуете на неумѣренный тонъ нѣкоторыхъ нападеній на «Мервыя Души.» Это имѣетъ свою хорошую сторону. Иногда нужно имѣть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что по неволѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, если бы я не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было явиться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мною были мнѣ нужны, не смотря на то, что съ перваго разу пришлись очень не по-сердцу. О, какъ намъ нужны безпрестанные щелчки и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, пронимающія насквозь насмѣшки! На днѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго частолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить

всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желалъ, однакожъ, побольше критикъ, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А между тѣмъ «Мертвыя души» произвели много шума, много ропота; задѣли за живое многихъ и насмѣшкою, и правдою, и каррикатурою; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами, хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ; мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, авось кто нибудь меня выбранитъ хорошенько и въ брани, въ гнѣвѣ выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы мнѣ явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякихъ словъ, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защищать и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается дѣло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и купецъ, и помѣщикъ, словомъ — всякій грамотѣй, сидитъ ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскаетъ вдоль и поперегъ по всему лицу русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человѣкъ, съ того мѣста, или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой, кромѣ его, никто другой не можетъ видѣть. По поводу «Мертвыхъ Душъ» могла бы написаться всею толпою читателей другая книга, несравненно любопытнѣйшая «Мертвыхъ Душъ,» которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что — нечего таить грѣха — всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

И хотя бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ-бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то «Мертвыя души.» И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ-будто непремѣнно силою Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея, — безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнилъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла, но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе, и говорю это недаромъ; видитъ Богъ, говорю недаромъ!

1843.

2.

Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ поэмѣ будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими предъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкѣ всего сочиненія, что ввели въ равное заблужденіе, какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни заикнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изясненій ихъ въ мою пользу. И по-дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-какъ, бѣлыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія.

Слѣдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ, можно было много сдѣлать нападеній нестравненно дѣльнѣйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранятъ, и выбранить за дѣло. Но рѣчь не о томъ. Рѣчь о лирическомъ отступленіи, на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ признаки самонадѣянности, самохвальства и гордости, доселѣ еще неслыханной ни въ одномъ писателѣ. Разумѣю то мѣсто въ послѣдней главѣ, когда, изобразивъ выѣздъ Чичикова изъ города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его мѣсто и, пораженный скучнымъ однообразіемъ предметовъ, пустынною безпріютностію пространствъ нашихъ и грустною пѣснію, несущеюся по всему лицу земли русской, отъ моря до моря, обращается въ лирическомъ воззваніи къ самой Россіи, спрашивая у нея самой объясненія непонятнаго чувства, его объявшаго, то есть, зачѣмъ и почему ему кажется, что будто все, что́ ни есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него глаза свои и чего-то ждетъ отъ него. Слова эти были приняты за гордость и доселѣ неслыханное хвастовство, между тѣмъ какъ они ни то, ни другое. Это, просто, нескладное выраженіе истиннаго чувства. Мнѣ и донынѣ кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тѣхъ заунывныхъ раздирающихъ звуковъ нашей пѣсни, которая стремится по всѣмъ безпредѣльнымъ русскимъ пространствамъ. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаетъ въ себѣ того же. Кому,

при взглядѣ на эти пустынныя, доселѣ незаселенныя и безпріютныя пространства, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пѣсни не слышатся болѣзненные упреки ему самому, именно ему самому; тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ слѣдуетъ, или же онъ не-Русскій въ душѣ. Разберемъ дѣло, какъ оно есть. Вотъ уже почти полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ Государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно, какъ-будтобы мы до сихъ-поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станціею, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель, съ черствымъ отвѣтомъ: «Нѣтъ лошадей!» Отчего это? Кто виноватъ? Мы. Правительство во все время дѣйствовало безъ устали. Свидѣтелемъ тому цѣлые томы постановленій, узаконеній и учрежденій, множество настроенныхъ домовъ, множество изданныхъ книгъ, множество заведенныхъ заведеній всякаго рода, учебныхъ, человѣко-любивыхъ, Богоугодныхъ и, словомъ, даже такихъ, какихъ нигдѣ въ другихъ государствахъ не заводятъ правительства. Сверху раздаются вопросы, отвѣты снизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свидѣтельствуютъ о рыцарски-великодушномъ движеніи многихъ Государей, дѣйствовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это отвѣтствовано снизу? Дѣло вѣдь въ примѣненіи, въ умѣньи приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась и поселилась въ насъ. Указъ, какъ бы онъ обдуманъ и опредѣлителенъ ни былъ, есть не болѣе, какъ бланковый листъ, если не будетъ снизу такого же чистаго желанія примѣнить его къ дѣлу

тою именно стороною, какой нужно, какой слѣдуетъ и какую можетъ прозрѣть только тотъ, кто просвѣтленъ понятіемъ о справедливости Божеской, а не человѣческой. Безъ того все обратится во зло. Доказательство тому всѣ наши тонкіе плуты и взяточники, которые умѣютъ обойти всякій указъ, для которыхъ новый указъ есть только новая пожива, новое средство загромоздитъ большею сложностію всякое отправленіе дѣлъ, бросить новое бревно подъ ноги человѣку. Словомъ, вездѣ, куда не обращусь, вижу, что виноватъ примѣнитель, стало быть, нашъ же братъ: или виноватъ тѣмъ, что поторопился, желая слишкомъ скоро прославиться; или виноватъ тѣмъ, что слишкомъ сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованіе; не спросясь разума, не разсмотрѣвъ въ жару самого дѣла, сталъ имъ ворочать, какъ знатокъ, и потомъ вдругъ, также по русскому обычаю, простылъ, увидѣвши неудачу; или же виноватъ, наконецъ, тѣмъ, что, изъ-за какого-нибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все бросилъ, и то мѣсто, на которомъ было-началъ такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту. Словомъ, у рѣдкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобы онъ рѣшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и самолюбіемъ, и всѣми мелочами легко-раздражающагося своего эгоизма, и положилъ самому себѣ въ непремѣнный законъ служить землѣ своей, а не себѣ, помня ежеминутно, что взялъ онъ мѣсто для счастія другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ послѣднее время, какъ-бы еще нарочно старался русскій человѣкъ выставить всѣмъ на видъ свою щекотливость во всѣхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на всѣхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ которые сдѣлали все, что́ имъ слѣдовало сдѣлать, и которые могутъ сказать открыто передъ цѣлымъ свѣтомъ что ихъ не можетъ попрекнуть ни въ чемъ Россія, что не глядитъ на нихъ укоризненно всякій бездушный предметъ ея пустынныхъ пространствъ, что все ими довольно и ничего отъ нихъ не ждетъ. Знаю только то, что я

слышалъ себѣ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприщѣ писателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что сдѣлать на пользу болѣе прочную. Что́ изъ того, что въ моемъ сердцѣ обитало всегда желаніе добра и что единственно изъ-за него я взялся за перо? Какъ исполнилъ его? Ну, хоть бы и это мое сочиненіе, которое теперь вышло и которому названіе «Мертвыя Души,» — произвело ли оно то впечатлѣніе, какое должно́ было произвести, если бы только было написано такъ, какъ слѣдуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не съумѣлъ передать, и самъ же подалъ поводъ къ истолкованію ихъ въ превратную и скорѣе вредную, нежели полезную сторону. Кто виноватъ? Неужели мнѣ говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей, или нетерпѣливыя желанія любителей изящнаго, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мнѣ говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я долженъ былъ поторопиться безвременнымъ выпускомъ моей книги? Нѣтъ, кто рѣшился исполнить свое дѣло честно, того не могутъ поколебать никакія обстоятельства, тотъ протянетъ руку и попроситъ милостыню, если ужъ до того дойдетъ дѣло, тотъ не посмотритъ ни на какія временныя нареканія, ниже́ пустыя приличія свѣта. Кто изъ пустыхъ приличій свѣта портитъ дѣло, нужное своей землѣ, тотъ ея не любитъ. Я почувствовалъ презрѣнную слабость моего характера, мое подлое малодушіе, безсиліе любви моей, а потому и услышалъ болѣзненный упрекъ себѣ во всемъ, что́ ни есть въ Россіи. Но высшая сила меня подняла: проступковъ нѣтъ неисправимыхъ, и тѣ же пустынныя пространства, нанесшія тоску мнѣ на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для дѣлъ. Отъ души было произнесено это обращеніе къ Россіи: «Въ тебѣ ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться ему!» Оно было сказано не для картины, или похвальбы: я это чувствовалъ; я это чувствую и теперь. Въ

Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдѣлаться богатыремъ. Всякое званіе и мѣсто требуетъ богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святыню своего званія и мѣста (всѣ мѣста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышалъ то великое поприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному Русскому возможно, потому что передъ нимъ только такой просторъ и только его душѣ знакомо богатырство, вотъ отчего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадѣянность!

1843.

3.

Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе! Половина ихъ относится къ тому, что́ еще впереди. Ну, что́ толку въ подобномъ любопытствѣ? Одинъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, съумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно, именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности «Мертвыхъ Душъ,» будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему, близки душѣ, точно, какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого, какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у

одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ бóльшей силою въ «Мертвыхъ Душахъ.» «Мертвыя Души» не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь раны общества, или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ни чуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другаго, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть, или перевести духъ бѣдному читателю и что, по прочтеніи всей книги, кажется, какъ-бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что́ противоположно ничтожному. Итакъ вотъ въ чемъ мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся виднѣе всѣхъ моихъ прочихъ пороковъ, всё равно, какъ не было также никакой картинной добродѣтели, которая могла бы придать мнѣ какую-нибудь картинную наружность; но зато, вмѣсто того во мнѣ заключилось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ. Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умѣю, какъ возблагодарить Его, было *желаніе быть лучшимъ*. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная любовь Божія не распорядила такъ, чтобы они открылись передо мною постепенно и понемногу, намѣсто того, чтобы открылись вдругъ и разомъ передъ моими глазами, въ то время, какъ я не имѣлъ еще никакого понятія о всей неизмѣримости Его безконечнаго милосердія, я бы повѣсился. По мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какого рода было это событіе, знать тебѣ не слѣдуетъ: если бы я видѣлъ въ этомъ пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось; взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ подъ пера моего въ началѣ для меня самого, онъ бы точно содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ «Мерт-

выхъ Душъ,» въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться всё сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію не замѣтилъ, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что́ значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающимъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствіе свѣта.* Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести «Мертвыя Души.» Я увидѣлъ, что многія изъ гадостей не сто́ятъ злобы; лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навѣки ихъ удѣломъ. Притомъ мнѣ хотѣлось попробовать, что́ скажетъ вообще русскій человѣкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостію. Въ слѣдствіе уже давно принятаго плана «Мертвыхъ Душъ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однакожъ, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои. Я тебѣ это покажу послѣ, когда будетъ тебѣ нужно; до времени это моя тайна. Мнѣ потребно было отобрать отъ всѣхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что́ они захватили нечаянно, и возвратить законнымъ ихъ владѣльцамъ. Не спрашивай, зачѣмъ первая часть должна быть вся *пошлость* и зачѣмъ въ ней всѣ лица до единаго должны быть пошлы: на это дадутъ тебѣ отвѣтъ другіе томы, — вотъ и все! Первая часть, не смотря на всѣ свои несовершенства, главное дѣло сдѣлала. Она поселила во всѣхъ отвра-

щеніе отъ моихъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла нѣкоторую мнѣ нужную тоску и собственное наше неудовольствіе на самихъ насъ. Покамѣстъ для меня этого довольно; за другимъ я и не гонюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительнѣе, если бы я, не торопясь выдачею въ свѣтъ, обработалъ книгу получше. Герои мои еще не отдѣлились вполнѣ отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселилъ я ихъ твердо на той землѣ, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въ кругъ нашихъ обычаевъ, обставясь всѣми обстоятельствами дѣйствительно русской жизни. Еще вся книга не болѣе, какъ недостатокъ; но духъ ея разнесся уже отъ нея незримо, и самое ея раннее появленіе можетъ быть полезно мнѣ тѣмъ, что подвигнетъ моихъ читателей указать всѣ промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіи. Вотъ, если бы ты, вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какого-то празднаго любопытства), собралъ всѣ дѣльныя замѣчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, жизнію опытною и дѣльною, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околодкѣ вашемъ и во всей губерніи въ подтвержденіе, или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успѣшное пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ; моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ и эта пустая ни къ чему неведущая торопливость, которою, какъ я замѣчаю уже и ты начинаешь зара-

жаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, взвѣсилъ ли ты хорошенько слова свои: «Второй томъ нуженъ теперь необходимо?» Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня вообщее неудовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ. Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залѣзъ ты развѣ въ мою голову? почувствовалъ существо втораго тома? По-твоему онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображеніе попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ на головѣ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на боку, къ дѣлу настоящему лѣнивъ, а другого торопитъ, точно, какъ-будто непремѣнно другой долженъ изо всѣхъ силъ тянуть, отъ радости, что его пріятель лежитъ на боку. Чуть замѣтятъ, что хотя одинъ человѣкъ занялся серьёзно какимъ нибудь дѣломъ, ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ и потомъ его же выбранятъ, если сдѣлаетъ глупо, — скажутъ: зачѣмъ поторопился? Но оканчиваю тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣчалъ и даже сказалъ тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще никому. Не думай, однакоже, послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгараю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ помо-

жетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ. Только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многаго тѣмъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостію, которая всѣмъ видна, и, когда повѣряю себя на исповѣди передъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мірѣ и освобождаться отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себѣ пороковъ, но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году: святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣлясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣтъ и на другіе запросы, если попристальнѣе вглядишься. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлялъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ хотя сколько-нибудь на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что́ ни напишетъ перо твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ — я также не выдумывалъ: кошемары эти давили мою собственную душу: что́ было въ душѣ, то изъ нея и вышло.

1843.

4.

Затѣмъ сожженъ второй томъ «Мертвыхъ Душъ,» что такъ было нужно. *Не оживетъ, аще не умретъ,* говоритъ апостолъ. Нужно прежде умеретъ, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилѣтній трудъ, производимый съ такими болѣзненными напряженіями, гдѣ всякая строка досталась потрясеніемъ, гдѣ было много такого, что́ составляло мои лучшія помышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мнѣ очень хотѣлось оставить послѣ себя хоть что-нибудь, обо мнѣ лучше напоминающее. Благодарю Бога, что далъ мнѣ силу это сдѣлать. Какъ только пламя унесло послѣдніе листы моей книги, ея содержаніе вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидѣлъ, въ какомъ еще безпорядкѣ было то, что́ я считалъ уже порядочнымъ и стройнымъ. Появленіе второго тома въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скорѣе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображеніе не наслажденіе какихъ-нибудь любителей искусствъ и литературы, но всѣхъ читателей, для которыхъ писались «Мертвыя Души.» Вывести нѣсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни къ чему не поведетъ. Оно возбудитъ только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европѣ: «Смотрите, Нѣмцы: мы лучше васъ!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Наилучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются! хвастаются будущимъ! Нѣтъ, по мнѣ, уже лучше временное

уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадѣянность въ себя. Въ первомъ случаѣ, человѣкъ по крайней мѣрѣ увидитъ свою презрѣнность, подлое ничтожество свое и вспомнитъ невольно о Богѣ, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины ничтожества; въ послѣднемъ же случаѣ, онъ убѣжитъ отъ самого себя прямо въ руки къ чорту, отцу самонадѣянности, дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человѣка. Нѣтъ, бываетъ время, когда нельзя иначе устремить общество, или даже все поколѣніе къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываетъ время, что даже вовсе не слѣдуетъ говорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же, ясно какъ день, путей и дорогъ къ нему для всякого. Послѣднее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ,» а оно должно́ было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали было отъ меня требовать, чтобы я отвѣчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое — *душа* и *прочное дѣло жизни.* А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ незачѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, вѣрно поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши на счетъ хилаго моего здоровья, которое, можетъ быть, не позволитъ мнѣ написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываетъ мнѣ такъ тяжело, что безъ Бога и не перенесъ бы. Къ изнуренію силъ прибавилась еще и

зябкость въ такой мѣрѣ, что не знаю, какъ и чѣмъ согрѣться: нужно дѣлать движеніе, а дѣлать движеніе — нѣтъ силъ. Едва часъ въ день выберется для труда, и тотъ не всегда свѣжій. Но ничуть не уменьшаетя моя надежда. Тотъ, Кто горемъ, недугами и препятствіями ускорилъ развитіе силъ и мыслей моихъ, безъ которыхъ я бы и не замыслилъ своего труда, Кто выработалъ бо́льшую половину его въ головѣ моей, Тотъ дастъ силу совершить и остальную — положить на бумагу. Драхлѣю тѣломъ; но не духомъ. Въ духѣ, напротивъ, все крѣпнетъ и становится тверже; будетъ крѣпость и въ тѣлѣ. Вѣрю, что, если придетъ урочное время, въ нѣсколько недѣль совершится то, надъ чѣмъ провелъ пять болѣзненныхъ лѣтъ.

1846.

XIX.

. . . . . .

XX.

. . . . . .

XXI.

. . . . . .

XXII.

РУССКІЙ ПОМѢЩИКЪ.

ПИСЬМО КЪ Б. И. Б. . . . . МУ.

Главное то, что ты уже пріѣхалъ въ деревню и положилъ себѣ непремѣнно быть помѣщикомъ; прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія помѣщика съ крестьянами,

исчезнули навѣки. Чтобы навсегда или навѣки онѣ исчезнули — плюнь ты на такія слова; сказать ихъ можетъ только тотъ, кто далѣе своего носа ничего не видитъ. Русскаго ли человѣка, который такъ умѣетъ быть благодарнымъ за всякое добро, какому его ни надоумишь, русскаго ли человѣка трудно привязать къ себѣ? Такъ можно привязать, что послѣ будешь думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что́ теперь тебѣ скажу, то къ концу же года увидишь, что я правъ. Возьмись за дѣло помѣщика, какъ слѣдуетъ за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслѣ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что́ такое ты, и что́ такое они. Что помѣщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебѣ хотѣлось повелѣвать и быть помѣщикомъ; но потому, что ты уже есть помѣщикъ, что ты родился помѣщикомъ, что взыщетъ съ тебя Богъ, еслибъ ты промѣнялъ это званіе на другое, потому что всякій долженъ служить Богу на своемъ мѣстѣ, а не на чужомъ, равно какъ и они также, родясь подъ властію, должны покоряться той самой власти, подъ которою родились, потому что нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, и покажи это имъ тутъ же въ Евангеліи, чтобы они всѣ это видѣли до единаго. Потомъ скажи имъ, что заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебѣ деньги на твои удовольствія, и сдѣлай такъ, чтобы они видѣли дѣйствительно, что деньги тебѣ нуль, но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелѣно человѣку трудомъ и по́томъ снискивать себѣ хлѣбъ, и прочти имъ тутъ же это въ Св. Писаніи, чтобы они это видѣли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за послѣдняго негодяя въ селѣ, и что по этому самому ты еще болѣе будешь смотрѣть за тѣмъ, чтобы они работали честно не только тебѣ, но и себѣ самимъ; ибо знаешь, да и они знаютъ, что залѣнившись, мужикъ на все способенъ, — сдѣлается и воръ, и пьяница, погубитъ свою душу, да и тебя поставитъ въ отвѣтъ передъ Богомъ. И все, что́ имъ

ни скажешь, подкрѣпи тутъ же словами Св. Писанія; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это написано; заставь каждаго передъ тѣмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцѣловать самую книгу, въ которой это написано. Словомъ, чтобы они видѣли ясно, что ты во всемъ, что́ до нихъ клонится, сообразуешься съ волею Божіею, а не своими какими-нибудь европейскими, или иными затѣями. Мужикъ это пойметъ; ему не нужно много словъ. Объяви имъ всю правду; что душа человѣка дороже всего на свѣтѣ и что прежде всего ты будешь глядѣть за тѣмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто-нибудь своей души и не предалъ бы ее на вѣчную муку. Во всѣхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дѣлать уличенному въ воровствѣ, лѣности, или пьянствѣ, ставь его передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ, покажи ему, чѣмъ онъ грѣшитъ противъ Бога, а не противъ тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери сосѣдей. Попрекни бабу, зачѣмъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божіимъ; попрекни сосѣдей, зачѣмъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакою и губитъ ни про что́ свою душу; докажи имъ, что дадутъ за то отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всѣхъ легла отвѣтственность и чтобы все, что́ ни окружаетъ человѣка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отвѣтственность на головы примѣрныхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Разстолкуй имъ ясно, что они не затѣмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошему житію, что пьяница не можетъ учить пьяницу и что это ихъ долгъ. Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ-бы старостѣ, прикащику, попу, или даже самому тебѣ; чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозяина, летѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ, и все бы ему давало дорогу; а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе, или не послушаться умныхъ словъ

его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ, ты, невымытое рыло! самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ — собакой пропадешь.» А примѣрныхъ мужиковъ, призвавши къ себѣ и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что́ повелѣлъ намъ Богъ. Такъ поступи только въ теченіе одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдетъ на ладъ; даже и хозяйство отъ этого сдѣлается лучше. О главномъ только позаботься, прочее все приползетъ само собою. Христосъ недаромъ сказалъ: *сія вся вамъ приложится.* Въ крестьянскомъ быту эта истина еще виднѣе, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяинъ и хорошій человѣкъ — синонимы. И въ которую деревню заглянула только христіянская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро.

Но вотъ, однакоже, тебѣ совѣтъ и въ хозяйствѣ. Только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладѣ. Два человѣка уже благодарятъ меня; одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К**. Собственно о томъ, какими отраслями хозяйства слѣдуетъ заниматься и какъ заниматься, я тебѣ не скажу: это знаешь ты лучше меня; притомъ и деревня твоя мнѣ не извѣстна такъ, какъ моя собственная ладонь; а относительно всякихъ нововведеній ты уменъ и смекнулъ самъ, что не только слѣдуетъ придерживаться всего стараго, но всмотрѣться въ него насквозь чтобы изъ него же извлечь для него улучшеніе. Но я тебѣ дамъ совѣтъ на-счетъ соприкосновенія помѣщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ дѣлахъ. и работахъ, что́ покамѣсть нужнѣе всего прочаго. Припомни отношенія прежнихъ помѣщиковъ-хозяевъ къ ихъ мужикамъ: будь патріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всѣхъ дѣлахъ. Заведи, чтобы при началѣ всякаго общаго дѣла, какъ-то: посѣва, покосовъ и уборки хлѣба, былъ

пиръ на всю деревню, чтобы въ эти дни былъ общій столъ для всѣхъ мужиковъ на твоемъ дворѣ, какъ-бы въ день самого Свѣтлаго Воскресенія, и обѣдалъ бы ты самъ вмѣстѣ съ ними, и вмѣстѣ съ ними вышелъ бы на работу, и въ работѣ былъ бы передовымъ, подстрекая всѣхъ работать молодцами, похваливая тутъ же удальца и укоряя тутъ же лѣнивца. Когда же наступитъ осень и кончатся полевыя работы, воспразднуй такимъ же образомъ и еще бóльшимъ пиршествомъ, окончаніе работъ, въ сопровожденіи торжественнаго и благодарственнаго молебна. Мужика не бей: съѣздить его въ рожу еще не большое искусство; это съумѣетъ сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только-что почешетъ слегка у себя въ затылкѣ. Но умѣй пронять его хорошенько словомъ; ты же на мѣткія слова мастеръ. Ругни его при всемъ народѣ, но такъ, чтобы тутъ же осмѣялъ его весь народъ; это будетъ для него въ нѣсколько разъ полезнѣе всякихъ подзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запасѣ всѣ синонимы *молодца* для того, кого нужно подстрекнуть, и всѣ синонимы *бабы* для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лѣнтяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словомъ — назови всѣмъ, чѣмъ только не хочетъ быть русскій человѣкъ. Въ комнатѣ не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянскихъ работахъ, и, гдѣ ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глядѣло все живѣе и веселѣе, изворачиваясь молодцомъ и щеголемъ въ работѣ. Подайте отъ себя силы словами: «Прихватимъ-ка разомъ, ребята, всѣ вмѣстѣ!» Возьми самъ въ руки топоръ, или косу; это будетъ тебѣ въ добро и полезнѣе для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ моціоновъ и вялыхъ прогулокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотѣ затѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которые издаютъ для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика

нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не полѣзетъ въ голову, и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь дѣлать то же, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истинно нужнаго для мужика, нежели всѣ эти книжонки. Если въ комъ истинно уже зародится охота къ грамотѣ, и притомъ вовсе не затѣмъ, чтобы сдѣлаться плутомъ-конторщикомъ, но затѣмъ, чтобы прочесть тѣ книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человѣку, тогда другое дѣло. Воспитай его какъ сына и на него одного употреби все, что́ употребилъ бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаетъ, что тамъ притонъ всей человѣческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. По настоящему, ему не слѣдуетъ и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кромѣ священныхъ.

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдетъ работаться такъ, что не нужно будетъ тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатѣешь ты какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ христіянина на свою обязанность, то не только онъ можетъ укрѣпить старыя связи, о которыхъ толкуютъ, будто онѣ исчезнули на-вѣки, но связать ихъ новыми, еще сильнѣйшими связями — связями во Христѣ, которыхъ уже ничто не можетъ быть сильнѣе. И ты, не служа доселѣ ревностно ни на какомъ поприщѣ, сослужишь такую службу Государю, въ званіи помѣщика, какъ не сослужитъ иной великочиновный человѣкъ. Что́ ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всѣ какъ одинъ и могутъ быть примѣромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно примѣрною жизнію, — это дѣло не бездѣльное, и служба истинно законная и великая.

1846.

XXIII.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖИВОПИСЕЦЪ ИВАНОВЪ.

ПИСЬМО КЪ М. Ю. В.....

Пишу къ вамъ объ Ивановѣ. Что́ за непостижимая судьба этого человѣка! Уже дѣло его стало наконецъ всѣмъ объясняться; всѣ увѣрились, что картина, которую онъ работаетъ — явленіе небывалое, приняли участіе въ художникѣ, хлопочутъ со всѣхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее; а до сихъ поръ ни слуху, ни духу изъ Петербурга. Ивановъ не только не ищетъ житейскихъ выгодъ, но даже просто ничего не ищетъ, потому что уже давно умеръ для всего въ мірѣ, кромѣ своей работы. Онъ молитъ о томъ содержаніи, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слѣдуетъ ему какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затѣвалъ доселѣ никто; и этого содержанія, о которомъ всѣ стараются и хлопочутъ, не можетъ онъ допроситься, не смотря на хлопоты всѣхъ. Воля ваша, я вижу во всемъ этомъ волю Провидѣнія, уже такъ опредѣлившую, чтобы Ивановъ вытерпѣлъ, выстрадалъ и вынесъ все: другому ничему не могу приписать.

Доселѣ раздавался ему упрекъ въ медленности. Говорили всѣ: «Какъ! восемь лѣтъ сидѣлъ надъ картиною, и до сихъ поръ картинѣ нѣтъ конца?» Но теперь этотъ упрекъ затихнулъ, когда увидѣли, что и капля времени у художника не пропала даромъ, что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цѣлый залъ и можетъ составить отдѣльную выставку, что необыкновенная величиина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени для работы, особенно при тѣхъ малыхъ денежныхъ средствахъ, которыя не давали ему возможности

имѣть нѣсколько моделей вдругъ, и притомъ такихъ, какихъ бы онъ хотѣлъ. Словомъ, теперь всѣ чувствуютъ нелѣпость упрека въ медленности и лѣни такому художнику, который, какъ труженикъ, сидѣлъ всю жизнь свою надъ работóю и позабылъ даже, существуетъ ли на свѣтѣ какое-нибудь наслажденіе, кромѣ работы. Еще болѣе будетъ стыдно тѣмъ, которые упрекали его въ медленности, когда узнаютъ и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное, душевное дѣло художника: явленіе слишкомъ рѣдкое въ мірѣ, явленіе, въ которомъ вовсе не участвуетъ произволъ человѣка, но воля Того, Кто выше человѣка. Такъ уже было опредѣлено, чтобы надъ этою картиною совершилось воспитаніе собственно художника, какъ въ рукотворномъ дѣлѣ искусства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искусство къ законному и высшему назначенію. Предметъ картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ Евангельскихъ мѣстъ взято самое труднѣйшее для исполненія, доселѣ еще небранное никѣмъ изъ художниковъ, даже прежнихъ Богомольно-художественныхъ вѣковъ, а именно — первое появленіе Христа народу. Картина изображаетъ пустыню на берегу Іордана. Всѣхъ виднѣе Іоаннъ Креститель, проповѣдующій и крестящій во имя Того, Котораго еще никто не видалъ изъ народа. Его обступаетъ толпа нагихъ и раздѣвающихся, одѣвающихся и одѣтыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толпѣ этой стоятъ и будущіе ученики самого Спасителя. Все, отправляя свои различныя тѣлесныя движенія, устремляется внутреннимъ ухомъ къ рѣчамъ пророка, какъ-бы схватывая изъ устъ его каждое слово и выражая на лицахъ различныя чувства: на однихъ уже полная вѣра; на другихъ еще сомнѣніе; третьи уже колеблются, четвертые понурили головы въ сокрушеніи и покаяніи; есть и такіе, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается вдали Тотъ самый,

во имя Котораго уже совершилось крещеніе, и здѣсь настоящая минута картины. Предтеча взятъ именно въ тотъ мигъ, когда, указавши на Спасителя перстомъ, произноситъ: *Се Агнецъ, вземляй грѣхи міра!* И вся толпа, неоставляя выраженія лицъ своихъ, устремляется или глазомъ, или мыслію къ Тому, на Котораго указалъ пророкъ. Сверхъ прежнихъ, неуспѣвшихъ сбѣжать съ лицъ, впечатлѣній, пробѣгаютъ по всѣмъ лицамъ новыя впечатлѣнія. Чуднымъ свѣтомъ освѣтились лица передовыхъ избранныхъ, тогда какъ другіе стараются еще войти въ смыслъ непонятныхъ словъ, недоумѣвая, какъ можетъ одинъ взять на себя грѣхъ всего міра, а третьи сомнительно колеблютъ головой, говоря «Отъ Назарета пророкъ не приходитъ.» А Онъ, въ небесномъ спокойствіи и чудномъ отдаленіи, тихою и твердою стопою уже приближается къ людямъ.

Не легко изобразить на лицахъ весь этотъ ходъ *обращенія человѣка ко Христу!* Есть люди, которые увѣрены, что великому художнику все доступно: земля, море, человѣкъ и моленіе Богу, словомъ — все можетъ достаться ему легко, будь только онъ талантливый художникъ да поучись въ академіи. Художникъ можетъ изобразить только то, что́ онъ *почувствовалъ* и о чемъ въ головѣ его составилась уже полная идея; иначе картина будетъ мертвая, академическая картина. Ивановъ сдѣлалъ все, что́ другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріяльная часть, все, что́ относится до умнаго и строгаго размѣщенія группы въ картинѣ, исполнено въ совершенствѣ. Самыя лица получили свое типическое, согласно Евангелію, сходство и съ тѣмъ вмѣстѣ сходство еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ какой землѣ происходитъ дѣло. Ивановъ повсюду ѣздилъ нарочно изучать для того еврейскія лица. Все, что́ ни касается до гармоническаго размѣщенія цвѣтовъ, одежды человѣка и до обдуманной ея наброски на тѣло, изучено въ такой степени, что всякая складка привлекаетъ вниманіе знатока. Наконецъ вся ландшафтная часть. на которую обыкновенно немного смотритъ историче-

скій живописецъ, видъ сей живописной пустыни, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляютя сами ландшафтные живописцы, живущіе въ Римѣ. Ивановъ для этого просиживалъ по нѣсколькимъ мѣсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мѣстахъ Италіи, перенесъ въ свои этюды всѣ дикія захолустья, находящіяся вокругъ Рима, изучилъ всякій камешекъ и древесный листокъ, словомъ — сдѣлалъ все, что́ могъ сдѣлать, все изобразилъ, чему только нашелъ образецъ. Но какъ изобразить то, чему еще не нашелъ художникъ образца? Гдѣ могъ найти онъ образецъ для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить въ лицахъ весь ходъ человѣческаго обращенія ко Христу? Откуда могъ онъ взять его? изъ головы? создать воображеніемъ? постигнуть мыслію? Нѣтъ, пустяки! холодна для этого мысль и ничтожно воображеніе. Ивановъ напрягалъ воображеніе, елико могъ, старался на лицахъ всѣхъ людей, съ какими ни встрѣчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слѣдить за молитвою человѣка — и видѣлъ, что все безсильно и недостаточно, и не утверждаетъ въ его душѣ полной идеи о томъ, что́ нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и виною того, что картина такъ долго затянулась. Нѣтъ, пока въ самомъ художникѣ не произошло истиннаго обращенія ко Христу, не изобразить ему того на полотнѣ. Ивановъ молилъ Бога о ниспосланіи ему такого полнаго обращенія, лилъ слезы въ тишинѣ, прося у Него же силъ исполнить Имъ же внушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности и торопили его! Ивановъ просилъ у Бога, чтобы огнемъ благодати испепелилъ въ немъ ту холодную черствость, которою теперь страждутъ многіе наилучшіе и наидобрѣйшіе люди, и вдохновилъ бы его такъ изобразить это обращеніе, чтобы умилился и нехристіянинъ, взглянувши на его картину; а его въ это время укоряли даже знавшіе его люди, даже пріятели, думая, что онъ, просто, лѣнится, и помышляли серьёзно о томъ, нельзя ли голодомъ и отня-

тіемъ всѣхъ средствъ заставить его кончить картину. Сострадательнѣйшіе изъ нихъ говорили: «Самъ же виноватъ: пусть бы большая картина шла своимъ чередомъ, а въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не терпѣть нужды,» — говорили, не вѣдая того, что художнику, которому трудъ его, по волѣ Бога, обратился въ его душевное дѣло, уже невозможно заняться никакимъ другимъ трудомъ и нѣтъ у него промежутковъ; не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ онъ ее ни принуждай и ни насилуй. Такъ вѣрная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбитъ уже никого другого, никому не продастъ за деньги своихъ ласкъ хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бѣдности и себя, и мужа. Вотъ каковы были обстоятельства душевныя Иванова! Вы скажете: «Да зачѣмъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагѣ? зачѣмъ не описалъ ясно своего дѣйствительнаго положенія? тогда бы ему вдругъ были высланы деньги.» Да, какъ бы не такъ! Попробуй кто-нибудь изъ насъ, еще недоказавшій силъ, еще неумѣющій самому себѣ высказать себя, объясняться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, которые не могутъ, весьма естественно, даже постигнуть, что можетъ существовать въ искусствѣ его высшая степень, свыше той, на которой оно стоитъ въ нынѣшнемъ модномъ вѣкѣ! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дѣло, которое васъ потомъ изумитъ, но котораго вамъ не могу теперь разсказать, потому что многое, покуда, и мнѣ самому еще не совсѣмъ понятно, а вы, во все то время, какъ я буду сидѣть надъ работою, ждите терпѣливо и давайте мнѣ деньги на содержаніе?» Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорятъ такимъ же образомъ; да имъ развѣ безумецъ дастъ деньги! Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: «Мнѣ внушена кѣмъ-то свыше преслѣдующая меня мысль — изобразить кистью обращеніе человѣка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого

сдѣлать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите, покуда во мнѣ самомъ не произойдетъ этого обращенія, и давайте до того времени мнѣ деньги на мое содержаніе и на мою работу.» Да ему тогда въ одинъ голосъ закричатъ всѣ: «Что́ ты, братъ, за нескладицу городишь? за дураковъ, что́ ли, насъ принялъ? Что́ за связь у души съ картиною? Душа сама по себѣ, а картина сама по себѣ.» Вотъ что́ скажутъ всѣ Иванову, и каждый почти правъ. Не будь этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ къ Богу и дали ему способность къ Нему прибѣгать и жить въ Немъ такъ, какъ не живетъ въ немъ нынѣшній свѣтскій художникъ, и выплакать слезами тѣ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями, не изобразить бы ему никогда того, что начинаетъ онъ уже изображать теперь на полотнѣ, и онъ дѣйствительно бы обманулъ и себя, и другихъ, не смотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходного состоянія душевнаго, когда, по волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природѣ человѣка. Я это знаю и отчасти даже испыталъ самъ. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Въ продолженіе болѣе шести лѣтъ я ничего не могъ работать для свѣта. Вся работа производилась во мнѣ и собственно для меня. А существовалъ я дотолѣ, не позабудьте, единственно доходами съ моихъ сочиненій. Всѣ почти знали, что я нуждался, но были увѣрены, что это происходитъ отъ собственнаго моего упрямства, что мнѣ сто́итъ только присѣсть да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги; а я не въ силахъ былъ произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совѣта одного неразумнаго человѣка, вздумалъ-было заставить себя несильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мнѣ въ такой степени трудно, что ныла моя голова,

болѣли всѣ чувства, я маралъ и раздиралъ страницы, и послѣ двухъ-трехъ мѣсяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здоровье, которое и безъ того было плохо, что слегъ въ постель, а присоединившіеся къ тому недуги нервическіе и наконецъ недуги отъ неумѣнья никому въ свѣтѣ изъяснить состояніе своего положенія до того меня изнурили, что былъ я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Одинъ разъ, въ прибавленіе ко всему этому, я очутился въ городѣ, гдѣ не было почти ни души мнѣ близкой, безъ всякихъ средствъ, рискуя умереть, не только отъ болѣзни и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. Но я былъ спасенъ. Вотъ каковы бываютъ положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я долженъ былъ слышать обвиненія въ эгоизмѣ: многіе не могли мнѣ простить моего неучастія въ разныхъ дѣлахъ, которыя они затѣвали, по ихъ мнѣнію, для блага общаго. Слова мои, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, припимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я велъ въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться красотами Италіи. Я не могъ даже изъяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромѣ нездоровья, мнѣ нужно было временное отдаленіе отъ нихъ самихъ, затѣмъ именно, чтобы не попасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей; я даже этого не могъ объяснить! Я слышалъ самъ, что мое душевное состояніе до того сдѣлалось странно, что ни одному человѣку въ мірѣ не могъ бы я разсказать его понятно. Силясь открыть хотя одну часть себя, я видѣлъ тутъ же передъ моими глазами, какъ моими же словами туманилъ и кружилъ голову слушавшему меня человѣку, и горько рязскаевался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь, бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положенію того человѣка, который находится въ летаргическомъ снѣ, который видитъ самъ, какъ его погребаютъ живого — и не можетъ даже

пошевельнуть пальцемъ и подать знака, что онъ еще живъ. Нѣтъ, храни Богъ въ эти минуты переходного состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какому-нибудь человѣку; нужно бѣжать къ одному Богу, и ни къ кому болѣе. Противъ меня стали несправедливы многіе, даже близкіе мнѣ люди, и были въ то же время совсѣмъ невиноваты; я бы самъ сдѣлалъ то же, находясь на ихъ мѣстѣ.

То же самое и въ дѣлѣ Иванова: еслибы случилось, чтобы онъ умеръ отъ бѣдности и недостатка средствъ, вдругъ бы все исполнилось негодованія противу тѣхъ, которые допустили это. Пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій поэтъ составилъ бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигнулъ бы гнѣвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не былъ бы истинно виновенъ въ его смерти. Одинъ только человѣкъ былъ бы безчестенъ и виноватъ, и этотъ человѣкъ былъ бы — я: я испробовалъ почти то же состояніе, испробовалъ его на собственномъ тѣлѣ, и не объяснилъ того другимъ! И вотъ почему я теперь пишу къ вамъ. Устройте же это дѣло; не то — грѣхъ будетъ на вашей собственной душѣ. Съ моей души я уже снялъ его этимъ самымъ письмомъ; теперь онъ повиснулъ на васъ. Не скупитесь: деньги всѣ вознаградятся. Достоинство картины уже начинаетъ обнаруживаться всѣмъ. Весь Римъ начинаетъ говорить гласно, судя даже по нынѣшнему ея виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаеля и Леонарда да Винчи. Будетъ окончена картина. Такимъ картинамъ не бываетъ цѣна меньше ста или двухъ сотъ тысячь. Поступите же справедливо, а письмо покажите другимъ, какъ моимъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, особенно людямъ значительнымъ, потому что труженики, подобные Иванову, могутъ случиться на всѣхъ поприщахъ, и всё-таки не нужно допускать, чтобы они терпѣли

нужду. Если случится, что одинъ, отдѣлившись отъ всѣхъ другихъ, займется крѣпче всѣхъ своимъ дѣломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажетъ, что это повидимому собственное его дѣло будетъ нужно для всѣхъ, считайте его какъ-бы на службѣ у людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостовѣриться, нѣтъ ли здѣсь какого обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться лѣнивый и ничего недѣлающій человѣкъ, слѣдите за его собственною жизнію: его собственная жизнь скажетъ все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, плюнулъ на всѣ приличія и условія свѣтскія, надѣлъ простую куртку и, отогнавши отъ себя мысль не только объ удовольствіяхъ и пирушкахъ, но даже мысль завестись когда-либо женою и семействомъ, или какимъ-либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь надъ своею работою и молясь ежеминутно; тогда нечего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; незачѣмъ также торопить и подталкивать его; оставьте его въ покоѣ. Богъ все сдѣлаетъ безъ васъ: ваше дѣло только смотрѣть за тѣмъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большого содержанія; дайте ему бѣдное и нищенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свѣта. Есть люди, которые должны вѣкъ остаться нищими. Нищенство есть блаженство, котораго еще на раскусилъ свѣтъ. Но кого Богъ удостоилъ отвѣдать его сладость и кто уже возлюбилъ истинно свою нищенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за какія сокровища здѣшняго міра.

1846.

XXIV.

ЧѢМЪ МОЖЕТЪ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА ВЪ ПРОСТОМЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ.

Долго думалъ я, на кого изъ васъ напасть: на васъ, или на вашего мужа? Наконецъ рѣшаюсь на-

пасть на васъ: женщина скорѣе способна очнуться и двинуться. Положеніе васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мнѣ, не только не блаженно, но даже хуже положенія тѣхъ, которые считаютъ себя въ горѣ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъ качествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нѣтъ только того, безъ чего все это ни къ чему не послужитъ: нѣтъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себѣ. Въ васъ нѣтъ характера, признавая характеромъ *крѣпость воли.* Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себѣ, женился нарочно затѣмъ, чтобы найти въ женѣ себѣ возбужденіе на всякое дѣло и подвигъ. Вы за него вышли за мужъ за тѣмъ, чтобы онъ былъ вашимъвозбудителемъ во всякомъ дѣлѣ жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего нѣтъ у обоихъ. Говорю вамъ — положеніе ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, какъ мыло въ водѣ. Всѣ ваши достоинства и добрыя качества изчезнутъ въ безпорядкѣ дѣйствій, который одинъ сдѣлается вашимъ характеромъ, и будете вы оба — олицетворенное безсиліе. Молите Бога о *крѣпости.* У Бога можно все вымолить, даже крѣпость, которую, какъ извѣстно, никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человѣкъ. Поступите только умно. *Молись и къ берегу гребись,* говоритъ пословица. Произносите въ себѣ и поутру, и въ полдень, и ввечеру, и во всѣ часы дня: «Боже, собери меня всю въ самоё меня и укрѣпи!» и дѣйствуйте въ продолженіе цѣлаго года такъ, какъ я вамъ сейчасъ скажу, не разсуждая, покуда, зачѣмъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приходъ и расходъ чтобы былъ въ вашихъ рукахъ. Не ведите общей расходной книги, но съ самого начала года сдѣлайте смѣту всему впередъ, обнимите всѣ нужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ, сообразно вашему достатку, и все приведите въ круглыя суммы. Раздѣлите ваши деньги на семь почти равныхъ кучъ. Въ первой кучѣ

будутъ деньги на квартиру, съ отопкою, водою, дровами и всѣмъ, что́ ни относится до стѣнъ дома и чистоты двора; во второй кучѣ — деньги на столъ и на все съѣстное съ жалованьемъ повару и продовольствіемъ всего, что́ ни живетъ въ вашемъ домѣ; въ третьей кучѣ — экипажъ: карета, кучеръ, лошади, сѣно, овесъ, словомъ — все, что́ относится къ этой части; въ четвертой кучѣ — деньги на гардеробъ, то есть, все, что́ нужно для васъ обоихъ затѣмъ, чтобы показаться въ свѣтъ, или сидѣть дома; въ пятой кучѣ будутъ ваши карманныя деньги; въ шестой кучѣ — деньги на чрезвычайныя издержки, какія могутъ встрѣтиться: перемѣна мебели, покупка новаго экипажа и даже вспомоществованіе кому-нибудь изъ вашихъ родственниковъ, если бы онъ возымѣлъ внезапную надобность; седьмая куча — Богу, то есть, деньги на церковь и на бѣдныхъ. Сдѣлайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмѣшанными, какъ-бы семь отдѣльныхъ министерствъ. Ведите расходъ каждой особо, и ни подъ какимъ предлогомъ не занимайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки и какъ бы ни соблазняли онѣ васъ своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться послѣ, когда побольше укрѣпитесь; а теперь не позабывайте ни на мигъ, что все это вами дѣлается для покупки твердаго характера, а эта покупка покамѣстъ для васъ нужнѣе всякой другой покупки, и потому будьте въ этомъ случаѣ упрямы, просите Бога объ упрямствѣ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бѣдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредѣленной на то кучѣ. Если бы даже вы были свидѣтельницею картины несчастія, раздирающаго сердце и видѣли бы сами, что денежная помощь можетъ помочь, не смѣйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ, но поѣзжайте по всему городу, по всѣмъ вашимъ знакомымъ и старрайтесь преклонить ихъ на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на униженіе себя, чтобы это осталось вамъ въ урокъ, чтобы вы помнили вѣчно, какъ

вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться униженію и даже осмѣянію публичному, чтобы это не выходило у васъ изъ ума, чтобы вы черезъ это пріучились обрѣзывать себя въ расходахъ по каждой кучѣ и заранѣе помышлять о томъ, чтобы къ концу года оставался отъ каждой остатокъ для бѣдныхъ, а не сходились бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ головѣ своей безпрестанно, то вы никогда не заѣдете безъ надобности сильной въ магазинъ и не купите себѣ неожиданно какое-нибудь украшеніе для камина, или стола, на что́ такъ падки у насъ, какъ дамы, такъ и мущины (послѣдніе еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будутъ невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдетъ наконецъ до того, что вы почувствуете сами, что вамъ не нужно имѣть больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ, что званый обѣдъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизѣ, съ прибавкою одного лишняго блюда да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей, въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сгорите отъ стыда, если пойдетъ по городу слухъ, что у васъ не comme il faut, но еще посмѣетесь тому сами, увѣрившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, какого требуетъ отъ человѣка Тотъ самый, Который создалъ его, а не тотъ, который приводитъ въ систему обѣды, даже и не тотъ, который сочиняетъ всякій день мѣняющіеся этикеты, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи осорбенную книгу, подводите итогъ всякой кучѣ каждый мѣсяцъ и перечитывайте въ послѣдній день мѣсяца все вмѣстѣ, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобы умѣть узнавать, во сколько разъ одна нужнѣе другой, чтобы видѣть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться, въ случаѣ необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что́ изъ нужнаго есть самое нужнѣйшее.

Держитесь этого строго въ продолженіе цѣлаго года. Крѣпитесь и будьте упрямы, и во все это время

молитесь Богу, чтобы укрѣпилъ васъ, и вы окрѣпнете непремѣнно. Важно то, чтобы въ человѣкѣ хотя что-нибудь окрѣпнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольно установится порядокъ и во всемъ прочемъ. Укрѣпясь въ дѣлѣ вещественнаго порядка, вы укрѣпитесь нечувствительно въ дѣлѣ душевнаго порядка. Распредѣлите ваше время; положите всему непремѣнные часы. Не оставайтесь поутру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его департаментъ, ежеминутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дѣлу и хозяйству всего государства (а его собственное хозайство не его забота: оно должно лежать на васъ, а не на немъ), что онъ женился именно затѣмъ, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизнѣ, и жена дана ему не на помѣху службѣ, а въ укрѣпленіе его на службѣ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщѣ, и черезъ то встрѣтились бы весело передъ обѣдомъ и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ-бы нѣсколько лѣтъ не видались. Чтобы вамъ было что́ пересказать другъ другу и не попотчивалъ бы одинъ другого зѣвотою. Раскажите ему все, что́ вы дѣлали въ вашемъ домѣ и домашнемъ хозяйствѣ, и пусть онъ раскажетъ вамъ все, что́ производилъ въ департаментѣ своемъ для общаго хозяйства. Вы должны знать непремѣнно существо его должности и въ чемъ состоитъ его часть, и какія дѣла случилось ему вершить въ тотъ день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и помните, что жена должна быть помощницею мужа. Если только въ теченіе одного года вы будете внимательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совѣтъ, будете знать, какъ ободрить его при встрѣчѣ съ какою-нибудь непріятностію по службѣ, будете знать, какъ заставить его перенести и вытерпѣть то, на что́ у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что́ я вамъ теперь сказалъ. Крѣпитесь, молитесь и просите

Бога безпрерывно, да поможетъ вамъ собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ; обратилъ самъ себя въ полное подножіе всего и въ раба самыхъ пустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь нигдѣ свободы, въ ея истинномъ смыслѣ. Эту свободу одинъ мой пріятель, который съ вами лично не знакомъ, но котораго, однакоже, знаетъ вся Россія, опредѣляетъ такъ: «Свобода не въ томъ, чтобы говорить произволу своихъ желаній *да*, но въ томъ, чтобы умѣть сказать имъ *нѣтъ*.» Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь не умѣетъ сказать самому себѣ этого твердаго *нѣтъ*. Нигдѣ я не вижу мужа. Пусть же безсильная женщина ему о томъ напомнитъ! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повелѣть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель.

1845.

XXV.

СЕЛЬСКІЙ СУДЪ И РАСПРАВА.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ М.

Никакъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревнѣ. Эта часть важнѣе самого хозяйства. Судите сами. Этимъ однимъ вы укрѣпите связь помѣщика съ крестьянами. Судъ — Божье дѣло, и я не знаю, что́ можетъ быть этого выше. Не даромъ такъ чествуется въ народѣ тотъ, кто умѣетъ произносить правый судъ. Къ вамъ повалитъ не только ваша деревня но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что вы умѣете давать расправу. Не пренебрегайте никѣмъ изъ приходящихъ и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ, или дракѣ.

По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдетъ въ добро его душѣ и чего бы вы никакъ не нашлись сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицѣпиться.

Судите всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человѣческій. На немъ оправдайте праваго и осудите виноватаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидѣтеляхъ, чтобы тутъ стояли и другіе мужики, чтобы всѣ видѣли, ясно какъ день, чѣмъ одинъ правъ и чѣмъ другой виноватъ. Другой же судъ сдѣлайте Божескій. И на немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидѣлъ, а второму — какъ онъ вдвойнѣ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачѣмъ не простилъ своему брату, какъ повелѣлъ Христосъ, а другого попрекните, зачѣмъ онъ обидѣлъ самого Христа въ своемъ братѣ; а обоимъ вмѣстѣ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповѣдаться непремѣнно попу на исповѣди во всемъ. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямыхъ и правыхъ познаній. Правосудіе у насъ можетъ исполняться лучше, нежели во всѣхъ другихъ государствахъ, потому что изъ всѣхъ народовъ только въ одномъ русскомъ заронилась эта вѣрная мысль, что нѣтъ человѣка праваго и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то есть — оба виноваты, и видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повѣсти Пушкина «Капитанская Дочка,» которая, пославши поручика разсудить городового сол-

дата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: «Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи.»

1845.

XXVI.

. . . . . .

XXVII.

БЛИЗОРУКОМУ ПРІЯТЕЛЮ.

Вооружился взглядомъ современной близорукости и думаешь, что вѣрно судишь о событіяхъ! Выводы твои — гниль: они сдѣланы безъ Бога. Что́ ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва, — только закрытая книга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъ выводовъ; выведешь одни только ничтожные и мелкіе. Ты позабылъ даже своеобразность каждаго народа и думаешь, что одни и тѣ же событія могутъ дѣйствовать одинакимъ образомъ на каждый народъ. Тотъ же самый молотъ, когда упадаетъ на стекло, раздробляетъ его въ дребезги, а когда упадаетъ на желѣзо, куетъ его. Мысли твои основаны на чтеніи иностранныхъ книгъ да на англійскихъ журналахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебѣ, будучи умнымъ человѣкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могъ бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проэктахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, не смотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствовалъ въ твоихъ мысляхъ въ то время, когда ты писалъ его; не вижу я на твоей мысли освященія небеснаго. Нѣтъ, не сдѣлаешь ты добра, хотя и желаешь того;

не принесутъ твои дѣла того плода, котораго ждешь. Съ прекрасными намѣреніями можно сдѣлать зло, какъ уже многіе и сдѣлали его. Въ послѣднее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а всё оттого, что понадѣялись на свои силы да на умъ свой. Ты гордъ, и чѣмъ же гордъ? хоть бы уже своимъ умомъ; нѣтъ, ты загромоздилъ соромъ свой умъ, дѣйствительно замѣчательный и великій, и сдѣлалъ его чужестранцемъ самому себѣ. Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ и выдаешь его за свой. Смотри за собою: ты ходишь опасно. Ты мѣтишь въ знаменитые люди, и будешь человѣкомъ знаменитымъ, потому что у тебя точно есть на то способности; но тѣмъ строже теперь смотри за собою. Не излагай этихъ улучшеній, которыми уже наполнилась твоя голова, и помни, что всякимъ малѣйшимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно произвести большое зло. Уже и въ твоихъ нынѣшнихъ проэктахъ видна скорѣе боязнь, нежели предусмотрительность. Всѣ мысли твои направлены къ тому, чтобы избѣгнуть чего-то угрожающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велитъ намъ заботиться Богъ. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, отъ того, значитъ, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядитъ свѣтло впередъ и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ: ты и теперь уже ничего не хочешь видѣть; ты самоувѣренъ: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всѣ обстоятельства тебѣ открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не можетъ; ты стремишься изо всѣхъ силъ быть похожимъ на тѣхъ людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имѣли въ себѣ все для того, чтобы сдѣлать множество добра, которые даже пламенѣли желаніемъ сдѣлать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послѣ нихъ никакого слѣда, и самая память о нихъ позабыта: какъ исчезнувщій кругъ на водѣ, исчезнула жизнь ихъ посреди общества. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ

намъ Европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умнѣе бываютъ у насъ иногда и невеликіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло *прочное*, а мы производимъ кучи дѣлъ, и всѣ, какъ пыль, сметаются онѣ съ земли вмѣстѣ съ нами. Ты гордъ, говорю тебѣ и вновь повторяю тебѣ: ты гордъ; сторожи надъ собою и спасай себя отъ гордости заранѣе. Начни съ того, что увѣрь самого себя, что ты всѣхъ глупѣе и что съ этихъ только поръ слѣдуетъ серьёзно поумнѣть тебѣ, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякаго дѣльца, какъ-бы ты ровно ничего не зналъ и всему отъ него хотѣлъ поучиться. Но тебѣ еще загадка слова мои; они на тебя не подѣйствуютъ. Тебѣ нужно или какое-нибудь несчастіе, или потрясеніе. Моли Бога о томъ, чтобы случилось это потрясеніе, чтобы встрѣтилась тебѣ какая-нибудь невыносимѣйшая непріятность, чтобы нашелся такой человѣкъ, который сильно оскорбилъ бы тебя и опозорилъ такъ въ виду всѣхъ, что отъ стыда не зналъ бы ты, куда сокрыться, и разорвалъ бы однимъ разомъ всѣ чувствительнѣйшія струны своего самолюбія. Онъ будетъ твой истинный братъ и избавитель. О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!

1844.

XXVIII.

. . . . . .

XXIX.

ЧЕЙ УДѢЛЪ НА ЗЕМЛѢ ВЫШЕ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ У . . . . . МУ.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удѣлъ на землѣ выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда

былъ поглупѣе, я предпочиталъ одно званіе другому; теперь же вижу, что участь всѣхъ равно завидна. Всѣ получатъ равное воздаяніе, — какъ тотъ, которому ввѣренъ былъ одинъ талантъ и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно оттого, что онъ не пользовался на землѣ извѣстностію и не вкушалъ очаровательнаго напитка земной славы, подобно послѣднему. Чудна милость Божія, опредѣлившая равное воздаяніе всякому, исполнившему честно долгъ свой, сильный ли онъ, или послѣдній нищій. Всѣ они тамъ уравняются, потому что всѣ внидутъ въ радость Господа своего и будутъ пребывать *равно* въ Богѣ. Конечно самъ Христосъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: *Въ дому Отца Моего обители многи суть;* но какъ помыслю объ этихъ обителяхъ, какъ помыслю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себѣ, если бы только дѣйствительно былъ удостоенъ небеснаго царствія и вопрошенъ: какую изъ нихъ хочешь? Знаю только то, что сказалъ бы: Послѣднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ!» Кажетя, ничегобы не желалось больше, какъ только служить тѣмъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величіи Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цѣловать святыя ихъ ноги!

1845.

XXX.

НАПУТСТВІЕ.

На письмо твое теперь не буду отвѣчать; отвѣтъ будетъ послѣ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою нѣжною душою терпѣть такія грубыя обвиненія, съ такими возвышенными чувствами

жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное, топорное прикосновеніе въ силахъ разбить, даже безъ ихъ вѣдома, лучшую драгоцѣнность сердечную, медвѣжьею лапою ударить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ, даннымъ на то, чтобы видѣть небесные звуки, разстроить и разорвать ихъ, видѣть, въ прибавленіе ко всему этому, ежедневно происходящія мерзости и терпѣть презрѣніе отъ презрѣнныхъ — все это тяжело, знаю. Твои страданія тѣлесныя тяжелы не меньше. Твои нервическіе недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агоніи, которою ты одержимъ теперь — все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебѣ, какъ только — тяжело! Но вотъ тебѣ утѣшеніе. Это еще начало; оскорбленій тебѣ будетъ еще больше: предстанутъ тебѣ еще сильнѣйшія борьбы съ подлецами всѣхъ сортовъ и безстыднѣйшими людьми, для которыхъ ничего нѣтъ святого, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дѣло, о которомъ ты пишешь — дерзнуть взвести такое ужасное преступленіе на невинную душу, видѣть своими глазами кару, постигшую оклеветаннаго, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дѣло, но еще въ нѣсколько разъ гнуснѣйшія, о которыхъ одинъ разсказъ можетъ лишить на-вѣки сна человѣка сердобольнаго. (О, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ! весь сонмъ небесныхъ силъ содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія, ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавитъ). Встрѣтятся тебѣ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твоемъ почти беззащитномъ поприщѣ все можетъ случиться. Твои нервическіе припадки и недуги будутъ также еще сильнѣе, тоска будетъ убійственнѣе, и печали будутъ сокрушительнѣе. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій. На битву мы сюда призваны; праздновать же побѣду будемъ *тамъ*. А потому ни на мигъ мы не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдѣ по-

меньше опасностей: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдѣ пожарче битва. Всѣхъ насъ озираетъ свыше небесный Полководецъ, и ни малѣйшее наше дѣло не ускользаетъ отъ Его взора. Не уклоняйся же отъ поля сраженія, а, выступивши на сраженіе, не ищи непріятеля безсильнаго, но сильнаго. За сраженіе съ небольшимъ горемъ и мелкими бѣдами немного получишь славы. Впередъ же, прекрасный мой воинъ! съ Богомъ, добрый товарищъ! съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

1846.

XXXI.

ВЪ ЧЕМЪ ЖЕ НАКОНЕЦЪ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗІИ И ВЪ ЧЕМЪ ЕЯ ОСОБЕННОСТЬ.

Не смотря на внѣшніе признаки подражанія, въ нашей поэзіи есть очень много своего. Самородный ключь ея уже билъ въ груди народа тогда, какъ самое имя еще не было ни на чьихъ устахъ. Струи его пробиваются въ нашихъ пѣсняхъ, въ которыхъ мало привязанности къ жизни и ея предметамъ, но много привязанности къ какому-то безграничному разгулу, къ стремленію какъ-бы унестись куда-то вмѣстѣ съ звуками. Струи его пробиваются въ пословицахъ нашихъ, въ которыхъ видна необыкновенная полнота роднаго ума, умѣвшаго сдѣлать все своимъ орудіемъ: иронію, насмѣшку наглядность мѣткость живописнаго соображенія, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимаетъ насквозь природу русскаго человѣка, задирая за все ея живое. Струи его пробиваются, наконецъ, въ самомъ словѣ церковныхъ пастырей, словѣ простомъ, некраснорѣчивомъ, но замѣчательномъ по стремленію стать на высоту того святого безстрастія, на которую опредѣлено взойти христіянину, по стремленію направить человѣка не къ увлеченіямъ сердеч-

нымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзіи какое-то другимъ народамъ невѣдомое своеобразное и самобытное развитіе. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавшихъ, ведетъ начало наша сладкозвучная поэзія, нынѣ насъ услаждающая; такъ же, какъ и строеніе нынѣшняго нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началъ, уже пребывавшихъ прежде въ землѣ нашей. Гражданское строеніе наше произошло также не правильнымъ, постепеннымъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ европейскихъ обычаевъ, которое было бы уже невозможно по той причинѣ, что уже слишкомъ вызрѣло европейское просвѣщеніе, слишкомъ великъ былъ наплывъ его, чтобы не ворваться рано, или поздно со всѣхъ сторонъ въ Россію и не произвести безъ такого вождя, каковъ былъ Петръ, гораздо бо́льшаго разладу во всемъ, нежели какой дѣйствительно потомъ наступилъ; гражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего государства, которое произвелъ царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народъ свой въ кругъ европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со всѣмъ, что́ ни добыла себѣ Европа долгими годами кровавыхъ бореній и страданій. Крутой поворотъ былъ нуженъ русскому народу, и европейское просвѣщеніе было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Огниво не сообщаетъ огня кремню, но, покамѣсть имъ не ударишь, не издасть кремень огня. Огонь излетѣлъ вдругъ изъ народа. Огонь этотъ былъ восторгъ, восторгъ отъ пробужденія, востроrъ въ началѣ безотчетный: никто еще не услышалъ, что онъ пробудился затѣмъ, чтобы, съ помощію епропейскаго свѣта, разсмотрѣть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что онъ пробудился. Уже самый этотъ крутой поворотъ всего государства, произведенный однимъ человѣкомъ — и притомъ самимъ царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, рѣшился извѣдать самъ

всякое ремесло и съ топоромъ въ рукѣ стать передовымъ во всякомъ дѣлѣ, дабы не произошло никакихъ безпорядковъ, слѣдующихъ при малѣйшемъ измѣненіи государственныхъ формъ, — былъ дѣломъ, достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на нѣсколько лѣтъ обливаетъ кровью потрясенное государство, если, производится бореніями внутреннихъ партій, былъ произведенъ, въ виду всей Европы, въ такомъ порядкѣ, какъ блистательный маневръ хорошо выученнаго войска. Россія вдругъ облеклась въ государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствѣ пришло въ востогъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издаетъ дикарь при видѣ навезенныхъ блестящихъ сокровищъ. Восторгъ этотъ отразился въ нашей поэзіи, или лучше — онъ создалъ ее. Вотъ почему поэзія, съ первого стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выраженіе, стремясь высказать въ одно и то же время восхищеніе отъ свѣта, внесеннаго въ Россію, изумленіе отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность царямъ, того виновникамъ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка, и оното дало ходъ нашей нынѣшней поэзіи, внеся новое, свѣтоносное начало, котораго не видно было ни въ одномъ изъ тѣхъ трехъ источниковъ, ея, о которыхъ упомянуто въ началѣ.

Что́ такое Ломоносовъ, если разсмотрѣть его строго? Восторженный юноша, которого манитъ свѣтъ наукъ на поприще, ожидающее впереди. Случаемъ попалъ онъ въ поэты: восторгъ отъ нашей новой побѣды заставилъ его набросать первую оду. Въ-попыхахъ занялъ онъ у сосѣдей Нѣмцевъ размѣръ и форму, какіе у нихъ на ту пору случились, не разсмотрѣвъ, приличны ли они русской рѣчи. Нѣтъ и слѣдовъ творчества въ его реторически составленныхъ одахъ; но восторгъ уже слышенъ въ нихъ повсюду, гдѣ ни прикоснется онъ къ чему-нибудь близкому науколюбивой его душѣ. Коснулся онъ сѣвернаго сіянія, бывшаго предметомъ

его ученыхъ изслѣдованій, и плодомъ этого прикосновенія была ода: «Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ,» вся величественная отъ начала до конца, какой никому не написать, кромѣ Ломоносова. Тѣ же причины породили извѣстное посланіе въ Шувалову о пользѣ стекла. Всякое прикосновеніе къ любезной сердцу его Россіи, на которую глядитъ онъ подъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняетъ его силы чудотворной. Среди холодныхъ строфъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдѣ ты находишься. Точно какъ-бы, выражаясь его же словами,

Божественной пророкъ Давидъ
Священными шумитъ струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищенъ гремитъ.

Всю русскую землю озираетъ онъ отъ края до края съ какой-то свѣтлой вышины, любуясь, и нена-любуясь ея безпредѣльностію и дѣвственною природою. Въ описаніяхъ слышенъ взглядъ скорѣе ученаго натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста въ поэта. Изумительнѣе всего то, что, заключа стихотворную рѣчь свою въ узкія строфы нѣмецкаго ямба, онъ ничуть не стѣснилъ языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная рѣка въ нестѣсненныхъ берегахъ. Онъ у него свободнѣе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозѣ, и недаромъ Ломоносова называютъ отцомъ нашей стихотворной рѣчи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія — начинающійся разсвѣтъ. Она у него подобно вспыхивающей зарницѣ, освѣщаетъ не все, но только нѣкоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ-бы заботился только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намѣтить точками и линіями его границы, предоставивъ

другимъ наложить краски; онъ самъ какъ-бы первоначальный, пророческій набросокъ того, что́ впереди.

Съ руки Ломоносова, оды вошли въ обычай. Торжество, побѣда, тезоименитство, даже иллюминація и фейерверкъ стали предметомъ одъ. Слагатели ихъ выразили только бездарную прыть намѣсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, нечуждаго силы и стихотворнаго огня: онъ былъ дѣйствительно поэтъ, не смотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всѣ прочіе напомнили только реторически холодный складъ Ломоносовскихъ одъ и показали, намѣсто благозвучія Ломоносовскаго языка, трескотню и безпорядокъ словъ, терзающій ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзія уже вспыхнула: еще не успѣлъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пѣсни Державинъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствованіе можно назвать блестящею выставкою первыхъ русскихъ произведеній, когда на всѣхъ поприщахъ стали выказываться русскіе таланты, — съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственные дѣльцы, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые, — появился и поэтъ, Державинъ, съ тою же картинно-величавою наружностію, какъ и всѣ люди временъ Екатерины, развернувшіеся въ какой-то еще дикой свободѣ, со множествомъ недоконченнаго и не вполнѣ отдѣланнаго въ частяхъ, какъ случается съ тѣми произведеніями, которыя выставляются нѣсколько торопливо на-показъ. Мысль о сходствѣ Ломоносова съ Державинымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядѣ на нихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только всмотришься покрѣпче въ Державина. Всѣмъ, даже самымъ воспитаніемъ, послѣдній представляетъ совершенную противоположность первому. Какъ первый весь предался наукамъ, считая стихотворство свое только развлеченіемъ и дѣломъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованіе науками лишнимъ и ненужнымъ. То же самодержавное, государственное

величіе Россіи слышится и у него; но уже видны не одни только географическіе очерки государства: выступаютъ люди и жизнь. Не отвлеченныя науки но наука жизни его занимаетъ. Оды его обращаются уже къ людямъ всѣхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ дѣйствій человѣка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще болѣе исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумѣваетъ умъ рѣшить, откуда взялся въ немъ этотъ гиперболическій размахъ его рѣчи. Остатокъ ли это нашего сказочнаго русскаго богатырства, которое, въ видѣ какого-то темнаго пророчества, носится до сихъ поръ надъ нашею землею, прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее, или же это навѣялось на него отдаленнымъ татарскимъ его происхожденіемъ, степями, гдѣ бродятъ бѣдные остатки ордъ, распаляющіе свое воображеніе разсказами о богатыряхъ въ нѣсколько верстъ вышиною, живущихъ по тысячѣ лѣтъ на свѣтѣ, — что бы то ни было, но это свойство въ Державинѣ изумительно. Иногда, Богъ вѣсть какъ, издалека забираетъ онъ слова и выраженія затѣмъ именно, чтобы стать ближе къ своему предмету. Дико, громадно все; но гдѣ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этотъ громоздъ служитъ на то, чтобы неестественною силою оживить предметъ, такъ что, кажется, какъ-бы тысячью глазами глядитъ онъ. Сто́итъ пробѣжать его «Водопадъ,» гдѣ, кажется, какъ-бы цѣлая эпопея слилась въ одну стремящуюся оду. Въ «Водопадѣ» передъ нимъ пигмеи другіе поэты. Природа тамъ какъ-бы высшая нами зримой природы, люди могучѣе нами знаемыхъ людей, а наша обыкновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдѣ-то далеко копышется вдали. О Державнѣ можно сказать, что онъ пѣвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осьми моряхъ своихъ; его полководцы — орлы; словомъ, все у него величаво. Замѣтно, одна-

коже, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болѣе всего его занимавшимъ, было — начертить образъ какого-то крѣпкаго мужа, закаленнаго въ дѣлѣ жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ-нибудь временемъ, но со всѣми вѣками; изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ возникнуть, по его мнѣнію, изъ крѣпкихъ началъ нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемомъ камнѣ нашей Церкви. Часто, бросивши въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мѣсто того же своего непреклоннаго, правдиваго мужа. Тогда глубокія истины изглашаются у него такимъ голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго, возвращается святое, высокое значеніе тому, что́ привыкли называть мы общими мѣстами, и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаешь вѣчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядитъ исполиномъ: его поэтическіе образы, не имѣя полной окончательности пластической, какъ-бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи и оттого пріемлютъ еще болѣе величія. Напримѣръ: поэтъ изображаетъ старца Каспія въ то время, когда онъ, разсерженный бурею,

> Встаетъ въ упоръ ея волнамъ:
> То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся,
> Трезубцемъ бьетъ по кораблямъ;
> Столбомъ власы сѣдые вьются,
> И гласъ его гремитъ въ горахъ.

Тутъ, казалось, хотѣлъ создаться *зримо* образъ старца Каспія, но потерялся въ какомъ-то духовномъ, *незримомъ* очертаніи: ухо слышитъ одинъ гулъ гремящаго моря, и, вмѣстѣ съ сѣдыми власами старца, подъемлется волосъ на головѣ самого читателя, пораженнаго суровымъ величіемъ картины. Все у него крупно. Слогъ у него такъ крупенъ, какъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ. Разъявъ анатомическимъ ножомъ, увидишь, что это происходитъ отъ необыкновеннаго соединенія самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что́ бы никто не отважился, кромѣ

Державина. Кто бы посмѣлъ, кромѣ его, выразиться такъ, какъ выразился онъ въ одномъ мѣстѣ о томъ же своемъ величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже исполнилъ, что́ нужно на землѣ:

И смерть какъ гостью ожидаетъ,
Крутя задумавшись усы.

Кто, кромѣ Державина, осмѣлился бы соединить такое дѣло, каково ожиданіе смерти, съ такимъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, каково крученіе усовъ? Но какъ черезъ это ощутительнѣе видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается въ душѣ! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всѣ другія исполинскія свойства Державина, дающія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляетъ его одушевленіе. Тогда все въ безпорядкѣ: рѣчь, языкъ, слогъ, все скрипитъ какъ телѣга съ невымазанными колесами, и стихотвореніе — точно трупъ, оставленный душою. Слѣды собственнаго неконченнаго образованія, какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ, отразились очень замѣтно на его твореніяхъ. Мужъ, проповѣдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умѣлъ управить себя далеко не сталъ самимъ собою и долженъ былъ напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ, что́ должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитаніе такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онъ, какъ невоздѣланная громадная скала, передъ которою никто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застаивается никто, спѣша къ другимъ мѣстамъ, болѣе плѣнительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него измѣнилось: вѣка Екатерины, подководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись какъ сновидѣніе. Наступилъ другой вѣкъ, опрятный, благопристойный, вылощенный.

Все застегнулось и, какъ-бы почувствовавъ, что уже раскинулось черезъ-чуръ на распашку, стало наперерывъ пріобрѣтать наружное благоприличіе и стройность поступковъ. Французы стали вполнѣ образцы всему, и такъ же, какъ щеголи Парижа завладѣли надолго нашимъ обществомъ, ловкіе французскіе поэты завладѣли было на время нашими поэтами. Къ чести, однакожъ, вѣрнаго поэтическаго чутья нашего, нужно сказать то, что въ образецъ пошелъ одинъ Лафонтенъ, затѣмъ именно, что былъ ближе къ природѣ: Дмитріевъ, Хемницеръ и Богдановичъ стали производить подобныя ему въ простотѣ творенія, обработывая тѣ же предметы. Русскій языкъ вдругъ получилъ свободу и легкость перелетать отъ предмета къ предмету, легкость, незнакомую Державину. На мѣсто оды стали пробовать всѣ роды и формы поэзіи. Дмитріевъ показалъ много таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убилъ напыщенность и высокопарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзіи: одно обществѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостинной и ведетъ разговоръ совсѣмъ не затѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою, или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло, но затѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ. Послѣдніе звуки Державина умолкнули, какъ умолкаютъ послѣдніе звуки церковнаго органа, и поэзія наша, по выходѣ изъ церкви, очутилась вдругъ на балѣ. Отъ одного только Капниста послышался аромать истинно душевнаго чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотолѣ незнакомая. Вотъ его «Деревенскій домикъ въ Обуховкѣ:»

Пріютный домъ мой подъ соломой,
По мнѣ, ни низокъ, ни высокъ;
Для дружбы есть въ немъ уголокъ,
А къ двери, нищему знакомой,
Забыла лѣнь прибить замокъ.

Но не могла оставаться долго наша поэзія на этой поверхностной свѣтской верхушкѣ. Уже пробуждена была сильно ея чуткость отъ Петровскаго удара европейскимъ огнивомъ. Вдругъ примѣтила она, что отъ Французовъ, кромѣ ловкости, ничего не переймешъ въ свое воспитаніе, и обратилась къ Нѣмцамъ. Въ нѣмецкой литературѣ происходило въ это время явленіе странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя происшествія, темные признаки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дѣтство человѣка, стали предметомъ нѣмецкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостію школьника, если бы въ ней не слышался тотъ младенческій лепетъ, которымъ подаетъ о себѣ вѣсть безсмертный духъ человѣка, требующій себѣ живой пищи. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ. Ея собственныя славянскія начала напомнили ей вдругъ о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при всемъ томъ мы сами никакъ бы не столкнулись съ Нѣмцами, если бы не явился среди насъ такой поэтъ, который показалъ намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло своей собственной природы, намъ болѣе доступной, нежели нѣмецкая. Этотъ поэтъ — Жуковскій, наша замѣчательнѣйшая оригинальность! Чудною высшею волею вложено было ему въ душу, отъ дней младенчества, непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душѣ его, точно какъ въ героѣ его баллады Вадимѣ, раздавался небесный звонокъ, зовущій вдаль. Изъ-за этого зова бросался онъ на все неизъяснимое таинственное повсюду, гдѣ оно ни встрѣчалось ему, и сталъ облекать его въ звуки, близкіе нашей душѣ. Все въ этомъ родѣ у него взято у чужихъ, и больше у Нѣмцевъ, — почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремленіе, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами Нѣмцы, выучившіеся по-русски, признаются, что передъ нимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь,

какъ назвать его, переводчикомъ, или оригинальнымъ поэтомъ. Переводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковскій показалъ ее больше всѣхъ нашихъ поэтовъ. Пробѣжавъ оглавленіе стихотвореній его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и все — вѣрнѣйшій сколокъ, слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдѣ было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь нѣсколько стихотвореній, вдругъ и спросишь себя: чьи стихотворенія читалъ? Не предстанетъ передъ глаза твои ни Шиллеръ, ни Уландъ, ни Вальтеръ Скоттъ, но поэтъ, отъ нихъ всѣхъ отдѣльный, достойный помѣститься не у ногъ ихъ, но сѣсть съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозь личности всѣхъ поэтовъ пронеслась его собственная личность — это загадка, но она такъ и видится всѣмъ. Нѣтъ Русскаго, который бы не составилъ себѣ изъ самихъ же произведеній Жуковскаго вѣрнаго портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремленіе уносится въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ какомъ также изъ нихъ не видится это твердое признаніе незримыхъ силъ, хранящихъ повсюду человѣка, такъ что, читая его, чувствуешь на всякомъ шагу, какъ-бы самъ, выражаясь стихами Державина,

Подъ надзираніе ты преданъ
Невидимыхъ, безсмертныхъ силъ,
И легіонамъ заповѣданъ
Всѣхъ ангеловъ, чтобъ цѣлъ ты былъ.

Переводя, производилъ онъ переводами такое дѣйствіе, какъ самобытный и самоцвѣтный поэтъ. Внеся это новое, дотолѣ незнакомое нашей поэзіи стремленіе въ область незримаго и тайнаго, онъ отрѣшилъ ее самую отъ матеріализма, не только въ мысляхъ и образѣ ихъ выраженія, но и въ самомъ стихѣ, который сталъ легокъ и безтѣлесенъ, какъ видѣніе. Переводя, онъ оставилъ переводами початки всему оригинальному, внесъ

новые формы и размѣры, которые стали потомъ употреблять всѣ другіе наши поэты. Лѣнь ума помѣшала ему сдѣлаться преимущественно поэтомъ-изобрѣтателемъ, лѣнь выдумывать, а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показалъ онъ въ себѣ уже съ самаго начала своего поприща: «Свѣтлана» и «Людмила» разнесли въ первый разъ грѣющіе звуки нашей славянской природы, болѣе близкіе нашей душѣ, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели впечатлѣніе сильное на всѣхъ въ то время, когда поэтическое чутье у насъ было еще слабо развито. Элегическій родъ нашей поэзіи созданъ имъ. Есть еще первоначальнѣйшая причина, отъ которой произошла и самая лѣнь ума: это — свойство *оцѣнивать*, которое, поселившись властительно въ его умѣ, заставляло его останавливаться съ любовію надъ всякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда его тонкое, критическое чутье, которое такъ изумляло Пушкина. Пушкинъ сильно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мнѣнію, никто, кромѣ Жуковскаго, не могъ такъ разъять и опредѣлить всякое художественное произведеніе. Это свойство разбирать и оцѣнивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя всѣ его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его плѣнившую, онъ не оставляетъ ея до тѣхъ поръ, покуда не изчерпаетъ всей, разъявъ какъ-бы анатомическимъ ножомъ ея неуловимѣйшую подробность. Кто уже могъ написать стихотвореніе о солнцѣ, гдѣ подстережены всѣ видоизмѣненія солнечныхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дня, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ «Отчетѣ о лунѣ» волшебство лунныхъ лучей, съ цѣлымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимымъ; тотъ, разумѣется, долженъ былъ заключить въ себѣ въ большой степени свойство *оцѣнивать*. Его Славянка съ видами Павловска — точная живопись. Благоговѣйная задумчивость, которая проноситься сквозь всѣ его картины, исполняетъ ихъ того грѣющаго, теп-

лаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ, и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ послѣднее время въ Жуковскомъ сталъ замѣчаться переломъ поэтическаго направленія. По мѣрѣ того, какъ стала передъ нимъ проясняться чище та незримо-свѣтлая даль, которую онъ видѣлъ дотолѣ въ неясно-поэтическомъ отдаленіи, пропадала страсть и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мѣсто свѣтлости душевной. Плодомъ этого была «Ундина,» твореніе, принадлежащее вполнѣ Жуковскому: Нѣмецкій перескащикъ того же самаго преданія въ прозѣ но могъ служить его образцомъ. Полной создатель свѣтлости этого поэтическаго созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добылъ какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще виднѣе, нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредѣленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крѣпче и тверже; все пріуготовлялось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачѣ совершеннѣйшаго поэтическаго произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоеніи всего себя духомъ древности и при такомъ просвѣтленномъ, высшемъ взглядѣ на жизнь, покажетъ непремѣнно первоначальный, патріархальный быть древняго міра въ свѣтѣ родномъ и близкомъ всему человѣчеству: подвигъ, далеко высшій всякаго собственнаго созданія, который доставитъ Жуковскому значеніе всемірное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что́ ювелиръ передъ прочими мастерами, то есть, мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ; его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только среди русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, мо-

жетъ быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что́ не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стоялъ еще въ первой порѣ своего поэтическаго развитія, отрѣшая нашу поэзію отъ земли и существенности и унося ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ-бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ-бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, «стиховъ и мыслей сладострастье.» Казалось, какъ-бы какая-то внутренная сила, пребывающая въ лонѣ поэзіи нашей, храня ее отъ крайности какого бы то ни было увлеченія, создала этого поэта именно затѣмъ, чтобы въ то время, когда одинъ станетъ приносить звуки сѣверныхъ пѣвцовъ Европы, другой обвѣялъ бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парни и нѣжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать воздушную неопредѣленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древнихъ, и той звучащей нѣги, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ нашу поэзію; изъ двухъ началъ въ мигъ образовалось третье: явился Пушкинъ. Въ немъ середина. Ни отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладострастной роскоши второго. Все уравновѣшено, сжато, сосредоточено, какъ въ русскомъ человѣкѣ, который немногоглаголивъ на передачу ощущенія, но хранитъ и совокупляетъ его долго въ себѣ, такъ что отъ этого долговременнаго ношенія оно имѣетъ уже силу взрыва, если выступитъ наружу. При-

веду примѣръ. Поэта поразилъ видъ Казбека, одной изъ высочайшихъ Кавказскихъ горъ, на верхушкѣ которой, увидѣлъ онъ монастырь, показавшійся ему рѣющимъ въ небесахъ ковчегомъ. У другого поэта полились бы пылкіе стихи на нѣсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваетъ онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ:

Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ горной вышинѣ!
Туда бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!

Именно одно это могъ бы сказать русскій человѣкъ въ то время, какъ и Французъ, и Англичанинъ, и Нѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и выраженія, какъ Пушкинъ, такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сказать неумѣреннаго и лишняго, пугаясь приторности того и другого.

Что́ жъ было предметомъ его поэзіи? Все стало ея предметомъ, и ничто въ особенности. Нѣмѣетъ мысль предъ безчисленностію его предметовъ. Чѣмъ онъ не поразился и предъ чѣмъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго Черкеса до бѣдной сѣверной деревушки съ балалайкою и трепакомъ у кабака, вездѣ, всюду, на модномъ балѣ, въ избѣ, въ степи, въ дорожной кибиткѣ, все, становится его предметомъ. На все, что́ ни есть во внутреннемъ человѣкѣ, начиная отъ его высокой и великой черты до малѣйшаго вздоха его слабости и ничтожной примѣты, его смутившей, онъ откликнулся такъ же, какъ откликнулся на все, что́ ни есть въ природѣ видимой и внѣшней. Все становится у него отдѣльною картиною; все предметъ его; изо всего, какъ ничтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтическаго огня, который присутствуетъ во всякомъ твореніи Бога, — его высшую сторону, знакомую только

поэту, не дѣлая изъ нея никакого примѣненія къ жизни въ потребность человѣку, не обнаруживая никому, зачѣмъ исторгнута эта искра, не подставляя къ ней лѣстницы ни для кого изъ тѣхъ, которые глухи къ поэзіи. Ему ни до кого не было дѣла. Онъ заботился только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: «Смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!» и, не прибавляя ничего больше, перелетать къ другому предмету, за тѣмъ чтобы сказать также: «Смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!» Отъ-этого сочиненія его представляютъ явленіе изумительное противорѣчіемъ тѣхъ впечатлѣній, какія они порождаютъ въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но неимѣющихъ поэтическаго чутья, они — отрывки недосказанные, легкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, они — полныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себѣ, что́ имъ нужно.

На Пушкинѣ оборвались всѣ вопросы, которые долѣ не задавались никому изъ нашихъ поэтовъ, и въ которыхъ виденъ духъ просыпающагося времени. Зачѣмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направленіе мысленному міру далъ Пушкинъ? что́ сказалъ онъ нужное своему вѣку? подѣйствовалъ ли на него, если не спасительно, то разрушительно? произвелъ ли вліяніе на другихъ, хотя личностію собственнаго характера, геніяльными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ даже многіе второстепенные и низшіе поэты? зачѣмъ онъ данъ былъ міру и что́ доказалъ собою? Пушкинъ былъ данъ міру на то, чтобы доказать собою, что́ такое самъ поэтъ, и ничего больше, — что́ такое поэтъ, взятый не подъ вліяніемъ какого-нибудь времени, или обстоятельствъ, и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего; чтобы, если захочетъ потомъ какой-нибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себѣ, что́ такое въ существѣ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірѣ и себѣ одному неимѣющее отклика, то чтобы онъ

удовлетворенъ былъ, увидѣвъ, это въ Пушкинѣ. Одному Пушкину опредѣлено было показать въ себѣ это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякій отдѣльный звукъ, пораждаемый въ воздухѣ. При мысли о всякомъ поэтѣ, представляется больше или меньше личность его самого. Кому, при помышленіи о Шиллерѣ, не предстанетъ вдругъ эта свѣтлая, младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершеннѣйшихъ идеалахъ, создавшая изъ нихъ себѣ міръ и довольная тѣмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ мірѣ? Кому, читающему Байрона, не предстанетъ самъ Байронъ, этотъ гордый человѣкъ, облагодѣтельствованный всѣми дарами Неба и немогшій простить ему своего незначительнаго тѣлеснаго недостатка, отъ котораго ропотъ перенесся и въ поэзію его? Самъ Гёте, этотъ Протей изъ поэтовъ, стремившійся обнять все, какъ въ мірѣ природы, такъ и въ мірѣ наукъ, показалъ уже симъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теорически-нѣмецкаго притязанія подладиться ко всѣмъ временамъ и вѣкамъ. Все наши русскіе поэты: Державинъ, Жуковскій, Батюшковъ удержали свою личность. У одного Пушкина ея нѣтъ. Что схватишь изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка! Намѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только ненаходящій отклика. Всѣ сочиненія его — полный арсеналъ орудій поэта. Ступай туда, выбирай себѣ всякъ по-рукѣ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачемъ не вышелъ? это другой вопросъ. Онъ самъ на него отвѣчаетъ стихами:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значеніе свое лучше тѣхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовію исполнялъ

его. Даже и въ тѣ поры, когда метался онъ самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня, — точно какой-то храмъ. Не входилъ онъ туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносилъ онъ туда необдуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизни своей; не вошла туда нагишомъ растрепанная дѣйствительность. А между тѣмъ все тамъ — исторія его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышалъ одно только благоуханіе; но какія вещества перегорѣли въ груди поэта, затѣмъ чтобы издать это благоуханіе, того никто не можетъ услышать. И какъ онъ лелѣялъ ихъ въ себѣ! какъ вынашивалъ ихъ! Ни одинъ италіянскій поэтъ не отдѣлывалъ такъ сонетовъ своихъ, какъ обработывалъ онъ эти легкія, повидимому мгновенныя созданія. Какая точность во всякомъ словѣ! какая значительность всякаго выраженія! какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всѣ онѣ точно перлы; трудно и рѣшить, которая элегія лучше. Словно сверкающіе зубы красавицы, которыя уподобляетъ царь Соломонъ овцамъ-юницамъ, только-что вышедшимъ изъ купели, когда онѣ всѣ какъ одна и всѣ равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ-нибудь, потребномъ современному обществу, въ его современную минуту, когда хотѣлось откликнуться на все, что́ ни есть въ мірѣ, и когда всякій предметъ равно звалъ его? Онъ хотѣлъ было изобразить въ «Онѣгинѣ» современнаго человѣка и разрѣшить какую-то современную задачу, и не могъ. Столкнувши съ мѣста своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мѣстѣ и, въ лицѣ ихъ, поразился тѣмъ, чѣмъ поражается поэтъ. Поэма вышла собраніе разрозненныхъ ощущеній, нѣжныхъ элегій, колкихъ эпиграммъ, картинныхъ идиллій, и, по прочтеніи ея, намѣсто всего, выступаетъ тотъ же чудный образъ на все откликнувшагося поэта. Его совершеннѣйшія произведенія: «Борисъ Годуновъ» и «Полтава» — тотъ же вѣрный откликъ минувшему. Ничего не хотѣлъ онъ ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникамъ не замышлялъ онъ

выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; не видно также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ кому-нибудь изъ выведенныхъ здѣсь героевъ и предпринялъ бы изъ-за того эти двѣ поэмы, такъ мастерски и художественно отработанныя. Онъ изумился только необычайности двухъ историческихъ событій и хотѣлъ, чтобы, подобно ему, изумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всѣхъ народовъ и вѣковъ и порождало въ немъ тотъ же откликъ. Герой испанскій Донъ Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисленнаго множества драматическихъ поэмъ, далъ ему вдругъ идею сосредоточить все дѣло въ небольшой собственной драматической картинѣ, гдѣ еще съ бо́льшимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышнѣе сама Испанія. Гётевъ «Фаустъ» навелъ его вдругъ на идею сжать въ двухъ-трехъ страничкахъ главную мысль германскаго поэта, и дивишься, какъ она мѣтко понята и какъ сосредоточена въ одно крѣпкое ядро, не смотря на всю ея неопредѣленность у Гёте. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духѣ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Селѣ, олицетворить науку въ видѣ строгой жены, собирающей въ школу дѣтей, и себя въ видѣ школьника, вырвавшагося изъ класса въ садъ, затѣмъ чтобы остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулями въ рукахъ, говорившими ему живѣе науки, гдѣ видно, какъ уже рано пробуждалась въ емъ эта чуткость на все откликаться.

И какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо Слышишь запахъ, цвѣтъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ Испанецъ, съ Грекомъ — Грекъ, на Кавказѣ — вольный горецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышетъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу — онъ Русскій весь съ головы до ногъ: всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разросталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цѣликомъ на всю русскую жизнь, такъ же, какъ откликался на всякую отдѣльную ея черту. Мысль о романѣ, котоый бы повѣдалъ простую, безъискусственную повѣсть прямо русской жизни, занимала его въ послѣднее время неотступно. Онъ бросилъ стихи единственно затѣмъ, чтобы не увлечься ничѣмъ по сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростилъ онъ до того, что даже не нашли никакого достоинства въ первыхъ повѣстяхъ его. Пушкинъ былъ этому радъ и написалъ «Капитанскую Дочку,» рѣшительно лучшее русское произведеніе въ повѣствовательномъ родѣ. Сравнительно съ «Капитанскою Дочкою,» всѣ наши романы и повѣсти кажутся приторною размазнею. Чистота и безъискусственность взошли въ ней на такую высокую степень, что сама дѣйствительность кажетя передъ нею искусственною и каррикатурною. Въ первый разъ выступили истинно русскіе характеры: простой комендантъ крѣпости, капитанша, поручикъ; сама крѣпость съ единственною пушкою, безтолковщина времени и простое величіе простыхъ людей, все — не только самая правда, но еще какъ-бы лучше ея. Такъ оно и быть должно: на то и призваніе поэта, чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видѣ. Все показывало въ Пушкинѣ, что онъ на то былъ рожденъ и къ тому стремился. Почти въ одно время съ «Капитанскою Дочкою» оставилъ онъ мастерскія пробы романовъ: Рукопись села Горохина, Царскій Арабъ и сдѣланный карандашомъ набросокъ большого романа: «Дубровскій.» Въ послѣднее время набрался онъ много русской жизни и говорилъ обо всемъ такъ мѣтко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучшихъ стиховъ; но еще замѣчательнѣе было то, что́ строилось внутри самой души его и готовилось освѣтить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ уже по смерти его стихотвореніи.... Много готовилось Россіи добра въ этомъ человѣкѣ... Но, становясь

мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ большими дѣлами, не подумалъ онъ о томъ, какъ управиться съ ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ, и все въ государствѣ услышало вдругъ, что лишилось великаго человѣка.

Вліяніе Пушкина, какъ поэта, на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только въ началѣ его поэтическаго поприща, когда онъ первыми стихами своими напомнилъ было лиру Байрона; когда же пришелъ онъ въ себя и сталъ наконецъ не Байронъ, а Пушкинъ, общество отъ него отвернулось. Но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сдѣлалъ того Карамзинъ въ прозѣ, что́ онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою каррикатурою на него самого и довели, какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что́ же касается до Пушкина, то онъ былъ для всѣхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтическій огонь, отъ котораго, какъ свѣчки, зажглись другіе самоцвѣтные поэты. Вокругъ него вдругъ образовалось ихъ цѣлое созвѣздіе: Дельвигъ, поэтъ-сибаритъ, который нѣжился всякимъ звукомъ своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпомъ всего напитка поэзи, глоталъ его по каплѣ, какъ знатокъ винъ, присматриваясь къ цвѣту и обоняя самый запахъ; Козловъ, гармоническій поэтъ отъ котораго раздались какіе-то дотолѣ неслыханные, музыкально-сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэтъ, который показалъ такъ рано самобытное стремленіе мыслей къ міру внутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отдѣлкѣ ихъ тогда, какъ онѣ еще не вызрѣли въ немъ самомъ, темный и неразвившійся, сталъ себя выказывать людямъ и сдѣлался чрезъ то для всѣхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всѣхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на дѣятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумѣю здѣсь нашихъ такъ называемыхъ антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу; но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвѣтковъ сдѣлать

выборъ, то выйдетъ книга, подъ которою подпишетъ свое имя лучшій поэтъ. Стóитъ назвать обоихъ Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и нѣкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственнаго поэтическаго огня и благоуханныхъ движеній душевныхъ, если бы не были зажжены огнемъ поэзіи Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестраивать ладъ лиръ своихъ. Извѣстный переводчикъ Иліады, Гнѣдичъ, перелагатель псалмовъ, Ѳ. Глинка, партизанъ-поэтъ Давыдовъ, наконецъ самъ Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искусствѣ стихотворномъ, сталъ потомъ учиться самъ у своего ученика. Сдѣлались поэтами даже тѣ, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менѣе высокое, судя по тѣмъ духовнымъ силамъ, какія они показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ-то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для какого-то свѣтлаго будущаго, покуда еще ему самому неразоблачившагося. Сила возбудительнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенно Баратынскому и еще одному поэту, о которомъ будетъ рѣчь ниже, повредила именно тѣмъ, что они стали передавать невызрѣвшія движеніъ души своей, тогда какъ самая душа не набралась еще поэзіи, доступной и близкой другимъ, и когда опредѣлено было имъ совершить прежде свое внутреннее воспитаніе и до времени умолкнуть. Всѣхъ соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворныхъ созданій, которую показалъ Пушкинъ. Позабывъ и общество, и всякія современныя связи съ нимъ человѣка, и всякія требованія земли своей, все жило какой-то поэтической Элладѣ, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болѣе всѣхъ отдѣлился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ

его всѣмъ послышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удаль всякаго выраженія, свѣтъ молодого восторга и языкъ, который, въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности господину, еще не являлся дотолѣ ни въ комъ. Имя *Языковъ* пришлось ему недаромъ. Владѣетъ онъ языкомъ, какъ Арабъ дикимъ, конемъ своимъ, и еще какъ-бы хвастается своею властію. Откуда ни начнетъ періодъ, съ головы ли, съ хвоста, онъ выведетъ его картинно, заключитъ и замкнетъ какъ, что остановишься пораженный. Все, что́ выражаетъ силу молодости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его. Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть ото всего, къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье въ рѣкѣ:

Покровы прочь! Передъ челомъ
Протянемъ руки удалыя
И — бухъ!
Блистательнымъ дождемъ
Взлетаютъ брызги водяныя.
Какая сильная волна!
Какая свѣжесть и прохлада!
Какъ сладострастна, какъ нѣжна
Меня обнявшая наяда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ назвалъ прямо-русскою игрою. Юноши-молодцы стали въ кружокъ:

Тажкій гвоздь стойкомъ и плотно
Бьетъ въ кольцо — кольцо бренчитъ
Вешній вечеръ беззаботно
И невидимо летитъ.

Все, что́ вызываетъ въ юношѣ отвагу — море, волны, буря, пиры и сдвинутыя чаши, братскій союзъ на дѣло, твердая какъ кремень вѣра въ будущее, готовность ратовать за отчизну — выражается у него съ силою неестественною. Когда появились его стихи отдѣльно книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: «Зачѣмъ онъ назвалъ ихъ: «Стихотворенія Языкова!» ихъ бы слѣдовало назвать просто: хмѣль! Человѣкъ съ обыкновенными силами ничего не сдѣлаетъ подобнаго; тутъ

потребно буйство силъ.» Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналѣ. Въ первый разъ увидѣлъ я тогда слезы на лицѣ Пушкина (Пушкинъ никогда не плакалъ; онъ самъ о себѣ сказалъ въ посланіи къ Овидію: «Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, но понимаю ихъ).» Я помню тѣ строфы, которыя произвели у него слезы. Первыя, гдѣ поэтъ, обращаясь къ Россіи, которую уже было-признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебѣ надменный зовъ!
Вспомяни жъ, какъ ты встрѣчала
Всѣ нашествія враговъ!
Созови отъ странъ далекихъ
Сы своихъ, богатырей,
То степей, съ равнинъ широкихъ,
Съ рѣкъ великихъ, съ горъ высокихъ,
Отъ осьми твоихъ морей.

И потомъ строфа, гдѣ описывается неслыханное самопожертвованіе — предать огню собственную столицу со всѣмъ, что́ ни есть въ ней священнаго для всей земли:

Пламень въ небо упирая,
Лютъ пожаръ Москвы реветъ.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, впередъ!
Громче буря истребленья!
Крѣпче смѣлый ей отпоръ!
Это жертвенникъ спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксовъ костеръ!

У кого не брызнутъ слезы послѣ такихъ строфъ? Стихи его точно разымчивый хмѣль; но въ хмѣлѣ слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентскія пирушки не изъ бражничества и пьянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукѣ и поприще впереди, что понесуться они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Бѣда только, что хмѣль перешелъ мѣру и что самъ поэтъ загулялся черезъ-чуръ на радости отъ своего будущаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дѣло только въ одномъ могучемъ порывѣ.

Всѣхъ глаза устремились на Языкова. Всѣ ждали чего-то необыкновеннаго отъ поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дѣло. Но дѣла не дождались. Вышло еще нѣсколько стихотвореній, повторившихъ слабѣе то же самое; потомъ тяжелая болѣзнь посѣтила поэта и отразилась на его духѣ. Въ послѣднихъ стихахъ его уже не было ничего, шевелившаго русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди нѣмецкихъ городовъ, безучастныя записки разъѣздовъ, перечень однообразно-страдальческаго дня. Все это было мертво русскому духу. Не примѣтили даже необыкновенной отработки позднѣйшихъ стиховъ. Его языкъ, еще болѣе окрѣпнувшій, ему же послужилъ въ улику: онъ былъ на тощихъ мысляхъ и бѣдномъ содержаніи, что́ панцырь богатыря на хиломъ тѣлѣ карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нѣтъ вовсе мыслей, а одни пустозвонкіе стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противу него въ ропотъ. Отголоски этого ропота раздались нелѣпо въ журналахъ, но въ основаніи ихъ была правда. Языковъ не сказалъ же, говоря о поэтѣ, словами Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, ни для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что́ говоритъ поэтъ:

Когда тебѣ на подвигъ все готово,
Въ чемъ на землѣ небесный виденъ даръ,
Могучей мысли свѣтъ и жаръ
И огнедышущее слово —
Иди ты въ міръ, да слышитъ онъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтѣ; но идеалъ свой онъ взялъ изъ своей же природы. Если бы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могъ бы и представить онъ себѣ такого поэта. Нѣтъ, не силы его оставили, не бѣдность таланта и мыслей виною пустоты содержанія послѣднихъ стиховъ его, какъ самоувѣренно возгласили критики, и даже не болѣзнь (болѣзнь дается только къ ускоренію дѣла, если человѣкъ проникнетъ смыслъ ея) нѣтъ, другое его обезсилило: свѣтъ любви погаснулъ въ душѣ его — вотъ почему примернулъ и свѣтъ поэзіи. Полюби потребное и нужное душѣ съ такою силою; какъ полюбилъ ты прежде хмѣль юности своей — и вдругъ подымутся твои мысли наравнѣ со стихомъ, раздастя огнедышущее слово. Изобразишь намъ ту же пошлость болѣзненной жизни своей, но изобразишь такъ, чт осодрогнется человѣкъ отъ проснувшихся желѣзныхъ силъ своихъ и возблагодаритъ Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній, но для диѳирамба и гимна родился онъ; это услышали всѣ. И уже скорѣе отъ Державина, нежели отъ Пушкина, долженъ былъ онъ засвѣтить свѣтильникъ свой. Стихъ его только тогда и входитъ въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свѣту; предметъ у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучитъ, или сіяетъ, а не тогда, когда пребываетъ въ покоѣ. Удѣлы поэтовъ не равны. Одному опредѣлено быть вѣрнымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни; на то и данъ ему многосторонній, описательный талантъ. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всѣхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ и на то данъ ему лирическій талантъ. Не попадаетъ талантъ на свою дорогу потому, что не устремляетъ глазъ высшихъ на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человѣкѣ. Бѣдою, зломъ и болѣзнію насильно приводитъ онъ его къ тому, къ чему онъ не пришелъ бы самъ. Уже и въ лирѣ Языкова замѣтно стрем-

леніе къ повороту на его законную дорогу. Отъ него услышали недавно стихотвореніе «Землетрясеніе,» которое, по мнѣнію Жуковскаго, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдѣлился князь Вяземскій. Хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здѣсь. Въ князѣ Вяземскомъ — противоположность Языкову. Сколько въ томъ поражаетъ нищета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него, какъ первое попавшееся орудіе: никакой наружной отдѣлки его, никакого также сосредоточенія и округленія мысли, затѣмъ чтобы выставить ее читателю, какъ драгоцѣнность. Онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизаціи, хотя для такихъ импровизацій нужно имѣть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиліе необыкновенное всѣхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ, чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе его — пестрый фараонъ всего вмѣстѣ. Онъ не поэтъ по призванію: судьба надѣливши его всѣми дарами, дала ему какъ-бы въ придачу талантъ поэта, затѣмъ чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгѣ: «Біографія Фонвизина» обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и то же время политикъ, философъ, тонкій оцѣнщикъ и критикъ, положительный государственный человѣкъ и даже опытный вѣдатель практической стороны жизни, словомъ — всѣ тѣ качества, которыя долженъ заключать въ себѣ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ, и если бы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству

историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа. Но отсутствіе большого и полнаго труда есть болѣзнь князя Вяземскаго и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замѣтно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочиталось со словомъ стихъ со стихомъ, возлѣ крѣпкаго и твердаго стиха, какого нѣтъ ни у одного поэта, помѣщается другой, ничѣмъ на него непохожій: то вдругъ защемитъ онъ чѣмъ то вырваннымъ живьемъ изъ самого сердца, то вдругъ оттолкнетъ отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершенно не въ тактъ съ предметомъ; слышна несобранность въ себя, неполная жизнь своими силами; слышится на днѣ всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человѣка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дѣла, которое бы заняло всѣ до единой его способности, тяжелѣе участи послѣдняго бѣдняка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ цѣликомъ всего человѣка обратиться къ себѣ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говоритъ поэтъ,

Душа прямится, крѣпнетъ воля,
И наша собственная доля
Опредѣляется видиѣй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобрезный ходъ свой, воспитываясь поэтами всѣхъ вѣковъ и націй, обвѣваясь звуками всѣхъ поэтическихъ странъ, пробуя всѣ тоны и аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонѣ. Выбравши себѣ самую незамѣтную и узкую тропу, шелъ онъ по ней почти безъ шуму, пока не переросъ другихъ, какъ крѣпкій дубъ переростаетъ всю рощу, вначалѣ его скрывавшую. Этотъ поэтъ — Крыловъ. Выбралъ онъ себѣ форму басни, всѣми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и почти дѣтскую игрушку, и въ сей баснѣ умѣлъ сдѣлаться народнымъ поэтомъ. Это наша крѣпкая русская голова, тотъ самый умъ, который съ родни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый

умъ, которымъ крѣпокъ русской человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ. Пословица не есть какое-нибудь впередъ поданное мнѣніе, или предположеніе о дѣлѣ, но уже подведенный итогъ дѣлу, отсѣдъ, отстой уже перебродившихъ и кончившихся событій, окончательное извлеченіе силы дѣла изъ всѣхъ сторонъ его, а не изъ одной. Это выражается и въ поговоркѣ: *одна рѣчь не пословица.* Въ слѣдствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, которымъ преимущественно надѣленъ передъ другими русскій человѣкъ, наши пословицы значительнѣе пословицъ всѣхъ другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образѣ выраженія въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть; издѣвка, насмѣшка, попрекъ, словомъ — все шевелящее и задирающее за живое. Какъ стоглазый Аргусъ, глядитъ изъ нихъ каждая на человѣка. Всѣ великіе люди, отъ Пушкина до Суворова и Петра, благоговѣли передъ нашими пословицами. Уваженіе къ имъ выразилось многими поговорками: *пословица не даромъ молвится*, или *пословица во-вѣкъ не сломится.* Извѣстно, что если сумѣешь замкнуть рѣчь ловко-прибранною пословицею, то симъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себѣ ни была она свыше его понятія.

Отсюда-то ведетъ свое происхожденіе Крыловъ. Его басни отнюдь не для дѣтей. Тотъ ошибется грубо, кто назоветъ его баснописцемъ въ такомъ смыслѣ, въ какомъ были баснописцы Лафонтенъ, Дмитріевъ, Хемницеръ и наконецъ Измайловъ. Его притчи — достояніе народное и составляютъ книгу мудрости самого народа. Звѣри у него мыслятъ и поступаютъ слишкомъ по-Русски; въ ихъ продѣлкахъ между собою слышны продѣлки и обряды производствъ внутри Россіи. Кромѣ вѣрнаго звѣринаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвѣдь, волкъ, но даже самъ горшокъ поворачивается какъ живой, они показали въ себѣ еще и русскую природу. Даже оселъ, который у него до того опредѣлился въ характерѣ своемъ, что сто́итъ ему высунуть только уши изъ

какой-нибудь басни, какъ уже читатель вскрикиваетъ впередъ: «Это оселъ Крылова!» даже оселъ, не смотря на свою принадлежность климату другихъ земель. явился у него русскимъ человѣкомъ. Нѣсколько лѣтъ производя кражу по чужимъ огородамъ, онъ возгорѣлся вдругъ чинолюбіемъ, захотѣлъ ордена и заважничалъ страхъ, когда хозяинъ повѣсилъ ему на шею звонокъ, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будутъ видны всѣмъ и привлекутъ отовсюду побои на его бока. Словомъ, всюду у него Русь и пахнетъ Русью. Всякая басня его имѣетъ, сверхъ того историческое происхожденіе. Не смотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушіе къ событіямъ современнымъ, поэтъ, однакоже, слѣдилъ всякое событіе внутри государства: на все подавалъ свой голосъ и въ голосѣ этомъ слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаетъ до своего полнаго совершенства. Строго взвѣшеннымъ и крѣпкимъ словомъ такъ разомъ онъ и опредѣлитъ дѣло, такъ и означитъ, въ чемъ его истинное существо. Когда нѣкоторые черезъ-чуръ военные люди стали-было уже утверждать, что все въ государствахъ должно́ быть основано на одной военной силѣ и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ всѣмъ, что́ ни есть военнаго, изъ-за того только, что нѣкоторые изъ военныхъ не понимали истинной важности своего званія, Крыловъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ парусами, въ которомъ вводитъ обѣ стороны въ ихъ законныя границы симъ замѣчательнымъ четверостишіемъ:

Держава всякая сильна,
Когда устроены въ ней мудро части:
Оружіемъ враговъ она сильна,
А паруса-гражданскія въ ней власти.

Какая мѣткость опредѣленія! Безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у нѣкоторыхъ доброжелательныхъ, но недальнозоркихъ начальниковъ утвердилось-было странное мнѣніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ

должностяхъ изъ-за того единственно, что нѣкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замѣшались въ безразсудное дѣло, онъ написалъ не меньше замѣчательную басню: «Двѣ Бритвы,» и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся
И держатъ при себѣ охотнѣй дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездѣ держитъ сторону ума, какъ проситъ не пренебрегать умнаго человѣка, но умѣть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ баснѣ «Музыканты,» которую заключилъ онъ словами: «По мнѣ, ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй!» Не потому онъ это сказалъ, чтобы хотѣлъ похвалить пьянство, но потому, что заболѣла его душа при видѣ, какъ нѣкоторые, набравши къ себѣ, намѣсто мастеровъ дѣла, людей Богъ вѣсть какихъ, еще и хвастаются тѣмъ, говоря, что хоть мастерства они и не смыслятъ, но зато отличнѣйшаго поведенія. Онъ зналъ, что съ умнымъ человѣкомъ все можно сдѣлать и не трудно обратить его къ хорошому поведенію, если сумѣешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сдѣлать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. *Въ ворѣ — что въ морѣ, а въ дуракѣ — что въ пѣсномъ молокѣ*, говоритъ наша пословица. Но и умному дѣлаетъ онъ также крѣпкія замѣтки, сильно попрекнувши его въ баснѣ «Прудъ и Рѣка» за то, что далъ задремать своимъ способностямъ, и строго укоривши въ баснѣ «Сочинитель и Разбойникъ» за развратное и злое ихъ направленіе. Вообще его занимали вопросы важные. Въ книгѣ его всѣмъ есть уроки, всѣмъ степенямъ въ государствѣ, начиная отъ высшаго сановника и до послѣдняго труженика, работающаго въ нисшихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удѣлъ въ видѣ пчелы, неищущей отличать своей работы:

Но сколь и тотъ почтенъ, кто въ низости сокрытой,
За всѣ труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживленъ одной,
Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ вѣчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умѣлъ сдѣлать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всѣмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плѣнительной, грозной и даже грязной до передачи малѣйшихъ оттѣнковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мѣтко, такъ найдено и такъ усвоено крѣпко вещи, что даже и опредѣлить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметъ, какъ-бы не имѣя словесной оболочки, выступаетъ самъ собою, натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредѣлишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдѣ предметъ у него звучитъ; движется, гдѣ предметъ движется; крѣпчаетъ, гдѣ крѣпнетъ мысль, и становится вдругъ легкимъ, гдѣ уступаетъ легковѣсной болтовнѣ дурака. Его рѣчь покорна и послушна мысли и летаетъ какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ, шестистопномъ стихѣ, то въ быстромъ, одностопномъ; расчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стóитъ вспомнить величественное заключеніе басни «Двѣ Бочки:»

Великій человѣкъ лишь виденъ на дѣлахъ,
И думаетъ свою онъ крѣпку думу
Безъ шуму.

Тутъ отъ самого размѣщенія словъ, какъ бы слышится величіе ушедшаго въ себя человѣка.

Отъ Крылова вдругъ можно перейти къ другой сторонѣ нашей поэзіи — сатирической. У насъ у всѣхъ много иронiи. Она видна въ нашихъ пословицахъ и пѣсняхъ, и, что́ всего изумительнѣе, часто тамъ, гдѣ видимо страждетъ душа и не расположена вовсе къ веселости. Глубина этой самобытной иронiи еще предъ нами не разоблачилась потому, что, воспитываясь всѣми европейскими воспитаніями, мы и тутъ отдали-

лись отъ родного корня. Наклонность къ ироніи, однакожъ, удержалась, хотя и не въ той формѣ. Трудно найти русскаго человѣка, въ которомъ бы не соединялось, вмѣстѣ съ умѣньемъ предъ чемъ-нибудь истинно возблагоговѣть, свойство — надъ чѣмъ-нибудь истинно посмѣяться. Всѣ наши поэты заключали въ себѣ это свойство. Державинъ крупною солью разсыпалъ его у себя въ большей половинѣ одъ своихъ. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземскаго; оно слышно даже у такихъ поэтовъ, которые въ характерѣ своемъ имѣли нѣжное, меланхолическое расположеніе: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у князя Долгорукаго; оно есть что-то сродное намъ всѣмъ. Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирическіе. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настраивалъ свою лиру на высокій лирическій ладъ, князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры и хлесталъ ею глупости едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмѣшливыхъ перелицовокъ на изнанку извѣстнѣйшихъ произведеній и всякаго рода пародій ѣдкихъ, злыхъ, которыя останутся, вѣроятно, всегда въ рукописяхъ и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стóитъ вспомнить пародіи князя Горчакова, сатиру на литераторовъ Воейкова: «Домъ Сумасшедшихъ,» и талантливыя пародіи Михайла Дмитріева, гдѣ желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ славянскимъ добродушіемъ. Но сатира скоро попросила себѣ поприща обширнѣйшаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и повсюду, сначала подражаніями; потомъ стали пробивать черты оригинальныя. Въ трагедіи явились нравственная сила и незнаніе человѣка подъ условіемъ взятой эпохи и вѣка; къ комедіи — легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, безъ взгляда на душу человѣка. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмѣльницкаго, Загоскина, А. Писарева помнятся съ уваженіемъ; но все это поблѣднѣло передъ двумя яркими произведеніями: передъ комедіями Фонвизина «Недоросль» и Грибоѣдова

«Горе отъ Ума,» которыя весьма остороумно назвалъ князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ нихъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но раны и болѣзни нашего общества, тяжелыя злоупотребленія внутреннія которыя безпощадною силою ироніи выставлены въ очевидности потрясающей. Обѣ комедіи взяли двѣ разныя эпохи. Одна поразила болѣзни отъ непросвѣщенія, другая — отъ дурнопонятаго просвѣщенія.

Комедіи Фонвизина поражаетъ огрубѣлое звѣрство человѣка, происшедшее отъ долгаго, безчувственнаго, непотрясаемаго застоя въ отдаленныхъ углахъ и захолустьяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубѣнія, что въ ней почти не узнаешь русскаго человѣка. Кто можетъ узнать что-нибудь Русское въ этомъ злобномъ существѣ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромѣ своего сына? А между тѣмъ чувствуешь, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дѣтищу есть наша сильная русская любовь, которая въ человѣкѣ, потерявшемъ свое достоинство, выразилась въ такомъ извращенномъ видѣ, въ такомъ чудномъ соединеніи съ тиранствомъ, такъ что, чѣмъ болѣе она любитъ свое дитя, тѣмъ болѣе ненавидитъ все, что́ не есть ея дитя. Потомъ характеръ Скотинина — другой типъ огрубѣнія. Его неуклюжая природа, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то болѣе спокойную, въ своемъ родѣ, художественную любовь къ скотинѣ, намѣсто человѣка: свиньи сдѣлались для него то же, что́ для любителя искусствъ картинная галлерея. Потомъ супругъ Простаковой — несчастное, убитое существо, въ которомъ и тѣ слабыя силы, какія держались, забиты понуканіями жены, — полное притупленіе всего! Наконецъ самъ Митрофанъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природѣ, не имѣя желанія наносить кому-либо несчастіе, становиться нечувствительно, съ помощію угожденій и баловства, ти-

раномъ всѣхъ, и всего болѣе тѣхъ, которые его сильнѣе любятъ, то есть, матери и няньки, такъ что наносить имъ оскорбленіе — сдѣлалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ, лица эти какъ-бы уже не-русскія; трудно даже и узнать въ нихъ русскія качества, исключая только развѣ одну Еремѣевну да отставного солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на нихъ не подѣйствуешь ни вліяніемъ Церкви, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ нихъ одно пошлое, и только одному желѣзному закону здѣсь мѣсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною каррикатурою на русское; а между тѣмъ, нѣтъ ничего въ ней каррикатурнаго: все взято живьемъ съ природы и провѣрено знаніемъ души. Это тѣ неотразимо-страшные идеалы огрубѣнія, до которыхъ достигъ человѣкъ русской земли.

Комедія Грибоѣдва взяла другое время общества — выставила болѣзни отъ дурно-понятого просвѣщенія, отъ принятія глупыхъ свѣтскихъ мелочей намѣсто главнаго, словомъ — взяла донкишотскую сторону нашего европейскаго образованія, несвязавшуюся смѣсь обычаевъ, сдѣлавшую Русскихъ не Русскими, но иностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнутъ, какъ и Простаковой. Такъ же наивно, какъ хвастается Простакова своимъ невѣжествомъ, онъ хвастается полупросвѣщеніемъ, какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежитъ: хвастается тѣмъ, что московскія дѣвицы верхнія выводятъ нотки, словечка два не скажутъ, всё съ ужимкою; что дверь у нео отперта для всѣхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита ничечо недѣлающею роднею. Онъ и благопристойный, степенный человѣкъ, и волокита, и читаетъ мораль, и мастеръ такъ пообѣдать, что въ три дни не сварится. Онъ даже вольнодумецъ, если соберется съ подобными себѣ стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрѣлъ къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честитъ всѣхъ, кто не подчинился принятымъ свѣтскимъ обычаямъ

ихъ общества. Въ существѣ своемъ, это одно изъ тѣхъ вывѣтрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свѣтскомъ comme il faut, не осталось ровно ничего, которыя своимъ пребываніемъ въ столицѣ и службою такъ же вредны обществу, какъ другіе ему вредны своею неслужбою и огрубѣлымъ пребываніемъ въ деревнѣ. Вредны, во-первыхъ собственнымъ имѣніямъ своимъ — тѣмъ, что, предавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя отъ нихъ только денегъ для своихъ баловъ и обѣдовъ званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія помѣщиковъ съ крестьянами; вредны, во-вторыхъ, на служащемъ поприщѣ — тѣмъ, что, доставляя мѣста однимъ только ничего недѣлающимъ родственникамъ своимъ, отняли у государства истинныхъ дѣльцовъ и отвадили охоту служить у честнаго человѣка; вредны наконецъ, въ-третьихъ, духу правительства своею двусмысленною жизнію — тѣмъ, что, подъ личиною усердія и благонамѣренности, требуя поддѣльной нравственности отъ молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили негодованіе молодежи, неуваженіе къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству, дѣйствительному у тѣхъ, которые имѣютъ некрѣпкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замѣчателенъ другой типъ: отъявленный мерзавецъ Загорѣцкій, вездѣ ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый, лгунъ, плутъ, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько-нибудь значительному, или сильному лицу доставленіемъ ему того, къ чему онъ грѣховно падокъ, готовый, въ случаѣ надобности, сдѣлаться патріотомъ и ратоборцемъ нравственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени всѣ книги, какія ни есть на свѣтѣ, а въ томъ числѣ и сочинителей даже самыхъ басень, и симъ обнаруживший, что, не боясь ничего, даже самой позорнѣйшей брани, боится, однакожъ, насмѣшки, какъ чортъ креста. Не меньше замѣчателенъ третій типъ: глупый либералъ Репетиловъ, рыцарь пустоты во всѣхъ ея отношеніяхъ, рыскающій по ночнымъ собраніямъ, радующійся, какъ Богъ вѣсть

какой находкѣ, когда удается ему пристегнуться къ какому-нибудь обществу, которое шумитъ о томъ, чего онъ не понимаетъ, чего и разсказать даже не умѣетъ, но котораго бредни слушаетъ онъ съ чувствомъ, въ увѣренности, что понялъ наконецъ на настоящую дорогу и что тутъ кроется дѣйствительно какое-то общественное дѣло, которое, хотя еще не созрѣло, но какъ разъ созрѣетъ, если только о немъ пошумятъ побольше, станутъ почаще собираться по ночамъ да позадористѣе между собою спорить. Не меньше замѣчателенъ четвертый типъ: глупый Скалозубъ, понявшій службу единственно въ умѣньи различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы попасть въ генералы, а тамъ ему хоть трава не расти; всѣ прочія тревоги ему ни по чемъ, а обстоятельства времени и вѣка для него неголоволомная наука: онъ искренно увѣренъ, что весь міръ можно успокоить, давши ему въ Вольтеры Фелдьфебеля. Не меньше замѣчательный также типъ и старуха Хлёстова, жалкая смѣсь пошлости двухъ вѣковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколѣнія, съ требованіями почтенія къ себѣ отъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ сама презираетъ, готовая выбранить вслухъ и встрѣчнаго, и поперечнаго, за то только, что не такъ къ ней сѣлъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему непитающая никакой любви и никакого уваженія, но покровительница арапчонокъ, мосекъ и людей въ родѣ Молчалина, словомъ — старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ — тоже замѣчательный типъ. Мѣтко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамѣстъ тихомолкомъ пробирающееся въ люди, но въ которомъ, по словамъ Чацкаго, готовится будущій Загорѣцкій. Такое скопище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окаррикатурилъ какое-нибудь мнѣніе, правило, мысль, извративши по-своему законный смыслъ ихъ, должно́ было вызвать въ отпоръ

ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досадѣ и въ справедливомъ негодованіи противу ихъ всѣхъ, Чацкій переходитъ также въ излишество, не замѣчая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержный языкъ свой онъ дѣлается самъ нестерпимъ и даже смѣшонъ. Всѣ лица комедіи Грибоѣдова суть такія же дѣти полупросвѣщенія, какъ Фонвизиновы — дѣти непросвѣщенія, русскіе уроды, временныя, преходящія лица, образовавшіяся среди броженія новой закваски. Прямо-русскаго типа нѣтъ ни въ комъ изъ нихъ; не слышно русскаго гражданина. Зритель остается въ недоумѣніи на счетъ того, чѣмъ долженъ быть русскій человѣкъ. Даже то лицо, которое взято, повидимому, въ образецъ, то есть, самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться, выражаетъ только негодованіе противу того, что́ презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но не даетъ въ себѣ образца обществу.

Обѣ комедіи исполняютъ плохо сценическія условія; въ семъ отношеніи ничтожная французская піеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о немъ не много заботились, видя сквозь него другое, вывшее содержаніе и соображая съ ними выходы и уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измѣрена также не въ отношеніи къ герою піесы, но въ отношеніи къ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сцѣнѣ, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. Въ противномъ же случаѣ, то есть, если бы они выполнили и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мѣтко схваченныхъ и постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ дѣйствіи, а не въ разговорѣ, это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно общественными комедіями, и подобнаго выраженія, сколько мнѣ кажется, не принимала еще комедія ни у одного изъ народовъ. Есть

слѣды общественной комедіи у древнихъ Грековъ; но Аристофанъ руководился болѣе личнымъ расположеніемъ, нападалъ на злоупотребленія одного какого-нибудь человѣка и не всегда имѣлъ въ виду истину: доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмѣять Сократа. Наши комики двинулись общественною причиною, а не собственною; возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества здоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ-бы собственнымъ своимъ тѣломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это — продолженіе той же брани свѣта со тьмой, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго Русскаго дѣлаетъ уже невольно ратникомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія. Вотъ почему по слѣдамъ ихъ не появлялось въ нашей литературѣ ничего имъ подобнаго и, вѣроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе поэзіи нашей впередъ. Это, однакоже, не значитъ, чтобы духъ ея угаснулъ; напротивъ, онъ, какъ гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота въ воздухѣ возвѣщаютъ его приближеніе. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можетъ вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очертаннаго круга и показать собственныя силы. Еще даже не слышитъ никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихіи новой жизни и раздаются вопросы, которые дотолѣ не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще нѣтъ самоцвѣтности. Ихъ даже не слѣдуетъ называть по именамъ, кромѣ одного Лермонтова, который себя выставилъ впередъ больше другихъ и котораго уже нѣтъ на свѣтѣ. Въ немъ слышатся признаки таланта первостепеннаго; поприще великое могло ожидать его,

если бы не какая-то несчастная звѣзда, которой управленіе захотѣлось ему надъ собою признать. Попавши съ самого начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переходнымъ, которое, какъ бѣдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирости ему ни къ какой другой почвѣ и его жребій — завянуть и пропасть, онъ уже съ раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодушіе ко всему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встрѣчи, безпечальныя разставаніе, странныя, безсмысленныя любовныя узы, неизвѣстно зачѣмъ заключаемыя и неизвѣстно зачѣмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма вѣрно опредѣлить существо этой поэзіи словомъ *безочарованіе*. Съ помощію таланта Лермонтова, оно сдѣлалось-было на время моднымъ. Какъ нѣкогда съ легкой руки Шиллера пронеслось-было по всему свѣту *очарованіе* и стало моднымъ, какъ потомъ съ тяжелой руки Байрона пошло въ ходъ *разочарованіе*, порожденное, можетъ быть, излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время моднымъ, такъ наконецъ пришла очередъ и *безочарованію*, родному дѣтищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумѣется, было кратковременнѣе всѣхъ прочихъ, потому что въ безочарованіи ровно нѣтъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какого-то обольстительнаго демона, поэтъ покушался не разъ изобразить его образъ, какъ-бы желая стихами отъ него отдѣлаться. Образъ этотъ не вызначенъ опредѣлительно, даже не получилъ того обольстительнаго могущества надъ человѣкомъ, которое онъ хотѣлъ ему придать. Видно что выросъ онъ не отъ собственной силы, но отъ усталости и лѣни человѣка сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотвореніи, названномъ: «Сказка для дѣтей,» образъ этотъ получаетъ больше опредѣлительности и больше смысла. Можетъ быть, съ окончаніемъ этой повѣсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отдѣлался бы

онъ отъ самого духа и вмѣстѣ съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (примѣты тому уже сіяютъ въ стихотвореніяхъ «Ангелъ,» «Молитва» и нѣкоторыхъ другихъ), если бы только сохранилось въ немъ самомъ побольше уваженія и любви къ своему таланту. Но никто еще не игралъ такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Незамѣтно въ немъ никакой любви къ дѣтямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, не возлелѣялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себѣ самомъ; самый стихъ не получилъ еще своей собственной, твердой личности и блѣдно напоминаетъ то стихъ Жуковскаго, то Пушкина; повсюду излишество и многорѣчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тутъ видно больше углубленія въ дѣйствительность жизни, готовился будущій великій живописецъ русскаго быта... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбѣ нашихъ поэтовъ. Какъ только кто-нибудь изъ нихъ, упустивъ изъ виду свое главное поприще и назначеніе, бросался за другое, или же опускался въ тотъ омутъ свѣтскихъ отношеній, гдѣ не слѣдуетъ ему быть и гдѣ нѣтъ мѣста для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдругъ изъ нашей среды. Три первостепенныхъ поэта, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ были похищены насильственною смертію, въ теченіе одного десятилѣтія, въ порѣ самаго цвѣтущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ — и никого это не поразило; даже не содрогнулось вѣтреное племя.

Но пора, однакоже, сказать въ заключеніе, что́ такое наша поэзія вообще, зачѣмъ она была, къ чему служила, и что́ сдѣлала для всей русской земли нашей. Имѣла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, воспитавши и облагородивши каждаго, сообразно

его мѣсту, и возвысивши понятія всѣхъ вообще, сообразно духу земли и кореннымъ силамъ народа, которыми должно́ двигаться государство; или же она была, просто, вѣрною картиною нашего общества, картиною подробною, яснымъ зеркаломъ всего нашего быта? Не была она ни тѣмъ, ни другимъ; ни того, ни другого она не сдѣлала. Она была почти незнаема и невѣдома нашимъ обществомъ, которое въ то время воспитывалось другимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изо всѣхъ странъ, всѣхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правилъ и направленій. Общество наше, чего не случалось еще доселѣ ни съ однимъ народомъ, воспитывалось въ невѣдѣніи земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ позабытъ, такъ что поэзіи нашей были даже отрѣзаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила въ гостиную какое-нибудь стихотворное произведеніе, или же плодъ незрѣлой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведеніе, но отвѣчавшее, какимъ-нибудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о существованіи среди него поэта. Слоѣомъ, поэзія наша не поучала общество, ни выражало его. Какъ-бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время свыше общества; если жъ и опускалась къ нему, то развѣ затѣмъ только, чтобы хлеснуть его бичомъ сатиры, а не передавать его жизнь въ образецъ потомству. Дѣло странное: предметомъ нашей поэзіи все же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наши лучшія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не вѣрить тому, что́ говоритъ намъ о насъ же Державинъ. Когда же выставляетъ писатель наши низкія стороны, мы опять не вѣримъ, и намъ это кажется каррикату-

рою. Есть точно въ томъ и другомъ какъ-бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ дѣлѣ преувеличенія нѣтъ. Причиною перваго то, что наши лирическіе поэты, владѣя тайною прозрѣвать въ зернѣ, почти неприметномъ для простыхъ глазъ, будущій великолѣпный плодъ еге, выставляли очищеннѣе всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирическіе наши писатели, нося въ душѣ своей, хотя еще и неясно, идеалъ уже лучшаго русскаго человѣка, видѣли яснѣе все дурное и низкое дѣйствительно-русскаго человѣка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можетъ увидѣть обыкновенный человѣкъ. Вотъ отчего въ послѣднее время, сильнѣе всѣхъ прочихъ свойствъ нашихъ, развилась у насъ насмѣшливость. Все смѣется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что́-то смѣющееся надъ всѣмъ равно, надъ стариною и надъ новизною, и благоговѣющее только предъ однимъ нестарѣющимъ и вѣчнымъ. Итакъ поэзія наша не выразила намъ нигдѣ русскаго человѣка вполнѣ, ни въ томъ *идеалѣ*, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той *дѣйствительности*, въ какой онъ нынѣ есть. Она собрала только въ кучу безчисленные оттѣнки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только въ одно казнохранилище отдѣльно взятыя стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слишали, что не приспѣло еще время живописать себя цѣликомъ и хвастаться собою, что еще нужно намъ самимъ прежде организоваться, стать собою и сдѣлаться Русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа къ тому, чтобы принять ей принадлежащую форму; еще не успѣли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, нанесенныхъ отовсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встрѣча чужеземнаго съ своимъ и неразумное извлеченіе того самого вывода, для котораго повелѣна Богомъ эта встрѣча. Слыша это, поэты какъ-бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбѣ лучшее изъ нашей природы.

Это лучшее забирали они отовсюду, гдѣ находили, и спѣшили его выносить на свѣтѣ, (не заботясь о томъ), гдѣ и какъ его поставить. Такъ бѣдный хозяинъ, изъ обхваченнаго пламенемъ дома, старается выхватить только то, что́ есть въ немъ драгоцѣннѣйшаго, не заботясь о прочемъ. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы, если настанетъ наконецъ то благодатное время, когда мысль о внутреннемъ построеніи человѣка въ такомъ образѣ, въ какомъ повелѣлъ ему состроиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сдѣлается наконецъ у насъ общею по всей Россіи и равно желанною всѣмъ, то чтобы увидѣли мы, что́ есть дѣйствительно въ насъ лучшаго, собственно нашего, и не позабыли бы его вмѣстить въ свое построеніе. Наши собственныя сокровища станутъ намъ открываться больше и больше, по мѣрѣ того, какъ мы станемъ внимательнѣе вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мѣрѣ большаго и лучшаго ихъ узнанія, намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, доселѣ почти никѣмъ незамѣчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ, но отчасти даже и строителями нашими, или дѣйствительно имѣя о томъ мысль, или ея не имѣя, но показавши своею высшею отъ насъ природою которое-нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось виднѣе, затѣмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей красѣ своей. Это стремленіе Державина начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполинскомъ величіи, не было стремленіемъ произвольнымъ; начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народѣ. Широкія черты человѣка величаваго носятся и слышатся по всей русской землѣ такъ сильно, что даже чужеземцы, заглянувшіе во внутрь Россіи, ими поражаются еще прежде, нежели успѣваютъ узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно одинъ изъ нихъ, издавшій свои записки съ тѣмъ именно, чтобы показать Европѣ съ дурной стороны Россію,*) не могъ скрыть изумленія своего при видѣ простыхъ обитателей

*) Маркизъ Кюстинъ.

деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, останавливался онъ передъ нашими маститыми, бѣловласыми старцами, сидящими у пороговъ избъ своихъ, которые казались ему величавыми патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Не одинъ разъ сознался онъ, что нигдѣ въ другихъ земляхъ Европы, гдѣ ни путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человѣка въ такомъ величіи, близкомъ къ патріархально-библейскому. И эту мысль повторилъ онъ нѣсколько разъ на страницахъ своей, растворенной ненавистію къ намъ, книги. Это свойство *чуткости*, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинѣ, есть наше народное свойство. Вспомнимъ только одни названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себѣ это свойство, напримѣръ, названіе *ухо*, которое дается такому человѣку, въ которомъ всѣ жилки горятъ и говорятъ, который мигъ не постоитъ безъ дѣла, *удача* — всюду спѣющій и вездѣ успѣвающій; и множество есть у насъ другихъ названій, опредѣляющихъ различные оттѣнки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: неполонъ и суровъ выйдетъ русскій мужъ, начертанный Державинымъ, если не будетъ въ немъ чутья откликаться живо на всякій предметъ въ природѣ, изумляясь на всякомъ шагу красотѣ Божьяго творенія. Этотъ умъ, умѣющій найти законную середину всякой вещи который обнаружился въ Крыловѣ, есть нашъ *истинно-русской умъ*. Только въ Крыловѣ отразился тотъ вѣрный тактъ русскаго ума, который, умѣя выразить истинное существо всякаго дѣла, умѣетъ выразить его такъ, что никого не оскорбить выраженіемъ и не возстановитъ ни противъ себя, ни противъ мысли своей, даже несходныхъ съ нимъ людей, однимъ словомъ — тотъ вѣрный тактъ, который мы потеряли среди нашего свѣтскаго образованія и который сохранился доселѣ у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умѣетъ говорить со всѣми себя высшими такъ свободно, какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажетъ неприличія, тогда какъ мы часто не умѣемъ поговорить даже съ равнымъ себѣ такимъ

образомъ, чтобы не оскорбить его какимъ-нибудь выраженіемъ. Зато уже, въ комъ изъ насъ дѣйствительно образовался этотъ сосредоточенный, вѣрный, истинно-русскій тактъ ума — онъ у насъ пользуется уваженіемъ всѣхъ; ему всѣ позволятъ сказать то, чего никому другому не позволятъ; на него никто ужъ и не сердится. У всѣхъ нашихъ писателей бывали враги, даже у самыхъ незлобнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ душою (стóитъ вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дѣло добра, которая такъ и буйствуетъ въ стихахъ Языкова, есть удаль нашего русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даетъ у насъ вдругъ молодость и старцу, и юношѣ, если только предстанетъ случай рвануться всѣмъ на дѣло, невозможное не для какого другого народа, которое вдругъ сливаетъ у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ одно чувство, такъ что и ссоры, и личныя выгоды каждаго, все позабыто, и вся Россія — одинъ человѣкъ. Всѣ эти свойства, обнаруженныя нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только виднѣе развившіяся; поэты берутся не откуда же нибудь изъ-за моря, но исходятъ изъ своего народа. Это — огни, изъ него же излетѣвшіе, передовые вѣстники силъ его. Сверхъ того поэты наши сдѣлали добро уже тѣмъ, что разнесли благозвучіе, дотолѣ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературѣ показали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттѣнковъ звука, чему отчасти, разумѣется, способствовалъ самъ поэтическій языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, котораго до сихъ поръ не можетъ еще позабыть наше ухо; этотъ густой, какъ смола, или струя столѣтняго токая, стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова, влетающій какъ лучъ въ душу, весь сотканный изъ свѣта; этотъ облитый ароматами полудня стихъ Батюшкова, сладостный, какъ медъ изъ горнаго ущелья; этотъ легкій,

воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ эоловой арфы; этотъ тяжелый, какъ-бы влачащійся по землѣ стихъ Вяземскаго, проникнутый подъ-часъ ѣдкою, щемящею русскою грустью: всѣ они, точно разнозвонные колокола, или безчисленные клавиши одного великолѣпнаго органа, разнесли благозвучіе по русской землѣ. Благозвучіе не такъ пустое дѣло, какъ думаютъ тѣ, которые незнакомы съ поэзіею. Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную, прекрасную пѣсню матери, убаюкивается народъ-младенецъ, еще прежде, нежели можетъ входить въ значеніе словъ самой пѣсни, и нечувствительно сами собою стихаютъ и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываетъ нужно, какъ во храмѣ куреніе кадильное, которое уже невидимо настрояетъ душу къ слышанію чего-то лучшаго еще прежде, нежели началось самое служеніе. Поэзія наша пробовала всѣ аккорды, воспитывалась литературами всѣхъ народовъ, прислушивалась къ лирамъ всѣхъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ затѣмъ, чтобы приготовить всѣхъ къ служенію болѣе значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тѣхъ пустякахъ, о которыхъ еще продолжаетъ вѣтренно лепетать молодое, недавшее себѣ отчета нынѣшнее поколѣніе поэтовъ; нельзя служить и самому искусству, какъ ни прекрасно это служеніе, не уразумѣвъ его цѣли высшей и не опредѣливъ себѣ, зачѣмъ дано намъ и искусство; нельзя повторять Пушкина. Нѣтъ, не Пушкинъ, или кто другой долженъ стать теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничѣмъ не возмешь — ни своеобразіемъ ума своего, ни картинною личностію характера, ни гордостію движеній своихъ; христіянскимъ, высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь поэтъ. Другія дѣла наступаютъ для поэзіи. Какъ во времена младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ бранолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человѣка — на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу, кото-

рую самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ перломъ своихъ созданій. Много предстоитъ теперь для поэзіи — возвращать въ общество то, что́ есть истинно прекраснаго и что́ изгнано изъ него нынѣшнею безсмысленною жизнію. Нѣтъ, не напомнятъ они уже никого изъ нашихъ прежнихъ поэтовъ. Самая рѣчь ихъ будетъ другая; она будетъ ближе и родственнѣе нашей русской душѣ. Еще въ ней слышнѣе выступятъ наши народныя начала. Еще не бьетъ всею силою кверху тотъ самородный ключъ нашей поэзіи, который уже кипѣлъ и билъ въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово *поэзія* не было ни на чьихъ устахъ. Еще никто не черпалъ изъ самой глубины тѣхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомянуто въ началѣ этой статьи. Еще доселѣ загадка — этотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ нашихъ пѣсняхъ, несется куда-то мимо жизни и самой пѣсни, какъ-бы сгарая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуетъ со дня созданія своего человѣкъ. Еще ни въ комъ не отразилась вполнѣ та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умѣвшихъ сдѣлать такіе великіе выводы изъ бѣднаго, ничтожнаго своего времени, гдѣ въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ и въ такой мутной лужѣ изворачивался русскій человѣкъ, и которыя говорятъ только о томъ, какіе огромные выводы можетъ сдѣлать нынѣшній русскій человѣкъ изъ нынѣшняго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всѣхъ вѣковъ и какъ неразобранный товаръ сброшены въ одну безпорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ — рожденіе верховной трезвости ума, который исходитъ отъ нашихъ церковныхъ пѣсней и каноновъ и, покуда, такъ же безотчетно возноситъ духъ поэта, какъ безотчетно подмываютъ его сердце родные звуки нашей пѣсни. Наконецъ самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна. Въ немъ всѣ тоны и оттѣнки, всѣ переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нѣжныхъ и мягкихъ; онъ безпредѣленъ и можетъ, жи-

вой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съ другой стороны выбирая на выборъ мѣткія названія изъ безчисленныхъ своихъ нарѣчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имѣя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рѣчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанію непонятливѣйшаго человѣка: языкъ, который самъ по себѣ уже поэтъ и который недаромъ былъ на время позабытъ нашимъ лучшимъ обществомъ. Нужно было, чтобы выболтали на чужеземныхъ нарѣчіяхъ всю дрянь, какая ни пристала къ намъ вмѣстѣ съ чужеземнымъ образованіемъ, чтобы всѣ тѣ неясные звуки, неточныя названія вещей — дѣти мыслей, невыяснившихся и сбивчивыхъ, которыя потемняютъ языки, не посмѣли помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы къ нему, уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудѣ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная, сильнѣйшая рѣчь. Пройдетъ эта рѣчь уже насквозь всю душу и не упадетъ на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всѣмъ струнамъ, какія ни есть въ русскомъ человѣкѣ, внесетъ въ самыя огрубѣлыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могутъ утвердить въ человѣкѣ; вызоветъ намъ нашу Россію, нашу русскую Россію, не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе-нибудь квасные патріоты, и не ту, которую вызываютъ къ намъ изъ-за моря очужеземившіеся Русскіе, но ту, которую извлечетъ она изъ насъ же и покажетъ такимъ образомъ, что всѣ до единаго, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и мнѣній, скажутъ въ одинъ голосъ: «Это наша Россія; намъ въ ней пріютно и тепло, и мы теперь дѣйствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбинѣ!»

XXXII.

СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ.

Въ русскомъ человѣкѣ есть особенное участіе къ празднику Свѣтлаго Воскресенія. Онъ это чувствуетъ живѣе, если ему случится быть въ чужой землѣ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличенъ отъ другихъ дней — тѣ же всегдашнія занятія, та же вседневная жизнь, то же буднишнее выраженіе на лицахъ — онъ чувствуетъ грусть и обращается невольно къ Россіи. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день и самъ человѣкъ радостнѣе и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдругъ представятся — эта торжественная полночь, этотъ повсемѣстный колокольный звонъ, который какъ-бы всю землю сливаетъ въ одинъ гулъ, это восклицаніе «Христосъ воскресъ!» которое замѣняетъ въ этотъ день всѣ другія привѣтствія, этотъ поцѣлуй, который только раздается у насъ — и онъ готовъ почти воскликнуть: «Только въ одной Россіи празднуется этотъ день такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться!» Разумѣется, это пріятное чувство ослабѣваетъ, какъ только онъ перенесется на самомъ дѣлѣ въ Россію, или даже только припомнитъ, что день этотъ есть день какой-то полусонной бѣготни и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга намѣсто радостныхъ встрѣчъ, — если жъ и встрѣчъ, то основанныхъ на самыхъ корыстныхъ расчетахъ; что честолюбіе кипитъ у насъ въ этотъ день еще больше, нежели во всѣ другіе, и говорятъ не о воскресеніи Христа, но о томъ, кому какая награда выйдетъ и кто что́ получитъ; что даже и въ самомъ народѣ кое-гдѣ пошатываются на улицахъ не совсѣмъ трезвые, едва только успѣла кончиться торжественная обѣдня и не успѣла еще заря

освѣтить земли. Вздохнетъ бѣдный русскій человѣкъ, если только все это припомнитъ себѣ. Для проформы, одинъ чмокнетъ въ щеку другого, желая показать, какъ нужно любить своего брата. да какой-нибудь патріотъ, въ досадѣ на молодежь, которая бранитъ старинные русскіе наши обычаи, утверждая, что у насъ ничего нѣтъ, прокричитъ гнѣвно: «У насъ все есть — и семейная жизнь, и семейныя добродѣтели; и обычаи у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдѣ въ Европѣ; и мы — народъ на удивленіе всѣмъ!»

Нѣтъ, не въ видимомъ знакѣ дѣло, не въ патріотическихъ возгласахъ, но въ томъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ взглянуть въ этотъ день на человѣка, какъ на лучшую свою драгоцѣнность, такъ обнять и прижать его къ себѣ, какъ наироднѣйшаго своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ бы своему наилучшему другу, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видались и который вдругъ неожиданно къ намъ пріѣхалъ. Еще сильнѣе! еще больше! потому что узы, насъ съ нимъ связывающія, сильнѣе земного кровнаго нашего родства и породнились мы съ нимъ по нашему прекрасному небесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земного отца, и день этотъ мы въ своей истинной семьѣ, у Него Самого въ дому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который празднуетъ святое, небесное свое братство все человѣчество до единаго, не исключивъ изъ него ни одного человѣка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому вѣку, когда мысли о счастіи человѣчества сдѣлались почти любимыми мыслями всѣхъ; когда обнять все человѣчество, какъ братьевъ, сдѣлалось любимою мечтою молодого человѣка; когда многіе только и грезятъ о томъ, какъ преобразовать все человѣчество, какъ возвысить внутреннее достоинство человѣка; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христіянство въ силахъ это произвесть; когда стали утверждать, что слѣдуетъ ближе ввести Христовъ законъ, какъ въ семействен-

ный, такъ и въ государственный бытъ; когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ стали разговоромъ даже модныхъ гостинныхъ; когда, наконецъ, стало тѣсно отъ всякихъ человѣколюбивыхъ заведеній! Какъ бы, казалось, девятнадцатый вѣкъ долженъ былъ радостно воспраздновать этотъ день, который такъ по сердцу всѣмъ великодушнымъ и человѣколюбивымъ его движеніямъ! Но на этомъ-то самомъ днѣ, какъ на пробномъ камнѣ, видишь, какъ блѣдны всѣ его христіянскія стремленія и какъ всѣ они въ однѣхъ только мысляхъ, а не на дѣлѣ. И если, въ самомъ дѣлѣ, придется ему обнять въ этотъ день своего брата, какъ брата, — онъ его не обниметъ. Все человѣчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обниметъ. Отдѣлись отъ этого человѣчества, которому онъ готовитъ такое великодушное объятіе, одинъ человѣкъ, его оскорбившій, которому повелѣваетъ Христосъ въ ту же минуту простить, — онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ, несогласный съ нимъ въ какихъ-нибудь ничтожныхъ человѣческихъ мнѣніяхъ, — онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ, страждущій, виднѣе другихъ, тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всѣхъ другихъ требующій состраданія къ себѣ, — онъ оттолкнетъ его и не обниметъ. И достанется его объятіе только тѣмъ, которые ни чѣмъ еще не оскорбили его, съ которыми не имѣлъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какого рода объятія всему человѣчеству даетъ человѣкъ нынѣшняго вѣка, и часто именно тотъ самый, который думаетъ о себѣ, что онъ истинный человѣколюбецъ и совершенный христіянинъ!

Нѣтъ, не празднуетъ нынѣшній вѣкъ Свѣтлаго праздника такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться. Есть страшное препятствіе, есть непреоборимое препятствіе; имя ему *гордость*. Она была извѣстна и въ прежніе вѣки, но то была гордость болѣе ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богат-

ствами своими, гордость родомъ и званіемъ; но не доходила она до того страшнаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ея — гордость чистотою своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человѣчество нынѣшняго вѣка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею и считать себя лучшимъ другихъ. Стóитъ только приглядѣться, какимъ рыцаремъ благородства выступаетъ изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и рѣзко судить о другомъ. Стóитъ только прислушаться къ тѣмъ оправданіямъ, какими онъ оправдываетъ себя въ томъ, что не обнялъ своего брата даже въ день Свѣтлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ душою, говоритъ онъ: «Я не могу обнять этого человѣка: онъ мерзокъ, онъ подлъ душою, онъ запятналъ себя безчестнѣйшимъ поступкомъ; я не пущу этого человѣка даже въ переднюю свою; я даже не хочу дышать однимъ воздухомъ съ нимъ; я сдѣлаю кругъ для того, чтобы объѣхать его и не встрѣчаться съ нимъ. Я не могу жить съ подлыми и презрѣнными людьми, — неужели мнѣ обнять такого человѣка, какъ брата?» Увы! позабылъ бѣдный человѣкъ девятнадцатаго вѣка, что въ этотъ день нѣтъ ни подлыхъ, ни презрѣнныхъ людей, но всѣ люди, братья той же семьи, и всякому человѣку имя *братъ*, а не какое-либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ быть, затѣмъ именно окружили его презрѣнные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянулъ онъ на себя и поискалъ бы въ себѣ того же самого, чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можетъ на всякомъ шагу, даже не примѣтивъ того самъ, сдѣлать то же подлое дѣло, хотя въ другомъ только видѣ — въ видѣ, не пораженномъ публичномъ позоромъ, но которое, однакоже, выражаясь пословицею есть *тотъ же блинъ, только на другомъ блюдѣ.* Все позабыто! Позабыто имъ то, что можетъ быть, оттого развелось такъ много подлыхъ и презрѣнныхъ людей, что сурово и безчело-

вѣчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекраснѣйшіе люди, и тѣмъ заставили пуще ожесточиться. Будтобы легко выносить къ себѣ презрѣніе! Богъ вѣсть, можетъ быть, иной совсѣмъ былъ не рожденъ безчестнымъ человѣкомъ; можетъ быть, бѣдная душа его, безсильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о помощи, и готова была облобызать руки и ноги того, кто подвигнутый жалостію душевною, поддержалъ бы ее на краю пропасти. Можетъ быть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будтобы дорогою любви было трудно достигнуть къ его сердцу; будто уже до того окаменѣла въ немъ природа, что никакое чувство не могло въ немъ пошевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звѣрь помнитъ ласкавшую его руку! Но все позабыто человѣкомъ девятнадцатаго вѣка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богачъ отталкиваетъ покрытаго гноемъ нищаго отъ великолѣпнаго крыльца своего. Ему нѣтъ дѣла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповѣди его, боясь, чтобы не поразилось обоняніе его смраднымъ дыханіемъ устъ несчастнаго, гордый благоуханіемъ чистоты своей. Такому ли человѣку воспраздновать праздникъ небесной любви?

Есть другой видъ гордости, еще сильнѣйшей перваго — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, какъ въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Она слышится за самой боязни каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесетъ человѣкъ вѣка: вынесетъ названіе плута, подлеца; какое хочешь, дай ему названіе, онъ снесетъ его, и только не снесетъ названія дурака. Надъ всѣмъ онъ позволитъ посмѣятся, и только не позволитъ посмѣяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него святыня. Изъ-за малѣйшей насмѣшки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояніе и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ лобъ. Ничему и ни во что́ онъ не вѣритъ; только вѣритъ въ одинъ умъ свой.

Чего не видитъ его умъ, того для него нѣтъ. Онъ позабылъ даже, что умъ идетъ впередъ, когда идутъ впередъ всѣ нравственныя силы въ человѣкѣ, и стоитъ безъ движенія и даже идетъ назадъ, когда не возвышаются нравственныя силы. Онъ позабылъ и то, что нѣтъ всѣхъ сторонъ ума ни въ одномъ человѣкѣ; что другой человѣкъ можетъ видѣть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видѣть, и, стало быть, знать то, чего онъ не можетъ знать. Не вѣрить онъ этому, и все, чего не видитъ онъ самъ, то для него ложь. И тѣнь христіянскаго смиренія не можетъ къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердцѣ человѣка, котораго нѣсколько лѣтъ зналъ, въ правдѣ, въ Богѣ усомнится, но не усомнится въ своемъ умѣ. Уже ссоры и брани начались не за какія-нибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей; нѣтъ, не чувственныя страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуютъ лично изъ несходства мнѣній, изъ-за противорѣчій в мірѣ мысленномъ. Уже образовались цѣлыя партіи, другъ друга невидѣвшія, никакихъ личныхъ сношеній еще неимѣвшія — и уже другъ друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было-начали думать люди, что образованіемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другого конца входитъ въ міръ, — дорогою ума, и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всепогубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинаютъ говорить, хоть противу собственнаго своего убѣжденія, изъ-за того только, чтобы не уступить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяетъ сознаться передъ всѣми въ ошибкѣ; уже одна чистая злоба воцарилась намѣсто ума.

И человѣку ли такого вѣка умѣть полюбить и почувствовать христіянскую любовь къ человѣку? Ему ли исполниться того свѣтлаго простодушія и ангельскаго младенчества, которое собираетъ всѣхъ людей

въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспраздновать этотъ день? Исчезнуло даже и то наружно-добродушное выраженіе прежнихъ простыхъ вѣковъ, которое давало видъ, какъ-будтобы человѣкъ былъ ближе къ человѣку. Гордый умъ девятнадцатаго вѣка истребилъ его. Діаволъ выступилъ уже безъ маски въ міръ. Духъ гордости пересталъ уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевѣрныхъ людей; онъ явился въ собственномъ своемъ видѣ. Почуя, что признаютъ его господство, онъ пересталъ уже и чиниться съ людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смѣется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупѣйшіе законы даетъ міру, какіе доселѣ еще никогда не давались; и міръ это видитъ и не смѣетъ ослушаться! Что́ значитъ эта мода, ничтожная, незначущая, которую допустилъ въ началѣ человѣкъ, какъ мелочь, какъ невинное дѣло, и которая теперь, какъ полная хозяйка, уже стала распоряжаться въ домахъ нашихъ, выгоняя все, что́ есть главнѣйшаго и лучшаго въ человѣкѣ? Никто не боится преступать нѣсколько разъ въ день первѣйшіе и священнѣйшіе законы Христа, и между тѣмъ боится не исполнить ея малѣйшаго приказанія, дрожа передъ нею, какъ робкій мальчишка, Что́ значитъ, что даже и тѣ, которые сами надъ нею смѣются, пляшутъ, какъ легкіе вѣтренники, подъ ея дудку? Что́ значатъ эти такъ называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильнѣе всякихъ коренныхъ постановленій? Что́ значатъ эти странныя власти, образовавшіяся мимо законныхъ, — постороннія, побочныя вліянія? Что́ значитъ, что уже правятъ міромъ швеи, портные и ремесленники всякаго рода, а Божіи помазанники остались въ сторонѣ, — люди темные, никому неизвѣстные, неимѣющіе мыслей и чистосердечныхъ убѣжденій, правятъ мнѣніями и мыслями умныхъ людей? И газетный листокъ, признаваемый лживымъ всѣми, становится нечувствительнымъ законодателемъ его неуважающаго человѣка. Что́ значатъ всѣ незаконные эти законы, которые, видимо въ

виду всѣхъ, чертитъ исходящая снизу нечистая сила, и міръ это видитъ весь, и, какъ очарованный, не смѣетъ шевельнуться? Что́ за страшная насмѣшка надъ человѣчествомъ! Но зачѣмъ этотъ праздникъ? Зачѣмъ онъ приходитъ скликать въ одну семью разошедшихся людей? Зачѣмъ еще уцѣлѣли люди, которымъ кажется, какъ-бы они свѣтлѣютъ въ этотъ день и празднуютъ свое младенчество, то младенчество, отъ котораго небесное лобзаніе, какъ-бы лобзаніе вѣчной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратилъ гордый нынѣшній человѣкъ? Зачѣмъ еще не позабылъ человѣкъ на-вѣки это младенчество и, какъ-бы видѣнное въ какомъ-то отдаленномъ снѣ, оно еще шевелитъ нашу душу? Зачѣмъ все это, и къ чему это? Будто не извѣстно, зачѣмъ? Будто не видно, къ чему? Затѣмъ, чтобы хотя нѣкоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника. сдѣлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небѣ, и, завопивъ раздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинъ этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго вѣка, но въ обычаяхъ вѣчнаго вѣка, въ одинъ бы день только обнять и обхватитъ человѣка, какъ виноватый другъ обнимаетъ великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только затѣмъ, чтобы завтра же оттолкнуть его отъ себя и сказать ему, что онъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы только насильно заставить себя это сдѣлать, ухватиться бы за это, какъ утопающій хватается за доску! Богъ вѣсть, можетъ быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ небесъ намъ лѣстница и протянуться рука, помогающая возлетѣть по ней.

Но и одного дня не хочетъ провести такъ человѣкъ девятнадцатаго вѣка! И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мелчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только

въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!

Отчего же одному Русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется, какъ слѣдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землѣ? Мечта ли это? Но зачѣмъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кромѣ Русскаго? Что́ значитъ въ самомъ дѣлѣ, что видимые признаки праздника такъ ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова *Христосъ воскресъ!* и поцѣлуй, и всякій разъ также торжественно выступаетъ святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гулятъ и гудятъ по всей землѣ, точно какъ-бы будятъ насъ? Гдѣ носятся такъ очевидно признаки, тамъ недаромъ носятся; гдѣ будятъ, тамъ разбудятъ. Не умираютъ тѣ обычаи, которымъ опредѣлено быть вѣчными. Умираютъ въ буквѣ, но оживаютъ въ духѣ. Померкаютъ временно, умираютъ въ пустыхъ и вывѣтрившихся толпахъ, но воскресаютъ съ новою силою въ избранныхъ, затѣмъ, чтобы въ сильнѣйшемъ свѣтѣ отъ нихъ разлиться по всему міру. Не умретъ изъ нашей старины ни зерно того, что́ есть въ ней истинно-русскаго и что́ освящено самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поэтовъ, развозвѣстится благоухающими устами святителей, вспыхнетъ померкнувшее — и праздникъ Свѣтлаго Воскресенія воспразднуется какъ слѣдуетъ, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ опираясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ народовъ? Нѣтъ. Но есть въ нашей природѣ то, что́ намъ пророчитъ это. Уже самое нравственное неустройство наше намъ это пророчитъ. Мы еще растопленный металлъ, неотлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнутъ отъ себя намъ неприличное и внести въ себя все, что́ уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалив-

шимся въ ней. Что есть много въ коренной природѣ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа — доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ и приготовленная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово, что есть уже начала братства Христова въ самой нашей славянской природѣ и побратаніе людей было у насъ роднѣе дома и кровнаго братства, что еще нѣтъ у насъ непримиримой ненависти сословія противу сословія и тѣхъ озлобленныхъ партій, какія видятся въ Европѣ и которыя поставляютъ препятствіе непреоборимое къ соединенію людей и братской любви между ними, что есть, наконецъ, у насъ отвага, никому несродная, и если предстанетъ намъ всѣмъ какое-нибудь дѣло, рѣшительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, напримѣръ, сбросить съ себя вдругъ и разомъ всѣ недостатки наши, все позорящее высокую природу человѣка, то, съ болію собственнаго тѣла, не пожалѣвъ самихъ себя, какъ въ двѣнадцатомъ году, не пожалѣвъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки, какъ рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такія минуты всякія ссоры, ненависти, вражды — все бываетъ позабыто, братъ повиснетъ на груди у брата, и вся Россія — одинъ человѣкъ. Вотъ на чемъ основываясь, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова воспразднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говоритъ мнѣ это душа моя; и это не мысль, выдуманная въ головѣ. Такія мысли не выдумываются. Внушеніемъ Божіимъ порождаются онѣ разомъ въ сердцахъ многихъ людей, другъ друга невидавшихъ, живущихъ на разныхъ концахъ земли, и въ одно время, какъ-бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что ни одинъ человѣкъ въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо вѣритъ тому и говоритъ: «У насъ прежде, нежели во всякой другой землѣ, воспразднуется Свѣтлое Воскресеніе Христово!»

АВТОРСКАЯ ИСПОВѢДЬ.

Всѣ согласны, въ томъ, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразныхъ толковъ, какъ «Выбранныя Мѣста изъ Переписки съ Друзьями,» и — что́ всего замѣчательнѣй, чего не случилось, можетъ быть, доселѣ еще ни въ какой литературѣ — предметомъ толковъ и критикъ стала не книга, но авторъ. Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеньемъ. Какъ, однакоже, ни были потрясающи и обидны для человѣка благороднаго и честнаго многіе заключенія и выводы, но, скрѣпясь, сколько достало небольшихъ силъ моихъ, я рѣшился стерпѣть все и воспользоваться этимъ случаемъ, какъ указаньемъ свыше разсмотрѣть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегалъ совѣтами, мнѣньями, осужденьями и упреками, увѣряясь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, что если только истребишь въ себѣ тѣ щекотливыя струны, которыя способны раздражаться и гнѣваться, и приведешь себя въ состояніе все выслушивать спокойно, тогда услышишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогѣ тогда, когда сложишь всѣ голоса и сообразишь крайности обѣихъ сторонъ, словомъ — тотъ всѣми искомый средній голосъ, который недаромъ называютъ «гласомъ

народа и гласомъ Божіимъ.» Но на этотъ разъ, не смотря на то, что многіе упреки были истинно полезны душѣ моей, я не услышалъ этого средняго голоса и не могу сказать, чѣмъ рѣшилось дѣло и чѣмъ опредѣлено считать мою книгу. Въ итогѣ мнѣ послышались три разныя мнѣнія: *первое*, что книга есть произведеніе неслыханной гордости человѣка, возмнившаго, что онъ сталъ выше всѣхъ своихъ читателей, имѣетъ право на вниманье всей Россіи и можетъ преобразовать цѣлое общество; *второе*, что книга эта есть твореніе добраго, но впадшаго въ прелесть и въ обольщенье человѣка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ самоуслажденія своими достоинствами, который въ слѣдствіе этото сбился и спутался; *третье*, что книга есть произведеніе христіянина, глядящаго съ вѣрной точки на вещи и ставящаго всякую вещь на ея законное мѣсто. На сторонѣ каждаго изъ этихъ мнѣній находятся равно просвѣщенные и умные люди, а также и равно вѣрующіе христіяне. Стало быть, ни одно изъ этихъ мнѣній, будучи справедливо *отчасти*, никакъ не можетъ быть справедливо *вполнѣ*. Справедливѣе всего слѣдовало бы назвать эту книгу вѣрнымъ зеркаломъ человѣка. Въ ней находится то же, что́ во всякомъ человѣкѣ: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живетъ у всякаго человѣка, если толко онъ почувствовалъ, что́ такое добро; сознанье искреннее своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнѣнье о своихъ достоинстахъ; желанье искреннее учиться самому и рядомъ съ нимъ увѣренность, что можешь научить многому и другихъ; смиренье и рядомъ съ нимъ гордость, и, можетъ быть, гордость въ самомъ смиреніи; упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за что́ достоинъ еще бо́льшихъ упрековъ. Словомъ, то же, что́ въ каждомъ человѣкѣ, съ той только разницей, что здѣсь слетѣли всѣ условія и приличія и все, что́ таитъ внутри человѣкъ, выступило наружу; съ той еще разницей, что завопило это кричливѣй и громче, какъ въ писателѣ, у котораго все,

что́ ни есть въ душѣ, просится на свѣтъ; ударилось ярче всѣмъ въ глаза, какъ въ человѣкѣ, получившемъ на долю больше способностей, сравнительно съ другимъ человѣкомъ. Словомъ, книга, можетъ послужить только доказательствомъ великой истины словъ апостола Павла, сказавшаго, что всякъ человѣкъ есть ложь. [1])

Но къ этому заключенію, можетъ быть, болѣе всѣхъ прочихъ справедливому, никто не пришелъ, потому что торжественный тонъ самой книги и необыкновенный слогъ ея сбилъ болѣе или менѣе всѣхъ и не поставилъ никого на надлежащую точку воззрѣнія. Издавая ее подъ вліяньемъ страха смерти своей, который преслѣдовалъ меня во все время болѣзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда я уже былъ внѣ опасности, я нечувствительно перешелъ въ тонъ, мнѣ несвойственный и ужъ вовсе неприличный еще живущему человѣку. Изъ боязни, что мнѣ не удастся окончить того сочиненія моего, которымъ занята была постоянно мысль моя въ теченіе десяти лѣтъ, я имѣлъ неосторожность заговорить впередъ кое о чемъ изъ того, что́ должно было мнѣ доказать въ лицѣ выведенныхъ героевъ повѣствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неумѣстную проповѣдь, странную въ устахъ автора, — въ какія-то мистическія непонятныя мѣста, невяжущіяся съ остальными письмами. Далѣе, принять надобно въ разсчетъ разнообразный тонъ самихъ писемъ, писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, писанныхъ въ разныя времена моего душевнаго состоянія. Одни были писаны въ то время, когда я, воспитываясь самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ въ то же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; другія были писаны въ то время, когда я сталъ чувствовать, что упреки слѣдуетъ приберечь для самого себя, въ рѣчахъ же съ другими слѣдуетъ употреблять одну только братскую лю-

---

1) Посл. къ Римл. гл. 3, ст. 4.

бовь: отъ этого и мягкость, и рѣзкость встрѣтились почти вмѣстѣ. Наконецъ, непомѣщеніе многихъ тѣхъ статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связывавшія и объясняющія многое. Тутъ же моя собственная темнота и неумѣнье выражаться: принадлежности не вполнѣ организовавшагося писателя. Все это споспѣшествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести безчисленное множество выводовъ и заключеній не въ-попадъ. Гордость отъискали въ тѣхъ словахъ, которыя подвигнуты были, можетъ быть, совершенно противоположною причиною; гдѣ же была дѣйствительно гордость, тамъ ея не замѣтили; назвали уничиженьемъ то, что́ было вовсе не уничиженьемъ. А что́ главнѣе всего: не было двухъ человѣкъ, совершенно сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило дѣло до разбора книги по частямъ, что́ весьма справедливо дало замѣтить нѣкоторымъ, что́ въ сужденіяхъ своихъ о моей книгѣ всякій выражалъ болѣе самого себя, чѣмъ меня, или мою книгу. Разумѣется, всему виною — я. А потому во всѣхъ нападеніяхъ на мои личныя нравственныя качества, какъ ни оскорбительны они для человѣка, въ комъ еще не умерло благородство, я не имѣю права обвинить никого.

Сдѣлаю вскользь замѣчанья два на то, что́ не относится до моихъ нравственныхъ качествъ. Меня изумило, когда люди умные стали дѣлать придирки къ словамъ, совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя-тремя мѣстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя духу всего сочиненія. Изъ двухъ-трехъ словъ, сказанныхъ такому помѣщику, у котораго всѣ крестьяне земледѣлцы, озабоченные круглой годъ работой, вывести заключеніе, что я воюю противъ просвѣщенья народнаго — это показалось мнѣ странно, тѣмъ болѣе, что я полжизни думалъ самъ о томъ, какъ бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что́ прежде нужно подать народу. А покуда нѣтъ такихъ

умныхъ книгъ, мнѣ казалось, что слово устное пастырей Церкви полезнѣй и нужнѣе для мужиковъ всего того, что́ можетъ сказать ему нашъ братъ писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоялъ за просвѣщенье народное; но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщенье самого народа, полезнѣй просвѣщенье тѣхъ, которые имѣютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ которыхъ часто терпитъ народъ. Мнѣ казалось, наконецъ, гораздо болѣе требовавшимъ вниманія къ себѣ не сословіе земледѣльцевъ, но то мелкое сословіе, нынѣ увеличивающееся, которое вышло изъ земледѣльцевъ, которое занимаетъ разныя мелкія мѣста и, не имѣя никакой нравственности, не смотря на небольшую грамотность, вредитъ всѣмъ, затѣмъ чтобы жить на счетъ бѣдныхъ. Для этого-то сословія мнѣ казались наиболѣе необходимыми книги умныхъ писателей, которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, съумѣли бы имъ ихъ объяснить. А землепашецъ нашъ мнѣ всегда казался нравственнѣе всѣхъ другихъ и менѣе другихъ нуждающимся въ наставленіяхъ писателя. То же не менѣе страннымъ показалось мнѣ, когда изъ одного мѣста моей книги, гдѣ я говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть много справедливаго, вывели заключеніе, что я отвергаю всѣ достоинства моихъ сочиненій и несогласенъ съ тѣми критиками, которые говорили въ мою пользу. [1]) Я очень помню и совсѣмъ не позабылъ, что по поводу небольшихъ моихъ достоинствъ, явились у насъ очень замѣчательныя критики, которыя навсегда останутся памятниками любви къ искусству, которыя возвысили въ глазахъ общества значенье поэтическихъ созданій. Но неловко же мнѣ говорить самому о своихъ достоинствахъ, да и съ какой стати? О недостаткахъ моихъ литературныхъ я заговорилъ потому, что

---

1) На завѣщанье не слѣдовало опираться: въ немъ судишь себя строго, потому что готовишься предстать на судъ предъ Того, предъ Которымъ ни одинъ человѣкъ не бываетъ правъ.

пришлось кстати, по поводу психологическаго вопроса, который есть главный предметъ всей моей книги. Какъ же не соображать этихъ вещей! Не менѣе странно также, изъ того, что я выставилъ ярко на видъ наши русскіе элементы, дѣлать выводъ, будто я отвергаю потребность просвѣщенья европейскаго и считаю ненужнымъ для русскаго знать весь трудный путь совершенствованья человѣческаго. И прежде, и теперь мнѣ казалось, что русскій гражданинъ долженъ знать дѣла Европы. Но я былъ убѣжденъ всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь изъ виду свои русскія начала, то знанья эти не принесутъ добра, собьютъ, спутаютъ и разбросаютъ мысли, намѣсто, того, чтобы сосредоточить и собрать ихъ. И прежде, и теперь я былъ увѣренъ въ томъ, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только съ помощью этого знанья можно почувствовать, что́ именно слѣдуетъ намъ брать и заимствовать изъ Европы, которая сама этого не говоритъ. Мнѣ казалось всегда, что прежде чѣмъ вводить что-либо новое, нужно, не какъ нибудь, но въ корнѣ узнать старое; иначе примѣненье самаго благодѣтельнѣйшаго въ наукѣ открытія не будетъ успѣшно. Съ этой цѣлью я и заговорилъ преимущественно о старомъ.

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односторонними, всѣ эти придирки къ словамъ, а не къ смыслу и духу сочиненія, показываютъ мнѣ то, что никто не былъ въ спокойномъ расположеньи, когда читалъ мою книгу; что уже впередъ установилось какое-то предубѣжденье, прежде чѣмъ она явилась въ свѣтъ, и всякой глядѣлъ на ее въ слѣдствіе уже заготовленнаго впередъ взгляда, останавливаясь только надъ тѣмъ, что́ укрѣпляло его въ предубѣжденіи, и проходя мимо все то, что́ способно опровергнуть предубѣжденья, а самого читателя успокоить. Сила этого страннаго раздраженья была такъ велика, что даже разрушила всѣ тѣ приличія, которыя доселѣ еще сохранились относительно писателя. Почти въ глаза

автору стали говорить, что онъ сошелъ съ ума, и прописывали ему рецепты отъ умственнаго разстройства. Не могу скрыть, что меня еще болѣе опечалило, когда люди также умные, и притомъ нераздраженные, провозгласили печатно, что въ моей книгѣ ничего нѣтъ новаго, что́ же и ново въ ней, то ложь, а не истина. Это показалось мнѣ жестоко. Какъ бы то ни было, но въ ней есть моя собственная исповѣдь, въ ней есть изліянье и души, сердца моего. Я еще не признанъ публично безчестнымъ человѣкомъ, которому бы никакого довѣрія нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть въ заблужденіе, какъ и всякой человѣкъ, могу сказать ложь, въ томъ смыслѣ, какъ и всякъ человѣкъ есть ложь: но назвать все, что́ излилось изъ души и сердца моего ложью — это жестоко. Это несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ книгѣ моей ничего нѣтъ новаго. Исповѣдь человѣка, который провелъ нѣсколько лѣтъ внутри себя, который воспитывалъ себя, какъ ученикъ, желая вознаградить хотя поздно за время, потерянное въ юности, и который притомъ не во всемъ похожъ на другихъ и имѣетъ нѣкоторыя свойства, ему одному принадлежащія, — исповѣдь такого человѣка не можетъ не представить чего-нибудь новаго. Какъ бы то ни было, но въ такомъ дѣлѣ, гдѣ замѣшалась душа, нельзя такъ рѣшительно возвѣщать приговоръ. Тутъ и наиглубокомысленнѣйшій душевѣдецъ призадумается. Въ душевномъ дѣлѣ трудно и надъ человѣкомъ обыкновеннымъ произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не подвластны холодному разсужденію, какъ бы уменъ ни былъ разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тѣхъ душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша расположена къ исповѣди, къ обращенью на себя, къ охужденью себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой рѣшительности, съ какою былъ произнесенъ этотъ приговоръ, мнѣ показалась большая собственная самоувѣренность судившаго въ умѣ своемъ и въ верховности своей точки воззрѣнія. Не съ тѣмъ я здѣсь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но

съ тѣмъ, чтобы показать только, какъ на всякомъ шагу мы близки къ тому, чтобы впасть въ тотъ порокъ, въ которомъ только-что попрекнули своего брата, какъ, укоривши въ самоувѣренности другого, мы тутъ же, бываемъ неснисходительны и придирчивы сами. Благороденъ по крайней мѣрѣ тотъ, кто имѣетъ духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ глазахъ всего свѣта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. Вовсе не затѣмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ сторонъ моихъ, я подаю теперь голосъ. Нѣтъ, я считаю обязанностью отвѣчать только на тотъ запросъ, который сдѣланъ мнѣ почти единоустно отъ лица читателей всѣхъ моихъ прежнихъ сочиненій, — запросъ: зачѣмъ я оставилъ тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвердилъ, гдѣ былъ почти господинъ, и принялся за другое, мнѣ чуждое?

Чтобы отвѣчать на этотъ запросъ, я рѣшаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повѣсть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливѣе осудить меня, чтобы увидалъ читатель, перемѣнялъ ли я поприще свое, умничалъ ли самъ отъ себя, желая дать себѣ другое направленіе, или и въ моей судьбѣ, такъ же какъ и во всемъ, слѣдуетъ признать участіе Того, Кто располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ хочется, и съ Которымъ трудно бороться человѣку. Можетъ быть, эта чистосердечная повѣсть моя послужитъ объясненьемъ хотя нѣкоторой части того, что́ кажется такой необъяснимой загадкой для многихъ, въ недавно вышедшей моей книгѣ. Если бы случилось такъ, я былъ бы этому истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня утомила сильно и мнѣ не легко самому отъ этого вихря недоразумѣній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ мнѣ никогда не

всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я выслужусь и все это доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ моихъ дѣлъ и занятій. Первые мои опыты, первыя упряженья въ сочиненьяхъ, къ которымъ я получилъ навыкъ въ послѣднее время пребыванья моего въ школѣ, были почти всѣ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявшіеся вмѣстѣ со мной съ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, не смотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими шутками, — хотя въ самыхъ раннихъ сужденьяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманья другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но *угадать* человѣка, то есть, угадать, что́ онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаньемъ самого склада и образа его мыслей и рѣчей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думалъ о томъ, что сдѣлаю со временемъ изъ этого употребленіе.

Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что́ только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе

вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ быть, съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое сочиненіе и наконецъ, одинъ разъ, послѣ того какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: «Какъ съ этой способностью угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью, не приняться за большое сочиненіе! это, просто, грѣхъ!» Вслѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могутъ прекратить мою жизнь рано, привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который, хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но если бы не принялся за «Донкишота,» никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями, и, въ заключенье всего, отдалъ мнѣ свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ хотѣлъ сдѣлать самъ что-то въ родѣ поэмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ «Мертвыхъ Душъ.» (Мысль «Ревизора» принадлежитъ также ему.) На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно, — тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе года, когда самъ собой приходитъ запросъ всякому поступку: зачѣмъ и для чего его дѣлаешь? Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная, зачѣмъ. Если смѣяться, такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что́ дѣйствительно достойно осмѣянья всеобщаго. Въ «Ревизорѣ» я рѣшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣла-

ются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненьяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотолѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами, окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. Послѣ «Ревизора,» я почувствовалъ, болѣе нежели когда либо прежде, потребность сочиненья полнаго, гдѣ было бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ находилъ, что сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» хорошъ для меня тѣмъ, что даетъ полную свободу изъѣздить вмѣстѣ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ-было писать, не опредѣливши себѣ обстоятельнаго плана, не давши себѣ отчета, что́ такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ, просто, что смѣшной проэктъ исполненьемъ котораго занятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самомъ охота смѣяться создастъ сама собою множество смѣшныхъ явленій, которыя я намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ? къ чему это? что́ долженъ сказать собою такой-то характеръ? что́ должно́ выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что́ нужно дѣлать, когда приходятъ такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли предо мною. Не чувствуя существенной надобности въ томъ и другомъ героѣ, а не могъ почувствовать и любви къ дѣлу изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильственно и даже то, надъ чѣмъ я смѣялся, становилось печально.

Я увидѣлъ ясно, что больше не могу писать безъ

плана, вполнѣ опредѣлительнаго и яснаго, что слѣдуетъ хорошо объяснить себѣ цѣль сочиненія своего, его существенную полезность и необходимость, въ слѣдствіе чего самъ авторъ возгорѣлся бы любовью истинной и сильной къ труду своему, которая животворитъ все и безъ которой нейдетъ работа. Словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣдился самъ авторъ, что, творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, онъ служитъ въ то же самое время такъ же государству своему, какъ-бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ. Мысль о службѣ у меня никогда не пропадала. Прежде чѣмъ вступить на поприще писателя, я перемѣнилъ множество разныхъ мѣстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тѣми, которые надо мной были постановлены. Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мнѣ не доставало затѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотѣлъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побѣдить въ себѣ всѣ щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взялъ мѣсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тѣхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое мѣсто; что позабыть нужно обо всѣхъ огорченіяхъ собственныхъ. Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно честно служить Россіи, нужно имѣть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всѣ другія чувства, — нужно имѣть много любви къ человѣку вообще и сдѣлаться истиннымъ христіяниномъ, во всемъ смыслѣ этого слова. А потому и немудрено, что, не имѣя этого въ себѣ, я не могъ служить такъ, какъ хотѣлъ, не смотря на то, что сгаралъ дѣйствительно желаньемъ служить честно. Но какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросилъ все, и прежнія свои должности, и Петербургъ, и общество близкихъ душѣ моей

людей, и самую Россію затѣмъ чтобы вдали и въ уединеньи отъ всѣхъ обсудить, какъ это сдѣлать, какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей. Чѣмъ болѣе обдумывалъ я свое сочиненіе, тѣмъ болѣе чувствовалъ, что оно можетъ дѣйствительно принести пользу. Чѣмъ болѣе я обдумывалъ мое сочиненіе, тѣмъ болѣе видѣлъ, что не случайно слѣдуетъ мнѣ взять характеры, какіе, попадутся, но избрать одни тѣ, на которыхъ замѣтнѣй и глубже отпечатлѣлись истинно русскія коренныя свойства наши. Мнѣ хотѣлось въ сочиненіи моемъ выставить преимущественно тѣ высшія свойства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо, и преимущественно тѣ низкія, которыя еще недостаточно всѣми осмѣяны и поражены. Мнѣ хотѣлось сюда собрать одни яркія психологическія явленія, помѣстить тѣ наблюденія, которыя я дѣлалъ издавна сокровенно надъ человѣкомъ, которыхъ не довѣрялъ дотолѣ перу, чувствуя самъ незрѣлость его, которыя бывъ изображены вѣрно, послужили бы разгадкой многаго въ нашей жизни. Словомъ, хотѣлось, чтобы, по прочтеньи моего сочиненія, предсталъ какъ-бы невольно весь русской человѣкъ, со всѣмъ разнообразьемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всѣмъ множествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, также преимущественно предъ всѣми другими народами. Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что къ нимъ возгорится любовью русской человѣкъ, а сила смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, если бы даже нашелъ ихъ въ себѣ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будетъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ случаѣ, когда узнаю очень хорошо самъ, *что* дѣйствительно въ нашей природѣ есть достоинства и *что́* въ ней дѣйствительно есть недостатки. Нужно очень хо-

рошо взвѣсить и оцѣнить то и другое, и объяснить себѣ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинство того, что́ есть грѣхъ нашъ, и не поразить смѣхомъ вмѣстѣ съ недостатками нашими и того, что́ есть въ насъ достоинство. Мнѣ не хотѣлось даромъ тратить силу. Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ начали говорить, что я смяюсь не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всѣмъ человѣкомъ, но и надъ мѣстомъ, надъ самою должностію, которую онъ занимаетъ (чего никогда я даже не имѣлъ и въ мысляхъ), я увидалъ, что нужно съ смѣхомъ быть очень осторожнымъ, — тѣмъ болѣе, что онъ заразителенъ и сто́итъ только тому, кто поостроумнѣй, посмѣяться надъ одной стороной дѣла, какъ уже, вслѣдъ за нимъ, тотъ кто потупѣе и поглупѣй, будетъ смѣяться надъ всѣми сторонами дѣла. Словомъ, я видѣлъ ясно, какъ дважды два четыре, что покамѣсть не опредѣлю самому себѣ ясно, высокое и низкое природы нашей, достоинства и недостатки наши, мнѣ нельзя приступить къ дѣлу; а чтобы опредѣлить себѣ природу русскаго человѣка, слѣдуетъ узнать получше природу человѣка вообще и душу человѣка вообще. Безъ этого не станешь на ту точку воззрѣнія, съ которой увидятся ясно недостатки и достоинства всякаго народа.

Съ этихъ поръ человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе на узнанье тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познанье людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустыника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ Немъ ключъ къ душѣ человѣка и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ на ту высоту познанья душевнаго, на которой стоялъ

Онъ. Повѣркой разума повѣрилъ я то, что́ другіе понимаютъ ясной вѣрой и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно. Къ этомоу привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой: я увидѣлъ тоже математически ясно, что говорить и писать о высшихъ чувствахъ и движеньяхъ человѣка нельзя по воображенью. Нужно заключить въ себѣ самомъ хотя небольшую крупицу этого, словомъ — нужно сдѣлаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно страннымъ, особенно для тѣхъ, которые получили въ юности совершенно оконченное и полное воспитаніе. Но надобно сказать, что я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученьи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія. Я наблюдалъ надъ собой, какъ учитель надъ ученикомъ не въ книжномъ ученьи, но и въ простомъ нравственномъ, глядя на себя самаго, какъ на школьника. Я помѣстилъ кое-что изъ этихъ продѣлокъ надъ самимъ собою въ книгѣ моихъ писемъ, вовсе не затѣмъ, чтобы пощеголять чѣмъ-нибудь (да и не знаю, чемъ тутъ щеголять!), но изъ желанья добра: авось кому-нибудь принесетъ это пользу. Я былъ увѣренъ, что многіе, подобно мнѣ, воспитались въ школѣ плохо и потомъ, подобно мнѣ, спохватились, жалая искренно себя поправить. Я часто слышалъ, какъ многіе жаловались, что не могутъ отстать отъ дурныхъ привычекъ, при всемъ желаньи своемъ отстать отъ нихъ. Я и помѣстилъ это, кое-какъ приспособивши къ другому, и помѣстилъ это я не иначе, какъ увидѣвши на опытѣ, что многое изъ этогоу же принесло пользу нѣкоторымъ людямъ, мнѣ знакомымъ. Въ отвѣтъ же тѣмъ, которые попрекаютъ мнѣ, зачѣмъ я выставилъ свою внутреннюю клѣть, могу сказать то, что всё таки я еще не монахъ, а писатель. Я поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ всѣ тѣ писатели, которые говорили, что́ было на душѣ. Если бы и съ Карамзинымъ случилась эта внутренняя исторія во время его писательства,

онъ бы ее также выразилъ. Но Карамзинъ воспитался въ юношествѣ. Онъ образовался уже, какъ человѣкъ и гражданинъ, прежде чѣмъ выступилъ на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считалъ ни для кого соблазнительнымъ открыть публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чѣмъ я есмь. Я не нахожу соблазнительнымъ томиться и сгарать явно, въ виду всѣхъ, желаньемъ совершенства, если сходилъ затѣмъ самъ Сынъ Божій, чтобы сказать намъ всѣмъ: «Будте совершенны, такъ какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный.» Что́ же касается до обвиненія, будто я, изъ желанья похвататься смиреньемъ, въ книгѣ моей показалъ уничиженье паче гордости, то на эго скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здѣсь нѣтъ. Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ признаковъ. Противнымъ дѣйствительно я казался себѣ самому вовсе не отъ смиренья, но потому, что въ мысляхъ моихъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ яснѣе представлялся идеалъ прекраснаго человѣка, тотъ благостный образъ, какимъ долженъ быть на землѣ человѣкъ, и мнѣ становилось всякой разъ послѣ этого противно глядѣть на себя. Это не смиреніе, но скорѣе то чувство, которое бываетъ у завистливаго человѣка, который, увидѣвши въ чужихъ рукахъ вещь лучшую, бросаетъ свою и не хочетъ уже глядѣть на нее. Притомъ мнѣ посчастливилось встрѣтить на вѣку своемъ, и особенно въ послѣднее время, нѣсколько такихъ людей, передъ душевными качествами которыхъ показались мнѣ мелкими мои качества, и всякой разъ я негодовалъ на себя за то, что не имѣю того, что́ имѣютъ другіе. Тутъ нужно обвинять развѣ завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторіи. Итакъ на нѣкоторое время занятіемъ моимъ сталъ не русской человѣкъ и Россія, но человѣкъ и душа человѣка вообще. Все меня приводило въ это время къ изслѣдованію общихъ законовъ души нашей: мои собственныя душевныя обстоятельства, наконецъ обстоятельства внѣшнія, надъ которыми мы не властны и которыя всякой разъ обращали меня противовольно вновь къ тому же предмету,

какъ только я отъ него отдалялся. Нѣсколько разъ, упрекаемый въ недѣятельности, я принимался за перо, хотѣлъ насильно заставить, себя написать хоть что-нибудь въ родѣ небольшой повѣсти, или кого-нибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести ничего. Усилія мои оканчивались почти всегда болѣзнію, страданіями и наконецъ такими припадками, въ слѣдствіе которыхъ нужно было надолго отложить всякое занятіе. Что́ мнѣ было дѣлать? Виноватъ я развѣ былъ въ томъ, что не въ силахъ былъ повторять то же, что́ говорилъ, или писалъ въ мои юношескіе годы? Какъ-будто двѣ весны бываетъ въ возрастѣ человѣческомъ! И если всякъ человѣкъ подверженъ этимъ необходимымъ перемѣнамъ при переходѣ изъ возраста въ возрастъ, почему же одинъ писатель долженъ быть исключеньемъ? Развѣ писатель такъ же не человѣкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ тою же дорогою. Предметъ у меня былъ всегда одинъ и тотъ же: предметъ у меня былъ — жизнь, а не что́ другое. Жизнь я преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ въ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеньяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманья людьми, — и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу. Я не успокоился по тѣхъ поръ, покуда не разрѣшились мнѣ нѣкоторые собственные мои вопросы относительно меня самого и только тогда, когда нашелъ удовлетворенье въ нѣкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ моему сочиненію, первая часть котораго составляетъ еще понынѣ загадку, потому что заключаетъ въ себѣ нѣкоторую часть переходнаго состоянья моей собственной души, тогда какъ еще не вполнѣ отдѣлилось во мнѣ то, чему слѣдовало отдѣлиться.

Какъ только кончилось во мнѣ это состояніе, и жажда знать человѣка вообще удовлетворилась, во мнѣ

родилось желанье сильное знать Россію. Я сталъ знакомиться съ людьми, отъ которыхъ могъ чему-нибудь научиться и разъузнать, что́ дѣлается на Руси; старался наиболѣе знакомиться съ такими опытными практическими людьми всѣхъ сословій которые обращены были лицомъ ко всякимъ продѣлкамъ внутри Россіи. Мнѣ хотѣлась сойтись съ людьми всѣхъ сословій и отъ каждаго что-нибудь узнать. Всякой должностной и чѣмъ-нибудь занятой человѣкъ сталъ въ глазахъ моихъ интересенъ. Прежде всего я хотѣлъ опредѣлить себѣ всякую должность, всякое сословіе, всякое мѣсто и всякое званіе въ государствѣ. Мнѣ казалось это необходимымъ для писателя, который беретъ людей на разныхъ поприщахъ. Не содержа въ собственной головѣ своей всего долга и всей обязанности того человѣка, котораго описываешь, не выставишь его какъ слѣдуетъ вѣрно и притомъ такъ, чтобы онъ дѣйствительно былъ въ урокъ и въ поученье живущему. Изъза этого я старался завести переписку съ такими людьми, которые могли мнѣ что-нибудь сообщать. Прочихъ я просилъ набрасывать легкіе портреты и характеры, первые, какіе имъ попадутся. Все это было мнѣ нужно не затѣмъ, чтобы въ головѣ моей не было ни характеровъ, ни героевъ: ихъ было у меня уже много: они выработались изъ познанія природы человѣческой гораздо полнѣйшаго, чѣмъ какое было во мнѣ прежде; но свѣдѣнія эти мнѣ, просто, нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственнаго сочиненія. Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ къ себѣ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ, затѣмъ, чтобы держать передъ собою неотлучно, чтобы не погрѣшить ни въ чемъ противъ дѣйствительности, противу времени, или эпохи, какая имъ взята. Я никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что́ взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подроб-

ности его внѣшности. Я никогда не *писалъ* портрета, въ смыслѣ простой копіи. Я *создавалъ* портретъ, но создавалъ его въ слѣдствіе соображенья, а не воображенья. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображенье, тѣмъ у меня вѣрнѣй выходило созданье. Мнѣ нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ, потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображенье — и ложь у меня выступила ярче, нежели у кого другого. Этого я никакъ не могъ объяснить никому, а потому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ я желалъ. Всѣ только удивлялись, какъ могъ я требовать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имѣю такое воображеніе, которое можетъ само творить и производить. Но воображенье мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдѣ-нибудь подмѣтилъ мой взглядъ натурѣ. Я помѣстилъ въ книгѣ моей: «Переписка съ Друзьями» нѣсколько писемъ къ помѣщикамъ и къ разнымъ должностнымъ лицамъ (изъ нихъ большая часть не напечатана) вовсе не затѣмъ, чтобъ со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ. Возраженья такого рода отъ людей практическихъ и опытныхъ для меня важны тѣмъ, что поставляютъ меня ближе къ дѣлу, раскрывая мнѣ глубже внутренность Россіи. Вмѣсто дѣлъ интересныхъ для всякаго русскаго человѣка, и нашихъ русскихъ вопросовъ, занялись моей собственной личностью, исписали цѣлые листы о томъ, имѣю ли я право мѣшаться въ подобныя дѣла. Я сдѣлалъ въ то же время воззванье ко всѣмъ читателямъ «Мертвыхъ Душъ,» воззванье нѣсколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ многіе посмѣются: но я готовъ былъ выдержать всякое осмѣяніе, лишь бы только добиться своего. Я думалъ, что, можетъ, хоть пять, шесть человѣкъ захотятъ исполнить мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ собственно поправокъ на «Мертвыя Души:» мнѣ хо-

тѣлось, подъ этимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспоминаній о тѣхъ характерахъ и лицахъ, съ которыми случилось кому встрѣтиться на вѣку, изображенія тѣхъ случаевъ, гдѣ пахнетъ Русью. Зная, что у всѣхъ насъ есть какая-то лѣнь на подъемъ, на работу, въ слѣдствіе которыхъ почти всякому изъ насъ трудно что-нибудь доставать изъ своей памяти, и думалъ, что чтенье «Мертвыхъ Душъ» можетъ расшевелить, особенно если и карандашъ, и бумага будетъ при этомъ подъ рукой. Я выставилъ свой адрессъ и просилъ прислать мнѣ въ письмѣ только тѣхъ, которые не захотѣли бы печатать, но вообще я считалъ гораздо полезнѣе сдѣлать ихъ всеобщею извѣстностью. Мнѣ казалось даже необходимымъ и въ нынѣшнее время это распространеніе извѣстій о Россіи посредствомъ живыхъ фактовъ, потому что въ это время, которое не даромъ называютъ переходнымъ, почти у всякаго человѣка, на всѣхъ поприщахъ, замѣтно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думалъ, что теперь болѣе, чѣмъ-когда либо, нужно намъ вывести наружу все, что́ ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разнородныхъ началъ состоитъ наша почва, на которой мы всѣ стремимся сѣять, и лучше бы осмотрѣлись прежде, чѣмъ произносить что-либо такъ рѣшительно, какъ нынѣ всѣ произносятъ. Я питалъ втайнѣ надежду, что чтенье «Мертвыхъ Душъ» наведетъ нѣкоторыхъ на мысль писать свои собственныя записки, что многіе почувствуютъ даже нѣкоторое обращеніе на самихъ себя, потому что и въ самомъ авторѣ, въ то время, когда писаны были «Мертвыя Души,» произошло нѣкоторое обращеніе на самого себя. Я думалъ, что тотъ, кто уже находится на склонѣ дней своихъ и тревожимъ мыслью, что жизнь его протекла безъ пользы и онъ сдѣлалъ мало для общаго добра земли своей, почувствуетъ сильнѣе, что онъ, вѣрнымъ и живымъ изображеніемъ людей, характеровъ и случаевъ своего времени, можетъ познакомить съ Русью другихъ людей, молодыхъ и начинающихъ дѣй-

ствовать, и такимъ образомъ больше чѣмъ вознаградитъ прекрасно за свою недѣятельность. Молодой же, тотъ, кто вступаетъ еще на поприще, кто еще ни къ чему не охладѣлъ и потому имѣетъ живость взгляда, кого любопытно занимаетъ все, можетъ изобразить эпоху современную, какъ она представляется молодымъ глазамъ юноши. Словомъ, я думалъ, какъ дитя; я обманулся нѣкоторыми: я думалъ, что въ нѣкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще тогда, что мое имя въ ходу только затѣмъ, чтобы попрекнуть другъ друга и посмѣяться другъ надъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смѣялась вовсе не изъ злобнаго желанья. Но на мое приглашеніе я не получилъ записокъ; въ журналахъ мнѣ отвѣчали насмѣшками. Привожу все это затѣмъ, чтобы показать, какъ я употреблялъ всѣ силы держаться на своемъ поприщѣ и придумывалъ всѣ средства, которыя могли двинуть мою работу, не имѣя и въ мысляхъ оставлять званіе писателя. Не могу не замѣтить при этомъ случаѣ, что многіе изъявили изумленіе тому, что я такъ желаю извѣстій о Россіи и въ то же время самъ остаюсь внѣ Россіи, не соображая того, что, кромѣ болѣзненнаго состоянія моего здоровья, потребовавшаго теплаго климата, мнѣ нужно было это удаленіе отъ Россіи затѣмъ, чтобы пребывать живѣе мыслію въ Россіи. Для тѣхъ, которые не могутъ этого почувствовать, объяснюсь, хотя мнѣ нѣсколько трудно объясняться во всемъ томъ, что́ составляетъ свойства, собственно мнѣ принадлежащія. Почти у всѣхъ писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньемъ, — способность представлять предметы отсутствующіе такъ живо, какъ-бы они были передъ нашими глазами. Способность эта дѣйсвуетъ въ насъ только тогда, когда мы отдалимся онъ предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты большею частію избирали эпоху, отъ насъ отдалившуюся, и погружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ всего, что́ ни есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то

тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья къ прошедшему. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынѣшнемъ быту, можетъ быть, оттого, что умъ мой былъ всегда наклоненъ къ существенности и къ пользѣ, болѣе осязательной. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе усиливалось во мнѣ желаніе быть писателемъ современнымъ. Но я видѣлъ въ то же время, что, изображая современность, нельзя находиться въ томъ высокомъ настроенномъ и спокойномъ состояніи, какое необходимо для произведенія большого и стройнаго труда. Настоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамѣтно переходитъ въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду другихъ и болѣе или менѣе дѣйствуя съ ними, видишь передъ собою только тѣхъ людей, которые стоятъ близко отъ тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я сталъ думать о томъ, какъ бы выбраться изъ ряду другихъ и статъ на такое мѣсто, откуда бы я могъ увидать всю массу, а не людей, только возлѣ меня стоящихъ, какъ бы, отдалившись отъ настоящаго, обратить его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленкія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но которыхъ тогда не умѣлъ еще переносить, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имѣлъ влеченья и страсти къ чужимъ краямъ. Я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній. Но, странное дѣло! даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что, именно для службы моей отчизнѣ, я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно, я даже не задумывался объ этомъ, но видѣлъ самого себя такъ живо, въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей

отчизнѣ, картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. Можетъ быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда Пушкина, ѣхать въ чужіе края, единственно затѣмъ, чтобы по выраженію его,

„Подъ небомъ Африки моей,
Вздыхать о сумрачной Россіи."

Какъ бы то ни было, но это противувольное мнѣ самому влеченье было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ, по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному. Проэктъ и цѣль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не затѣмъ, чтобы наслаждатся чужими краями, но скорѣй, чтобы натерпѣться, точно какъ-бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ англійскій, и на немъ ни души русской), мнѣ стало грустно; мнѣ сдѣлалось такъ жалко друзей и товарищей моего дѣтства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже подумалъ о возвратѣ. Три дни только я пробылъ въ чужихъ краяхъ и, не смотря на то, что новость предметовъ начала меня завлекать, я поспѣшилъ на томъ же самомъ пароходѣ возвратиться, боясь, что иначе мнѣ не удастся возвратиться. Съ тѣмъ поръ я далъ себѣ слово не питать и мысли о чужихъ краяхъ, — и точно, во все время пребыванья моего въ Петербургѣ, въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ, не приходили мнѣ никогда на мысли чужіе края, покамѣстъ обстоятельства моего здоровья, нѣкоторыя огорченья и наконецъ потребность бо́льшаго уединенія не заставили меня оставить Россію.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ даже съ тѣмъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думалъ, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я въ силахъ буду узнать многое.

Но странное дѣло: среди Россіи я почти не увидалъ Россіи. Всѣ люди, съ которыми я встрѣчался, большею частію любили поговорить о томъ, что́ дѣляется въ Европѣ, а не въ Россіи. Я узналъ только то, что́ дѣлается въ англійскомъ клубѣ, да кое-что изъ того, что́ я и самъ уже зналъ. Извѣстно, что всякій изъ насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знакомыхъ, изъ-за котораго трудно ему увидать людей посторонних: во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей такъ уже самъ по себѣ пріятенъ, что нужно имѣть слишкомъ много самоотверженія, чтобы изъ него вырваться. Всѣ, съ которыми мнѣ случилось познакомиться, надѣляли меня уже готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, которыхъ я искалъ. Я замѣтилъ вообще нѣкоторую перемѣну въ мысляхъ и умахъ. Всякъ глядѣлъ на вещи взглядомъ болѣе философическимъ, чѣмъ когда либо прежде, во всякой вещи хотѣлъ увидать ея глубокой смыслъ и сильнѣйшее значеніе: движенье, вообще показывающее большой шагъ общества впередъ. Но съ другой стороны, отъ этого произошла торопливость дѣлать выводы и заключенья изъ двухъ-трехъ фактовъ обо всемъ цѣломъ и безпрестанная позабывчивость того, что не всѣ вещи и не всѣ стороны соображены и взвѣшены. Я замѣтилъ, что почти у всякаго образовывалась въ головѣ своя собственная Россія, и оттого безконечные споры. Мнѣ нужно было не того: мнѣ нужно было, просто, такихъ бесѣдъ, какъ бывали въ старину, когда всякій разсказывалъ только то, что́ видѣлъ, слышалъ на своемъ вѣку, и разговоръ казался собраньемъ анекдотовъ, а не разсужденьемъ. Это мнѣ нужно было уже и потому, что я и самъ начиналъ заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщимъ повѣтріемъ нынѣшняго времени.

Провинціи наши меня еще болѣе изумили. Тамъ даже имя *Россія* не раздается на устахъ. Раздавалось, какъ мнѣ показалось, на устахъ только то, что́ было прочитано въ новѣйшихъ романахъ, переведенныхъ

съ французскаго. Словомъ, во все пребываньe мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣявалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое; духъ мой упадалъ, и самое желанье знать ее ослабѣвало. Но какъ только я выѣзжалъ изъ нея, она совокуплялась въ мысли моей вновь въ одно цѣлое, желанье знать ее пробуждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ, недавно выѣхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже умѣнье выспрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе недѣли. Всякій знаетъ, что за границей знакомства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіи и на зимовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы вѣкъ незнакомыми. Вотъ что́ заставило меня предпочесть пребываньe внѣ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи. Я очень долго думалъ о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъѣздами по государству немного возьмешь: останутся въ головѣ только станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для разъѣзжающаго не по казенной надобности; могутъ принять за какого нибудь шпіона, и пріобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя *безтолковщина*. Если же узнаютъ, что разъѣзжающій есть вмѣстѣ и писатель, тогда положенье еще смѣшнѣе: половина читающей Россіи увѣрена серьезно, что я живу единственно для осмѣянья всего, что́ ни есть въ человѣкѣ, отъ головы до ногъ. А между тѣмъ никогда еще до сихъ поръ не чувствовалъ я такъ сильно потребности знать современное состояніе русскаго человѣка, — тѣмъ болѣе, что теперь такъ разошлись всѣ въ образѣ мыслей, такъ вихорь недоразумѣній обуялъ всѣхъ, что никто не въ силахъ судить вѣрно другъ друга, и нужно какъ-бы щупать собственною рукою всякую вещь, не довѣряя никому. Я не могъ быть безъ этихъ свѣдѣній. Нынѣ

избранные характеры и лица моего сочиненія крупнѣе прежнихъ. Чѣмъ выше достоинство взятого лица, тѣмъ ощутительнѣе, тѣмъ осязательнѣй нужно выставить его передъ читателемъ. Для этого нужны всѣ тѣ безчисленныя мелочи и подробности, которыя говорятъ, что взятое лицо дѣйствительно жило на свѣтѣ; иначе оно станетъ идеальнымъ, будетъ блѣдно и, сколько ни навяжи ему добродѣтелей, будетъ всё ничтожно. Нужно, чтобы русской читатель дѣйствительно почувствовалъ, что выведенное лицо взято именно изъ того самого тѣла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и какъ-бы его собственное тѣло. Тогда только сливается онъ самъ съ своимъ героемъ и нечувствительно принимаетъ отъ него тѣ внушенія, которыхъ никакимъ разсужденьемъ и никакою проповѣдью не внушишь. Это полное воплощенье въ плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умѣ своемъ весь этотъ прозаическій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ всѣ крупные черты характера, соберу въ то же время вокругъ его все тряпье до малѣйшей булавки, которое кружится ежедневно вокругъ человѣка, словомъ,— когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, то есть, способный больше выводить, чѣмъ выдумывать. Мнѣ всегда нужно было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образовалось во мнѣ собственное мое мнѣніе, и тогда только мое мнѣніе находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не всѣхъ выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только рѣзко и необыкновенно. Даже въ нынѣшней моей книгѣ: «Переписка съ Друзьями,» въ которой многое походитъ на одни предположенія, собственно предположеній нѣтъ. Въ ней все выводы; но дѣло въ томъ, что одни выводы взяты изъ всѣхъ сторонъ дѣла и потому всѣмъ ясны, другіе изъ нѣкоторыхъ, не всѣмъ извѣстныхъ, и потому темны, а для многихъ кажутся даже и вовсе нелѣпицей. Вотъ отчего въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается

рядомъ и зрѣлость и незрѣлость, и мужъ и ребенокъ, и учитель и ученикъ.

Итакъ всего того, что́ мнѣ нужно я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдѣлался требователенъ къ самому себѣ? Какъ полетѣть воображеньемъ, если бы оно и было, когда разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вопросы: зачѣмъ? — Зачѣмъ случились многія такія обстоятельства, которыхъ я не призывалъ? Зачѣмъ мнѣ опредѣлено было не иначе пріобрѣсти познанье души человѣка, какъ произведя строгой анализъ надъ собственной душою? Зачѣмъ желаньемъ изобразить русскаго человѣка я возгорѣлся не прежде, какъ узналъ получше общіе законы дѣйствій человѣческихъ, и узналъ ихъ не прежде, какъ пришелъ къ Тому, Кто одинъ вѣдатель и дѣйствій человѣческихъ, и всѣхъ малѣйшихъ нашихъ душевыхъ тайнъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня? Зачѣмъ надобны были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человѣка? Зачѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности? Опредѣлите мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло, и тогда спрашивайте: зачѣмъ я не могу писать того, что́ писалъ? Я старался дѣйствовать на-перекоръ обстоятельствамъ и этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробовалъ нѣсколько разъ писать по-прежнему, какъ писалось въ молодости, то есть, какъ попало, куда ни поведетъ перо мое; но ничто не лилось на бумату. Обрадовавшись тому, что расписался кое-какъ въ письмахъ къ моимъ знакомымъ и друзьямъ, я захотѣлъ тотчасъ же изъ этого сдѣлать употребленіе, и едва только оправился отъ тажкой болѣзни моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать ей какой-нибудь порядокъ и послѣдовательность, чтобы она походила на

дѣльную книгу, не размысливъ того, что многое, обращенное къ нѣкоторымъ, общество приметъ на свой счетъ, особенно послѣ завѣщанья, обращеннаго къ лицу всѣхъ соотечественниковъ. Я боялся самъ разсматривать ея недостатки и почти закрылъ глаза на нее, зная, что если разсмотрю я построже мою книгу, можетъ быть, она будетъ такъ же уничтожена, какъ я уничтожилъ и «Мертвыя Души,» и какъ уничтожалъ все, что́ ни писалъ въ послѣднее время. Я думалъ, что этой книгой я хотя сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, обращу вниманіе на практическое и на дѣло жизни. Я думалъ вслѣдъ ея заговорить о томъ, что́ раскроетъ предо мною побольше Русь, освѣжитъ, оживитъ меня и заставитъ меня взяться за перо. Не тутъ-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышалъ только толки о томъ, что́ не рѣшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, какъ мнѣ показалось, началъ-было во мнѣ пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно самъ собой пришелъ теперь къ тому вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать себѣ: долженъ ли я въ самомъ дѣлѣ писать? долженъ ли я оставаться на этомъ поприщѣ, отъ котораго въ послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, если бы даже я въ силахъ былъ какъ-нибудь побѣдить (себя), перо мое получило бы бѣглость и страницы полились не принужденно одна за другою, — таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были дѣйствительно въ это время полезны и нужны нынѣшнему обществу? Бросимъ взглядъ на нынѣшнее состояніе общества: благопріятно ли нынѣшнее время для писателя вообще и вслѣдъ за тѣмъ для такого писателя, какъ я?

Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее время переходнымъ. Всѣ, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, нынѣ чувствуютъ, что міръ въ дорогѣ, а не у пристани, даже и не на ночлегѣ, не на временной станціи, или отдыхѣ. Все чего-то ищетъ, ищетъ

уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ и надъ политическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими вопросами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнаго порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дѣлается общею. Со всѣми замѣчательными, стоящими впереди другихъ людьми случились какіе-нибудь душевные внутренніе перевороты, съ иными даже въ такіе годы, въ какіе никогда невозможны были доселѣ перемѣны въ человѣкѣ и улучшенія. Всякъ болѣе или менѣе чувствуетъ, что онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состояніе. Но это желанное состояніе ищется всѣми; уши всѣхъ чутко обращены въ ту сторону, гдѣ думаютъ услышать хоть что-нибудь о вопросахъ, всѣхъ занимающихъ. Никто не хочетъ читать другой книги, кромѣ той, гдѣ можетъ содержаться хотя намекъ на эти вопросы. Надобны ли въ это время сочиненія такого писателя, который одаренъ способностью творить, создавать живые образы людей, и представлять ярко жизнь въ томъ видѣ, какъ она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Опредѣлимъ себѣ прежде, что́ такое тотъ писатель, котораго главный талантъ состоитъ въ творчествѣ.

Всѣ болѣе или менѣе согласны въ томъ, что писатель-творецъ творитъ творенье свое въ поученье людей. Требованья отъ него слишкомъ велики — и справедливо. Для того, чтобы передавать одну вѣрную копію съ того, что́ видишь передъ глазами, есть также другіе писатели, одаренные иногда въ высшей степени способностью живо-писать, но лишенные способности *творить*. Но кто создаетъ, кто трудится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его созданіе, тотъ долженъ уже потрудиться не даромъ. Нужно, чтобы въ созданьи его жизнь сдѣлала какой-нибудь шагъ впередъ и чтобы онъ, постигнувши современность, ставши въ уровень съ вѣкомъ, умѣлъ обратно воздать

ему за наученье себя наученьемъ его. Такъ по крайней мѣрѣ, опредѣляютъ поэтовъ и вообще писателей, надѣленныхъ творчествомъ, эстетики, какъ нынѣшняго времени, такъ и прежнихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видѣ, въ какомъ ихъ взялъ, для писателя-творца даже невозможно: это дѣло сдѣлаетъ лучше его тотъ, кто, владѣя бѣглою кистью, можетъ рисовать всякую минуту все, что́ проходитъ передъ его глазами, немучимый и нетревожимый внутри ни чѣмъ.

Стало быть въ нынѣшнее время, когда всѣ такъ заняты вопросомъ жизни, такой писатель можетъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, быть разрѣшителемъ современныхъ вопросовъ; но когда и въ какомъ случаѣ? Въ такомъ случаѣ и тогда, когда ужъ онъ все разрѣшилъ себѣ, что́ ни тревожитъ его самого. Если онъ, при всѣхъ великихъ дарахъ, при картинной живописи въ словѣ, при орлиной силѣ взгляда, при возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма, пріобрѣтетъ полное познанье земли своей и своего народа въ корнѣ и въ вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человѣчества, и какъ кремень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повелѣно быть крѣпкой скалой человѣку, тогда онъ выступай на поприще. Владѣя такими средствами, станетъ подавать онъ обществу людей, потребныхъ ему въ нынѣшнее время, въ современную эпоху и одѣнетъ ихъ портретною живостью, которая дѣлаетъ то, что изображенный образъ преслѣдуетъ насъ повсюду такъ, что нельзя оторваться. Разумѣется, съ такими средствами ему ничего не будетъ стоить выгнать изъ головы всѣхъ тѣхъ героевъ, которыхъ напустили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, намѣсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей, и двери сердецъ растворяются сами на-встрѣчу которымъ; если притомъ хотя каплю чувствуютъ читатели, что они взяты изъ нашей природы, изъ того же тѣла; тогда, разумѣется, кто можетъ нынѣ подѣйствовать сильнѣй такого писателя, и кто можетъ быть болѣе его нуж-

нымъ нынѣшнему времени и нынѣшней эпохѣ? Но если онъ, имѣя дѣйствительно нѣкоторыя изъ тѣхъ орудій, самъ еще не воспитался, какъ гражданинъ земли своей и гражданинъ всемірный, если онъ, покорный общему нынѣшнему влеченію всѣхъ, самъ еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще. Его вліянье можетъ быть скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Это строенье себя самого непремѣнно обнаружится во всемъ, что́ ни будетъ выходить изъ-подъ пера его. Чѣмъ онъ самъ менѣе похожъ на другихъ людей, чѣмъ онъ необыкновеннѣе, чѣмъ отличнѣе отъ другихъ, чѣмъ своеобразнѣе, тѣмъ больше можетъ произвести всеобщихъ заблужденій и недоразумѣній. То, что́ въ немъ есть не болѣе, какъ естественное проявленіе, законный ходъ его необыкновеннаго организма, состояніе духа времени, можетъ показаться другимъ людямъ верховною точкою, до которой слѣдуетъ всѣмъ дойти. Чѣмъ больше одушевится онъ любовью къ героямъ и лицамъ своимъ, чѣмъ больше отдѣлаетъ ихъ, чѣмъ съ большею живостью выставитъ ихъ, тѣмъ больше вреда. Примѣръ тому въ глазахъ нашихъ. Извѣстная французская писательница, больше всѣхъ другихъ надѣленная талантами, въ немного лѣтъ произвела сильнѣйшее измѣненье въ нравахъ, чѣмъ всѣ писатели, заботившіеся о развращеніи людей. Она, можетъ быть, и въ помышленьи не имѣла проповѣдывать развратъ, а обнаружила только временное заблужденье свое, отъ котораго потомъ, можетъ быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состоянія душевнаго. А слово уже брошено. *Слово какъ воробей*, говоритъ наша пословица: *выпустивши его, не схватишь потомъ.*

Я самъ писатель, нелишенный творчества; я владѣю нѣкоторыми изъ тѣхъ даровъ, которые способны увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ насъ, но совершается по волѣ высшей, я помышляю, о своемъ собственномъ строеніи, какъ помышляютъ и другіе, но чувствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышедшая книга:

«Переписка съ Друзьями» служитъ тому доказательствомъ. Если и эта книга неопредѣлительностью своею производитъ заблужденія, распространяетъ даже ложныя мысли, если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головѣ, какъ живыя картины, цѣликомъ фразы и страницы; что́ жъ бы было, если бы я выступилъ съ живыми образами повѣствовательнаго сочиненія на мѣсто этихъ писемъ? Я самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнѣй, чѣмъ въ разсужденіяхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, а тогда врядъ ли бы въ силахъ былъ меня кто опровергнуть. Образы мои были бы соблазнительны и такъ засѣли бы крѣпко въ головѣ, что и критикамъ ихъ оттуда бы не вытащить. Не нужно упускать того изъ виду, что всѣ выставленные лица и характеры должны были доказать истину моихъ собственныхъ убѣжденій, а мои убѣжденія . . . Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными мною «Мертвыми Душами,» не могу не возблагодарить за насланное мнѣ внушенье ихъ уничтожить. Въ книгѣ моихъ писемъ я всё таки стою на висшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ.» Темнота выраженія во многихъ мѣстахъ сбиваетъ только читателя; но если бы пояснѣе выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ» гораздо больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая опредѣлительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательнѣй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ, какъ честный человѣкъ, я долженъ былъ оставить перо, даже и тогда, если бы дѣйствительно почувствовалъ позывъ къ нему. На это дѣло слѣдуетъ взглянуть благоразумно. Всѣ тѣ, которые легкомысленно требуютъ отъ меня продолженія писать и въ то же время бранятъ мою нынѣш(нюю книгу), должны, по крайней мѣрѣ, разсмотрѣть поближе все это дѣло и не пропустить всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыхъ не пропускаетъ никакой судья, если только произноситъ надъ кѣмъ-либо судъ свой. Мнѣ кажется, что теперь

не только тотъ, кто пишетъ, но всякій умъ вообще, если только наклоненъ къ тому, чтобы дѣлать выводы и заключенья . . . долженъ удержаться отъ дѣятельности. Изъ людей умнѣйшихъ должны выступать на поприще только тѣ, которые кончили свое воспитанье и создались, какъ граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, которые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который далъ себѣ названье казака Луганскаго, умѣютъ по слѣдамъ его живописать природу, какъ она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошого въ русскомъ и руководствуясь единственно желаньемъ ввести всѣхъ въ дѣйствительное положеніе русскаго человѣка.

Мнѣ, вѣрно, потяжелѣй, чѣмъ кому-либо другому, отказаться отъ писательства, когда это составляло единственный предметъ всѣхъ моихъ помышленій, когда я все прочее оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что́ мило человѣку на землѣ, затѣмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ труда своего. Мнѣ не легко отказаться отъ писательства. Однѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тѣ, когда я наконецъ клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденье *творить*. Но, повторю вновь, какъ честный человѣкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, если бы почувствовалъ позывъ къ нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдѣлать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что — скажу откровенно — жизнь потеряла бы для меня тогда вдругъ всю цѣну, и не писать для меня совершенно значило бы тоже, что́ не жить. Но нѣтъ лишеній, вслѣдъ которымъ не посылалась бы намъ ихъ замѣна, во свидѣтельство того, что ни на малое время не оставляетъ человѣка Тотъ, Кто его создалъ. Сердце ни на минуту не остается пусто и не можетъ быть безъ какого-нибудь желанья. Какъ земля, на время освобожденная отъ пашни, изно-

ситъ другія травы, покуда вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удобренная ими, такъ и во мнѣ, какъ только способность писать меня оставила, мысли какъ-бы сами возвратились къ тому, о чемъ я помышлялъ въ самомъ дѣтствѣ. Мнѣ захотѣлось служить, — въ какой бы то ни было, самой мелкой и незамѣтной должности, но служить землѣ своей, такъ служить, какъ я хотѣлъ нѣкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нѣкогда хотѣлъ. Мысль о службѣ меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ проприщѣ могу также служить землѣ своей. Но и тогда, однакоже, я помышлялъ, какъ только окончу большое мое сочиненіе, вступить, по примѣру другихъ, въ службу и взять мѣсто. Планы-то и виды были только горды и заносчивы. Мнѣ казалось, что если только доказать, что я точно знаю русскаго человѣка въ корнѣ и въ существенныхъ его началахъ, какъ въ тѣхъ, которыя обнаружены всѣмъ, такъ равно и въ тѣхъ, которыя въ немъ, покуда, скрыты и видны не для всѣхъ, что знаю душу человѣка не по книгамъ и разсказамъ, но по опыту, влекомый отъ младенчества желаньемъ знать человѣка; то мнѣ дадутъ такое мѣсто, гдѣ я буду въ соприкосновеніи съ людьми разныхъ сословій, со многими людьми въ соприкосновеніи личномъ, а не посредствомъ бумагъ и канцелярій, — гдѣ я могу употребить съ дѣйствительною пользою мое знанье человѣка и гдѣ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя самого пріобрѣсти еще большее познаніе человѣка. Мнѣ казалось, что больше всего страждетъ все на Руси отъ взаимныхъ недоразумѣній и что больше всякаго намъ нуженъ среди насъ такой человѣкъ, который бы, при нѣкоторомъ познаньи души и при нѣкоторомъ знаньи сердца, вообще проникнутъ былъ желаньемъ истиннымъ мирить. Я видѣлъ и уже испыталъ, какъ личнымъ приговоромъ и объясненьемъ прекращать можно было много такихъ дѣлъ, которыя никогда не оканчиваются на бумагѣ. Я думалъ, что хотя теперь и нѣтъ такихъ мѣстъ, но что я получу

послѣ того, какъ выйдетъ вполнѣ мое сочиненіе, и приготовлялъ уже въ мысляхъ и самый проэктъ, въ которомъ намѣревался изъяснить, какъ въ слѣдствіе тѣхъ способностей, какія у меня есть, я могу быть нуженъ и полезенъ Россіи. Замыслы мои были горды, но такъ какъ они были основаны только на успѣхѣ моего сочиненія, то и упали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оставила меня способность производить созданья поэтическія. Теперь въ глазахъ моихъ всѣ должности равны, всѣ мѣста равно значительны, отъ малаго до великаго, если только на нихъ взглянешь значительно; и мнѣ кажется, что если только хотя сколько-нибудь умѣешь цѣнить человѣка и понимать его достоинство, которое въ немъ бываетъ даже и среди множества недостатковъ, и если только при этомъ хотя сколько-нибудь имѣешь истинной христіянской любви къ человѣку и, въ заключенье, проникнутъ точно любовью къ Россіи; то на всякомъ мѣстѣ можно сдѣлать много добра. Сила вліянія нравственнаго выше всякихъ силъ. Мѣсто и должность сдѣлались для меня, какъ для плывущаго по морю, пристань и твердая земля. Я убѣжденъ, что теперь всякому, кто пламенѣетъ желаньемъ добра, кто Русской о кому дорога́ честь земли русской, должно спѣшить такъ же брать многія мѣста и должности въ государствѣ, съ такой же ревностью, какъ становился нѣкогда изъ насъ всякой въ ряды противъ непріятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой стороны я убѣжденъ, что мѣсто и должность нужны для самого себя... Какъ ни бурно нынѣшнее время, какъ ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ не возмущаетъ тебя собственный умъ твой; но можно остаться среди всего этого въ тишинѣ, если съ тѣмъ именно возмешь свое мѣсто, чтобы на немъ исполнить долгъ такимъ образомъ, чтобъ не стыдно было на землѣ и готовъ бы былъ отдать за него отвѣтъ небу. Какъ бы то ни было, но жизнь для насъ уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнѣйшіе изъ людей, (отъ) мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумывались и при-

ходили только къ сознанью, что не знаютъ, что́ такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ наиумнѣйшій, сказалъ твердо, не колеблясь никакимъ сомнѣніемъ, что Онъ знаетъ, что́ такое жизнь, когда этотъ Одинъ признанъ всѣми за величайшаго изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ, даже и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его Божественности, тогда слѣдуетъ повѣрить Ему на слово, даже и въ такомъ случаѣ, если бы Онъ былъ просто человѣкъ. Стало быть вопросъ рѣшенъ: что́ такое жизнь?

Этого мало. Намъ данъ полнѣйшій законъ всѣхъ дѣйствій нашихъ, тотъ законъ, котораго не можетъ стѣснить, или остановить никакая власть, который можно внести даже въ тюремныя стѣны, но котораго, однакожъ, нельзя исполнять на воздухѣ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь земномъ грунтѣ. Находясь въ должности и на мѣстѣ, всё-таки идешь по дорогѣ; не имѣя опредѣленнаго мѣста и должности, идешь черезъ кусты и овраги, какъ попало, хотя и та же цѣль. По дорогѣ идти легче, нежели безъ дороги. Если взглянешь на мѣсто и должность, какъ на средство къ достиженью не цѣли земной, но цѣли Небесной, во спасенье своей души, — увидишь, что законъ, данный Христомъ, данъ какъ-бы для тебя самого, какъ-бы устремленъ лично къ тебѣ самому, затѣмъ, чтобы ясно показать тебѣ, какъ быть на своемъ мѣстѣ во взятой тобою должности. Христіянину сказано ясно, какъ ему быть съ высшими, такъ что если хотя немного онъ изъ того исполнитъ, всѣ высшіе его полюбятъ. Христіянину сказано ясно, какъ ему быть съ тѣми, которые его пониже, такъ что если хотя отчасти онъ это исполнитъ, всѣ низшіе ему предадутся всею душою своей. Всю эту всемірность человѣколюбиваго закона Христова, все это отношенье человѣка къ человѣчеству можетъ изъ насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Сто́итъ только всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми происходятъ у тебя частыя, наищекотливѣйшія непріятности, обратить именно въ тѣхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелѣваетъ

больше всего прощать и любить Христосъ. Сто́итъ только не смотрѣть на то, какъ другіе съ тобою поступаютъ, а смотрѣть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Сто́итъ только не смотрѣть на то, какъ тебя любятъ другіе, а смотрѣть только на то, любишь ли самъ ихъ. Сто́итъ только, не оскорбляя никого, быть готову подавать первому руку на примиренье. Сто́итъ поступать такъ въ продолженіе небольшого времени, и увидишь, что и тебѣ легче съ другими, и другимъ легче съ тебою, и въ силахъ будешь точно произвести много полезныхъ дѣлъ почти на незамѣтномъ мѣстѣ. Труднѣй всего на свѣтѣ тому, кто не прикрѣпилъ себя къ мѣсту, не опредѣлилъ себѣ, въ чемъ его должность. Ему труднѣй всего примѣнить къ себѣ законъ Христовъ, который на то, чтобы исполнять на землѣ, а не на воздухѣ; а потому и жизнь должна быть для него вѣчно загадкой. Предъ нимъ узникъ въ тюрьмѣ имѣетъ преимущество: онъ знаетъ, что онъ узникъ, а потому и знаетъ, что́ брать изъ закона. Предъ нимъ нищій имѣетъ преимущество: онъ тоже при должности, онъ нищій, а потому и знаетъ, что́ брать изъ закона Христова. Но человѣкъ, незнающій, въ чемъ его должность, гдѣ его мѣсто, неопредѣлившій себѣ ничего и неостановившійся ни на чемъ, пребываетъ ни въ мірѣ, ни внѣ міра, не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весъ міръ не полюбишь, если не начнешь прежде любить тѣхъ которые стоятъ поближе къ тебѣ и имѣютъ случай огорчить тебя. Онъ ближе всѣхъ къ холодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ и опытовъ, и размышленій идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначенье человѣка — служить и что вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: Государю и народу, и землѣ своей.

Увѣрившись въ этомъ, я уже готовъ былъ также взять всякую должность, хотя, соображаясь съ своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить съ русскимъ человѣкомъ, чтобы, если возвратится мнѣ способность писать, набрались у меня матеріалы. Одною изъ главныхъ причинъ моего путешествія къ Святымъ Мѣстамъ было желаніе искреннее помолиться и испросить благословенія на честное исполненіе должности, на вступленіе въ жизнь, у Самого Того, Кто открылъ намъ тайну жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что́ ни случилось въ моей жизни; испросить дѣятельности и напутственнаго освѣженія на дѣло, для котораго я себя воспитывалъ и къ которому приготовлялъ себя. Тутъ я не нахожу ничего страннаго. Если и ученикъ, по окончаніи своего ученья, спѣшить сказать благодарственное слово учителю, если сынъ спѣшитъ на могилу отца предъ тѣмъ, какъ предстоитъ ему поприще; почему же и мнѣ не поклониться той могилѣ, которой поклоняются всѣ, на которой всѣ получаютъ себѣ какое-нибудь напутствіе, гдѣ вдохновляются всѣ, даже и не поэты. Странно, можетъ быть, то, что я объ этомъ сказалъ въ печатной книгѣ. Но я въ то время только-что оправился отъ тяжкой болѣзни. Я былъ слабъ; я не думалъ, что буду въ силахъ совершить это путешествіе. Мнѣ хотѣлось, чтобы помолились обо мнѣ тѣ, которыхъ вся жизнь стала одною молитвой. Я не зналъ, какъ сдѣлать, чтобы голосъ мой достигнулъ въ глубину келій и стѣнъ затворниковъ, въ мысли, что авось кто-либо изъ прочитавшихъ донесетъ имъ мое слово. Я просилъ обо мнѣ и другихъ молиться, потому что не зналъ, чья молитва изъ насъ угоднѣй Тому, Кому мы всѣ молимся. Знаю только то, что наипрезрѣннѣйшій изъ насъ можетъ завтра же сдѣлаться лучше всѣхъ насъ, и его молитва будетъ всѣхъ ближе къ Богу. За это не слѣдовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: *просящему дай*.

Какъ случилось, что я доженъ обо всемъ входить

въ объясненья съ читателемъ, этого я самъ не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже съ наискреннѣйшими пріятелями, я не хотѣлъ изъясниться на-счетъ сокровеннѣйшихъ моихъ помышленій. Я рѣшился твердо не открывать ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія заключенія о себѣ, какія бы ни раздавались, въ увѣренности, что когда выйдетъ второй и третій томъ «Мертвыхъ Душъ,» все будетъ объяснено ими и никто не будетъ дѣлать запроса: что́ такое самъ авторъ? хотя авторъ и долженъ былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши нѣкоторыя объясненія по поводу моихъ сочиненій, я долженъ былъ неминуемо заговорить о себѣ самомъ, потому что сочиненья связаны тѣсно съ дѣломъ моей души. Богъ вѣсть, можетъ быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ воли Котораго ничто не дѣлается на свѣтѣ; можетъ быть, произошло это именно затѣмъ, чтобы дать мнѣ возможность взглянуть на себя самого. Мнѣ легко было почувствовать нѣкоторую гордость, особенно послѣ того, какъ удалось мнѣ дѣйствительно избавиться отъ многихъ недостатковъ. Это гордость во мнѣ бы жила безпрестанно, и ея бы мнѣ никто не указалъ. Извѣстно, что достаточно пріобрѣсти въ обращеньи съ людьми нѣкоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить ихъ уже не замѣчать въ насъ нашихъ недостатковъ. Но когда выставишься передъ лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свѣта и разберутъ по ниткѣ всякое твое дѣйствіе, всякой поступокъ, и люди всѣхъ возможныхъ убѣжденій, предубѣжденій, образовъ мыслей, взглянутъ на тебя каждый по своему, и посыплются со всѣхъ сторонъ упреки въ-попадъ и не въ-попадъ, ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по всѣмъ чувствительнымъ струнамъ твоимъ; тутъ по неволѣ взглянешь на себя съ такихъ сторонъ, съ какихъ бы никогда на себя не взглянулъ; станешь въ себѣ отыскивать тѣхъ недостатковъ, которыхъ никогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это та страшная школа, отъ которой или точно свихнешь съ ума, или поумнѣешь больше, чѣмъ когда-либо. Не безъ стыда

и краски въ лицѣ я перечитываю самъ многое въ моей книгѣ, но при всемъ томъ благодарю Бога, давшаго мнѣ силы издать ее въ свѣтъ. Мнѣ нужно было имѣть зеркало, въ которое бы я могъ глядѣться и видѣть получше себя, а безъ этой книги врядъ ли бы я имѣлъ это зеркало. Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести пользу другимъ, книга моя принесла прежде всего пользу мнѣ самому.

Но да позволено мнѣ будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ относительно полезности ея другимъ. Точно ли безполезна моя книга другимъ, и особенно обществу, въ его нынѣшнемъ, современномъ видѣ? Мнѣ кажется, всѣ судившіе ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, какъ-то уже слишкомъ сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнѣе. Вмѣсто того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на судъ передъ всю Россію, нужно было разсмотрѣть дѣло проще, разсмотрѣть книгу, что́ такое она въ своемъ основаніи, а не останавливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ объяснился вполнѣ внутренній смыслъ ея. Отъ этого вышли пустыя придирки къ словамъ и приписанье многому такого смысла, который мнѣ никогда и въ умъ не могъ придти.

Начать съ того, что я всегда имѣлъ право сказать о томъ, о чемъ говорилъ въ моей книгѣ, если бы только выразился попроще и поприличнѣе. Учить общество въ томъ смыслѣ, какой нѣкоторые мнѣ приписали, я вовсе не думалъ. *Учить* я принималъ въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ повелѣваетъ намъ Церковь учить другъ друга и безпрестанно, умѣя съ такой же охотой принимать и отъ другихъ совѣты, съ какой подавать ихъ самому. А я былъ готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совѣты. Я не представлялъ себѣ общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителемъ. Я не всходилъ съ моей книгой на каѳедру, требуя, чтобы всѣ по ней учились. Я пришелъ къ своимъ собратьямъ, сочленикамъ какъ равный имъ сочленикъ; принесъ нѣсколько тетрадей, которыя успѣлъ

записать со словъ Того же Учителя, у Котораго мы всѣ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякой взялъ, что́ кому придется. Тутъ были письма, пьсанныя къ людямъ разныхъ характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находившихся на разныхъ степеняхъ своего собствоннаго душевнаго состоянія, которыя никакъ не могли прійтиться равно всѣмъ. Я думалъ, что каждый схватитъ только, что́ нужно ему, а на другое не обратитъ вниманія. Я не думалъ, что иной, схвативши то, что́ нужно для другого, будетъ кричать: «Это мнѣ не нужно!» и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповѣдать. Какъ ученикъ, кое въ чемъ успѣвшій больше другого, я хотѣлъ только открытъ другимъ, какъ полегче выучивать уроки, которые даются намъ наилучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по прочтеніи книги, будетъ мнѣ сказано: «Благодарю тебя, собратъ,» а не: Благодарю тебя, учитель.» Если бы не завѣщаніе, которое я помѣстилъ довольно неосторожно, въ которомъ намекалъ о поученьи, которое обязанъ дать всякой авторъ поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумалъ мнѣ приписывать этого апостольства, не смотря даже на рѣшительный слогъ и нѣкоторую лирическую торжественность рѣчи. Но въ книгѣ моей отыщетъ много себѣ полезнаго всякой, кто уже глядитъ въ собственную душу свою.

Что́ же касается до мнѣнія, будто книга моя должна произвести вредъ, съ этимъ не могу согласиться ни въ какомъ случаѣ. Въ книгѣ, не смотря на всѣ ея недостатки, слишкомъ явно выступило желанье добра. Не смотря на многія неопредѣлительныя и темныя мѣста, главное видно въ ней ясно, и послѣ чтенія ея приходишь къ тому же заключенію, что верховная инстанція всего есть Церковь и разрѣшенье вопросовъ жизни — въ ней. Стало быть, во всякомъ случаѣ, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые укажутъ, что́ слѣдуетъ ему взять изъ моей книги для себя, а, можетъ быть, дадутъ ему, намѣсто моей книги, другіе познавательнѣе, полезнѣе, для которыхъ онъ оставитъ мою

книгу, какъ ученикъ бросаетъ склады, когда вычится читать по верхамы.

Въ заключенье всего я долженъ замѣтить: сужденья большею частію были слишкомъ уже рѣшительны, слишкомъ рѣзки, и всякъ укорявшій меня въ недостаткѣ смиренья истиннаго, не показалъ смиренья относительно себя самого. Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ достоинствахъ, мнѣ приписанныхъ всѣми, могъ подумать, что я стою выше всѣхъ и имѣю право произносить судъ надъ другимъ. Но на чемъ основываясь могъ судить меня рѣшительно тотъ, кто не почувствовалъ, что онъ стоитъ выше меня? Какъ бы то ни было, но, чтобы произнести полный судъ надъ кѣмъ бы то ни было, нужно быть выше того, котораго судишь. Можно дѣлать замѣчанья по частямъ на то и на другое, можно давать и мнѣнья, и совѣты; но выводы основывать на этихъ мнѣньяхъ обо всемъ человѣкѣ, объявлять его рѣшительно помѣшавшимся, сошедшимъ съ ума, называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣвшимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цѣли — это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца, заклейменнаго клеймомъ всеобщаго презрѣнія. Мнѣ кажется, что, прежде чѣмъ произносить такія обвиненія, сдѣдовало бы хотя сколько-нибудь содрогнутся душою и подумать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы такія обвиненія обрушились на насъ публично, въ виду всего свѣта. Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить такое обвиненіе: «Не ошибаюсь ли я самъ? вѣдь я тоже человѣкъ. Дѣло тутъ душевное. Душа человѣка — кладязь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкоторыхъ признаковъ нельзя основываться. Часто и наискуснѣйшіе врачи принимали одну болѣзнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрѣзывали уже мертвый трупъ.» Нѣтъ, въ книгѣ: Переписка съ Друзьями,» какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеньяхъ, но есть также въ ней много того, что́ не скоро можетъ быть доступно всмѣъ. Нечего утверж-

даться на томъ, что прочелъ два, или три раза книгу: иной и десять разъ прочтетъ, и ничего изъ этого не выйдетъ. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человѣкомъ, который, при умѣ, обнимающемъ со всѣхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумѣніе были для меня очень тяжелы, — тѣмъ болѣе, что я думалъ, что въ книгѣ моей скорѣй зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ Богъ никому получать! Не могу не изъявить также и благодарности тѣмъ, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже слишкомъ много для немощной натуры человѣка, рукой скорбящаго брата приподымали, меня, повелѣвая ободриться. Богъ да вознаградитъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнемогшему духомъ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

Лейпцигъ,
въ типографіи Бера & Германна.

Leipzig
Druck von Bär & Hermann.

КН-204 № 201